

# НОВЫЙ Журнал

№288

НЬЮ-Йорк

# THE NEW REVIEW Новый Журнал

---

*Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942*  
*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*  
*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*  
*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*  
*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)*  
*Г. Андреев, Л. Ржевский*  
*1976 – 1981 редактор Роман Гуль*  
*1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Е. Магеровский*  
*1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Ю. Кашкаров, Е. Магеровский*  
*1986 – 1990 Редакционная коллегия*  
*1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров*  
*1994 – 2005 редактор Вадим Крейд*

Семьдесят шестой год издания

**Главный редактор Марина Адамович**

*Редакционная коллегия:*

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман  
Редакция – Владимир Гандельсман, Нагалья Гастева, Марина Гарбер.

The New Review, Inc.:

T.Bobrinsky; T.Chebotareva; S.Hollerbach; V.Galitzine; G.Glinka;  
M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; N.Lobanov-Rostovsky;  
G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; O.Radish; I.Sikorsky;  
V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 288, September 2017

© 2017 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly  
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.  
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,  
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

*Сергей Захаров* – Номер с видом на океан. Повесть ..... 7

### ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Евгений Брейдо</i> – Любовь в Городе. Повесть .....	100
<i>Андрей Грицман</i> – Стихи .....	118
<i>Григорий Стариковский</i> – Стихи .....	125
<i>Александр Вейцман</i> – Стихи .....	128
<i>Алексей Ткаченко-Гастев</i> – Стихи .....	130
<i>Михаил Моргулис</i> – Хохлуша. Рассказ .....	134
<i>Валентина Синкевич</i> – Стихи .....	147
<i>Екатерина Оленина</i> – Стихи .....	149
<i>Ольга Злотникова</i> – Стихи .....	153
<i>Михаил Вирозуб</i> – Стихи .....	158
<i>Екатерина Преображенская</i> – Стихи .....	164

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

*Сергей Максимов* – Денис Бушуев. Главы из III тома романа  
(Публ. – *Андрей Любимов*) ..... 168

### ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Л. Ф. Краснова</i> – Биографические данные о Войска Донского генерале от кавалерии Петре Николаевиче Краснове (Публ. – <i>Жорж Шерон</i> ) .....	185
Переписка М. Алданова и Г. Гребенщикова. «Я поверил в Вашу искренность» (Публ. – <i>О. Кудзоева</i> ) .....	204

### ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Мария Рубинс</i> – Литература Ар-деко .....	229
<i>Сергей Шиндин</i> – Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский .....	266
<i>Марк Уральский</i> – Троцкие о Горьком. Штрихи к литературному портрету .....	301

### ИНТЕРВЬЮ. ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

<i>Т. Гордиенко</i> – «Переводчики не стреляют». Интервью с Вольфгангом Казаком. 1994 год .....	324
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

*Блок Марины Гарбер* – Михаил Шишкин. Пальто с хлястиком:

Короткая проза, эссе; Григорий Стариковский. Автономный источник. Сборник стихов; Глеб Шульпяков. Саметь: Книга стихотворений и поэм; Александр Кабанов. На языке врага. Стихи о войне и мире; <i>Сергей Шиндин</i> – Аполлоновский сборник; <i>Петр Базанов</i> – Ермичев А. А. Философская и общественная мысль в журналах русского зарубежья. Библиографический указатель; <i>Геннадий Кацов</i> – Евгений Брейдо. Эмигрант; <i>Виктор Леонидов</i> – Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина: 1914–1920; Н. В. Чарыков. Беглый взгляд на высокую политику; Ежегодник Дома Русского Зарубежья им. Александра Солженицына. 2016; <i>Ростислав Полчанинов</i> – Вячеслав Войлоков. Русская осень ..... 332
ОБ АВТОРАХ ..... 389

**Корпорация “Нового Журнала” с прискорбием сообщает  
о кончине Кирилла Эрастовича Гиацинтова (1930–2017),  
члена Совета директоров корпорации.  
Выражаем соболезнования вдове и родным покойного.**

**The New Review, Inc.**

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА посвящена памяти Марка Алданова (1886–1957), выдающегося писателя русской эмиграции, одного из основателей «Нового Журнала». Премия утверждена во имя сохранения и развития традиций русской литературы в контексте мировой культуры и призвана поддержать писателей русскоязычной диаспоры, живущих в рассеянии по всему миру. Премия присуждается прозаикам, создающим свои произведения на русском языке и живущим вне Российской Федерации.

В 2017 году в конкурсе на соискание звания лауреата принимали участие прозаики Русского Зарубежья из Англии, Франции, Беларуси, Израиля, Испании, Германии, Канады, Молдовы/ПМР, Украины, США. Особенно активно участвовали писатели Израиля и Украины.

## ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ:

- Захаров Сергей* – «Номер с видом на океан» (Испания)  
*Каримова Асият* – «Добрые люди» (Франция)  
*Куприянов Константин* – «Толя Швеин и Святой» (США)  
*Кирпиченко Виталий* – «Отчий дом» (Беларусь)  
*Николин Анатолий* – «Ночь музея» (Украина)  
*Шраер-Петров Давид* – «Игра в бутылочку» (США)

Решением членов жюри Премии призовые места распределились следующим образом:

### 1-е место

*Захаров Сергей* – «Номер с видом на океан» (Испания)

### 2-е место

*Каримова Асият* – «Добрые люди» (Франция)  
*Куприянов Константин* – «Толя Швеин и Святой» (США)

### 3-е место

*Николин Анатолий* – «Ночь музея» (Украина)

Победителям конкурса присвоено звание «Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова». За первое место будет вручена денежная премия в 1 (одну) тысячу долларов. Всем лауреа-

там будут высланы дипломы и подарена бесплатная подписка на «Новый Журнал» на 2018 год. Тексты лауреатов будут опубликованы в «Новом Журнале» и на сайте журнала.

Корпорация, редакционная коллегия и редакция «Нового Журнала» поздравляют лауреатов Литературной премии им. Марка Алданова и желают им новых творческих успехов!

Членами жюри в 2017 году были: литературовед, историк, журналист Марк Уральский (Германия); поэт, издатель, редактор альманаха «Побережье» Игорь Михалевич-Каплан (Нью-Йорк); куратор Русских программ Центральной Бруклинской библиотеки Алла Макеева-Ройланс (Нью-Йорк); председатель Комитета «Книги для России», журналист Людмила Оболенская-Флам (Флорида); писатель, меценат Марк Авербух (Филадельфия).

#### УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ РУКОПИСЕЙ В 2018 ГОДУ:

1. На соискание Премии могут быть присланы тексты на русском языке на следующие темы: история России, история русской эмиграции, жизнь современной русскоязычной диаспоры. Жанр – короткая повесть.
2. Рукописи, присланные на конкурс, не должны быть нигде опубликованы (в том числе – он-лайн).
3. Принимаются рукописи только от авторов, живущих вне пределов Российской Федерации.

Прием рукописей на конкурс «Литературная премия им. Марка Алданова. 2018» начинается с 1 марта до 30 июня (включительно) 2018 года. Рукописи принимаются как в бумажном, так и в электронном виде по адресу редакции (с указанием: «Премия Алданова» / Aldanov Award):

The New Review  
611 Broadway, #902,  
New York, New York, 10012, USA  
newreview@msn.com

Оргкомитет просит участников указывать свой обратный почтовый и электронный адрес. Итоги конкурса будут объявлены в октябре 2018 на сайтах НЖ и ЖЗ. С историей проекта можно ознакомиться на сайте НЖ: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (ПРОЕКТЫ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ им. МАРКА АЛДАНОВА)

Оргкомитет Премии им. Марка Алданова и редакция «Нового Журнала» благодарят коллектив ЖЗ и «Русского Журнала» за помощь в освещении конкурса на звание лауреата Премии им. Марка Алданова.

Сергей Захаров

## Номер с видом на океан

...Да хотя бы за то, что из-за нее мне пришлось отодвинуть Барселону. Да-да, отодвинуть: упереться, как следует, двумя руками во все суматошное барселонское многоцветье, и – отжать его от себя. А все из-за нее – из-за Маши. Работать, понятно, я продолжал в графском городе – но спал и думал в другом месте.

В каталонской махровой глуши и часе езды от столицы я взял в аренду битый временем дом с когда-то белым фасадом. Дом этот, криво и походя вставленный в восьмитысячный прелестный городишко, о котором я и узнал-то накануне, успел вырасти, заматереть и состариться задолго до того, как в него сбежал я.

Стоял он (или, скорее, горбился) у самой границы «буржуйского холма» – так я сходу окрестил это место, и не случайно: аккурат на противоположной стороне улицы завершался скученный центр, а дальше и выше по крутеющему изумрудно склону восходили – шагом все более редким, важным – основательные особняки: каждый с отдельным участком, бассейном, зоной барбекю и прочими чудесными излишествами, из которых, собственно, и складывается приятность жизни.

Например, у западных моих соседей водились, помимо стандартного вип-набора, целых три ездовых лошади (буланая, гнедая и мышастая в яблоках), кухарка из Колумбии, садовник-муж кухарки, кот-злодей и два развеселых шпица; – и я, постепенно и мимо воли углядев это (все же соседи, дом в дом), мог за них только радоваться. Я и радовался. Большое дружное семейство – десять душ. Видно, что живут в ладу – и давно. Все даже похоже чем-то между собой, как часто в таких случаях бывает. Хозяин похож на кухарку, хозяйка – на шпица. Хорошая, хорошая семья. Мне и вообще симпатичны состоятельные люди – в особенности, состоятельные прочно и давно.

Нуворишей, напротив, я недолюбиваю за частую их нервозность и суетность, за гниль стереотипа. И все-то они взвинчены, на высшем градусе нерва: то в страхе, что какие-нибудь бобры позубастей возьмут вдруг да отгрызут свеженаворованное, то в жажде ежесекундных и всеобщих восторгов в их новобогатый адрес – дескать, вот мы, долгожданные, и добрались, и уже здесь: радуйтесь, восхищайтесь немедленно, преклоняйтесь, раболепствуйте даже...



А с кого, спрошу я, перепугу? Вот мне, к примеру, или Маше – зачем раболепствовать?

Мы, частные экскурсоводы – сами себе хозяева, и нет никого над нами, разве что налоговая да Господь Бог... С каждого своего клиента мы берем одну и ту же цену: с красноярского нефтяного миллионера ли, московского сутенера, разъявшегося госдолжностью тамбовского чиновника, детройтского пенсионера, одесского еврей-свиновода или любознательного учителя из Саратова, копившего на поездку с культурными увеселениями не один год, – все перед нами равны, как перед священником, врачом или смертью. Вот она, чудесная гильотина, отсекающая лишнее и равняющая всех, – стоимость наших услуг. И все, что за пределами этой стоимости – не интересует меня нисколько. Вот нисколечко. И Машу, к слову, тоже никогда не интересовало. Это одна из немногих точек, в которой мы с нею сходились славно и абсолютно, как Карл и Маркс: патологическое отсутствие зависти.

А нуворишам сложно понять – как это может кто-то не завидовать им? Не искать в них? Не преклоняться? Ведь они платят – значит, они и заказывают музыку, и музыка эта может быть самой разной, от Вагнера до хрипучего блатняка, – это уж как им возжелается. Платят-то они. А если вдруг что-то не глянется им – то же отсутствие раболепия, например – могут ведь и передумать. И не заплатить. А где тогда окажемся мы, со всем нашим из пальца высосанным равенством? Известно, где. Верно? Да ничуть.

Все дело в качестве. Наша фирма стабильно высокое качество гарантирует и подтверждает, и о том знают, потому как радио сарафанное благою весть несет – и поскорей интернета. А на качественный товар спрос будет всегда – будет и есть. Спрос же как раз и означает свободу выбора – с этой, с нашей стороны.

Впрочем, это моя пролетарская суть играет или ворчливость, сегодня мне свойственная... Потому что свобода, равенство – это, безусловно, замечательно, но, если уж мы пошли французским путем, остается и еще кит, без которого нашему турбизнесу не устоять. И имя киту этому – братство.

Клиенты нам – братья, и любим мы их истинно братской любовью: всяких и любых, с комплексами их, заблуждениями и тараканами. А знаете, какая она – братская наша любовь? Это когда за день работы экскурсовод теряет два кило живого веса, а то и поболее, потому что каждую минуту этого дня выкладываешься на все сто – а то и на двести. А потом, добравшись до дома, падаешь в койку и умираешь, чтобы завтра, в муках родившись и отпахав – умереть снова. И так – изо дня в день. И делаешь это не за страх, а за совесть, потому

что к работе своей привык относиться серьезно, и к людям, для которых работаешь, – тоже.

Со старыми, кстати, богачами все иначе, и я сходу в свое время оценил их скромность и простоту, какие приходят лишь с осознанием полной монументальности своего положения в жизни. Понятно, саратовские учителя мне еще ближе – но их в нашей практике и меньше гораздо.

Но стоп, стоп, стоп – о чем это я?.. Колокол отстучал уже раз и другой, а я еще и не начал думать о том, о чем следует. Так мысль моя и скачет всегда: непредсказуемой гну, и приарканить ее, и заставить бежать по прямой почти невозможно. А все же попробую...

В лохматой провинции, на буржуйском холме, где я снял дом, не было ни нуворишей, ни саратовских учителей: сплошь старые богачи, потомственные буржуи – то есть люди, по определению, правильные.

Собственно, среди живущих здесь я был единственным разночинцем, и снятый мною дом, скажу так, – соответствовал. С большой желчью подтеков и трещинами-морщинами на штукатурке, неумело замаскированными редким клочковатым плющом, – дом донельзя походил на обвально лысеющего пенсионера, не желающего упорно расстаться с ролью героя-любownika.

Цена на него была милосердна, квадратура – масштабна, а камин – откровенно хорош. Познавшая семьдесят зим, украшенная там и здесь крупными бриллиантами, Нурия, владелица, погудела даже, надувая жухлые впадины щек, улыбнулась на четыре лада, а после фыркнула, увела молодые глаза в потолочное небо и принялась обмахиваться несуществующим веером, показывая, как знатно гудит в камине огонь и какой живительный жар способен дать он зимой. После она поведала мне, что провела в этом доме первых двадцать лет своей жизни с мужем, золотым человеком – упокой, Господи, его душу, – и дала понять, что в дальнейшем, когда я окончательно проникнусь всеми неисчислимыми достоинствами жилища, она, в общем, не прочь даже уступить мне дорогую ее сердцу и памяти обитель по сходной цене, можно в рассрочку, и «всегда, всегда мы найдем возможность договориться» – подчеркнула дважды она.

Светлая печаль, павшая на лик ее при упоминании об умершем супруге, легко сменилась на жадный деловой азарт и читаемое в полкасаания глаз желание непременно объегорить такого очевидного простака, как я, всучив мне нуждающуюся в капитальном ремонте халупу за две с половиной цены. Перемена случилась мгновенно, без полутонув: как будто шелкнуло в проекторе, и выскочил тут же новый

слайд – Нурия была настоящей каталонкой. Но и я приехал в эту страну не вчера – и потому отвечал уклончиво, главным образом, улыбками, полуулыбками и дружелюбным кряком. Посчитав, что зерно брошено, она не настаивала.

После она села в надуленный мерседесовский внедорожник и вознеслась к вершине холма, я же походил не обжитыми пока комнатами, полюбовался почти антикварной – то есть дряхлой – мебелью, покурил без кофе на просторной террасе, прислушался на минуту внутрь себя, там же поулыбался – и заключил, что дом мне, в целом, подходит.

Такие осмысленные не сразу или открывшиеся позже мелочи, как дизельный, промышленных размеров, котел, обещавший печальные зимние траты; стреляющий внезапно и страшно под ногами кафель плитки, отставшей и продолжающей отставать от цемента; патриотичная сантехника каталонской фирмы «Роса», заставлявшая хозяйкину молодость; наконец, текущая горькой слезой в двух местах крыша, – все одно не отвратили бы меня от аренды. Недопонятое, необъяснимое и спонтанное нечто твердило мне: ты будешь жить здесь.

\* \* \*

Я и жил – меж двух церквей.

Выяснилось это, внезапным и острым откровением, в первый же вечер, когда я перетащил из Барселоны нехитрый скарб свой, расселил его кое-как по углам, выбрал наиболее симпатичное мне ложе из имевшихся трех и мгновенно, обесточенный переездом, не уснул даже, а рухнул с ускорением в сон, – тут-то все и проявилось.

Оказалось, церковь Святого Антония стоит в одном шаге от моего новообретенного гнезда. Собственно, я знал об этом и раньше: массивную готическую колокольню храма, накрывавшую тенью полулицы, трудно было не заметить. Я знал – но и в малой степени не принял эту близость в расчет.

А ведь сколько, черт меня возьми, сотен раз доводилось мне на экскурсиях сообщать туристам, что весь ход средневековой жизни размечен был звонницами церквей! Что же – теперь мне предстояло познать это на себе. Теория неожиданно истекла в практику, и превращение это вышло ужасным.

Едва я успел заснуть... Бамцц! Задорно и яростно возопил малый колокол, в самое мое ухо и в середку нутра – я подхватился, грубо вытащенный за ноги из сонного рая, и сел сотрясенно в постели, шаря слепой рукою часы.

Выяснилось, что это только начало. Ровно через пятнадцать

минут – я снова прилачился было ко сну с жаждой, с грубоватой ненасытной нежностью, как теленок к материнскому вымени – бамцц! бамцц! Колокол ударил уже дважды, отмечая половину часа, после, разбудив меня снова, отстучал три четверти и, наконец, все четыре бронзовых раза, знаменуя оконченный круг. И тут же вослед ему веско забухал колокол часовой – ббум, ббум, ббум!.. Расстроенный и смятенный, я насчитал одиннадцать гулких ударов и машинально сообразил: 23-00.

Добавлю: каждый раз все эти звоны-перезвоны с малым запозданием дублировались колоколами церкви Святой Богородицы Лурдской: та стояла дальше и выше, у края гор – но посильную лепту в общий кошмар вносила исправно.

Выспаться в ту ночь мне так и не удалось.

Наутро я уехал в Барселону с пухлой от украденного сна головой и всю дорогу, вертя угрюмо баранку, размышлял о том, что, пожалуй, поспешил с выбором места. Церкви, так уж случилось, я не взял в расчет – позор, позор ветерану экскурсоводческого дела!

Идея отшельнической жизни в сельском предгорном раю, в окружении пасторальных видов и свежего, напоенного запахом навоза воздуха, уже не казалась мне столь привлекательной.

Колокола, жестокие в своей неостановимости, продолжали стучать большими пульсами в гулкой коробке черепа. Столица в районе Форума отвратительно встречала вонюю канализации – много хуже, чем всегда. Кофе горчил, молоко – недогрели, а круассан кисловато и черство улыбался мне из вчерашнего дня, что совсем уж ни в какие ворота! Вдобавок, я оставил сигареты дома, а автомат в кафе, как и следовало ожидать, работать не пожелал. Столько неприятностей сразу не случилось со мной уже давно.

Но туристы – пожилая пара из Калифорнии – вышли в улыбках и оказались милейшими американскими людьми, и, в конце концов, – я всегда спасался работой. А творилась в тот день экскурсия ладной песней, и дело, хотел бы заметить, происходило в Барселоне – лучшим, по моему скромному мнению, городе на Земле... Одним словом, жизнь потихоньку налаживалась.

На обратном пути, однако, снова я потускнел. Надо же – так просчитаться! Вот все, кажется, учтешь, все предусмотритишь и примешь во внимание, и тут на тебе – этакий сюрприз от возлюбленных мною церквей! Ну кто, скажите, мог ожидать от них такого коварства? «Surprise Motherfucker!» – как говорят в таких случаях веселые молодые испанцы, уж не знаю, откуда они это взяли... Внезапно я обнаружил, что тихонько насвистываю «Nothing Else Matters», – дурной знак, указатель того, что настроение мое стремится в точку вечной

мерзлоты. Перспектива ночи страшила меня самым нешуточным образом.

Однако, на удивление, обошлось все гораздо спокойнее, чем накануне, – за ночь я просыпался не более семи раз. Мне только предстояло оценить чудесные свойства колокольного звона. А они таки были чудесны: еще через сутки количество внезапных подъемов снизилось до трех, неделю спустя я спал безгреховным младенцем, а сейчас – расстроился и даже вознегодовал бы, вздумай какая-то недобрая сила колокольный звон у меня изъять.

Я привык к нему, и по нему, как в пресловутые «мрачные века», считал свое время. Находясь дома, в наручных, настенных, компьютерных или телефонных часах я более не нуждался.

Но главное волшебство заключалось в ином. Полагаю, как раз из-за колоколов, из-за того, что бой их так точен, неизбежен и всегда с тобой, даже если не отдаешь себе в том отчета, – вскоре упорядочилась и моя персональная, текучая и живая, как ртуть, временная субстанция, и в сутках, удивляя, появился лишний час. Хотя «лишний» – неточно сказано. Напротив – самый нужный, может быть, из всех, заключенных в повторяемый круг.

С определенных пор я стал просыпаться с пятью часовыми ударами и после ровно шестьдесят минут еще вылеживал с закрытыми глазами в постели, не торопясь вставать. Да и куда мне было торопиться? Занятие на этот час нашлось сходу и само собой, и занятие не из гладких: объяснить себе, почему мы с Машей – не вместе.

...Я помню, как сидели мы на террасе привычного кафе внизу бульваров Рамблас (мы только что разошлись, но еще не разъехались) и задавались тем же вопросом. Между столиков хаживал неизменный албанец с желтым зубом и напористым, неумелым аккордеоном, – и первый раз за все время мне не хотелось отобрать у него это изощренное орудие пытки и заставить замолчать навсегда.

Звуки сумбура и звериной тоски, извлекаемые из инструмента деревянными пальцами албанца, – он всегда играл одну и ту же мелодию, которая, думаю, составляла ровно сто процентов его репертуара – как никогда соответствовали тому, что переживал я внутри своей неуютной, продуваемой насквозь трамонтаной, души. Не сомневаюсь, что и Маша ощущала нечто подобное. Мы были близки без малого десять лет, и за годы эти замечательно научились не только чувствовать, но и читать мысли друг друга. Иногда это могло показаться волшебством: едва успевал один что-то подумать, как другой тут же произносил его мысль вслух, с точностью до последнего слова.

Но никакое волшебство не смогло бы отменить то, что уже

случилось, и мы, до краев исполненные шумной тоскливой пустоты, находились там, словно два родственника в бдении у гроба, а в гробу том, на белом стеганом атласе, возлегли они – десять лет нашей совместной жизни, и мы, под вполне созвучный аккомпанемент албанских клавиш, дружно и наперебой недоумевали: как же могло такое произойти? Откуда труп? И почему труп? И как покойник, до того, как преставиться, смог протянуть целых десять лет? И, если копать глубже, каким вообще образом смог он появиться в свое время на свет? И как же, черт побери, правильно, что он, наконец, умер, и прекратились наши мучения...

– Что, что, что это было? Ты можешь мне объяснить? – вопрошала с усталой патетикой Маша. – Я даже понять не могу, что!

– Вот-вот, и я не могу ничего понять, Маша, – тут же соглашался озадаченным эхом я. – Ни-че-го! А ты можешь?

– Нет! – удивлялась Маша готовно. – Я даже взять в толк не могу, как мы встретились и почему после того не расстались сразу же... А ты понимаешь?

– Не понимаю! – охотно подтверждал я. – Не понимаю и не смогу понять. Зато твердо знаю одно – все кончено, и теперь, вот честное слово, мне хорошо. Мне почти хорошо. Мне будет хорошо, и, надеюсь, скоро. Сейчас я хотя бы знаю, что впереди – спокойная жизнь. Когда все устаканится, и мы привыкнем к тому, что уже не вместе, – можно будет жить совершенно спокойно.

– Именно: спокойно! – подхватывала Маша. – Вот правильно ты сказал! Я все не могла подобрать нужного слова... А так и есть – спокойно! Ничего не хочу – только спокойствия. Только покоя. И упаси меня Бог заводить отношения в дальнейшем! Отношения... Ффффу! Уфффу! Все что угодно, только не это! Сыта по горло – и до конца дней!

– Вот это ты права так права! – почти радовался я. – Это ты верно сказала! Одна только мысль о каких-то отношениях... Уфффу! Ффффу! Не дай Бог! Я вообще не пойму, что это было такое – наши с тобой десять лет...

И мы выходили на новый бессмысленный старт, оставляя албанца с его глупым, как шарманка, аккордеоном далеко позади. Старый мир рухнул, а в новом царил свежий хаос мироздания, и никакие привычные правила не работали.

В старом мире, например, эффектная Маша, обладавшая редкой способностью вызывать в незнакомых мужчинах приступы спонтанного неконтролируемого восторга, который они тут же, предварительно извинившись передо мной, и пытались ей излить, – в старом мире Маша неизменно сходила за француженку.

Но в тот раз – музыкальный садист уже собрал мзду и уселся за грязный угол – внезапно подбежавший на длинных складных ногах к нашему столику американец лепетал что-то явно иное. «Russian beauty» – мог разобрать я повторенную несколько раз фразу, а еще с удивлением отметил, что кроме этого ничегошеньки не понимаю больше из сказанного, – а ведь английский совсем не был мне чужим.

Да, все тогда шло не так, и потому даже пытаться что-то соображать не имело смысла. Но прошло время, я уехал в провинцию и жил один, у меня появился дополнительный час, и вместе с ним – возможность подумать, вспомнить и, возможно, понять что-то – относительно Маши и меня. Не то что бы я намеренно собирался делать это – так уж вышло само собой.

Я знал, что задача не будет простой: жил я по угрюмой прямой, но вспоминал, если уж давал себе этот труд, веселым рулеточным кругом. Память моя не умела работать линейно, воспроизводя события в их хронологической последовательности – вместо того, зверь непоседливый и живой, она совершала мгновенные непредсказуемые скачки в самые разные, и разнесенные, и внешне никак не связанные между собой моменты прошлого, поражая меня произвольностью выбора. С этим, однако, я давно смирился: другой у меня нет и не будет.

Не скрою, поначалу мне непривычно было думать о Маше так – в прошедшем времени, но после я нашел, что это даже к лучшему: даруемая прошлым отстраненность позволяла видеть все в гораздо более ясном – и безжалостном – свете.

\* \* \*

Итак, полгода назад мы расстались с Машей, разменяв одну тюрьму на две свободы. Расстались обоюдно, выпотрошено и почти друзьями, без битья посуды и выяснения, кто кому должен – потому, должно быть, что за время совместной жизни не нажили особых богатств.

Мы не очень-то считали деньги, а когда их, по-нашему мнению, образовывалось достаточно, или, скорее, когда обилие неостановимой работы превращало нас в окончательных роботов, лишая так нужного чувства, – мы быстро кормили чемоданы походным набором, силой схлопывали им разверстые пасти и, неудержимо влекомые этими атрибутами отпуска, не сходили, а почти падали в расположенный под домом паркинг, где уже томилась в нетерпении специальная «отпускная» наша машинка – мелкая, лупоглазая и шустрая, обмятая и обтертая по всем своим выпуклостям нежностями барселонской автожизни.

Машина звалась закономерно «Нюской» – мы сваливали в нее чемоданы, тут же закуривали (курение в «Нюске», что категорическим образом не допускалось в экскурсионной машине, еще раз напоминало нам о том, что краткое отпускное счастье – вот оно) и уезжали смотреть мир, мотивируя очередной вояж тем, что для нашей профессии важен широкий кругозор, – главным же образом потому, что нам нравилось делать это вдвоем.

Все поездки зарождались в Машинной голове, тщательно обдумывались, планировались, просчитывались и обсчитывались, подтесывались, уточнялись, обретали заслуженный глянец совершенства, закреплялись резервированием отелей – и лишь затем я ставился перед фактом. Маша любила устраивать мне сюрпризы – собственно, этим и объяснялась таинственность приготовлений.

– Я хочу еще раз побывать в Риме, – говорила Маша, – но только с тобой. Понимаешь – только с тобой!

Я понимал. Слова ее звучали божьей музыкой – и мы уезжали в Рим.

Или:

– Я хочу показать тебе Прагу. Я была там дважды – но без тебя. А какая же это Прага – если без тебя? – я понимающе соглашался, и мы уезжали в Прагу.

Или:

– Ты меня сейчас точно убьешь – но я только что сняла отель в Венеции. Номер крохотный – зато огромные скидки. И главное, есть балкон, где мы сможем спокойно курить. Должны же мы, черт побери, прокатиться по их каналам в настоящей гондоле. Представляешь, оказывается, надо говорить гондола – с ударением на первый слог. Забавно, да? А ночевать в пути будем под Каннами, всего в двадцати километрах. Вот заселимся и сгоняем на часок в Канны. Я, конечно, искала в самом городе, но цены там – не подступиться. Ты не сердись, что я с тобой не посоветовалась?

Я не сердился – и мы уезжали в Венецию.

До моего вторжения в ее барселонскую явь Маша и сама успела кое-где побывать с предыдущим мужем – но все это, по словам ее, было не то. Гораздо больше мы увидели с ней вдвоем.

Да, что ни говори, а расстались мы почти хорошо, – и потому здесь, в белом доме, куда въехал и где жил только я, фотография ее розовела на каминной полке. «Розовела» – в ту поездку она брала финский, удивительного лососевого колера плащ – я такого не встречал больше – и на фото, в этом остановленном миге общего прошлого, была в нем: редкая дорогая рыбина в положенной ей по статусу упаковке.



Рядом с нею отражался сероватой тенью и я, а еще – тот самый Париж, куда мы ездили раз пять или шесть и где нам каждый раз нравилось, и всегда – по-новому...

Лежа под самой крышей, наблюдая, как сходящий через оконца рассвет прорисовывает все отчетливей дубовые, в обхват, балки, я легко мог представить снимок в деталях: Париж, 2012-й год, башня Монпарнас, за спиною Маши ажурно-монументальные формы Эйфеля, в далеком тесном низу – кладбище, в каменном городке которого мы легко отыскивали Бодлера и Сартра, но так и не смогли найти Мопассана...

На могиле Бодлера романтического вида молодежь распивала вино – в окружении цветов и бутербродов. Именно так – свадебно и терпко – там и пахло: молодостью, розами, сыром и колбасой, алкоголем, и еще, раздражительным краем, марихуаной – не любимым нами до зеленых искр запахом, который великодушная Маша моя сходу простила пирующим – за верность поэту. Маша тихонько радовалась и сжимала крепче мою руку – Бодлер нравился ей.

И Сартр, которого хотел посетить я, не был одинок: кровавые помады поцелуев, билетки на метро, придавленные разнокалиберными гольшами, и главное, главное, теплое и такое родное: Симона, упокоенная позже, была там, где и должно, – рядом.

Единственным, кто так и не дался нам, оказался великий сумасшедший Ги Де – каждый раз, когда мы, ведомые указателями и картами, вот-вот должны были настичь его, Мопассан, казалось, хватал надгробие и убирался с ним прочь – категорически не желая, должно быть, чтобы его в тот день тревожили. Жаль, жаль, жаль – бормотал удрученно я: у него ведь такие гениальные рассказы...

А вот шахматист Алехин, умерший непобежденным чемпионом, нашелся, помню, легко. Разорванные связи, разъятые любви, палестины проданные, преданные и обретенные, судьбы, судьбы, судьбы, написанные злой кардиограммой, – тяжесть могильных плит сглаживала все. Нам с Машей не холодно было ходить среди мертвецов: там мы особенно остро ощущали, что живы – и вместе.

Любовь отмотала и ее, и мое время далеко назад, даровав собственное только юным существам бессмертие, – да, мы снова были беззаботны и вечны, и потому легко, играючи, срывали с мертвых камней глазами эпитафии и пробовали их на звук, на вкус языка, проговаривая поочередно и вместе и пытаюсь раскусить смысл – эх, как бы пригодились мне не посещенные в университете пары французского! Но тогда, давно, студентиком, я не верил, что Франция существует, да она и не существовала – без Маши. Впрочем, кое-что я все же помнил, а пробелы мы восполняли собственной фантазией.

В легкомысленном кощунстве доходило даже до того, что Маша, быстро взглянув на меня под косым лукавым углом, спрашивала:

– А какую эпитафию, интересно, ты составишь для меня? – она была десятью годами старше (внешне старше выглядел я) и частенько, повинуясь свойственным ей непостижимым скачкам настроения, норовила напомнить об этом. Меня эти напоминания неизменно сердили.

– А с чего это ты решила, что это я должен буду составлять тебе эпитафию, а не наоборот? – встречно отбивался я. – Да, по паспорту я моложе, но ты прекрасно знаешь мой образ жизни до встречи с тобой. По биологическим часам я – глубокий старик. Старец. Аксакал. Так что составлять, боюсь, придется именно тебе.

Такой ответ был ожидаем ею – я всегда, словно глупый карась, шел на одну и ту же приманку.

– Ага! – тут же торжествующе кричала она. – Нормально! Нормально. То есть, ты собрался умереть раньше меня. Хорошо устроился, ничего не скажешь... А кто же будет присматривать за мною и содержать меня в старости!?

Хоп! Удилище взметывалось в небо, карась повисал на крючке, и Маша, заядлая рыбачка, торжествовала. Вытащенный на враждебную сушу, я не трепыхался – крыть было нечем. Я и вообще плохо умел спорить с ней, да и трагикомическая абсурдность повода, из-за которого разгоралась эта псевдоперепалка, никакого настоящего спора и не предполагала. В конце концов, мы быстро, словно лишнего котенка, топили дискуссию в ало-жаркой воде поцелуев – и, довольные, уходили искать, например, кафе, где Ульянов-Ленин обыгрывал Троцкого в шахматы – или наоборот.

Эпитафию Маше я так никогда и не придумал и не собирался, естественно, этого делать, но сейчас, когда похоронены были наши с ней отношения, и само черно-желтое слово – «эпитафия» уже не выглядело таким вопиюще неуместным... Сейчас, если бы вышло так, не дай Бог, не допусти и не дай, и даже думать о таком всерьез мне страшно, страшно и нельзя, но – если бы случилась катастрофа и мне все же пришлось бы жестоко и нелепо ужимать смысл целой ее жизни в несколько золоченых слов на последнем мраморе – я бы, не колеблясь, увековечил его так: «святая в плену страстей».

\* \* \*

Вот вспомнилось вдруг: когда все раскрылось, переменялось и не могло уже быть, как прежде...

Когда она, уличенная в измене давно не любимому мужу, вздохнула с понятным всякому, кто действительно знал ее, облегчением –

ведь уже не требовалось вышивать смертным крестиком так ненавидимые ею кривые узоры лжи...

Когда самолеты и поезда приближали ее ко мне, уже в новом, «официальном» качестве – впервые позвонил Машин муж и говорил со мною долго, долго, никак не менее полутора часов.

Отведенная мне в этом разговоре роль во все девяносто минут – несколько жалких междометий. Я и не думал перебивать его: мужу нужно было выговориться, и, в конце концов, я, а никто другой, украл у него жену. Голос его был спокоен, мягок и почти ласкающ. Речи – достойны: за все полтора часа я не услышал ни одного прямого оскорбления ни в свой, ни в Машин адрес. Если бы годность человека определялась исключительно его словами и тем, как они произносятся, – муж мог бы стать мне примером для подражания на весь остаток дней.

Но – привираю и даже вру, вру. Довольно скоро я с несвойственной мне прозорливостью понял, что он, подобно мастеровитому скульптору, ваяет для меня образ такой Маши, которая, будучи, безусловно, женщиной яркой и выдающейся, совсем не создана для меня, и мне лучше бы знать о том заранее. Он будто занимался передачей важной собственности мне во владение – и, как порядочный человек (впоследствии он сам себя возвел в ранг «человека благородного»), считал необходимым указать на все ее избыточные потайные недостатки. Перечисление их и заняло, главным образом, все полтора часа беседы. Каждый из Машиных пороков, как следовало из его слов, сам по себе был, в общем, пустяковым, простительным и по-человечески понятным, однако в совокупности они складывались в картину поистине устрашающую.

Странно получилось, честное слово: полтора часа он, казалось, старательно и даже любовно творил Венеру – но в итоге произвел на свет Медузу Горгону. Попутно муж предсказал, что и я, насколько он может обо мне судить, – человек явно неплохой, но совершенно не тот, кто способен составить Машину замысловатое счастье.

Впоследствии я убедился, что все, сказанное им тогда, было почти правдой – и, в то же время, не знающей оправдания ложью, до самого что ни на есть грязного испода.

Что же, он и в самом деле был мастеровит, и благодаря ему, я усвоил важное в жизни понимание: часто вся разница между правдой и ложью заключается именно в этом «почти» – в двух недосказанных словах или трех лишних; в чуть более, чем нужно, затянутой паузе, когда медлить нет нужды и нельзя; в повышенной незаметно, всего на полградуса, степени благородства там, где речь идет о простой тарелке супа...

Зачастую это самое «почти» – разница между правдой и ложью –

так мизерно, что там, где на кону действительно важные вещи, нужно вглядываться в происходящее пристально, долго и до обязательной боли в глазах – если не хочешь потерять все. А еще позже я с искренним удивлением осознал, что пестрая попугайски ткань наших нескладных жизней соткана из неисчислимого множества этих «почти», какими мы сознательно, принудительно, добровольно или случайно окружены во весь свой век: потому, должно быть, что голая субстанция правды совсем уж непригодна для выживания.

Понимание это далось мне далеко не сразу, не полностью и не легко, через ту же боль в регулярно набиваемых шишках – но первый настоящий урок преподал мне именно он, Машин муж.

Каюсь: я сразу невзлюбил его – и не потому, что он был Машиним мужем. И не потому, что сам являл собой образец душе-раздирающей честности – это уж точно. Но и обман, естественный, как дыхание, – тоже категорически не мое.

Впрочем, даже если бы весь искренний и такой понятный монумент собственной лжи, изваянный им персонально для меня, оказался верен – это ничего и никоим образом не изменило бы и изменить не могло. При всей куриной слепоте своей души я уже знал, что вся моя истинная жизнь исчисляется от Маши, и что жизнь эта – Машин мне подарок.

Жизнь, жизнь... Какая там жизнь была у меня до Маши – и была ли вообще? Чтобы понять, как Маша нашла меня, за четыре тысячи километров, в другом измерении и третьей стране, нужно сказать несколько слов, обозначить ее хотя бы пунктиром – эту мою так называемую «жизнь». Кавычки здесь более чем уместны, потому что, задумываясь о ней, я прихожу к выводу, что, по сути, до Маши и не жил вовсе.

Все, что было, скорее напоминает рваные, неразборчивые от смазавшихся чернил пометки на полях настоящей, так и не прожитой мною жизни, или долгий больной сон, который мог с равным успехом сниться как самому мне, так и любому стороннему человеку – настолько он был несущественен, нехорош и обречен на скорое забвение.

Судите сами: в семнадцать лет, еще не выйдя из счастливо-животного детского состояния, я сделался вдруг запойным алкоголиком – в одно обвальное лето. Почему, как – сказать сложно, да это и неважно здесь. Важно, что, подобно черному вундеркинду, за один единственный год я превзошел все стадии алкогольного разложения и оформился окончательно в однобокую эгоистичную тварь, возводящую свой дрожащий кайф в мировой абсолюте. Быстро? Быстро, да – но я не лишен был разных способностей.

Здесь нужно бы ставить постыдную точку – ее и поставили, и как раз «пером»: в очередной пьяной драке мое тело проткнули пару раз ножом и бросили истекать на лестничной клетке. Так я умер в первый раз – должен был умереть, когда бы не Божье золотое крыло, явленное мне тогда впервые.

В то самое время, когда я утекал, вытекал и почти вытек из себя на пыльный бетон, в том же подъезде, но тремя этажами ниже, сделалось плохо старухе. Ей вызвали скорую, и санитар глазастый случаем углядел веселые, вишневые и тугие, мчавшие сверху лестничного колодца капли. Меня обнаружили и спасли – пять лишних минут, и было бы поздно.

Вот что это: случайность, чудо, перст, подарок? Да, перст и подарок, но воспринял я его самым нелепым образом: едва оклемавшись, принялся разбазаривать подаренное мне время пуще прежнего. Человеку свойственно наплевательски относиться к подаркам, а золотое крыло, к тому же, окончательно убедило меня в собственном бессмертии.

Мне долго сходило с рук то, что убило бы уже дюжину других таких же, избравших судьбою земной ад – тех, что крестятся в этиловой реке и уходят в белую пустыню. Я пил, дрался, множил старательно зло; меня еще дважды пытались зарезать и один раз – застрелить; на меня заводили уголовные дела и определяли не раз на тюремную шконку...

Семнадцать, в общей сложности, раз меня отвозили в психбольницу и привязывали к койке с диагнозом «типичный делирий»... Пьяный вусмерть, я замерзал на январском холоде и тонул в февральской воде; я вываливался дважды из окон высоких этажей и четырежды попадал под машины; я регулярно засыпал в тлеющей от непотушенной сигареты постели – мне все, все сходило с дрожащих рук.

Более того: данный природой запас и Божье крыло позволяли еще и делать на полях смазанные записи-пометки. Параллельно с упоительной нежизнью я все же закончил кое-как университет, отслужил в армии, пытался где-то работать, заводил какие-то связи, тут же их, впрочем, теряя, – но все это шло вторым или третьим планом, обретаясь на тусклых задворках моего времени.

Именно – времени. Мало-помалу я начинал понимать, что жизни у меня нет (жизнь предполагает наличие смысла), а есть – подаренное мне зачем-то время. И время мое, как я знал уже, измеряется бессмысленной болью, и когда эта боль станет нестерпимой – я умру.

Окончательно я осознал это годам к тридцати, и не потому, что организм уже износил ресурс много раньше положенного срока; не

потому, что давно уже врачи предупреждали: очередной запой может закончиться, в лучшем случае, смертью, а в худшем – безумием (хуже безумия нет ничего, и даже смерть перед ним бледнеет)...

Просто я очень ясно ощутил вдруг, что нет его надо мною больше – Божьего золотого крыла. Нет, и, скорее всего, не будет. Была боль, которой делалось все больше, и было время, ужимаемое болью в ноль. И я испугался тогда, что скоро, вот-вот, мое время прекратится, а от меня с моей непрожитой жизнью закономерно не останется ничего.

Так не годилось – должно же остаться хоть что-то! Не может, не должно быть, чтобы вся эта долгая трагикомедия затевалась и теялась зря... Тогда, подгоняемый предчувствием конца времени, проснувшись в глухой середине ночи, я сел за стол и начал что-то записывать, неловко, с кряхтением и матерщиной, заталкивая неудобные мысли в тесные коробки слов, пытаюсь рассказать о том единственном, в чем разбирался хорошо, – о боли.

Занятие это постепенно захватило меня – и самым удивительным было то, что после фиксации этих труднопонятных самому мне мыслей на бумаге (по старинке я первоначально именно записывал их и именно на бумаге), они непостижимым образом отделялись от моего породившего их естества и начинали жить своей самостоятельной жизнью. Именно – жизнью, в которой брезжил какой-то смысл: так в разрыве сплошных, провисших под собственной тяжестью облаков на секунду проглядывает вдруг – далеко и высоко над ними – ясное, увешанное звездами ночное небо – и тут же скрывается вновь. Да, да, мерцало и таяло: но все же он определенно был, этот смысл, в противовес всему моему бессмысленному существованию, и мне захотелось, помню, чтобы смысл этот разглядел и понял кто-то еще.

В мировой паутине я зацепился за первый павший мне под руку литературный сайт, зарегистрировался и отпустил в люди свои трудные тексты, эти сгустки концентрированной боли, – и надо же было стать так, что их увидела Маша!

\* \* \*

В то же время, что и я, но своими путями и причинами Маша упорно и целенаправленно подвигалась в как будто заранее определенную точку нашей встречи.

Ей стукнуло сорок с половиной (возраст превращений, когда «баба», по канонам народной мудрости, снова мутирует в «ягодку»), она была красива изысканной французской красотой уроженки Свердловска (всем известно, что настоящая французская красота

только из России и происходит), давно жила за южными отрогами Пиренейских гор и, на паях с мужем, владела почти карманным, но успешным бизнесом в Барселоне.

Дети оперялись и стремились скорее избежать материнской опеки, разлетаясь кто куда, а главное, главное – она окончательно поняла, что к мужу, с которым прожито было почти двадцать лет, кроме возрастающей изо дня в день неприязни, не испытывает более ничего.

Кстати, мужа сама же Маша и испортила, как позже сокрушенно признавалась она мне. В свое время он достался ей человеком даже хорошим – разве что морально неустойчивым, ничем особо не выдающимся и, к тому же, болезненно неуверенным в себе. Однако встреча ее со «вторым номером» (так Маша иногда называла его, для ясности) произошла в нужный момент. Маша только что рассталась, а точнее, сбежала от «мужа номер один» – непомерного, под два метра и сто тридцать кило боксера-тяжеловеса, как-то незаметно, неуловимо быстро из спортсмена превратившегося в лихого и бескрайнего алкоголика.

От первого брака у Маши осталось тревожное ощущение перманентного отсутствия денег, поскольку и свою, и ее зарплату пьяный боксер пропивал нараз, и присутствия большой беды, притаившейся где-то за дверью: во хмелю великан был непредсказуем. А еще – двое симпатичных крошек-детей, мальчик и девочка, о которых, разводясь, она думала в первую и единственную очередь: нельзя и страшно было жить с малыми на одних квадратах с запойным монстром.

В противовес первому, «муж номер два» был застенчив, умерен в размерах и беспримерно восхищен Машиной красотой – настолько, что без колебаний готов был принять к себе и ее, и карапузов – все же поступок! Правда, «принять» – не совсем верно. Это Маша приняла его жить на свою территорию – движимым и недвижимым имуществом «второй номер» отягощен не был.

Правда и то, что ради Маши ему пришлось бросить свою первую жену с тем же количеством детишек, о которых он забыл сразу, болезненно и навсегда (что Машу, признаться, сильно удивило и продолжало удивлять в продолжении их совместной последующей жизни) – однако, в любом случае, она была ему благодарна. В сравнении с запойно-сюрпризным гигантом, «номер второй» был куда более понятен и надежен. И не станем забывать, это был мужчина – пусть несколько мелковатый и слегка трусоватый – но все же именно он.

Насчет трусоватости выяснилось, когда принявший основательно на богатырскую грудь «номер один» принес свое огромное тело выяснять отношения, и «второй номер», новый Машин избранник

заявил: «Она сама!» Машу, ставшую невольной свидетельницей этого забавного разговора, заявление такое слегка покорило, однако «мужа номер два» тоже можно было понять: предыдущий ее супруг на многих производил неотразимое впечатление. Так или иначе, спившегося громилу она жестко изругала, прогнала напрочь и навсегда и взялась с энтузиазмом за строительство новых отношений. Маше хотелось простого семейного счастья – надежности, спокойствия и любви. Да, да, ей хотелось любить.

А возлюбив «мужа номер два», Маша, со свойственной ей страстью, принялась рьяно выправлять все его комплексы. Любить наполовину она не умела. Забыв напрочь о себе (дело для нее привычное), она занялась исключительно его карьерой и в придуманном ею же бизнесе отвела ему главную роль, а с целью повышения мужниной самооценки постоянно, вдобавок, пела дифирамбы его уникальности и ему самому, и всему разномастному кругу их знакомых и родственников.

В этом и заключалась ее ключевая ошибка. Некоторые люди замечательны в роли сварщика, но на роль директора не годятся совершенно. «Муж номер два» был как раз из таких – из тех, кому власть противопоказана даже в мизерных дозах. Маша, подобно незадачливому алхимику, превратила сварщика в директора – и сама же за это поплатилась. Результаты превращения оказались неожиданными – во всяком случае, для нее – и ужасающими: возвысившись и быстро наверху пообвыкшись, муж искренне уверовал в собственную исключительность и в то, что всего добился сам. Люди же сторонние – они, благодаря промоутерским талантам все той же неразумной в пылу самоотречения Маши, поверили в это еще ранее, – да и что с них, сторонних, взять? Сальвадор Дали в свое время говаривал: «Повторяй себе раз двадцать на дню, что ты гений – и обязательно станешь им». Машин муж мог даже не утруждать себя повторениями – для этих целей у него имела жена.

– Видно, доля у меня такая: возвращать царьков, – как-то посетовала горько Маша.

И была права: в результате своих необдуманных усилий вместо робкого человека в шапке из ветхого кролика она породила и выпестовала царька. Пожалуй, даже Царя – так будет вернее. И роль в их союзе отводилась ей теперь второстепенная – всего лишь спутницы великого человека. Муж был Windows, она – приложением. И отношение к ней было соответствующим – как к приложению.

Вскоре после окончательной трансформации муж начал барственно покрикивать на нее – а после и откровенно кричать, причем звучал отвратительным петушиным фальцетом. Впоследствии он



пришел к выводу, что напряжение связок и расход нервных клеток – тоже не царское дело, и разработал новую, созвучную статусу модель поведения, при которой все, сказанное Машей, сходу записывалось в «бабские глупости» да так и воспринималось: с непомерного высоко, с легкой снисходительной усмешкой небожителя. Но здесь уже он совершил ошибку – серьезную и даже непоправимую.

Если грубость его, проявлявшуюся резкими, короткими вспышками и приватно (прилюдно они считались идеальной семейной парой), она еще могла терпеть ради детей, то пренебрежение к себе – никогда. Для этого Маша была слишком горда. Сама она, как я сказал уже, любила без оговорок, нараспашку и во всю ширь, жертвуя собой с удовольствием и возвышая объект любви до небес; она, не колеблясь, могла пойти (и шла) и на обман, и на несправедливость, и даже на преступление ради возлюбленного – но ровно такого же отношения справедливо ожидала и к себе. Быть любимой комнатной, редкой породы собачкой она не желала и не могла. Собачка предполагает наличие кормящего хозяина и повелителя – для Маши такое положение дел совершенно не годилось.

Какое-то время она с удивлением, граничащим с ужасом, наблюдала за случившимися в муже глобальными переменами и пыталась даже как-то воздействовать на него. Муж и слушать не желал ее нелепых претензий. Постепенно Маша убедилась, что человека, которого она любила, больше нет, а возможно, никогда и не было вовсе. Именно так – не было. Она не сразу пришла к этому печальному выводу, долго думала, анализировала, вспоминала, проживая еще раз эти двадцать совместных с ним лет заново (так рассказывала мне она) и неожиданно для себя открыла, что обман и мерзость с его стороны присутствовали в их отношениях всегда, с самого что ни на есть начала.

Тщательности и глубине проделанной Машей аналитической работы позавидовал бы сам Шерлок Холмс – и он же первый, невзирая на всю свою деревянную английскую чопорность, бросился бы утешать ее, ибо выводы оказались печальны: все эти годы она вела себя, как полная дура, и душой этой сознательно и умело пользовались. Не-е-е-е-т, «второй номер» изначально был вовсе не так наивен и прост, как она о нем думала.

Но Маша продолжала терпеть – отчасти из жалости, а отчасти потому, что догадывалась: разрыв просто так ей с рук не сойдет. Финансовые рычаги их совместного предприятия она сама же когда-то доверила ему (снова дура!), и намеками муж и ранее, в целях профилактических, давал ей понять: в случае чего, он воспользуется этими рычагами без раздумий. Терпела, опять же, еще и потому, что

привыкла, да то и понятно: боязно, черт побери, всякому боязно – ломать привычный и устоявшийся быт, когда тебе уже не двадцать три. И Маша терпела. Самым сложным, как признавалась после она, было делить с этим отныне глубоко неприятным ей человеком постель.

Все эти славные открытия, метания и переоценки ценностей давались ей, разумеется, нелегко. Народившуюся в ней пустоту она пыталась заполнить писательством, для размещения своих текстов избрав – разумеется, случайно – тот же сайт самодельных литераторов, что и я. Ее бурлящие, яркие, как она сама, вещи насквозь пронизаны были ощущением ежесекундного праздника, они выстреливали шампанским и каждой своей строкой заразительно хохотали, радуясь жизни. Тем более странно, что Машу могла чем-то зацепить безнадежная, как ночь в морге, тяжесть сочиненного мною.

Но, как выяснилось, могла – и зацепила. Из открытых комментариев мы незаметно перебрались в личную переписку. Ничего серьезного – да ничего серьезного и быть не могло: дружеское общение двух совершенно разных людей, которые откровенны друг с другом именно в силу того, что виртуальная откровенность ни к чему не обязывает.

Я знал, что у нее муж, трое совершеннолетних детей и сложившаяся, в целом успешно, жизнь; Маша знала, что я – страдающий все более тяжелыми запоями алкоголик. Я знал, что Маша красива и любит цветы (видел фотографию на террасе, в середине устроенного ею цветочного царства), она знала, что если я без всякого предупреждения исчез на три недели из переписки – значит, у меня очередной запой.

«Ты уж береги себя и поскорее выбирайся, и сразу напиши, ладно?» – мягко и немного забавно тревожилась она: словно я был агент под прикрытием, уходящий на героическое и смертельно опасное задание. Впрочем, «смертельно опасное» имело все же отношение к паршивой действительности. Я «выбирался» – и первым делом писал ей: приятно было знать, что кто-то где-то, пусть и за тридевять земель, тревожится о тебе.

А потом она позвонила – затребовала мой номер телефона и позвонила. Помню, я испугался тогда: в этом был некий выход за никем не озвученные, но все же существующие пределы. Номер, тем не менее, сообщил и с легкой дрожью ждал звонка.

– Значит, так, – сходу сказала она (я удивился, что голос ее оказался ниже, чем я предполагал). – Я хочу издать книгу с твоими вещами. Тебя нужно печатать. Есть родственники и знакомые в Москве, которые помогут все организовать. От тебя ничего не нужно – кроме согласия. Деньги я вложу сама, а потом верну – после реализации

тиража. Тираж небольшой, заработать на этом не получится – но нужно же с чего-то начинать. Эх, были бы деньги на хорошую рекламу, раскрутку – можно бы и много издать сразу. Но это не потянуть, жаль... Зато у тебя в активе будет книга – это пригодится в дальнейшем. Ты согласен?

Я не понимал, зачем ей это нужно. И не любил никому быть обязанным. Я ценил свою – какая ни есть – независимость. Но, похоже, от меня никто ничего и не требовал. Разумеется, я был согласен.

Затем все продолжилось, как прежде, – с одним, разве что, отличием: время от времени Маша стала звонить мне. Делалось это, как правило, с террасы: я хорошо слышал, что параллельно с разговором она курит, и еще, фоном, пробивался временами шум улицы. Иногда ее низковатый голос, к которому я успел привыкнуть, начинал торопиться и звучал особенно волнующе и глубоко.

– Ну ладно, ладно, – говорила быстро она. – Буду закругляться. Муж рядом ходит, а он у меня ревнивый.

Она улыбалась (разумеется, я не мог видеть этого, но знал, что она улыбается) и, скомкав парой резких сжатий нашу беседу, торопилась выбросить ее в корзину для бумаг – положив трубку, я слегка обижался на нее, минут этак пять.

Муж, муж... – ну и что, что муж? У нас ведь ничего не было с Машей и быть не может – с чего бы ему ревновать? Мы даже не виделись никогда – и никогда, скорее всего, не увидимся; смешно, честное слово! И в то же время было в этом нечто глубоко приятное, какая-то тайна, подобие ни к чему не ведущего флирта, приключения, в ход в которое дозволен был только двоим – но, повторюсь, воспринималось все как безобидная игра.

Я сочинял, вел свои английские занятия, вечером в обязательном порядке мы обменивались с Машей десятком-другим электронных писем... Наступала пора – и я исчезал на положенное время запоя... Возвращаясь, я робко стучался к Маше в почту – теперь мне каждый раз было почему-то неизъяснимо стыдно перед ней – и она тут же, при первой возможности звонила.

– Хочу убедиться, что ты действительно жив, – с легким смешком говорила она, но по голосу я понимал, как ей невесело, и мысленно материл себя распоследними словами, понимая, что это из-за меня. Эх, какой же тварью чувствовал я себя тогда...

Дела с книгой, между тем, подвигались. Хорошо помню Машин декабрьский звонок.

– Ну вот, книга вышла и уже продается, – сказала она. – Поздравляю! И еще: через неделю я снова буду в Москве – и давай-

ка заеду к тебе и передам авторские экземпляры. Ты не против? Тогда сообщи адрес. Хотя... книги будут тяжелыми. Сможешь встретить меня на вокзале? Но адрес все равно сообщи, мало ли...

«Заехать к тебе» у нее прозвучало так, будто от Москвы до города, где я жил, было не семьсот километров, а семь. Противостоять напору Маши было невозможно. И снова я настораживался и внутренне подбирался (границы нарушались в очередной раз, а я все же служил в свое время пограничником – срабатывали соответствующие условные рефлексы) – и сообщал ей адрес дыры, где в то время жил, и записывал старательно дату ее приезда, время и номер поезда.

Происходило что-то необычное, что-то непонятное и новое, где все вершилось, главным образом, помимо меня – но ни поводов, ни намерений противиться этому новому у меня не было. Только бы не запой, только бы не запой, когда она приедет, – стучало-пульсировало главной тревогой. Только бы не запить и не потерять свое глупое лицо окончательно!

Разумеется, я запил.

Я запил за два дня до ее приезда.

За эти дни, а точнее, сутки (пил я круглосуточно и наотмашь, день и ночь вырождались в абстракцию, а время измерялось количеством выпитых бутылок), я, как к водится, превратил худую и чистую обитель крайнего аскета в зловонную берлогу спятившего зверя. Я и был этим спятившим зверем, и остается только поражаться, что через сорок восемь часов безумия я все еще помнил, что ко мне должна приехать Маша. Это более чем странно – обычно уже через полдня запоя сознание полностью меня оставляло, чтобы вернуться через дней десять, а то и позднее.

Тем не менее, я помнил, я сохранил на заблеванном, уставленном бутылками дрянного сорокаградусного пойла столе залитый неоднократно и влипший в поверхность блокнотный листок с исковой информацией, и с утра, проглотив полтора стакана водки (пились они безвкусной водой), кое-как, охая и стеная, уместил больное тело в заполненную до отказа ванну – отмочать. Там я успел несколько раз с риском утопления заснуть, но все же пробудился почти вовремя. Бритье, как процесс для пляшущих бесновато моих рук неосуществимый, я отменил сразу же – и потому, кое-как одевшись, выдвинулся на вокзал в окаемке двухдневной щетины.

Но что щетина – это пустяк с общей картиной упадка и разложения, какую являл тогда я. Маша, по словам ее, именно так и узнала меня: я показался ей самым несчастным и диким человеком не только на перроне, но и на целой Земле. Ощущение дикости, вероятно,

пристекало еще из-за того, что ярился крепенький морозец, и бежавшая у меня из носу влага намерзла двумя сосульями, напоминавшими кабаньи клыки. Щетина, запойное говьяжье лицо, ужасающие эти клыки, залепленный гноем взгляд записного безумца – что, кроме отвращения, мог вызвать я в Маше тогда?

Что до меня – выпитая перед выходом водка дала о себе знать, и потому момент нашей первой с ней встречи в моей памяти почти не уцелел. Почти – кое-что все-таки сохранилось: ощущение присутствия рядом со мною чистого, яркого, потустороннего мира. Европейская благополучная Маша явилась из мира, непомерно далекого от провинциальной алкогольно-уголовной среды последнего разбора, к какой принадлежал я. И в то же время, как ни странно это прозвучит, – безгранично родного мира, родней не бывает и не может быть вообще.

Да, так было: обезнервленное ядом тело отказывалось что-либо воспринимать, а вот сохшиеся от долгого бездействия остатки души ухватили эту близость сразу же – ухватили, чтобы минуту спустя потерять: штормило в пропитом мозгу моем преизрядно. Будь я хоть немного прозорливее или хотя бы на бутылку трезвее – я сразу знал бы: это оно, Божье крыло, когда-то оставившее меня, а теперь необоснованно и милосердно снова берущее меня под защиту. Будь я прозорливее, будь я трезвее... Не был я – ни тем, ни другим.

И сейчас, в каталонской глуши, в свой утренний час вспоминая об этом – я ужом сковородным верчусь от стыда и не ищущи себе оправдания. Раньше я никогда, за все наши годы, не касался этих воспоминаний – зная, должно быть, какими угрызениями это чревато. Эх, до чего мерзко все: я ведь даже лица Маши не запомнил в первую нашу встречу... Единственное, что осталось – тяжесть сплошь обмотанной скотчем картонной коробки, где лежали они, авторские экземпляры изданной ею книги. Моей книги, черт бы меня, подлеца, взял...

А что дальше? Дальше я могу констатировать основательный провал в памяти, за время которого таксист довез нас по моему адресу, а Маша, увидав сотворенный мною за гиблые дни гадюшник, справедливо рассудила, что отель – самая беспроегрешная и единственно возможная альтернатива.

В гостинице я пришел в себя – настолько, что, пока она была в душе, успел позаимствовать у нее в сумочке пару отличных купюр (где мой бумажник, я понятия не имел, да и не задавался такими вопросами), спуститься в бар, купить две водки и две вина и вернуться обратно. Вино я демонстративно уместил на стол, а водку самым подлым образом сокрыл в коридорном шкафу. Сейчас это

назвали бы «политикой двойных стандартов», тогда же я просто объяснил себе свои собственные действия тем, что без водки все одно не обойдусь, но Машу расстраивать не хотелось бы. В любом случае, это была обычная для меня подлость, осознание которой самого факта ее не отменяло.

Когда Маша, в обертке снежного полотенца, вышла – и снова поймал я это ощущение абсолютной невозможности происходящего, попутно отметив, что в жизни она много красивее, чем на фото – в ванную отправился я. На этот раз я все же смог собраться и художественно, потратив на это никак не менее получаса, осилил бритье. После я мыл, чистил, отскребал себя еще полчаса, закончив контрастным душем – и, изучая в зеркале свою угрюмую жестковатую физиономию и все еще спортивное тело (спорту я отдал когда-то немало сил), пришел к выводу, что выгляжу почти нормально, насколько это вообще возможно на третий запойный день. «Нормально» означало, что походил я тогда на агрессивного кота, сильно изодранного в недавних стычках и кое-как наспех подлатанного.

А дальше, дальше... Дальше было нежно, нежно и хорошо, и страстно, и хорошо, и еще, еще, еще, и какое-то время я держался молодцом; я даже забыл про эту чертову, запрятанную в шкафу за гладильной доской водку, и чувства, во всей своей изощренности, пусть и на краткое время, но вернулись ко мне; я владел сокровищем и знал, что владею им, и поражался лишь, какая белая, нежно-белая у нее кожа (почему белая, ведь она из зацелованной солнцем Испании?) – и повторялось все снова и снова, и почти без пауз, и мы вряд ли разговаривали, потому что в словах не было нужды, да и времени не было на какие-то там разговоры, ведь на следующий день она уезжала и, вообще, тогдашнее состояние свое я мог бы определить как длительное, непрерывное и острое ощущения счастья, равного которому мне не доводилось еще знать в своей темной, как чулан, жизни...

...А потом я открыл глаза в убогой, провонявшей табаком и перегаром дыре и понял, что нахожусь у себя дома – и абсолютно один. Последнее, что удержала память – вино из высоких бокалов и теплое чудо Машиного тела – рядом с моим. Но я и без того отлично знал, как развивались события. Когда Маша уснула, я встал, прикончил вино и, закусывая каждую рюмку сигаретой, уговорил к середине ночи и водку. Силы у меня были уже не те, что в восемнадцать лет, – и проснувшись утром, Маша нашла меня, храпящего, в кресле – и в привычном алкогольном беспомытстве. Она собралась, вызвала такси, отвезла меня домой, с помощью сердобольного таксиста

выгрузила в постель – и поехала на вокзал со странным чувством освобождения.

– Знаешь, я ведь уверена почему-то была, что так будет, – рассказывала после она. – Просто хотела убедиться. Увидеть, убедиться – и избавиться от этого дурацкого наваждения. Увидела, убедилась – и избавилась. У меня первый муж был такой же – почему я от него и сбежала. Но натерпеться успела всякого, и второй раз лезть в ту же реку – Боже упаси! Спасибо, на всю жизнь хватило. Вот знаешь, еду тогда в Москву – и радуюсь. Лечу в Барселону – и дожидаться не могу, когда самолет сядет. В Барселоне солнце, тепло, близкое все и родное. Понять только не могу, что же со мною было, но знаю: было, закончилось, прошло, и ничего больше не будет, и тебя я больше никогда не увижу, потому что не хочу и не нужно...

Маша, милая, вредная моя Маша! Ровно в том же был уверен и я – и, как ни странно, тоже испытывал облегчение. Выправившись после запоя, я и вообще мог бы поверить, что никакого твоего приезда и не было, и все просто привиделось мне в одном из цветных алкогольных снов, которые изредка, да, бывают приятными, – если бы не книги, те самые полсотни авторских экземпляров, что ты привезла мне.

Дизайнер обложки постарался на славу и проявил хороший творческий вкус, разместив в центре окно, из которого глядел в упор на читателя пронзительный глаз, слепленный на самом деле из двух половинок – половинки женской и половинки мужской. Однако понималось это с секундной задержкой – и на меня лично, помню, произвело сильное впечатление. Что же, книга вышла замечательной, но на наших отношениях был поставлен, не сомневался я, крест.

Через две недели ты позвонила, была ровна, весела и словом даже не обмолвилась о свинье, к которой приезжала недавно. Ты просто обходила эту тему стороной – как будто никакого приезда ко мне и не было вовсе. И я охотно тебе подыгрывал: в отношении наших я не видел никакой, ни малейшей даже перспективы, и считал по-своему замечательным, что все закончилось, не успев, по сути, начаться. В противном случае это могло бы привести к самым разным, но точно уж никому не нужным неприятностям, а возможно, и страданиям. Ухабистая жизнь ожесточила меня, не спорю, – но страданий я намеренно никому не желал, Маша, и менее всего – тебе. Тогда же я знал, что мы больше никогда не увидимся, и серое, с зеленоватой ноткой тоски, знание это несло спокойствие.

Я знал, ты знала, мы знали... Все и все знали – целых два месяца.

А потом я снова запил – самым отчаянным и губительным винтом за всю «карьеру» – и всякое знание оказалось ложным.

\* \* \*

В тот раз – думаю, ему назначено было стать финальным – все шло даже хуже обычного.

Пил я в последние, истекающие мои месяцы в глухую и жестокую одиночку, все контакты с внешним миром перекрывая на время питания напрочь. Когда подступал запой, а я чуял его приход безошибочно, я обзванивал, если успевал, клиентов (на жизнь, как уже было сказано, я зарабатывал частными уроками английского языка), сообщал им о недомогании – все, собственно, прекрасно знали, в чем оно заключается, и если терпели меня, то только за преподавательские достоинства, которые, видимо, у меня все же имелись, – после затаривался в ближайшем гастрономе водкой, отключал все телефоны, зашторивал плотно окна и уходил в нее – в свою убогую, на краю бесславной гибели, нирвану.

Единственное, чем я позволял себе скрашивать сознательную пьяную одиночку, – битловская музыка, тихонько и волшебно звучавшая где-то на периферии процесса и напоминавшая мне, пока я был в сознании, что есть в жизни и прекрасное что-то, а не только прах и тлен.

Держать при себе живых людей, собутыльников, в пьяно-безумные дни я опасался, и неспроста: в глубоком хмелю я становился буен, непредсказуем и до бескрайности жесток, – я попросту не хотел, очнувшись, обнаружить в своей квартире свежий труп человека, повинного только в том, что его угораздило пить со мной.

Но в тот раз... В тот раз я вливал в себя водку и закусывал ее чтением книги: той самой, с глазом, сдвоенным в середине обложки, с мрачной моей фотографией на оборотной стороне... Я проглатывал страницы, написанные другим мною, изданные милой Машей и странным образом соединившие нас на краткий миг во времени и пространстве – чтобы тут же вновь развести.

Странно, как странно, – бормотал про себя я. Какие все же удивительные вещи происходят на свете! Ты запускаешь в безграничное пространство мира, повсюду и в никуда, кровающую частицу своей глупой, никому не нужной души – и находится, самым непостижимым чудом, человек, которому она оказывается нужна. А потом этот человек, поверивший зачем-то в тебя, делает для тебя невозможное, мчится к тебе за тридевять земель и четыре тысячи километров – а у тебя не находится для него и пяти трезвых минут. Совсем неласково, совсем паскудно было у меня на душе, и единичность, намеренная моя отделенность от всего живого сделалась на какой-то миг нестерпимой...

А потом я сидел на скамье у подъезда, и снег облизывал мне



голову мокрым и теплым языком, и под черной распахнутой кожей куртки я прятал ее, чтобы не замочить, прятал и прижимал накрепко к себе свою – и Машину – книгу, – как билет на упущенный рейс, как вещдок того необычайно важного, что не случилось, но могло случиться – будь я иным.

Потом – снега уже не было, но были люди, – я страстно и сбивчиво пытался рассказать им, случайным знакомцам, какая прекрасная есть женщина, Маша, и какой подлец я, и тыкал неверным пальцем в свою фотографию, и принимал восторги и поздравления, и выпивал с кем-то отдельно и со всеми разом, и подписывал экземпляр, и поднимался в квартиру за другим – такая вот спонтанная презентация под открытым небом, и штук десять книг я тогда все же роздал и пометил своими чудными каракулями, – и дурная боль, я помню это хорошо, отступила, но закончилось все – и она взялась за меня с новой силой.

Снова я был один, снова я пил один, и ночь загоняла меня в пятый угол.

Вообще, пить отшельником, в особенности так, как пил я, – занятие довольно опасное: случись что, некому и скорую будет вызвать. Раньше, однако, обходилось: внутри меня худо-бедно, но продолжал функционировать тот самый, питающийся от инстинкта самосохранения, счетчик, который всегда предупреждает: стоп! выпьешь еще рюмку сейчас – сдохнешь, не сомневайся. Сдохнешь, потому что превышена будет твоя персональная предельная концентрация яда в крови. Вот выпей, выпей – и умри, тварь! А умирать, доложу вам, никому неохота – ни алкоголику, ни наркоману, ни самому распоследнему бандиту и убийце. Не хотелось умирать и мне – как бы не казнил я себя в посталкогольном раскаянии.

Но в тот раз... В тот раз все шло против правил, и он сломался, мой внутренний ограничитель, – должно быть, навсегда. Я перестал знать меру, перестал контролировать себя окончательно – я пил водку взахлеб, с яростью, ненавистью и тоской, как будто задался целью уничтожить все спиртное на земле; я падал, вставал и продолжал снова, чтобы снова упасть; я как будто вел глупый и заведомо проигранный бой с несравненно более сильным противником – и к середине запоя, неожиданно для себя, извел весь свой алкогольный запас.

Такого не случалось раньше никогда: при моем-то стаже и опыте я давно уже четко определил классическую дозу: сорок восемь бутылок, плюс-минус две, и потому закупал сразу два с половиной ящика – чтобы уж хватило наверняка. Обычно хватало – но не в тот раз.

Это должно было насторожить – но тормоза мои окончательно перестали держать. Остаться без водки в самом разгаре – дело недо-

пустимое. Псом увечным я выполз на трех конечностях в магазин – и, едва отойдя от подъезда, потерял сознание. Умереть мне не дали. Сердобольные прохожие вызвали «скорую», два дня я провел в реанимации – и при первой же возможности оттуда сбежал, чтобы продолжить.

Я и продолжил – на меньших оборотах, но с прежней неостановимостью, – и через три закономерных дня подступил, полагаю, к белому краю. Не было, не осталось уже сил терпеть, как поносят они меня последними словами, низвергают в прах, с грязью мешают и золой... «Они» – те, кто наведывался ко мне все чаще, когда я запиивал. Знаю точно, что их было двое: маленький, с круглой, стриженной коротко головой, походившей на улыбочивый шар для боулинга, обросший внезапно густой шерстью, – и второй – повыше, пошире и поглубже. Тот, что повыше, никогда не улыбался, и особенно мне был неприятен, а лица его я совершенно запомнить не мог: знаю, что носил он черные густые усы военного образца – вот, пожалуй, и все.

Неприятны, впрочем, были оба – хотя бы хамской привычкой являться без предупреждения и входить без спроса, открывая дверь собственным, раздобытым непонятно где ключом. Хотя этот самый ключ они могли запросто вытащить у меня, пьяного, из кармана или подобрать на улице – мало, что ли, перетерял я этих ключей по пьяни... И все же, все же – можно бы и предупредить, и в дверь позвонить, – а лучше бы не являться вообще! В конце концов, это была моя квартира, и гостей незваных в ней я не привечал. Отмечу, с мнением моим они не считались нисколько. Приходили и действовали на нервы, а прогнать их, я это знал всегда, у меня не достанет сил – потому даже и не пытался.

А в тот раз... В тот раз они, похоже, были без ключа: забухали в дверь ногами, а когда поняли, что открывать им я не намерен, – просто сломали замок и вошли: уверены были, что я, боявшийся их непомерно, шум поднимать не стану. Вошли и расположились самым хозяйским образом: маленький – на стуле у балконной двери, большой – в бордовом глубоком кресле.

Я, свинцовая от страха и предвидя, что меня ждет, спешил выпить бесцветный свой эликсир, проливая его на шею и захлебываясь. Допил и лег покорно, с серым лицом: давайте, мол, начинайте пытку.

Они за этим, собственно, каждый раз и приходили. Чем пытали меня? Говорением. Казалось бы: слова – и слова, пустое безобидное сотрясение воздуха, не более. Но дело все в том, о чем говорить и как говорить, – а они этими тонкостями владели от и до.

Все мои запрятанные по шкафам скелеты – грязные, подлые, постыдные, а иногда жестокие или страшные, из тех, о которых и сам

я запретил себе вспоминать, – были известны им досконально; и безостановочно, из часа в час, они занимались тем, что извлекали их поочередно наружу, выставляли на нестерпимо яркий свет и давали любоваться.

Меньший работал, если можно сказать так, «сверлением» – начинал тихонько, ввинчивался, входил в рабочий режим и принимался методично, одну за другой, высверливать дыры в горящем моем мозгу, сооружая сложный, одному ему понятный узор – все это было мучительно, однако ни в какое сравнение не шло с речами старшего. Тот, обвиняя, будто запускал тяжелые стальные шары по металлическому, грохочущему нестерпимо бильiardному столу. Примерится стальным кием – щцок, – и побежала сталь по стали, и загрохало так, что голова взорваться готова была от убийственного этого шума... Если младшего, с его дрелью, еще можно было как-то примирить с собою, – старший был вовсе непереносим. И худшее, худшее, что было во всем этом, – неостановимость, бесконечность попытки.

А в тот раз... В тот раз я устал терпеть. Все, помню, лежал, дрожал, боялся, сочился молчаливыми слезами, повторял полусепотом круговое «пожалуйста, хватит, не надо, пожалуйста, хватит, не надо», а после решил вдруг: и в самом деле – хватит! Выдернул себя из постели и встал на гудящих ногах в середине комнаты.

И тут же они перестали пытаться – разом.

– А вот это правильно, это ты молодец! – вполне нормальным голосом одобрил маленький.

– Точно, давно пора! – веско подытожил второй.

– А пошли вы оба на... – сказал я спокойно. Надоело мне все – и не было сил терпеть.

– Ты сюда давай, сюда, – маленький оживлен был, суетился и даже вскочил, и стул подвинул с подгрохотом, освобождая мне путь.

А я и без него знал, куда мне нужно. Знал уже несколько часов, а может, и дольше, потому что тянуло оттуда холодом и чистотой, тянуло и звало – из-за балконной двери. Прежде я не обращал внимания на то, что живу на седьмом этаже. А это ведь здорово, это замечательно просто – седьмой этаж, и странно, как я раньше не понимал этого! Если повернуть ручку балконной двери и выйти из квартирного нутра и поглядеть вниз, то станет понятно, где они – холод и чистота, пугающие и манящие одновременно. Холод, чистота, а еще покой, так нужный мне сейчас: и все там, внизу, на асфальте.

Дерево справа и дерево слева, голые ветви их сплелись в отчетливую паутину – но все равно есть просвет, через который вполне получится прочертить простую и нужную траекторию. Единственно

возможную траекторию – другие и не нужны мне. Начнется здесь, на моем балконе, а закончится – быстро – внизу, в точке, где мое сжавшееся в судороге «я» обретет наконец холод и чистоту. Тишину и покой – все, чего так не хватало мне и что удивительным образом сдилось воедино в нижней точке траектории, – и звало, звало так, что я полез было через перила. Не пускали чьи-то руки, обхватили и не пускали, и я, помню, пытался сбросить их с себя, и, обернувшись, увидал ее – Машу.

Маша держала меня крепко-накрепко, хотя быть этого не могло, никак не могло; я знал, что она сейчас сидит в своей теплой и солнечной Барселоне и давно уже думать забыла обо мне, – и правильно, что забыла, и хорошо, что забыла, и никакой Маши здесь нет, а есть – очередная галлюцинация, видение, глюк, так мешающий мне сейчас... И тем не менее, это была она – Маша.

Поверить в это я смог не сразу – во всяком случае, в «скорой», держа ее за руку, я продолжал сомневаться. «Скорую» Маша же и вызвала, сходу оценив мое состояние, а состояние было швах: накрывало, накрывало меня все сильнее черными, страшными волнами безумия – потому и цеплялся, как утопающий, за Машину руку: за последнюю возможность спастись.

Как привезли меня в больницу – уже не помню. По словам Маши, врач, пытавшийся со мной говорить, отчаялся было что-то извлечь из моих галлюцинаторных бредней, но был все же вопрос, на который я среагировал адекватно и четко:

– А она вам кто? – поинтересовался доктор, указывая на Машу, и я, не раздумывая, отвечал убежденно и коротко:

– Она – мое все!

Вот так, Маша, в безумии, назвал я тебя тогда, – и ты сама была тому свидетельницей.

Все, что я записываю сейчас, я делаю, как уже говорилось, с одной целью: объяснить себе, почему мы с тобой разлюбили друг друга. Во время наших страстных ссор ты часто упрекала меня в том, что я никогда не любил тебя, – никогда. И тщетно было спорить с тобой – такой же, как и я, упрямец. Но эти слова, которые ты, кстати, отлично запомнила, это слова, сказанные мною в состоянии более чем беспомощном и уж точно не располагающем к сознательному вранью, – эти слова, на мой взгляд, многое значат. Не мог я тогда, хоть убей, врать или кривить душою – не мог и не стал бы.

– Конечно, конечно, почему бы и нет? – заявляла в пылу наших ссор ты. – Сваливается вдруг с неба приятная дамочка, вешается на

шею, лезет в постель – почему бы и нет? Какой мужик от такого откажется? Так ты меня и воспринимал всегда. Не было у тебя никакой любви!

– Черт бы взял тебя, Маша! – возмущался я. – Но ведь так все и было – в первый твой приезд! Ты захотела приехать – и приехала. Да, приятная дамочка. Да, именно так я тебя в первый приезд воспринимал – но потом, потом все было совсем иначе. Да ты же сама мне рассказывала – про «мое все». Ты вспомни, вспомни!

Да, рассказывала – про «другой раз»... Когда я, запив, перестал выходить на связь, и она подумала в очередной раз: «Боже, как хорошо, что все кончено, что все это совершенно теперь меня не касается!» И ведь не касалось, здесь она права. Не касалось день, и второй, и еще несколько – но внезапно проснулась среди ночи с точным знанием, что где-то там, в чужой странной стране, умирает этот человек – и скоро умрет, если его не спасти.

Ранним утром она в беспросветно спокойном такси добралась до аэропорта и мучительно медленным самолетом улетела в Москву. А оттуда поезд – хороший, но тоже неисправимо медленный – повез ее в мой город, и таксист непростительно мешкал, норовя захватить все без исключения пробки, и лифт полз умирающей черепахой... Зато дверь в квартиру не была заперта, и Маша – успела. Без Маши время мое, вещь хрупкая и большая, разлетелось бы, рухнув с балкона, в никому не нужные дребезги.

«Другой раз»... Он вообще был печален. Маша отвезла меня в больницу, забрала из больницы и сразу же едва не угодила в больницу сама: сделалось плохо с сердцем. Помню, как страшно было уже трезвому мне: не дай Бог с ней что-то случится! Но обошлось, и наутро, такое же, как все остальное, выкрашенное в цвет негромкой трагедии, Маша, заглянув серьезно в самые глаза мне, тихонько сказала:

– Когда ты пьешь, ты убиваешь не только себя. Теперь ты точно так же убиваешь и меня. И я, наверное, умру даже скорее. Если бы ты знал, как мне плохо, когда ты уходишь в эти свои запои – но чтобы прочувствовать это, нужно оказаться в моей шкуре... У меня сердце останавливается, и, кажется, остановится вот-вот. Ну и ладно. Все, что нужно, я сделала. Дети, в конце концов, уже большие. А муж – чужой мне человек. Я его не люблю. Полагаю, и он меня тоже – что бы там ни звучало на словах. Так что трагедии большой точно не будет...

Она не упрекала, нет – даже в малой степени. Мы пили кофе и курили в кухне, и Маша, голосом тихим, серым, как ноябрьское небо Тамбова, просто констатировала факты. Факты, ни один из которых

не был светел. Я молчал. Я не любил давать обещаний – в особенности тех, которые не смогу выполнить. Я видел, что она говорит чистую правду: за несколько дней она здорово постарела и выглядела совсем больной.

Оба мы были одинаково подавлены, потому что впервые настоящему осознали: все гораздо серьезнее, чем могло показаться вначале. И что делать с этим «серьезнее» – мы не знали. Оно явилось не спросясь и не дав нам выбора. Ни выбора, ни перспектив. Никакого будущего – для нас вместе – не было и быть не могло, и оба мы слишком хорошо понимали это. Все, что было у нас тогда – дважды пройденный замкнутый круг, по которому, может быть, нам дадут пройти еще несколько раз.

Разумеется, мы многого тогда не знали.

\* \* \*

Мы многого тогда не знали.

Я не знал, например, что больше никогда не притронусь к спиртному – это я-то! – а ведь так и вышло, и выяснилось это три месяца спустя.

Три месяца после того, как истекли десять совместных дней и Маша улетела к себе, я держался – а после, с полным осознанием своего ничтожества, купил положенных пятьдесят бутылок, побеседовал с Машей по телефону еще разок на трезвую голову, зная, что это долго теперь не повторится, если повторится вообще, налил первые сто, намереваясь поскорей проглотить и приглушить хотя бы слегка муки совести, хотя звучит это, применительно ко мне, смешно, поднес уж было ко рту – и не выпил.

Не выпил. Потому что вспомнил сказанное ею в последний приезд и представил отчетливо это картинку: я, здесь и сейчас, вливаю эту чертову водку в себя, и одновременно где-то там, за четыре тысячи километров, в другом городе и стране, самый дорогой мне человек получает порцию яда. И не пьянствовать я сейчас собираюсь, но насмерть травить человека, который когда-то уже оттащил меня от конца. Человека по имени Маша. Ядом. Это нужно было понять – и я понял. Как понял навсегда и другое – пока Маша со мной и любит меня, я пить не буду, точно. А если случится, что я умру раньше нее, – так и вовсе чудесно: значит, пить не придется вообще.

...Много позже я не раз спрашивал ее:

– Послушай, Маша, но ведь это невероятно просто: как ты вообще решилась связаться со мной? Ведь видно, видно было с первого взгляда, что я на последней стадии разложения находился, что

мне до могилы был ровно один шаг, и если бы я этот шаг сделал, то и жалеть обо мне никто не стал бы. Ты же понимала это?

– Понимала, – соглашалась Маша охотно. – Ты действительно был ужасен. Ах, как же ты был ужасен! – она мечтательно уводила в небо глаза, представляя. – Страшен, отвратителен, нелеп – я все это видела. У меня, не забывай, уже был опыт – с первым мужем. Так что все алкогольные штучки и все эти стадии разложения мне знакомы отлично.

– Ну? – продолжал не понимать я.

– Что «ну»? – передразнивала она. – Просто я видела, вот так вот, сходу видела и знала, что это – не твое. Это не твоя жизнь. Я видела и знала, что ты другой – и для другого. Знаешь, тебя все уже списали со счетов. Все как есть. И родители, и брат.. Никто не верил, что ты выберешься. А я знала: ты сильный и сможешь. Я же видела. Я была просто уверена в этом на все сто и, как видишь, не ошиблась.

– Невозможно! – упорствовал я. – Невозможно было увидеть это и рассмотреть! Ты же не ясновидящая, Маша!

– Не ясновидящая, – легко соглашалась она. – Зато бабушку мою вся деревня ведьмой считала. Поэтому и мне, похоже, кое-что перепало. Я ведь еще и этих твоих забрала!

– Кого «этих»? – недоумевал я.

– Да знаешь ты, кого, – начинала сердиться она. – Тех двоих, что мучили тебя годами. Знаешь-знаешь – не притворяйся. Маленький, с круглой головой, и другой – усатый. Это черти были, Сережа. Вот я себе их и забрала. Они месяца два еще потом ко мне приходили, помучивали ночными кошмарами, я даже кричала, помнишь, во сне – а потом исчезли. Предупредили, что больше не придут – и исчезли. Вот так...

В том, что говорила она, я слышал самую настоящую мистику: Маша рассказывала о вещах, которые мог знать только я, – но я никогда с ней разговоров на эту тему не заводил. Тайна. Тайна? Тайна. Маша вообще носила в себе сотни загадок, многие из которых так и остались неразгаданными мною до самого конца.

А тогда... Тогда были еще два ее приезда, как и прежде, на несколько дней, – разве что я был трезв да прибавлялось от раза к разу невысказанной, ходившей рука об руку с нами тоски.

Мы пробегали круг, мы проживали месяцы за пару дней, всего запасая впрок, чтобы дотянуть кое-как до круга следующего. Жадно раскрытыми ртами мы хватали утекающие непростительно минуты – и каждой старались насладиться сполна.

Мы, кажется, не выбирались из постели вовсе, истязая друг дружку самозабвенно и горячо – и каждый последующий раз был

азартней предыдущего. Только-только мы переступали порог квартиры, начинался непрерывный секс-марафон с элементами спринта – начинался, чтобы закончиться ровно за минуту до отъезда Маши на вокзал, да и то – с угрозой опоздания: времени катастрофически не хватало.

И в то же время мы много, много – сейчас кажется, бесконечно – и с удовольствием ходили по магазинам, накупая горы самых разных вкусностей, которые потом так же бесконечно и с тем же жадным удовольствием поедали – нам нужны были силы для постельных ристалищ.

При этом я замечательно помню, что мы любили подолгу просто лежать, сплетаясь телами – лежать и слушать наше общее сердце. Нам приятно было лежать так: без пространства и времени, без памяти и тоски, растворяясь друг в друге и в ощущении дарованного нам непонятно откуда горячего счастья. Лежать так, одним и единым «мы», тоже можно бесконечно, да так оно, кажется, и было.

И еще: когда Маша спала, я любил смотреть на нее, спящую. Усаживался на край кровати и смотрел – долго, долго. В первый дурацкий раз я даже не запомнил ее лица и потому наверстывал упущенное, смотрел и не мог насмотреться, это затягивало и грозило поглотить без следа, да я и готов был, и хотел – поглотиться: мне нужно было выучить, до самой малой морщинки, родное ее лицо на несколько месяцев вперед... Думаю, она чувствовала взгляд мой, потому что тихонько стонала во сне и спустя полчаса-час начинала водить рукою обочь себя, там, где должен был находиться я, – и я спешил улечься в постель.

Сейчас, по прошествии времени, создается ощущение, что на эти несколько дней наши с Машей субстанции, по неизвестной милости, раздваивались и даже раздесятерялись, и каждая из этих параллельных пар жила от начала и до конца исключительно своей задачей – чтобы мы могли как можно больше успеть...

Да, да, именно так и было: много, жадно и быстро, быстро, взахлеб – потому что вот-вот все должно было закончиться, и конечно же, заканчивалось, и я стоял на перроне – один, и перрон с поездом, разругавшись насмерть, устрашающе мчали в разные стороны, и все потому только, что нельзя, невозможно – чтобы людям было так хорошо...

Конечно же, я видел и другое. Я видел, что ей все тяжелее становится лгать, придумывая несуществующие поводы для визита к московской родственнице, и видел, что все более тяготит ее сама необходимость этого вранья.

Именно так: даже не измена мучила ее более всего – Маша счи-



тала, что нельзя, невозможно изменить мужчине, которого не любишь и не считаешь мужем; секс вообще для нее существовал лишь в приложении к любви – и потому в сложившейся ситуации неестественной для нее являлась необходимость спать с тем, кого она не любила, – необходимость, которой она старалась по возможности избегать... Не измена, но ложь, летавшая, словно маятник, смертным грузом над головой, причиняла ей наибольшие страдания.

Ложь уродовала и низводила наши отношения до уровня банальной интрижки, какого-то мелкого и пошлого приключения на стороне, хотя оба мы знали, что это не так. Ложь, даже приправленная какими-то оправданиями, была сама по себе блюдом мало съедобным – и потому, когда все внезапным образом раскрылось, мы испытали облегчение.

\* \* \*

Вообще, все происходило не так уж «внезапно». Не стоит сбрасывать со счетов Машиного мужа, о котором я не люблю вспоминать, но без него никак не обойтись: все же во всей этой истории он был лицом не совсем сторонним. Более того, вот подумалось сейчас: если бы у Маши с ним все было складом и ладом – разве появился бы я в ее жизни? Нет, нет и нет! С этим даже Маша иногда соглашалась – подчеркиваю: иногда. А если бы я не появился в жизни Маши или, точнее, она в моей, – разве существовал бы я теперь? Разве лежал бы сейчас в своей прекрасной каталонской глуши, решая замысловатые ребусы относительно того, кто там, кого и как разлюбил? Нет, лежать-то я, конечно, лежал бы, но в другой стране, и не в постели, а на Ново-Белицком кладбище, полагаю, – будь все у Маши с мужем хорошо. Как удивительно, прекрасно, nepocтижимо заплетается все в магический клубок, и потому, так уж выходит, Машин муж – персона совсем в этой повести, да и жизни моей, не чужая.

Достаточно долго муж существовал для меня в виде абстракции, о наличии которой мне было известно по косвенным признакам, в частности, по Машиным случайным упоминаниям. Были они очень нечасты, и все, что я мог понять из ее обрывочных высказываний, – это то, что прежней близости больше нет. Сам я, в особенности после ее приезда ко мне, эту тему старался не затрагивать вообще – в конце концов, это был Машин муж, а не мой, и регламент в этом вопросе устанавливала она. По-настоящему я осознал сам факт его материального присутствия только после того, как стало понятно, что у нас с Машей – не просто так.

К тому времени кое-что Маша стала рассказывать и сама, не о нем даже, а о них, о совместной их жизни, – не злословия и не оскорб-

ляя, но, напротив, пытаюсь максимально объективно объяснить и мне, и себе, почему случилось то, что случилось, – а именно, первая и единственная в ее супружеской жизни измена. Ей важно, очень важно было понять это самой – а заодно убедить меня в том, что случившееся – событие в ее жизни уникальное, выходящее из ряда вон. Впрочем, меня в этом убеждать не требовалось: я говорил уже, что почувствовал Машу – всю, до донца – едва ли не в первый момент знакомства, почувствовал и знал наверняка, что врать она не любит и не умеет.

Да, да, не умеет. Если бы даже муж был слеп, как четыре крота, все одно пребывать в неведении ему пришлось бы недолго: Маша, измучившись ложью, призналась бы ему во всем сама. Она и так не очень-то скрывалась. Как только серьезность наших с ней отношений обозначилась, она перебралась из супружеской спальни в закуток между кухней и прихожей, перетащив туда компьютер и туманно объяснив мужу, что для того, чтобы заниматься писательским делом, требуется абсолютное уединение. Из уединения этого ему удавалось вырывать ее все реже и все с большим трудом: как я говорил уже, плотские отношения без любви Маша считала все той же ложью, какую не переносила на дух. Согласен, можно понять и мужа и даже посочувствовать ему, далекому от всех этих тонких душевных материй – но любовь жестока, как ребенок, и авторитарна, как вахтер. Она не спрашивает и не предлагает, но безжалостно ставит в известность.

Сейчас, когда мы с Машей не вместе, я говорю об этом без всякого ерничанья и просто стараюсь быть максимально точным относительно всех троих – Маши, мужа и меня.

Первые подозрения... Первые серьезные подозрения в том, что Маша что-то скрывает, появились у мужа в связи с той самой книгой, в которой она приняла необъяснимо живое участие, и на обложке какой, а заодно и в жизни его, впервые проявилась моя хмурая и откровенно подозрительная даже мне самому физиономия. По словам Маши, муж сразу же невзлюбил меня, заочно и горячо, – что же, как выяснилось, нелюбовь эта оказалась пророческой.

Когда же Маша, уже после завершения всех книжных дел, зачистила в Москву к родственнице, с которой до того встречалась ровно трижды за десять лет, – подозрения эти только усилились. Да и не зря, в конце концов, они прожили столько времени вместе: не мог он не чувствовать, что с Машей что-то происходит. Когда подозрения обратились в уверенность, муж со свойственной ему царской прямоотой принял меры: нанял специалиста, взломавшего ее почтовый ящик. О, человеческое неумное любопытство! Наша переписка была

обильна и чиста – но явно не предназначена для его слегка близоруких глаз.

Хорошо помню Машин звонок:

– Ну вот, он все знает! Взломал мою почту, обнаружил наши письма. Наконец-то этот кошмар завершился, – она говорила тем неестественно ровным голосом, который бывает у людей в состоянии глубокого шока. И вместе с тем я видел, что она испытывает сильнейшее облегчение, как будто добралась, наконец, до дантиста и вырвала причинявший жестокую боль зуб.

– И что? Что там происходит? Как ты? – испуганно зачастил я вопросами. Я не знал, что бывает, когда муж обнаруживает измену жены. Мне не приходилось бывать мужем.

– Как и предполагалось, – отвечала Маша спокойно. – Рвет и мечет. Разбил вазу и с десяток тарелок. Вазу жалко – моя любимая. Была. А он – истерит. Орет, что все принадлежит ему и если я не одумаюсь, то сдохну от голода под забором. Это, собственно, я и ожидала услышать. Он и раньше намекал, что со мной, в случае чего, будет. Так, для профилактики, видимо. А сейчас бесится, визжит, как баба. Слюной брызжет... Противно. Я закрылась у себя – пусть успокоится, чтобы с ним хоть как-то можно было разговаривать. В общем, он не решил еще, как со мной поступить, – может вообще, по его словам, прощения мне никакого не будет.

Я ощутил, за четыре тысячи километров, как ее передернуло.

– «Прощения...» Господи, как же я рада, что он вскрыл эту почту! – искренне сказала она. – И как жаль, что я потратила на него двадцать лет жизни. Я ведь давно видела, что происходит, – но зачем-то терпела. Царь, видишь ты... Царек. Тьфу, мерзость. На твой счет прохаживается, естественно. В лучшем случае, говорит, этот алкаш и уголовник бросит тебя через неделю, а скорее всего – убьет. Зарежет по пьяни. Ненавижу. Не-на-ви-жу. Тьфу! Дура! Я дура. Как хорошо, что все закончилось. И врать не надо – я ведь с этим своим враньем хуже него была. И вина моя перед ним в том, что не нашла в себе силы рассказать обо всем сразу. А теперь – все. Давно нужно было... И ведь не знаю, что делать сейчас.

И здесь, милая Маша, в противовес всем твоим упрекам в том, что я никогда не любил тебя, хотел бы напомнить, что после слов твоих я, этот мизантроп и одиночка, я, этот отшельник и пустынный, – поразмыслив ровно секунду, сказал:

– Как это «не знаешь»? Тут и думать нечего! Приезжай ко мне – прямо сейчас! Вот прямо сейчас и приезжай!

Это один из немногих поступков моих, за которые мне не стыдно, – за то, что так недолго собирался с мыслями перед тем,

как произнести эти слова. А ведь раньше, до тебя, Маша, я бы, не колеблясь, постарался отмахнуться от проблемы и ляпнул бы, притом грубо, что-нибудь вроде: «Делай, что хочешь. Твоя проблема. Сама эту кашу заварила, сама теперь и расхлебывай. Силой тебя никто ко мне не тащил. Нужно было думать о последствиях».

За одинокие годы я привык к ней – к своей личной автономии, и ценил ее превыше всего. Тогда же – впервые в своей никчемной жизни я ощутил ответственность за другого человека. Знаю, звучит выспренно, но так и было. И так, с большим запозданием, началось мое настоящее взросление.

Именно в то время, когда самолеты и поезда приближали Машу ко мне, уже в «официальном статусе», и состоялся мой первый, «живой» разговор с мужем, в ходе которого он преподал мне тот самый урок житейской мудрости, но на этом свою бурную деятельность по возвращению блудной Маши в свой чертог не прекратил.

Мне, к слову, и вообще странно, как, прожив с ней два десятка лет, он так и не усвоил, что пытаться запугать Машу – дело заведомо проигрышное. Она действительно могла долго терпеть, но когда доходило до открытой конфронтации, любая попытка давления на нее давала эффект, прямо противоположный ожидаемому. Как и во мне, в ней был сильно развит дух противоречия – что позже не упростило нашу совместную жизнь.

Тогда же муж здраво рассудил, что еще далеко не вечер (так и было, на деле едва-едва занималась заря), и планомерно принялся воплощать свои угрозы в жизнь. Первым делом, в рамках программы экономического воздействия он снял со счета предприятия весьма внушительную сумму, предназначавшуюся на зарплату рабочим, и искренне (так и представляю его ясные, как родниковая вода, глаза) заявил Маше, что деньги, находясь в состоянии глубочайшего горя, он потерял – все, как есть, – и даже не помнит, как, когда и где это случилось. Гм, гм... Поверить невозможно, проверить нельзя, потому вопрос этот пусть остается целиком на его совести. Впоследствии, кстати, мы с Машей выплачивали этот долг два года – сам муж к тому времени успел покинуть страну.

Но все это было позже, а тогда – тогда сложно даже представить, как пришлось страдать мужу – в его-то царском положении. Ведь – царь! А воле царя не перечат. Царю не изменяют. От царя не уходят, а если все же уходят – то какой он, к чертовой матери, царь?! Баракло, прямо скажем, а не особа с божественным правом – и всякому это должно быть понятно. Его и бесило, что всякому – всему разномастному кругу их родственников и друзей, которые окопались здесь же,



или говорил, – однако, зная Машу, рассчитал он верно: одна только мысль об этом была для нее страшнее смерти.

Тут же она обзвонила всех трех (уже совершеннолетних и, кстати, способных понять все адекватно) и несколько успокоилась: никто и не думал от нее отказываться. «Муж номер два» попросту выдал желаемое за действительное – так и пнул бы его в ребра за дешевую и пошлую, как сам он, патетику!

И все же зерно сомнения дало всходы. Две недели я наблюдал, как Маша закрывается в себе – наблюдал, все более отчетливо понимая, что перспектива нашей с ней жизни в моей стране рушится безвозвратно. К концу этих двух недель она поняла, что жить вдали от детей попросту не сможет.

Что же, это так: ни тогда, ни после Маша не отрицала, что она – «сумасшедшая мать». Мы сели и обсудили ситуацию. Маша собиралась, по ее словам, слетать ненадолго в Барселону, созвать еще один семейный совет, теперь уже с ее участием, и расставить все точки над «i».

– Я просто хочу, чтобы дети знали всю правду – а не ту дрянь, которую он посчитал нужным им сообщить, – сказала она. – Уверена, они все поймут и не осудят. Но я должна убедиться в этом лично, глядя им в глаза. Это мои дети, и для меня это очень важно. И еще, – добавила она, – я хочу все же побороться с ним – за нашу общую фирму. Какого черта этот царек решил, что все принадлежит ему? Я, в конце концов, придумала этот бизнес, я когда-то пахала как проклятая, пока все не наладилось. Это я сделала его «директором» – и вот к чему это привело. Сама дура. А сейчас я просто хочу, чтобы он в присутствии детей еще раз рассказал, кому принадлежит все – и посмотрю, что он запоет. Одним словом, я должна быть там. Что ж, слетаю и сразу вернусь.

Полагаю, она верила, или почти верила в то, что говорила: слетает и вернется. Но я знал уже, и знал со стопроцентной точностью: как бы там у них ни разрешилось с мужем, жизни у нас с Машей здесь, на моей постсоветской родине, не будет. И даже если через месяц она вернется, то вскоре снова улетит – туда, к детям. И глупо было бы осуждать ее за это. Никакого права осуждать ее вообще за что-либо у меня не было. Да и не думал я, честно говоря, – осуждать.

В тот раз, провожая ее на вокзал, я совсем не был уверен, что мы когда-либо увидимся с ней еще. Я не был даже уверен, что она позволит мне, когда доберется до своей Барселоны. Вот такая история: все рушится, – и виноватых нет. Чтобы понять, что тебе по-настоящему дорого, нужно обязательно этого лишиться.

Если бы все происходило раньше, я знал, где утопить тоску. Я бы

попросту купил сорок восемь бутылок, плюс минус две, – и проблемы перестали бы для меня существовать, – все разом. А сейчас у меня даже такой возможности не было. Я решил, что первым ни звонить, ни писать ей не буду – пусть, если сочтет нужным, сделает это сама. И все скажет – все, о чем я и так уже догадывался.

Она не выходила на связь сутки, вторые и третьи – а потом, в неожиданную полночь, во тьме и спросонья, я бежал, сшибая углы, на грустно-задумчивый вызов Скайпа.

Звонила Маша, чтобы сказать мне то, что я и ожидал услышать. По родному, по любимому лицу ее я видел, что опять она ревела и, похоже, не одну ночь напролет.

– Ну что... Прилетела и собрала всех еще раз на семейный совет – и этого козла, и детей, – сказала она. – Сидели на террасе, говорили до утра. Попросила еще раз, при детях, повторить: кто здесь «всего добился сам», кто отправится «под забор». Начал было ерепениться, так я ему напомнила все обстоятельства нашей жизни. Долго напоминала – там есть что. Признал, в конце концов, что моего труда тут не меньше вложено, мягко говоря. Признал – хотя что это меняет... Сейчас, кроме обмана и подлости, от него ничего не добьешься. Господи, сколько же лет я слепой душой жила! Все связи и контакты теперь у него – и я сама же это и допустила. Но это ладно, это мы еще поборемся. Я о другом, о главном хочу сказать. Вот вернулась сейчас и поняла окончательно, что не смогу я без них – без детей. Не смогу. Они для меня все такие же – такие же маленькие и останутся такими всегда. Им нужна я – а они нужны мне. Как только этот козел поймет, наконец, что к нему не вернусь, – а я к нему не вернусь ни в коем случае, – то он тут же и думать про них забудет. Даже про мелкого, про родную кровь, – не говоря уж о старших. У него такое уже было – с первой семьей. Вычеркнул и забыл, как и не было их. Так и этих вычеркнет. А куда мои дети без меня? Кто им поможет? Какие они, к черту, самостоятельные – так, видимость одна. Вот так. Вот такая ситуация... Я бросить их не смогу. Сейчас я окончательно это поняла. И без тебя я жить не смогу тоже. Господи – что же это такое? Часто прилетать к тебе сейчас не получится: с деньгами все хуже, да и козел этот наизнанку вывернется, чтобы оставить меня вообще ни с чем. Он найдет способ, не сомневайся. У тебя тоже не те доходы, в твоей-то стране. Какие перспективы? Будем встречаться раз-другой в год, на несколько дней. На сколько нас хватит – не знаю. Не думаю, что надолго. Вряд ли мы это выдержим – долго. Есть ли выход? На мой взгляд, есть, и знаю, что ты и слышать о нем не хочешь. Но все-таки скажу: единственный выход – ты переедешь в Испанию, ко мне. Знаю-знаю, ты сейчас невыездной из-за судимости, но ведь через год,

ты говорил, ее снимут? Если бы, если бы ты согласился, – это был бы выход...

Я знал и боялся, что она это скажет. Боялся, что скажет, и знал, что эти слова в конце концов прозвучат. Я не хотел никуда ехать. С той поры, как я бросил пить, и у меня наладилось с работой, мне помаленьку начала нравиться жизнь здесь, на родине. Меня, как выяснилось с началом трезвости, любят ученики, уважают родители их, для которых я быстро сделался Сергеем Валерьевичем, и, что тоже немаловажно, я не так уж плохо, по местным меркам, зарабатывал. Не Бог весть что, но для начала трезвой жизни в своей стране – довольно прилично. Я не хотел уезжать в чужую и страшную Европу. Только-только я начал вставать на ноги, только-только я стал ощущать его – совершенно мне ранее незнакомый вкус трезвой и стабильной жизни, и тут – на тебе, новая неопределенность. Здесь дело не в том даже, что на тот момент я был, из-за прошлых грехов, невыездным. Дело в том, что я просто не планировал никуда выезжать. Не хотел я в эту их Европу – я привык к своей. Там, в чужом и чуждом западном мире не было ничего, дорогого мне. Ничего, кроме Маши. А значит, там было все. А значит, выхода иного у меня тоже не было – только переезжать, когда это станет возможным.

Так в моей жизни обозначилась смутным будущим контуром она – Барселона.

И пришел год Скайпа.

\* \* \*

Так и было: следующие одиннадцать месяцев – ровно через столько мог я пересечь границу – мы прожили с Машей под знаменами Скайпа.

В конкурсе на звание самого активного скайп-пользователя, вздумай кто его провести, мы с Машей легко взяли бы все призовые места, оставив в далеком хвосте любых конкурентов. Все время жизни, за исключением отлучек из дому по работе или в магазин, мы с Машей были вместе благодаря этому замечательному изобретению.

Поначалу, конечно, мешал «муж номер два», никак не желавший смириться с приставкой «экс». Какое-то время Маше приходилось делить с ним жилплощадь – и время это он затягивал намеренно, не оставляя надежд вернуть восставшую супругу в лоно.

Убедившись, что угрозами с Машей не совладать, он пробовал было давить на жалость. Не раз и не два Маша, проходя на террасу курить, заставляла его лежащим на диване, с рукой, крепко прижатой к тому месту, где у хороших людей обычно бывает сердце, – с видом самым что ни на есть страдальческим. Обмирая от страха, цепenea от



оживающего мгновенно чувства вины, бросалась она на помощь, тащила лекарства, ухаживала, хлопотала – и неизменно страдала при том: ведь все муки этого человека – из-за нее!

Когда подобная история повторилась раз пятнадцать без каких-либо последствий для здоровья бывшего супруга, она заподозрила, что ее водят за нос. Как только она это поняла, и реагировать стала соответственно: вызывала с бесстрастным лицом «неотложку». Здоровье мужа резко пошло на поправку, боли в области сердца прекратились так же внезапно, как и начались.

Тогда в срочном порядке он поменял тактику и стал при каждой возможности попадаться Маше на глаза с видом возвышенным и томно-печальным и норовил завести беседу из области высоких чувств, всячески давая понять ей, что, невзирая даже на измену, он продолжает любить ее и будет любить вечно и не посмотрит более никогда в сторону других женщин, потому что никаких женщин, кроме Маши, для него не существует, – вот такая у него любовь! Сильная, благородная и на всю жизнь. Маша неопределенно кивала и почему-то не спешила верить.

Убедившись, что нежностями ее тоже не пронять, он развернулся в сторону глубокого домостроя и попробовал выйти на сцену в образе настоящего сурового мужика, властелина и хозяина – то есть того же царя, но с брутально-народным уклоном.

Хорошо помню, как во время нашей беседы в Скайпе вдруг в дверь ее кабинета, запертую на защелку, сильно и властно постучали и властным голосом грозно потребовали открыть. Маша вежливо просила его уйти – в ответ в дверь забарабанили сильнее.

– А что если сломает? – спросил, опасаясь, я. Мне не нравилось наблюдать за происходящим, сидя за четыре тысячи километров.

– Да может, пожалуй, и сломать, – признала Маша раздумчиво. – Кормила я его хорошо, опять же – в спортзал регулярно ходит, тренируется. Почему бы и не сломать? Здоровья хватит!

Тут же, в подтверждение слов ее, раздался оглушительный удар, Машин спонтанный крик, мелькнула тень, экран взметнулся вбок и вверх – и связь прекратилась, будто и не было ее вовсе.

Охваченный липким мгновенным ужасом, воспоминание о котором живо и посейчас, я лихорадочно нажал кнопку вызова – тщетно. Маши не было в сети. И только ли в сети? Эта черная молния, этот ее отчаянный крик, обрезанный зловещей тишиной... Что, что сделал с ней этот маньяк? Жива ли она вообще?

Руки мои дрожали, пальцы плясали Виттом и метили мимо цифр ее номера – но я все-таки набрал его – все зря, зря! В панике метался я в тесной клетке квартиры, за пять минут уничтожил шесть сигарет

и звонил, звонил, набирал номер не переставая, охваченный мрачайшими предчувствиями, – и едва не вскричал и не восплакал от радости, услышав, наконец, голос Маши.

– Что, что эта скотина с тобой сделала?! – я убью его, гада, разорву на части, если он тебя хоть пальцем тронул! Если хоть волосок упал с твоей головы... Скотина! Тварь! Убью! Маша, Маша, ты цела?! Убью!! – ревел я тогда, помню, гласом трубным и диким в своей первобытной мощи, сожалея безмерно, что меня нет сейчас рядом с ней.

– Кишка у него тонка меня пальцем тронуть, – отвечала Маша спокойно и даже весело. – Никогда такого не было и не будет. С рук ему это не сойдет – он знает. И всегда знал. Ишь ты, иван грозный какой выискался... А вот ноутбук расколотил мне, да. Отправила его покупать новый – и пусть только не восстановит мне все через час! Эй, эй, что ты! Ты там не волнуйся так – я за себя смогу постоять.

А я плакал, на самом деле плакал, не стыдясь, от радости – что она цела, жива, и я слышу родной ее голос.

«Второй номер», однако, не унимался. Вскоре Маша позвонила в слезах.

– Осторожней ходи по улицам, а вечером и вообще из дому ни ногой, даже за сигаретами! – инструктировала сквозь слезы она. – И дверь входную не забывай запирать, как следует. Этот козел нанял киллеров!

– Каких еще киллеров?! – удивился я. С появлением Маши моя жизнь сделалась гораздо разнообразней.

– Обыкновенных! – отрезала, продолжая слезиться, она. – Жорик, есть тут бандит один, из знакомых, случайно проболтался. Не знал еще, что мы разошлись. Твой-то, говорит, грохнуть, что ли, кого задумал? Пересекались на днях, так он расспрашивал все: что да как, да почему, и какие у меня связи-выходы, и какие сроки – в общем, проявлял конкретный интерес. Кого, Жорик меня спрашивает, валить-то твой ненаглядный собрался, – я так там и обмерла вся. Проверь замок – закрыто ли? Я сразу домой, давай припирать этого гада к стенке – он, конечно, юлит – дескать, ни сном ни духом, какие еще киллеры, – но я-то его как облупленного знаю. Вижу, врет, врет, да еще и улыбается так подленько. Нанял, гад, или наймет вот-вот обязательно – тем более, что и расценки у вас там бросовые. Я его предупредила уже: если хоть волос с твоей головы упадет, ему, гаду, не жить тоже, ни дня, ни часа, – пусть знает. Теперь ты, говорю, не киллеров, а охранников ему нанять должен – если собственная шкура дорога. Проверь замок – заперто ли. Не «угу», а сходи проверь! Господи, за что мне это все!

Она зарыдала в голос, а я, холодея от любви, от нежности к ней, несвойственным мне шалыпинским басом утешал, успокаивал, стара-

ясь, чтобы голос мой звучал максимально солидно, говорил, что все это пустяки и пусть только попробует, и у меня свои, в конце концов, связи с прошлым миром, и голыми руками меня не возьмешь...

Как же я любил ее за то, что она плакала и убивалась из-за меня! Никто и никогда, с тех пор как я ушел по кривой тропе чересчур далеко и, заблудившись, растерял людей и остался один, – никто и никогда не плакал из-за меня, не боялся за меня, не тревожился обо мне – а ведь всякому, даже самому плохому, самому волчьему человеку важно знать, что кому-то он дорог...

По-моему, мне удалось ее успокоить, а сам я принял угрозу не очень всерьез – хотя, памятуя Машины слова о «бросовых расценках», с месяц, наверное, ходил внимательно, в каждом плохо одетом встречном подозревая бюджетного киллера, вынужденного работать по постыдно низким белорусским тарифам. В завершение этой темы скажу – меня так, в конце концов, и не убили.

Через пару недель после «киллерского эпизода» муж, наконец, несколько притих и съехал в замечательный дом в пригороде.

– Одной только одежды набралось двенадцать чемоданов, – не без гордости делилась Маша. – Он у меня досмотрен был, одет, обут, и вообще – как сыр в масле катался. Вот только за собачку дрессированную зря меня принимать начал.

Вскоре после переезда интернет-сайты знакомств запестрели красивыми фотографиями ее бывшего супруга. «Вечная любовь» к Маше, задекларированная мужем за пару недель до того, приказала, похоже, долго жить.

Было действительно забавно: муж на фоне непомерной виллы, муж на фоне гигантской яхты, муж на фоне огромной черной машины. Снимки сопровождались комментарием: «Все получилось, и все в этой жизни есть, не хватает только тебя: нежной, любящей, покладистой и миловидной женщины без детей в возрасте от 24 до 35 лет».

Из всего имущества, запечатленного на снимках вместе с ним, мужу принадлежал только грузовой, купленный в кредит, джип – остальное было позаимствовано в качестве фона у более крупных махинаторов, причем явно без их ведома. Зачем? Зачем? Бог знает – ведь у него были тогда и свои доходы, более, чем достаточные, чтобы «покладистые и миловидные» помчались на зов его любящими и нежными табунами. Понять его нелепую, хотя и невинную, по сути своей, ложь, было сложно – хотя комический эффект, надо сказать, удался.

Кстати, тогда, на этих фотографиях, я впервые увидел его – силою обстоятельств совсем не чужого мне отныне человека. Как

вскользь обмолвилась ранее Маша, внешне он действительно являл собой довольно качественную копию знаменитого в прошлом актера Чака Норриса. О том, похоже, мужу было известно, – и потому сходство это явно культивировалось и доводилось до максимально возможной степени, вплоть до легкой каштановой гривы и густеньких, идеально подстриженных, выполненных, я бы сказал, из редчайшего и дорогого меха, усов – все это, разумеется, «а ля Чак». Да и вообще, справедливости ради, должен признать – он и в самом деле был очень ухожен, аккуратен, невелик и ловок, неброско и явно дорого одет и в точности подходил под определение «сыра в масле», данное ему Машей.

Скажу более: с прискорбием я должен был признать, что сам, даже бросив пить, не обладал и десятой долей солидности, присущей «второму номеру». Я по-прежнему напоминал все того же диковатого пролетария с исподлобным взглядом и явно уголовным прошлым – к величайшему моему сожалению. Что до «второго номера» – он смотрел в объектив с легким мужественным прищуром, выдававшим человека умудренного, познавшего жизнь и борьбу и вышедшего из этой передраги победителем.

Если бы годность человека определялась исключительно его внешним видом, муж мог бы стать мне образцом для подражания до конца моих дней... Впрочем, снова вру! Была, была все же в этих фотографиях неуловимая червоточина, заставлявшая заподозрить обман – возможно, чужие яхта и дом; может быть, не своя, а позаимствованная у голливудского идола, внешность... Не исключаю, впрочем, что во мне говорит моя предвзятость и никакого такого обмана там не было.

– Если бы ты знал, – сказала тогда Маша серьезно, – как я хочу, чтобы он нашел ее: эту нежную, покладистую и послушную! Все-таки я заставила его страдать – а он мне не чужой, и никогда уже чужим не будет. Пусть он найдет себе нормальную подходящую бабу и будет счастлив. Пристроить бы его – я бы и совсем была спокойна.

И в этом тоже была вся Маша.

В этом же заключалось одно серьезное различие между Машей и мной. Я не знал и так и не научился признавать полутонов в отношениях с людьми. Для меня существовали лишь друзья или враги – промежуточных категорий предусмотрено не было. Если враг становился другом – я не помнил за ним ни грана зла, из-за чего часто бывал обманут вновь. Если друг становился врагом – я старался вычеркнуть его из жизни и скорее забыть, как если бы его и не существовало – ни в моей жизни, ни вообще.

Не то у Маши. Она не умела забывать плохое, но не могла вычеркнуть из памяти и хорошее. И потому совершенно естествен-

ным для нее было жарко негодовать по поводу очередного подлого обмана «мужа номер два» – и в то же время радоваться его удачам в личном плане. Она могла всю костерить несложную, как пробка, подругу за сто первую оскорбительную глупость, сказанную или сделанную в отношении Маши, – и без колебаний бросалась на помощь ей, как только в том приходила нужда.

Иными словами, Маша умела помнить людей – я же умел только забывать и, находясь рядом с ней, несостоятельность свою в плане энергетических запасов души ощущал порой очень остро – как ощущаю и сейчас.

Да, все верно, и по зрелом размышлении это очевидно: я не то что бы не способен был любить – нет. Однако по причине душевной скудости любви моей, как правило, хватало лишь на одного человека, да и то любовь эта, выходит по всему, была далека от идеала, если сейчас, думая обо всем этом, я лежу под дубовым своим потолком совершенно один.

Но это сейчас, а тогда, разделенные четырьмя тысячами километров, мы были как никогда с Машей близки. Благодаря Скайпу я переселился в квартиру, где обитала на тот момент она, задолго до своего физического появления там. Задолго до того, как нога моя переступила порог ее жилища, я успел изучить все изощренные изгибы испанской планировки и знал ее, пожалуй, не хуже самой Маши.

Вместе с Машей я варил в кухне кофе, ходил длинейшим и узким, в три доски, коридором на террасу курить; поливал цветы, а потом любовался морем черепичных крыш, простирившихся во все стороны света; был невольным свидетелем деловых приездов мужа – Маша намеренно не отключалась от дел, да и у него не было оснований на том настаивать.

Благодаря Скайпу мы вместе с Машей ложились спать и вместе вставали, более того – мы были вместе даже во время сна. Более того... Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что Скайп давал нам возможность делать все, за исключением одного: прижать другого к себе и услышать его синхронное сердце. Связь, как я говорил уже, работала все время, пока двое из нас двоих находились одновременно в пределах своих квартир.

Благодаря Скайпу я сделал и то, что считал самым сложным, – познакомился с Машиними детьми. Младший еще жил с ней, а старшие по очереди навещались через воскресенье, так что, непривычно побаиваясь, я пережил одно за другим целых три виртуальных знакомства.

Скажу сразу: все мои страхи оказались напрасными: замечательные дети полностью признавали за Машей право выбирать – кого

любить, а с кем расстаться, так что и на меня никто никакого зуба, как я опасался, не держал. Дети были милы, современны, велики размерами и чисты душой. Они много и хорошо улыбались и тщетно старались казаться взрослее своих прекрасных около-двадцати. Спасибо тебе, Скайп, – немалая глыба скатилась с моих широких сутуловатых плеч после этих знакомств, и я ходить-то даже стал прямее.

В этот предшествующий моему переезду год мы с Машей смогли увидеться вживую всего один раз – по причине жесткой нехватки финансов. Все, что зарабатывал, я пускал на погашение судебных исков по прошлым моим грехам – иначе меня никто никуда из страны бы не выпустил. Машу, помимо того, что терзал мировой кризис, так еще и обманывал с видимым удовольствием муж. Если ей даже удавалось поймать его за руку и уличить в обмане по самым свежим следам, он ничуть не расстраивался.

– Так что теперь выяснять-то: было – не было, утаил – не утаил? – спрашивал философски он, глядя на Машу глазами доброго друга. – Ну было, было, взял левака, и денег поднял прилично – да только потратил их уже все. Куда, как – сам не пойму, бя... Знаю, знаю, что дело общее и доходы пополам – так и хули толку с этого знания? Кредит на машину, аренда, потом ремонт затеял кое-какой, лодку купил, опять же... Оставлял, конечно, и тебе немного, все собирался завезти, да вот ушли куда-то... Знаешь же, как деньги уходят...

Объясняя, бывал он открыт, добродушен, улыбчив, и лишь на мутном доньшке голубоватых глаз его лежала злая и честная фраза: «Хрен тебе, а не деньги!» Естественный гнев Маши был ему самым что ни на есть бальзамом на душу – и хорошо, что она вовремя поняла это и научилась сдерживать эмоции.

И все-таки что-то мы наскребли, что-то выкроили, и он случился – этот единственный за Год Скайпа раз, самый короткий и самый веселый из всех. Да, невзирая и несмотря – веселый: мы двигались навстречу друг другу, и от финала нас отделяли всего три осенних месяца.

Встретились мы на нейтральной территории, в стольном городе Минске, где сняли квартиру на площади Якуба Коласа, рядом с возлюбленной Машей Комаровой.

Жутко хромая (внезапно вскрылись старые раны, и связки на левой ноге совсем разбаловались), я прибыл в Минский аэропорт с перекошенной от боли физиономией и букетом красных роз – и полуслепыми от виртуальной жизни глазами выглядывал свою ненаглядную Машу, а она не шла и не шла. И все, кто прилетел,

давно получили багаж и вышли, и я уж занервничал, после заволновался, в конце концов, почти запаниковал – и при этом не обращал никакого внимания на какую-то пацанку в облипучих джинсах и выдавшей вида бейсболке, которая то выхаживала фигурной лошадкой, то вставала и пялилась на меня слишком уж пристально, да при том еще и подсмеивалась белозубасто... А после пригляделся: Бог мой! О... Это была моя, самая единственная моя Маша, сбросившая семь килограммов и семнадцать, как минимум, лет. Так вот смотрела – теперь уже просто огромными на исхудавшем и похорошевшем лице глазами – и засмеялась, не сдерживаясь, вовсю.

Десять месяцев – большой, оказывается, срок. В такси я и не говорил ничего – только жал осторожно да гладил легко тонкую, с синеватыми жилками, ее руку, и молчал, и поцеловывал палец за пальцем... А уж потом... Всякий, кто любил, знает: для влюбленных три дня – не дольше сумасшедшего получаса. И снова мы были голодны – и ежеминутно что-то поедали. Не выбирались из постели – и обхромали (хромал я, Маша приспособлялась) половину имперского Минска. Просыпались к полудню – и не спали вовсе. И расставание впервые у нас проходило не под медь похоронного марша. Что такое три месяца, если мы уже смогли выждать беспримерно больше?

\* \* \*

А потом остался и вовсе один месяц, и счет побежал на дни.

Скажу прямо, никогда в своей жизни не праздновал я такого беспримерного труса, как в эти тридцать дней. Так уж получилось, за годы предшествующей нежизни я совершенно – и совершенно естественно – окостенел душою, отупел и отвык от многих человеческих чувств, в том числе и от страха.

Это объяснимо: чего бояться тому, у кого ничего нет, а значит, и терять ему нечего? За годы небытия я превратился в абсолютного материально-духовного пролетария, у которого из собственности имелись разве что цепи былых ошибок, не нужные никому. Теперь же все изменилось, я был баснословно богат обретенной заново жизнью и, как и всякий новый миллионер, панически боялся утратить свалившееся на голову сокровище. Боялся я ежесекундно, всего и по всяким поводам. Впервые я прочувствовал на себе, что означает слово «терзать»: вечноголодной нильской рептилией страх тяжело ворочался внизу моего живота и глодал кровящую плоть, откусывая каждый раз по изрядному куску и причиняя острейшую боль, буквально выедавая меня изнутри, – страх был вещественен, осязаем и неизбежен, как старость и смерть.

Я – боялся.

Мучительно боялся покинуть свою родину и страну: ведь за время трезвости, пришедшее с Машей, я начал уже кое-как укрепляться на коре белорусской планеты. Я наработывал клиентуру, репутацию, и дальше, полагаю, все шло бы только по нарастающей – а что ждало меня там, в чужой запиренной стороне? Ни ясности, ни работы, ни денег, которые я должен обязательно зарабатывать, – иначе как мы будем выживать?

Неизвестность, неизвестность, неизвестность – от которой я начал уже за стабильный свой год отвыкать. Я знал, что в Испании лютует кризис и беспредельничает безработица – Маша не считала возможным скрывать это – и, повторюсь, до дрожи боялся я оторваться от корней и повиснуть в неопределенности.

А если все же мне удавалось кое-как перебраться через первые барьеры страха и заглянуть в возможное будущее – там ждали ужасы еще более серьезные: а ну как не удастся мне вовсе чего-то добиться там? А ну как не получится совсем ничего, и мы с Машей должны будем побираться на барселонских папертях, под закулисный злоедающий смех изверга-мужа?

Страх неудачи, малодушный и жестокий страх неудачи не давал мне покоя недели эдак две. В конце концов, доведенный до тотальной бессонницы, понимая, что так дело не пойдет, я сел за пустой и чистый кухонный стол, выпил большой стакан холодной воды и негромко, неспешно заговорил с собой вслух – как и всякому одинокому человеку, мне к подобным диалогам было не привыкать.

– Вот что же ты, тварь, делаешь? – ласково спросил себя я.

– Боюсь. И у меня есть основания, – тихо, с глубокой убежденностью ответил я себе.

– А вот задай себе простой вопрос, – предложил себе я. – Есть ли хоть малый смысл во всех этих страхах и терзаниях? Основания есть, не спорю, – а смысл? Чтобы понять это, ты должен ответить себе на другой вопрос: ты твердо решил уехать? Ты хорошо подумал? Ты все взвесил? Чего тебе хочется больше – уехать или остаться? Определись раз и навсегда.

– Я определился, твердо, окончательно, раз и навсегда. Я хочу уехать. Там Маша, которая ждет меня. А если там Маша – значит, там все. Я твердо решил уехать, – сказал я еще раз.

– А если ты твердо решил уехать и уедешь, так какой сакральный смысл во всех твоих страхах: «не знаю, что меня ждет, не будет работы, не получится, не смогу...» Тьфу, дрянь! Что за плач Ярославны? Как бы ты ни боялся, ты все равно уедешь. А значит страх твой не влияет ни на что – и, следовательно, не имеет никакого



смысла. И если так – зачем бояться и портить себе этими страхами жизнь? Уж лучше без них. Ты так не считаешь?

– Пожалуй, ты прав, – согласился с собой я. – Без них, конечно лучше. Но не так-то все просто. Я бы и рад не бояться – да только не получается.

– Все получается! – возразил я себе. Понять свой страх – значит, победить его. Ты понял – а теперь загляни внутрь себя еще раз: где он, твой страх?

Я заглянул, поискал и с немалым удивлением обнаружил, что страха действительно нет, – разве что тень его маячила в дальнем переулке. Положительный эффект самотерапии был налицо.

Радоваться, однако, пришлось недолго – страх крутнулся дуликим Янусом и коварно явил мне другую свою физиономию: теперь я не менее истово боялся, что меня, со всеми моими прошлыми грехами, не выпустят за пределы страны. Собирая все эти необходимые для выезда документы: бумаги, бумажищи, бумажули, бумажки, бумажечки и бумажонки, я так и ждал, что вот-вот на какой-нибудь из стадий нарушится сцепление шестерней, машина вздрогнет всем гремучим телом, скрежетнет и застынет в глухую, и глаз бумажного командира нальется подозрительной кровью, и застынет рука, занесшая было печать, и печать так и не хлопнет отпустившей меня на свободу дверью...

Однако все получалось, хотя на пределе и грани. Паспорта с проставленными в Минске визами привозили в наш город по четвергам, уезжал я в пятницу – и надо же было статься так, что среди множества привезенных документов не оказалось единственного – разумеется, моего. Мой паспорт попросту затерялся и остался лежать в столице.

Ждать следующего четверга было смерти подобно: уже были куплены билеты, и Маша мчалась на загруженном едой бывалом введорожнике во Вроцлав, где должна была забрать меня с поезда и повезти, с ночевками в разных странах, за свои Пиренеи; и сняты были отели, и уплачены деньги, которых попросту не хватило бы, чтобы все это повторить... И я уж снова паниковал, и сжимался в бессильной тоске костистые мои кулаки, и ситуация казалась безвыходной...

Но было, было Божье крыло, и тут же, сию секунду, не успел я еще и выругаться в непонятно чей адрес, хряснуть по любому столу и пасть окончательно духом – как волшебством и мгновенным чудом обнаружилась спущенная с небес оказия, с которой из Минска и обещали передать мой забытый паспорт следующим утром – и ведь передали! Так я его и получил: в самый что ни на есть притык, в утро того самого дня, вечером которого поезд должен был везти меня в Брест и дальше.

Еще я съездил к матери, чтобы расстроиться, – мама пила и вряд ли поняла даже, что я собираюсь поменять страну. Зашел на работу к отцу, который уже, кажется, начал верить в мое исцеление и, уверовав, относился ко мне предупредительно-нежно. За Машей, кстати, отец сразу признал святую – в один из приездов я их познакомил – и почему-то побаивался ее, уж не знаю из каких соображений.

Мы выкурили с отцом по сигарете, уговорились, что вечером он придет проводить меня на вокзал, где я отдам ему квартирные ключи... Эх, папа, папа – оба мы были не без греха, больше, разумеется, я, чем он, и нормальные отношения у нас с ним так и не сложились. Не успели сложиться. Теперь могли бы – ведь я был иным – но вечером поезд должен был везти меня в Брест, оттуда во Вроцлав, и через две недели, когда истекал срок визы, я возвращаться на родину не собирался.

От отца я отправился на квартиру и всю дорогу волочил за собою тяжелый и длинный, пахнувший серой хвост вины. Станный, странный и скорбный то был день... Истекал целый период моего бытия, за туманной границей ждал новый, и я, мимо воли и неизбежно, как паломник в пути, подводил итоги тридцати с лишним отбытых на земле лет – и итоги эти были неутешительны. Всюду и всегда, за малыми исключениями, я сеял вокруг себя ненависть и страдание, а хорошие дела, сотворенные мною за эти годы, легко уместились бы в горсти одной руки. Грустно, грустно – и я грустил почти с упоением.

Дома я заварил чай, посидел немного, разглядывая две двухпудовые гири на верблужьем коврикe у стены – знак моего возвращения к здоровой жизни – и позвонил Маше: единственный светлый, в две минуты длиною, проблеск на скорбном небосводе дня. Маша была весела и уже во Вроцлаве. Задумка эта – не просто принять меня, но провести на авто через всю Европу, – целиком и полностью принадлежала ей. Уже тогда со щедростью вселенской богини Маша начинала дарить мне страны и города. Она долго подсчитывала, прикидывала, взвешивала «за» и «против» и, наконец, решила, что мы можем это себе позволить.

О Маша, Маша... Все свои нынешние воспоминания под дубовым потолком я затеял с одной целью: разобраться, почему не люблю тебя больше, – но ничего, ничегошеньки из этого пока не выходит: может быть потому, что я в жизни научился не врать самому себе... Мы не вместе. И почему так произошло – я разберусь обязательно. Для того и затеял нелегкие эти воспоминания. Во всем я люблю ясность – ясность, дающую покой. Но пойдем дальше.

...Позвонив Маше, я еще побродил по пустоватому жилищу, еще

раз вывалил из сумки на кровать и проверил необильные пожитки, из каких половину составляли десять экземпляров той самой, с глазом на обложке, книги, после сложил все обратно – и ощутил внезапным испугом, что до отъезда остается пять часов, и почему-то снова не верилось мне, что все пройдет гладко.

«Почему-то»... – да потому, что знал, знал я уже и убеждался не раз: зло, отпущенное тобою на волю, слишком тяжело, чтобы воспарить и затеряться в чужом пространстве, но, повинувшись непреложному закону тяготения, рано или поздно падет на твою же неумную голову обратно. Этот закон есть, он работает, путями порой изощренными и непрямыми, неявными и непонятными – но только на первый взгляд.

И потому, когда в дверь мою позвонили, я не удивился. Я знал, что звонок этот не несет в себе хорошего: может быть, вскрылись какие-то прошлые мои грязноватые дела, ускользнувшие ранее от внимания правоохранительных органов, и теперь лучезарный дознаватель топчется в охотничьем азарте у двери, чтобы допросить меня, прямо здесь и сейчас, допросить и взять подписку о невыезде... Или хуже: забрать меня с собой и посадить в клетку – по закону он может сделать это и продержать меня там семьдесят два часа. Или еще непоправимее: уже получен у прокурора ордер на мой арест, и сейчас я и вовсе в сопровождении оперативников поеду отсюда в тюрьму... «На тюрьму» – так принято говорить в тех кругах, о которых я начал уж было забывать – но, похоже, рановато.

Лихорадочно прокручивал я в голове все былые, до Маши, преступления, за которые еще не ответил перед законом, и по всему выходило, что каждый из трех неприемлемых для меня сейчас вариантов возможен. Не буду, не буду и не стану открывать, думал я, – только уйдите, не лишайте меня встречи с самым дорогим мне человеком, ночью я исчезну и никогда не потревожу вас больше, – но звонок не унимался, раздражительным своим дребезжанием заводя помаленьку и меня.

Какого черта? Что еще надо этим уродам? Я год выплачивал все долги по судам, я выплатил все эти ущербы и штрафы; да, я причинял боль, я творил зло, но, как бы ни было, никогда в этой жизни не изнасиловал и не убил; я не обворовывал церкви или детские дома, не продавал стратегические секреты родины и не брал взятки в размере бюджета африканской страны... – какого черта вам нужно от маленького, заплутавшего когда-то, но давно уже нового меня?! По возможности тихо, на тяжелых цыпочках (за год трезвости весу во мне сделалось на двадцать два кило больше), я вышел в коридор и стал у двери. Какое-то время с обратной стороны топтались и молча-

ли, после затрезвонили снова, и более того: принялись лупить в гулкое дерево ботинками и кулаками одновременно, да еще и орать разухабисто на два подъезда. Терпение мое вышло, да и едва ли, судя по звукам, это были представители власти, – я схлопнул губы в тонкую полосу и отворил.

На пороге сиял золотым зубом Пушкин. Мы познакомились и сошлись с ним в тюрьме. Там нельзя и невозможно быть одному, вот мы и держали на пару с ним совместное хозяйство и имущество, состоявшее из того, что попадало к нам в передачи родственников. Прозвище свое – «Пушкин», не лишенное тонкого арестантского юмора, он получил за абсолютное отсутствие растительности на тяжелой лобастой голове. К тому же звали его Александром Сергеевичем. Пушкин был такой же жестокой заблудшей овцой, как и я, и в тюрьму точно так же попадал по пьяни и глупости – поэтому, должно быть, мы и сблизились с ним в свое время. Но тогда, наблюдая на пороге его массивную лысину, я знал, что все не ко времени и приход его вряд ли кончится добром. Он уже был изрядно пьян, оживлен, бесшабашен и рад встрече со мной.

– Вот, братуха, я и откинулся, – сказал он. – Ты что тут затихарился? Оперов, что ли, ждешь? Я думал уже, что никого дома нет – и ушел почти!

Мы обнялись, обхлопали спины, обменялись рукопожатием и, ругая себя жестоко за отсутствие выдержки – ну что стоило мне еще минут пять подождать, пока он уйдет? – я провел Пушкина в квартиру, зная, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Так и случилось.

Когда я отказался пить с ним, он ошарашенно выпрямился на стуле всем своим длинным костистым телом и уставился на меня в упор. В глазах его заструился сизоватый дымок близкого бешенства, которое, знал я, вот-вот прорвется наружу. Этой взрывной неподконтрольной яростью он и зарабатывал себе каждый раз срок. Он был неплохой и даже хороший парень, этот Пушкин, иначе мы бы не сошлись с ним, – но я знал, что не смогу ему ничего объяснить.

– Так, значит, – сказал он медленно. – Значит, так. Чалились с тобой, семейничали, баланду вместе хлебали, разговоры вели... Ты мне, когда раньше вышел, передачи на тюрьму засылал, помню – хорошие передачи... Забыл, что ли? Я вот не забыл... Я же тебя братаном своим считал, Серый. Только вчера с кичи, не успел еще с жены слезть – и сразу к тебе. Давно, думаю, не видать, не слыхать – посмотрю, чем брат мой дышит. Посидим, за жизнь побеседуем, как бывало, – а тут вон оно что... Тут старые связи, вижу, больше не канают, и знать меня, смотрю, не хочет никто... Так нормальные пацаны не поступают...

По задумчиво-неспешной речи его я видел, что Пушкин еще скользит, опускаясь в бездну нанесенного мной оскорбления, но вот-вот достигнет твердого дна: той самой точки понимания, с которой ему останется только атаковать.

Не мог я ему ничего втолковать, да, думаю, и смысла в том не было: он уже услышал все, что хотел, услышал и понял все, что ему было нужно, – и теперь туго и верно выходил на линию атаки, которая для него заканчивалась обычно тюрьмой, а для оппонента – это как повезет.

– Значит, не будешь со мной пить за волю мою? – спросил он еще раз, подытоживая.

– Не могу, Саша, и не буду. Рад, что ты вышел, но пить не буду. Не могу. Ты прости, это мое последнее слово, – отвечал я, и понеслось.

Какое-то время я наблюдал пару бешеных скачущих его глаз на уровне своих. Несколько раз он пытался ударить меня и даже попал, довольно чувствительно – парень он был жилистый и здоровый. Когда дерешься, смотреть нужно в глаза, а бить в подбородок, и хорошо, когда кулак знает, где он, этот подбородок, находится. Мои кулаки еще помнили, как находить нужную точку: «опыт не пропьешь» – так говаривал в армии старшина Гриценя. Кулаки мои умели искать: раз, еще раз, еще и еще – глаза Саши Пушкина провалились и упали синхронно на пол, а я рванулся за ними. Какое-то время мы повозились на бледно-зеленом ковре: Пушкин был вцепист и силен, я же, набрав вес, сделался неповоротлив. В конце концов, мне удалось мертво припечатать его руки к коврику и держать так.

– Скажи, что не будешь больше дергаться, и я сразу тебя отпущу, – тяжело дыша, попросил я его.

– Угу. Не буду. Больше. Дергаться, – рот его был полон тягучей алой слюной, мешавшей говорить: похоже, я попал раз-другой выше, чем следовало, и разбил ему губы. Впрочем, и моя скула набухла все более.

– Точно не будешь?

– Точно. Дергаться точно не буду, – подтвердил он, и я отпустил его, поднялся и, чуть задыхаясь, пошел к окну: за свежим холодным воздухом.

– Дергаться точно не буду, – еще раз сказал за спиной Пушкин. Он вскочил и был уже на ногах. – Ты постой там.

Он ушел из комнаты и загремел отчаянно металлом в кухонных ящиках.

– Дергаться точно не буду, – повторил еще раз он, вернувшись. – И ты не будешь. Потому что я тебя, сука, сейчас прирежу.

Я обернулся. В каждой руке у Пушкина было по ножу: в правой –

злой и тяжелый охотничий, в левой – длинный и широкий мясницкий. Вот он и зашел на свою линию атаки, Саша Пушкин, – атаки, которая для него закончится новымсроком, а для оппонента, то бишь, меня, – как повезет.

Я особых иллюзий насчет везения своего не питал, и вообще: сделался совершенно пасмурен и спокоен. В очередной раз я устал бояться. Потому, может быть, что меня уже не однажды резали, и я хорошо помнил, как выглядит клинок в руке человека, который тебе – враг. Более того, я помнил даже, как выглядят его глаза, и знал, что они у всех одинаковы. Что ж, если так – значит так. Я уже заслужил все, что со мной еще не случилось. Я оплатил эти услуги заранее. Что будет – то и будет. А Маша ждет меня где-то во Вроцлаве – вот что нехорошо.

– Ну и режь, – сказал Пушкину я. – Режь. И еще – сам ты сука! – и стал смотреть в бешеные, в совершенно теперь слепые и сизые его глаза. Смотрел и ждал, что будет – долго, долго – половину минуты, может быть, или даже всю минуту целиком – смотрел, молчал и ждал. А потом упало на пол два раза: скучно и тяжело (охотничий нож, определил я) и красиво, с долгим стальным подзвоном (это мясницкий), Пушкин повернулся и пошел ко входной двери. Он ничего не говорил больше. Хлопнуло, отдалось дрожанием в стеклах – и я остался один.

– Вот и все, – сказал я себе. На душе было паршиво и жарко, как если бы я обидел ребенка или старика. И еще – тряслись сильно руки.

– Вот и все, – повторил я. – Пора на вокзал.

\* \* \*

Это может показаться странным, парадоксальным даже, но когда все, к чему мы шли так долго – через обман, угрызения совести, украденное счастье, короткие встречи, мучительные, на отрыв живого мяса, разлуки, ожидание без конца, нервы, нервы, сомнения и страхи по всем и всяким поводам, – когда все, что казалось невозможным, все-таки случилось и мы с Машей соединились – тогда-то и наступил самый критический момент в наших отношениях.

И все – я, черт бы взял меня. Не буду скрывать: переезжая к ней, туда, куда я переезжать не хотел, я таки ощущал, что иду на определенную жертву, и сознание жертвы этой добавляло мне веса в собственных глазах: как же, вошел в положение любимой, бросил все, привычное и родное, и ухнул в неизвестность. Поступок? Поступок! Да практически подвиг! К тому же и Маша не раз и не два мне давала понять, что эту мою «жертву» ценит безмерно.

Тогда, в силу душевной незрелости, мне было невдомек, что

переезд мой – это вовсе не свершение, но лишь мизерная часть его, крохотное, в один робкий шажок, начало неизведанного пути, лишь пройдя который, можно будет говорить о каких-то там «поступках». Переехать – один миг, а вот закрепиться и найти свое место в чужой и враждебной реальности, и не сломаться, и не сорваться, и не спустить всех псов своего ущемленного «я» на единственного, кто был со мной рядом, – Машу, – задача кропотливая, долгая и действительно трудная.

Конечно, я предпочел бы, чтобы все случилось именно так, как я себе представлял вначале: вот он, я – жертвенный и великодушный пришелец – нырнул, помявшись, с трамплина своей родины в воды нового мира и едва всплыл на поверхность – на тебе все и сразу: вспышки фотокамер, микрофоны жаждущих взять интервью репортеров, автографы, автографы, автографы, раздаваемые моей мокрой и мужественной рукой; цветы и гирлянды, и венок из пахучего лавра; и Дом Периньон фонтанами из массивных бутылей; и визг ошалевших фанатов, норовящих докоснуться до меня, как главной святыни; и первое, разумеется, место на пьедестале всех пьедесталов, и естественно вытекающим бонусом – призовой фонд и даруемое им пожизненное освобождение от всех насущных проблем...

Выяснилось, что все не совсем так. Выяснилось, что все совсем не так.

Я вынырнул посреди пустынной воды – повсюду, до края горизонта. Я привык существовать на земле – как и всякое человекоподобное. Теперь меня ожидало выживание во враждебной стихии – к чему я оказался совершенно не готов. Рядом со мной держался на поверхности и пытался поддерживать меня один человек – Маша, по милости которой, как я тогда это себе представлял, я и угодил в водяную западню. Всю вину, как свойственно людям слабым, я быстро возложил на нее и принялся гнобить ее за это безжалостно и изощренно. Таким отвратительным образом, как кажется мне сейчас, я просто взимал с Маши плату за свою сомнительную, честно сказать, жертву.

...Память, память... Не любит память возвращаться в неприятные ситуации: жметесь робко у кромки берега и в воду ступать не спешит: мало ли какие опасности скрывает черная гладь воды? Память, моя боязливая память... Я толкаю ее в дрожащую спину: иди, иди, глупая, не бойся, они уже случились, уже есть и уже с тобой – все прошлые неприятности и кошмары...

О чем думал я вообще, кем и чем ощущал себя в мучительные первые недели и месяцы в новой стране? Каков он, я, в то непредска-

занное время? Во-первых, беспомощен. Вот, пожалуй, верное слово. Совершенно и упоительно беспомощен. Я был нелегалом, въехавшим в страну по туристической визе, – и в две недели ее просрочившим. Все льготные условия легализации как раз с моим приездом окончательно упразднили. Пожениться, чтобы узаконить мое пребывание здесь, мы с Машей тоже не могли, потому что муж не спешил давать ей развод. Нелегалов же на работу не брали уже давно – и по причине огромных штрафов, грозивших работодателям, и, что гораздо важнее, из-за глобального отсутствия самих работ. Не было их, даже тяжелых и малооплачиваемых, – ни для своих, ни для чужих. А ведь за трезвый год, проведенный мною дома, я привык работать и зарабатывать – и даже довольно неплохо, по меркам своей уникальной родины. А тут – на тебе, оказался в чужой стране, без языка, статуса, работы, денег и каких бы то ни было ясных перспектив – и все потому, что Маша, видите ли, не пожелала жить там, где все это у меня было – или могло быть! Трудился бы себе, зарабатывал и обеспечивал нам существование... Но нет – ей непременно нужно было, чтобы я приехал сюда, в охваченную кризисом страну, сидел иждивенцем и страдал невротами – а все потому, что Маша...

Да, да, всюду была Маша – исток и причина моей тогдашней неуместности, страдая от которой, я начисто упускал из виду остальное, с нею связанное, – то есть все. Мне стыдно, безнадежно стыдно и сейчас – до дрожи в коленях, до белого жара в кончиках предательских ушей, когда вспоминаю, с какой сладкой ненавистью изводил я Машу попреками в своей неприкаянности и пустоте.

И надо знать Машу, чтобы понять, как больно ранило ее каждое мое слово, ведь формально, черт побери, так и было: я перебрался к ней только потому, что она не смогла или не захотела перебраться ко мне. На основании этой формальной истины, которая была ничем иным, как «почти правдой», так любимой ее вторым мужем, я чувствовал за собою полное право тиранить Машу во всю свою подлую мощь. Да, да, это верно – в то время я был не только беспомощен, но еще и безмерно и намеренно жесток. Справедливости ради должен добавить, что иногда жестокость моя была неосознанной, как у обычного зверя.

Помню, например, с какой гордостью еще в скайп-время Маша демонстрировала мне нашу с ней спальню, устройством которой она занималась с превеликим удовольствием. Все, напоминавшее ей о прежних оковах супружества, было снесено на помойку. Она уточняла мои размеры, ездила покупать кровать, звонила мне и советовалась перед покупкой... Она раздобыла где-то изысканной красоты и грубой стоимости бра, которые тоже непременно требовали обсуждения со



мой и моего одобрения. Она отыскала в антикварной лавке удивительное круглое зеркало с оправой в виде бронзового, раскидавшего широко и смело лучи, солнышка, и хвалилась, что сторговала это чудо за смехотворную цену... И покрывало, и белье, и подушки, и дизайнерские изыски, на которые изобретательная Маша была мастерицей, на заново выкрашенных ею же стенах... С упоением и чувством предстоящего счастья Маша вила новое гнездо и звала меня в это гнездо, и ждала меня в это гнездо – а что же я, черт меня заберет?

Я провел с ней в этом гнезде ровно две недели – и перебрался спать в кабинет. Да, во сне я на самом деле вел себя агрессивно, к тому же храпел и обладал привычкой по нескольку раз за ночь просыпаться и ходить курить; да, еще порой мне нужно было проснуться и сесть записывать казавшиеся мне стоящими мысли – этим я и объяснил Маше свой уход. На деле, как видится мне сейчас, я с блестящим отсутствием логики, вряд ли сам то сознавая, отстаивал свое священное право на одиночество – и даже в малой степени не понимал, какой обидой и болью отзовется в Маше мой уход. Разумеется, она снесла это молча и старалась не подавать вида, что уязвлена в самую душу, а я тогда предпочитал быть слепым, когда мне это удобно.

Страдая, я все глубже уходил в себя и если выбирался оттуда – то, главным образом, для того, чтобы заставить страдать и ее. Как и всякий родившийся без кожи человек, Маша, при всей своей силе, была абсолютно беззащитна перед настоящей подлостью. А как еще можно назвать истязание со стороны ближайшего ей человека – меня? Только подлостью, и никак иначе. Я и был подлецом – пусть признавать такое неприятно сейчас.

Как только я понял, как глубоко ранят ее мои нападки, я будто намеренно задался целью выяснять наши с ней отношения часами. Я легко, в горячке перепалки, честил ее распоследними словами, зная, что каждое из них побивает ее камнем. Излившись матерной желчью, я сбавлял градус и продолжал истязание в режиме липкой непрерывности. Скрыться от настырного и занудно-агрессивного меня было невозможно. Поначалу Маша просто запиралась в той самой спальне, которую я навсегда осквернил своим бегством, и плакала. После она стала уходить из дому, надеясь, что в отсутствие ее я остыну быстрее. Часто так и бывало.

Успокоившись, я звонил ей, набирал до тех пор, пока она не брала трубку, – и после долгих пререканий мы заключали новый мир протяженностью в два-три, максимум четыре, дня, по прошествии которых все повторялось.

С упорством inferнального стахановца я все более заглублялся в кровоточащую рану и, похоже, добурился до отметки, на которой

пытка сделалась для Маши непереносимой. Как-то во время очередной ссоры она просто выкатила на свет божий большой черной чемодан и предложила мне убраться. Убраться в ту самую страну, из которой я приехал, или любую другую страну, или куда угодно, да хоть на Луну – но убраться подальше и навсегда, чтобы дать тем самым ей, Маше, возможность протянуть на этом свете хотя бы еще несколько лет.

Первым делом я опешил, как круторогий баран, разогнавшийся в очередной раз, чтобы долбануть в ненавистную стену, – и встретивший вместо нее пустоту. Вторым – испытал внезапное облегчение: ведь даже бараны, случается, устают долбить. К тому же Маша предлагала мне то, о чем я и сам подумывал втихую все чаще. Ну, не складывалось у нас здесь, не получалось ни черта, ничегошеньки не получалось, и все шло не так, и я ожидал совсем не того, а Маша, разумеется, и подавно! Казалось, все недавние любовные страсти происходили не с нами, но с чужими и совершенно незнакомыми нам людьми. Так зачем мучаться и мучить друг друга? Надо уезжать – и дело с концом! Тем более, что и Маша, очевидно, пришла к тому же выводу. Вот и славно, вот и решение. И я, определившись, принялся укладывать чемодан, а Маша, помню, помогала мне даже.

А потом, еще поостыв, я порассуждал немного в одиночестве.

Вспомнил, что из-за меня она порушила всю свою прежнюю жизнь. Прошла через месяцы ненавидимой ею лжи. Заслужила репутацию гулящей жены у большей части разномастного круга осевших в Барселоне родственников-знакомых-друзей. Тех самых, которым она же когда-то и помогала устроиться в заграничной жизни, пуская пожить у себя, пока они не встанут на ноги и не обзаведутся собственным углом, – невзирая на ворчание и протесты недовольного перманентным присутствием посторонних мужа. Да, да, так и есть: большая часть этого разномастного круга прошла когда-то вереницей, один за другим, через гостеприимный портал ее квартиры, ставший для них первой человеческой улыбкой в холодном мире капитализма. Эти люди были обязаны ей многим, но не спешили возвращать долги, хотя бы и простой человеческой благодарностью – а инोगо Маша и не требовала. Собственно, она не требовала и благодарности, по горькому жизненному опыту зная, что зверь это редкий и вымирающий. И поступала она так только потому, что не могла поступать иначе, – в кодексе ее поведения иных вариантов прописано не было. Машиной добротой пользовались, как ступенью ракеты, отбрасывая ее потом за ненадобностью и начисто забывая.

Но когда Маша осуществила свой личный бунт – о ней вспомнили вдруг разом все и так же разом обсудили, осудили и предали

вечной анафеме. Из всей неблагодарной шайки «родственников» отыскалось едва ли человек пять-шесть, преимущественно молодого поколения, восхитившихся ее смелостью и вставших решительно на ее сторону, – остальные вознегодовали и мигом отворотили от нее свои пуритански постные лица.

Забавно, что «муж номер два» в глазах их тут же обратился в мученика. Да, статус царя был утрачен им безвозвратно, но вскоре он убедился, что «мученик» – звание гораздо более приятное. Мужа разнообразно и обильно жалели: дружно и наперебой, по одиночке и группами, эмоционально – по-женски, и сурово-сдержанно – по-мужски... Был период, когда он, подсевший на всеобщую эту жалость, как на наркотик, ходил по гостям, словно на работу, и упивался ею без меры и конца. Его жалели, его любили, ему выказывали все мыслимые проявления сочувствия...

Особенно нравилось ему, когда жалеющие при этом втапывали Машу в грязь – и ведь втапывали: и по своей воле, и чтобы сделать ему приятное. Ей припоминали все: и прямоту, и резкость, и умение врезать порой правду-матку, невзирая на лица и обстоятельства, – то есть грехи для приличного общества наипростейшие. Не забывали и главный грех – измену, а поскольку ранее за Машей никогда такого не водилось, все соглашались с версией мужа: Маша буйно спятила с ума и согрешила с дьяволом, проявив при том самую черную неблагодарность. Сатана, сатана овладел ею! Будь то век семнадцатый, муж легко добился бы сожжения Маши на костре и сам с удовольствием провел бы экзекуцию.

А пока он, возлегая на диванах – в каждом гостях его сразу и непременно укладывали на диван, опасаясь, что в середине своего плача он может не выдержать и пасть от переживаемого горя в глубокий обморок, – принимал соболезнования и в апогее этих жабьих утешений, напитанный ими, как вампир свежей кровью, из мученика возрастал до пророка и гласом грозным, вызывающим ледяную дрожь в позвоночнике, вещал: еще месяц, пусть два, и этот уголовник либо убьет ее, либо искалечит, либо просто натешится и выбросит, как ненужную ветошь, – но в любом случае, скоро, скоро, попомните мое слово, грядет ее личный апокалипсис, и страдания ее будут ужасны, и страданиям ее не будет конца!

Похоже, было в этих его пророчествах действительно что-то, внушающее священный ужас. Одно время они стали чрезвычайно популярны – настолько, что «родственнички» выстраивались в очередь, стараясь заполучить мужа себе на вечер, а те, к кому он еще не пришел, даже чувствовали себя обделенными и обиженными. И если бы он не свернул вскоре с пути истинного, пустившись в многократ-

ные эксперименты с «нежными и покладистыми», если бы он не начал менять своих новых молодых спутниц жизни, как перчатки, он мог бы, пожалуй, сделать карьеру на поле сектантства. Да Бог с ним, с мужем, – с Машей-то в любом случае ситуация была ясна: исчадие, изменница, изгой.

И пусть, заявляет Маша, ей на это плевать, – я же вижу, что все не так: это ведь и ее «родственнички», это и ее разномастный круг, каким бы он ни был. А людей Маша, как я говорил, забывать не умела. Потеря? Потеря! И к этому напрямую причастен был я. А теперь мне оставалось только уехать, исполнив пророчество «номера второго», – и доставить ему тем самым глубокое моральное удовлетворение.

Но главное, главное, о чем я должен был помнить всегда, но чаще предпочитал забывать: я жив только из-за нее, Маши. Я ей обязан. Всем, если начистоту. Она, черт бы меня взял, разглядела в погибающем мне что-то такое, чего не видел никто, включая меня самого; что-то такое, ради чего отказалась от всего, кроме детей. Потому что она такая – Маша. Святая – иначе не скажешь. Местами грубая, временами резкая, часто упорствующая в своей неправоте – но святая. И то, что она сама предлагает мне сейчас уезжать, понял вдруг я, – очередное проявление ее непостижимой для меня святости. Она же видит, как лезу я на стену, психую и томлюсь в чужой стороне – и просто отпускает меня на волю. Дает мне все карты в руки. Потому что знает: если я приму решение уехать сам, то нет-нет да и буду угрызаем потом ночными укорами совести – или того, что у меня имеется под этим ярлыком.

А так все – «благородно». Это не я сбежал и бросил ее – это она предложила мне уехать. Можно даже сказать, выгнала меня. «Она сама!» – как выразился когда-то мой предшественник. Даже сейчас, теряя меня, она думает обо мне. И я, разумеется, могу принять ее игру. Могу оскорбиться, зацепиться своей мужской гордостью за это ее «убирайся» словом ребром за крик, взвять от праведной боли – и уехать. Уехать и даже считать себя благородным человеком, и это будет «почти правдой», о которой мне кое-что уже известно. Известно достаточно, чтобы понимать: никакой «почти-правды» нет и быть не может.

Есть правда, и есть ложь. И правда заключается в том, что если я уеду сейчас, то просто-напросто сдамся, поступлю как самый последний трус. И брошу Машу у расколоченного в злые щепы корыта – расколоченного не без моего горячего участия. И буду никем иным, как той самой «сукой», какой окрестил меня Пушкин в последний мой день на родине. Сказать тебе могут все, что угодно. И позволить – все, что заблагорассудится. Но истинная мера всех вещей –

внутри тебя, а никак не снаружи. И куда бы ты ни уехал, она всегда пребудет с тобой. Можешь схорониться хоть за Полярным кругом – тебе от нее не сбежать. Это-то я способен понять.

Может быть, способность кое-что понимать и разглядела во мне Маша когда-то? Способность понимать, например, что слово «уезжай» может означать «останься»? Не знаю, не знаю... Но что-то же, она, в конце концов, разглядела, единственная из всех?! Разглядела и бросила ради меня все. А теперь вот предлагает мне свободу. Но если я предложением этим воспользуюсь – это трудноуловимое «что-то» перестанет во мне существовать. И хочу я этого или нет – решать только мне. Я и решил – в тот самый момент, когда последовательная Маша уже почти заказала билеты на самолет.

Решил еще и потому, что провел мгновенный и действенный тест – попытался на миг представить эту картинку: я без Маши, Маша без меня, – попытался и не смог. Картинка не складывалась совсем. Реальность, в которой Маша и я существовали порознь, была невозможна – даже умозрительно. Убедившись в этой невозможности, я бросился восстанавливать мир.

Мы тогда всю ночь говорили, закусывая кофе сигаретами, и я многое обещал ей и – пусть не все и не сразу – старался в дальнейшем по мере скудных сил своих выполнять. Во всяком случае, я ни разу не назвал ее с той поры дурным словом. И длиннейшие, занудно-саdistские словесные истязания, в которых мне непременно нужно было поставить на своем и которые обескровливали ее хуже всего прочего, – тоже старался урезать все более. Да и Маша, умевшая в пылу ссоры наговорить самого лишнего и знавшая замечательно, чем меня уесть больше всего, тоже обещала поубавить пыл – мы медленно, ощупью и в темноте, учились жить вдвоем, и у нас, кажется, начинало помаленьку получаться.

Что до общего положения дел в первые мои испанские месяцы – оно тоже не радовало.

Вскоре после того, как Маша, живущая по привычной для нее программе обуеваемой страстями святой, вывезла меня в Барселону, ад не замедлил последовать за мной: во всяком случае, в экономической своей ипостаси. Кризис, который до того лишь повертывал Испанию тяжелой когтистой лапой с боку на бок да покусывал легонько – взъярился коротким мигом, вогнал клыки на смертельную глубину и принялся методично душиить. Небольшая строительная фирма, которой на паях с мужем владела Маша и которая еще задолго до моего появления здесь демонстрировала симптомы серьезной болезни, задышала, как и тысячи других, прямо на ладан: судорожно, хрипло и неглубоко. Очевидно было, что через полгода-год она

погибнет окончательно, в наследство оставив большие долги и длительные судебные тяжбы, – как оно впоследствии и случилось.

Муж, как и прежде, неуклонно воплощая в жизнь свою программу анти-Машинных экономических санкций, продолжал с удовольствием мстить, обманывая ее напрапалую даже относительно тех шатких доходов, что еще были. Львиную долю «молока» (так на жаргоне в Испании зовутся деньги), которое пока давала эта корова, он потреблял сам, а остатками одаривал Машу – это, кстати, позволяло ему считать себя тем самым «благородным человеком» – выражение, с тех пор звучащее для меня оскорблением. Истинный размах его перманентного обмана мы узнали много позже – когда это никого удивить уже не могло.

Убедившись, что Маша к нему не вернется, он возненавидел ее так, что на фоне этом моя глубокая инстинктивная неприязнь к нему казалась любовью. Помню, в один из его приездов... Да, было время, он частенько приезжал к нам – привезти или, напротив, забрать кое-какой сварщицкий инвентарь, и мне, хотел я того или нет, приходилось видеться с ним. И каждый раз, помню, со мной происходило одно и то же: я не мог выбросить из головы мысль, что отобрал у этого человека жену, и потому старался быть предельно вежливым с ним. Кроме того, и это я тоже помню очень хорошо, муж все же обладал определенным гипнотизмом, заставляя меня, во всяком случае во время беседы, испытывать к нему едва ли не дружеские чувства – наваждение, которое рассеивалось лишь после его отъезда.

Муж приезжал, вставал на аварийку, делал звонок – и мы с Машей стаскивали неудобный металлический ящик узкой лестницей вниз. Муж приветливо здоровался с нами обоими, ободряюще заглядывал в глаза мне и руку жал так же ободряюще: дескать, не дрейфь, брат, все рано или поздно наладится. И одет он был неброско и хорошо, и пахло от него дорогим одеколоном, да и вообще, надо признать, он был обаятелен – с легкой, ухоженной каштановой гривой и усами «а ля Чак Норрис», из-под каких он то и дело охотно высверкивал улыбками, а то и теплым горловым смехом. Впрочем, и смех, и улыбки его несли в себе тактичную нотку печали: он всегда, так уж повелось, привозил нам дурные вести. Улыбался и привозил дурные вести. Других и не могло быть – все хорошие он аккуратно откладывал в сторону и оставлял себе.

Тогда мы об этом не знали и все принимали за чистую монету, и были даже благодарны ему за его обходительность и такт, и беседовали с ним едва ли не с удовольствием: скажем, как симпатичные друг другу родственники, собравшиеся на похороны прабабушки – по поводу печальному, но неизбежному и не отменяющему тихую радость от встречи. К концу беседы, как я говорил уже, муж стано-

вился мне почти другом – а после мы прощались с ним и шли, еще неся на лицах мягкий отсвет недавней беседы, к подъезду.

Так вот, в один из его приездов, когда мы так вот расстались, оставив его позади, и подходили уж к подъездной двери, я, ощутив проскочивший рядом злой холодок, ведомый внезапным наитием, обернулся и увидел его: он стоял, сунув руки в карманы и расставив широко ноги, у своего большого, блестящего, черного грузового джипа – стоял неподвижно и тяжелым, упрямым, как таран, взглядом толкал Машу в спину, как будто надеялся, что вот-вот она упадет.

Странное двойное выражение примерзло к лицу его: выражение застарелой ненависти и крайнего презрения. Ненависть, вероятно, предназначалась Маше, а презрение – мне. Заметив взгляд мой, он спохватился, и тут же побежали из-под усов белоногие улыбки, и он замахал мне прощально дружественной рукою, словно добрый и мудрый папа, но миг уже был уловлен: как будто правда со смертной гримасой проглянула из-за угла – и тут же утаилась обратно.

\* \* \*

Да, вот так оно было тогда, в мои первые месяцы: кризис терзал, нищета нависала, муж мстил, я страдал, вовлекая в страдания Машу, – и, казалось, не будет всему этому ни конца, ни исхода.

Каждая из наших с Машей стычек ранила обоих и воспринималась, как маленькая смерть – потому, должно быть, помирившись, мы сажались в метро и уезжали реанимироваться в центр, где шумный ход большой и веселой жизни ощущался особенно остро. Как раз в одну из таких «реанимаций» Бог и взял нас, неприкаемых, под свое золотое крыло.

Помню, был теплый, как август, апрель.

Мы с Машей, подставив озадаченные и все равно довольные физиономии барселонскому солнцу, сидели в кафе на площади Каталонии – это мы пока могли себе позволить, радовались новому миру после трехдневной ссоры, гадали, где бы раздобыть источник дохода и наблюдали кипевшую рядом жизнь. Воздух вокруг нас благоухал весной, марихуаной и провокацией.

Суровые цыганки, зажав белый пластик стаканов для подаяния в черных мужских руках, прямыми линкорскими курсами угрожили площадь из конца в конец и, натываясь на интуристов, не просили, а убедительно требовали от них немедленных инвестиций в румынскую экономику.

На остановке, в ожидании двухэтажного туравтобуса, выстроилась яркая и кривая, напоминавшая крикливый знак вопроса, очередь. Мордатые голуби, закормленные до полусмерти гостями каталонской

столицы, лениво клевали из рук, и, окончательно пресытившись, развязной походкой пьяных моряков уходили прочь – убредали на своих двоих, даже не думая куда-то лететь.

На тротуаре, у двери Хард Рок Кафе, сидел польский блондин с мужественным лицом и сложением атлета, похожий, как брат-близнец, на юного Дольфа Лундгрена. Поляк был опрятен, чисто выбрит и удручен. Над тяжелым, с ямочкой, подбородком его то и дело зажигался голливудский фонарик безупречных зубов – он растерянно и хорошо улыбался. Голубые глаза взирали на мир с искренней детской обидой.

Рядом с ним устроен был картонный плакат, на котором большими и понятными буквами, на русском, польском и английском языках, начертана была короткая, сдержанная история его катастрофы: приехал три дня назад в Барселону, был варварски обворован вечером первого же дня и лишился не только денег, но и документов, – между тем, обстоятельства (умирающая мать) настоятельно требуют его возвращения в Польшу. Будет рад любой посильной и скорой помощи. Всё.

Поляк не был обделен вниманием. Пожилые интуристки, одетые всегда дорого и не всегда вкусно, сочувствующе кивали ухоженными головами и помогали – преимущественно купюрами. В аккуратную, как и сам поляк, коробку для помощи изливался золотой дождь. Когда она окончательно наполнялась, из-за угла выюркивал незаметный, как плитка тротуара, человек кавказского вида, пересыпал добычу в затертый пластиковый пакет и исчезал за тем же углом.

В тот раз, помнится, Маша поразила меня. Присев на корточки рядом с поляком, она принялась утешать его, попутно быстро пришептывая что-то сквозь зубы, и, слушая его мужественные ответные речи, велела мне выдать на польское спасение целых двадцать евро. Потрясенный и ничего не понимающий, я повиновался. Такая расточительность, откровенно сказать, показалась мне не совсем оправданной – и совсем непонятной. Снова, снова какой-то тайный ритуал – вот оно, ведьмино наследие бабушки Василисы! Мы отошли в сторонку, и Маша быстро разъяснила мне суть. Поляк, по ее словам, работал в разных местах города уже пять, как минимум, лет – то есть, как и сам я догадывался, был обычным мелким жуликом.

– Вместе с этими деньгами я ему все наши проблемы заодно спихнула, – веско отметила Маша, и я даже слегка содрогнулся в душе: ох, не знал поляк, с кем связывается!

Пока, однако, он явно процветал – чего нельзя было сказать о нас.

Город изобиловал туристами. Совсем рядом с нами бродило огромное количество денег, а мы не знали, как к ним подступиться.



Воспитанные в духе гуманизма, мы не хотели воровать – и не имели ни малейшего понятия о том, как это делается. Маша, слегка исхудавшая от бизнес-невзгод и моих комплексов, лучилась глазами и курила через агатовый, с золотым колечком мундштук, затягиваясь и каждый раз отставляя картинно тонкую руку. Я знал, что на нее глаза, как бывало это всегда, – и наверняка, как обычно, принимают за французенку. Мне льстило это, и я старался не думать о том, что до ночи – еще как минимум семь часов, а до постели – тринадцать остановок метро. Впрочем, если бы уж совсем приспичило, и мне, и Маше, – мы нашли бы, как решить проблему: мы здорово в этом преуспели. Тогда любовь по несколько раз на дню опаляла нас внезапными вспышками острейшего желания, заставляя искать места там, где их в принципе быть не могло, – искать и находить, как ни странно.

– Приветствую вас, дамы и господа! – хорошо поставленным и невообразимо пошлым баритоном сказали вдруг за спиной.

Мы разом обернулись в поисках обладателя – голос принадлежал коротконогому, полубогемного вида мужчине с выпирающим из замшевого пиджака пузцом, простым и хорошим русским лицом и забранными в бесцветный хвост волосами: именно они, должно быть, и придавали ему этот флер свободного недохудожника. На худой конец, он вполне мог сойти за фотографа. Однако ни фотографом, ни художником он не был. Мужчина оказался экскурсоводом, а «дамы и господа» – туристами, собравшимися на пешеходную групповую экскурсию.

О, эти групповые экскурсии! О, эти «дамы и господа»! Именно от этих слов, как сразу догадался я, и происходило ощущение невиданной пошлости, сравнимое разве что со стыдом, который испытываешь за тамаду на сельской свадьбе. Я сходу возненавидел эти слова со всей мощью своей пролетарской ненависти – и так же не люблю их по сейчас. За вопиющую неуместность, хотя бы: ну не ходят истинные «дамы и господа» по стадным мероприятиям в три копейки ценой! «Дамы и господа», если на то пошло, вообще не ходят по экскурсиям – в лучшем случае, ездят на заднем сиденье в тихих и длинных черных машинах, которым почему-то разрешено парковаться там, куда простым смертным въезд закрыт, – уж я-то знаю, сам десятки раз потом сидел спереди, обочь опиджаченного и самого важного из всех нас водителя – в качестве рекомендованного гида. Да, это, пожалуй, они – «дамы и господа», но мне и в голову не пришло бы назвать их так, да и они, не сомневаюсь, несказанно удивились бы, услышав от меня такое. Но все это было позже.

Тогда же, признаюсь без ложной скромности, мы, не сговариваясь, решили с Машей присоединиться к «дамам и господам» и походить с

ними: не то что бы нам очень уж хотелось экскурсоводческих открытий – просто обилие свободного времени и жуликовато-бендерский вид гида к этому располагали. «Дам и господ» было человек семнадцать – мы надеялись, что сможем среди них затеряться. Выбрасывать деньги на мероприятие мы не собирались.

Отмечу сразу: Андрей (позже мы стали хорошими знакомыми и коллегами) мгновенно и безошибочно вычленил нас, халявщиков, из честной, приехавшей с курортного побережья толпы, едва заметно покачал укоризненно головой – однако шума поднимать не стал и даже легко, только нам двоим, улыбнулся: дескать, Бог с вами, нахалы, – нет у меня ни сил, ни желания изгонять вас из стада. Ходите и слушайте, если уж вам так хочется.

И мы ходили – целых полтора часа, что длилась экскурсия. Все было отработано четко и выверено до последней минуты. Все делалось гидом в сотый, а возможно, и тысячный раз. Десять фраз на объект, полминуты на фотографирование, поднятая вверх рука – и вперед, о дамы и господ.

Как и всегда, слушали экскурсию и понимали, зачем они здесь находятся, всего несколько человек: худенький мужчина бухгалтерского вида, имевший при себе даже блокнот, так ни разу ему и не пригодившийся, и четыре предпенсионных дамы в очках и цветастых хламидах, по виду – типичные преподавательницы музыки. Остальные напоминали стадо озадаченных овец, согнанных с привычного пастбища и влекомых в неизвестность жестоким и чужим богом познавательного туризма. Группа растянулась безмозглой змеей. Дети глазели в яркие экраны витрин, мужчины – на туго обтянутые лосинами задницы колумбик. Жены их, во всем новеньком и нарядном, старались не падать с высоченных каблуков, успевая ловить одобряющие взгляды иноземных самцов. Гид, как и положено профессионалу, не обращал на поведение туристов ни малейшего внимания – отстреливал привычную очередь фраз, ждал положенные десять секунд, показывал замшевую спину и – упрямым ледоколом буровил неподатливую массу встречной толпы, увлекая за собой паству.

Истинное и внезапное удовольствие получили, похоже, только мы с Машей. Мы веселились и прыскали украдкой в кулаки, словно школьники, – нам нравилось наблюдать за происходящим. Через полтора часа, ко всеобщему удовольствию, все закончилось. Четыре пианистки, всю экскурсию смотревшие гиду в рот и не отстававшие от него ни на шаг, устроили мелодичную мини-оvation. Мужчина-бухгалтер пытался робко дискутировать, выдвигая нелепый блокнот в качестве сомнительного аргумента, – хвостатый экскурсовод смотрел на него благожелательно и отстраненно, не давая себе труда отвечать:

время экскурсии вышло. Еще раз с укором колыхнув в нашу сторону мозолью живота, гид, имея в кармане приличную сумму наличных, удалился.

...Уже незадолго до того, как нам расстаться, разбирая бумаги, мы с Машей наткнулись на старые журналы с заказами – семь расстрепанных, внушительного размера книги, являвших собою полную летопись наших славных дел, – и решили из праздного интереса выяснить, сколько всего экскурсий за восемь лет работы частными гидами мы провели. Заказы, выполненные прибившимися к нашему кораблю позже сотрудниками, мы уговорились не считать, ограничившись лишь теми, что сделали лично, вместе или порознь. И, доложу вам, цифра получилась ошеломительная – и даже пугающая: 3012. Вот это да! Оказывается, более трех тысяч раз мы меняли искрометное счастье общения с нами на дензнаки разного достоинства – кто бы мог подумать! Будь мы, к примеру, снайперами из плохого кино, на прикладах наших давно бы не осталось свободного от зарубок места. Сколько же, черт побери, наворочено! А ведь кажется, начиналось все не далее, как вчера...

Да, да! Не далее, как вчера, кажется, мы стояли с Машей, наблюдая, как удаляется, довольно неся аккуратное, как яйцо, пузце, хвостатый, только что отработавший гид... Мы понимали, что это поток, конвейер, бездушный и безличный, – и тем не менее, что-то в увиденном непонятным образом взволновало нас.

– Знаешь, Маша, а вот я бы все сделал не так! – произнес я мечтательно судьбоносную фразу – и мы уставились друг на дружку укрупнившимися глазами. В тумане неизвестности забрезжила истина. Вот оно – решение! Вот он – честный, а главное, доступный способ заработка! Вот она, наша будущая профессия – приватные экскурсоводы класса «люкс»!

А почему нет? Рабочее место доступно, и вокруг нас – целая Барселона! И даже целая Каталония – у нас ведь был довольно потрепанный джип, на котором мы, пристроив наших сварщиков на объекты, развозили синие металлические ящики с инструментом. Машина не новая, но послужить еще способна вполне.

Да и преподаватели мы, в конце концов, или кто?! А преподаватель – это человек, обученный, привыкший и умеющий работать с людьми. В нас это пять лет, в конце концов, вдалбливали, а потом мы на практике это вдолбленное претворяли в жизнь – значит, нам и карты в руки! Тот факт, что Маша на исторической родине преподавала сопромат, а я – английский язык, ни в малой мере нас не смущал.

Мы не имели ни малейшего понятия о профессии экскурсовода, а идти учиться у нас не было ни времени, ни денег. Что же – изучим

сами! Пробив немалую брешь в семейном бюджете, мы прикупили несколько путеводителей. Требовалось привязать содержащуюся в них информацию к местности – и каждое утро, снабженный бутербродом, напутственным поцелуем Маши и пятеркой евро на кофе, я садился на красную ветку метро и проезжал четырнадцать коротких остановок до центра. Ставку решено было делать в большей степени на меня – как на мужчину и обладателя более устойчивой памяти. К тому же Маша активно занималась подготовкой к похоронам своей строительной фирмы, что отнимало у нее массу времени и сил.

Вскоре я понял, что путеводитель в качестве пособия для экскурсовода – вещь совершенно негодная. В городе Барселона имелись сотни объектов, которые не упоминались в этих ярких и нелепых книжках ни словом, ни полсловом, и о которых, я уверен был, всякий порядочный турист обязательно спросит, – и с чувством невыносимого стыда я должен буду пролепетать: «не знаю». А после десятого «не знаю» на моей профессиональной пригодности можно будет начертать жирный крест, да и вообще – от позора мне останется только наложить на себя руки. О, этот страх «не знаю», терзавший меня добрых три года и продолжающий покусывать и сейчас, – но и сделавший меня тем, кем я стал! Впрочем, до того, чтобы стать кем-то, было еще далеко.

Пока же я выдвигался в центр с ручкой, блокнотом и массивным фотоаппаратом «Canon», смешивался с толпой, ходил по разбухшим от красот улицам Барселоны, делал кривые по первости снимки и скрупулезно фиксировал адрес каждой обнаруженной мной достопримечательности. В интернете я разыскал сайт на каталанском языке, где с такой же скрупулезностью целая, должно быть, армия местных историков, краеведов, архитекторов и фотографов уже зафиксировала и даже кратко описала половину барселонских чудес.

К тому времени я жил в Испании всего три месяца, страдая от отсутствия работы, углублялся все больше в себя, ни с кем, кроме Маши, не общался и потому, естественно, ни испанским, ни каталанским языками не владел. Теперь я понял – придется научиться. Нужда – величайший наставник. Забавно, но первое, что я прилично освоил в новой языковой среде, – это чтение на архитектурную тематику по-каталански.

В самом разгаре учебной лихорадки мы разом с Машей сообразили, что и понятия не имеем, откуда взять клиентуру, тех самых чудесных людей с деньгами, которые захотят воспользоваться именно нашими услугами. Первым шагом на этом пути стал выезд на побережье, где мы за один день, испытывая необъяснимое смущение,

умудрились обклеить рекламными, состряпанными на скорую руку, объявлениями столбы сразу в трех курортных городах. В течение последующей недели от нашей руки пострадали столбы еще в двенадцати райских уголках побережий Коста-Брава и Коста Дорада.

К тому времени я полагал, что уже смогу, если понадобится, слепить из огромного количества свежеусвоенных фактов то, что гордо именуется экскурсией, но продолжал механически заучивать город. У меня имелась упрямая голова – и, как выяснилось, довольно вместительная.

Наступил июнь. Стройфирма агонизировала. Муж утаивал и воровал, ускоряя бесславный ее конец. Нависали суды, чреватые долгами. С наличностью было совсем туго. Туристов сделалось много больше, но ни один звонок по поводу экскурсий к нам так и не поступил. В конце концов, мы стали подозревать, что настолбная реклама не произвела искомый эффект. После мы узнали, что так и было: наши самопальные, в обход регламента, объявления, как и все другие подобного рода, аккуратно сдирались на следующий же день после расклейки – в Испании за этим строго следят. Инстинктивно мы понимали, что нужны контакты с турагенствами в России, на Украине, в Казахстане и Республике Беларусь – но контактов этих у нас не было и быть не могло. Ни контактов, ни связей, ни рекомендаций. Ни опыта, ни умения – ничего. Все, что мы могли предложить турагенствам на тот момент – наше горячее желание срочно заработать на туристическом бизнесе и, таким образом, выжить.

Маша к тому времени исхудала еще сильнее и сделалась еще красивее. Я до дрожи боялся, что эдакую красоту скоро нечем будет кормить. Три дня мы ходили с Машей по городу, имея на груди свежеизготовленные оранжевые бейджи с надписью «Гид в Барселоне» и ведя ловлю на живца – тщетно. Поклевки не было. Турист упорно не шел. Тогда в отчаянии мы обратились к интернету – и это был верный ход. Пообщавшись со Святым Гуглем, я выяснил, что у кое-каких индивидуальных гидов в Барселоне есть персональные сайты. На тот момент я насчитал их ровно пять штук. Сейчас, думаю, их не менее пятисот – но мы с Машей, и я с гордостью констатирую это, стояли у истоков интернет-продвижения.

Идея о персональном сайте сходу пришлась нам по вкусу. Понятно, денег, чтобы нанять специалистов, у нас не было – поэтому снова все пришлось постигать самим. Учитывая, что на тот момент наш опыт сайтостроительства был равен нулю, а опыт пользования компьютером исчислялся очень близкой к нулю величиной – задача была еще та! На две недели мы напрочь забыли о еде, сне и отдыхе. Остался лишь основной инстинкт, вносивший приятное разнообра-

зие в круглосуточные компьютерные бдения. Снова мы начинали с азав, и снова волосы на моей голове стояли отчаянным дыбом.

И все же мы сделали его: свой сайт. Свой первый туристический сайт. Скажу сразу – он вовсе не походил на вылизанные и однотипные творения компьютерных профессионалов. Он вообще ни на что не походил. Сайт получился наивным, ярким, обаятельным и кривым, как работы художников-примитивистов. Огромные несжатые фотографии безбожно тормозили загрузку. При этом текстовое наполнение мы сделали стопроцентно оригинальным и, похоже, весьма неплохим: впоследствии тексты с нашего первого детища разобрали на цитаты, а проще говоря, разворовали, целиком или по частям, сонмы наших непорядочных продолжателей. Освященные временем останки этих текстов я все еще нахожу в рекламных проспектах даже крупных турфирм.

Эх, до сих пор помню ту волнительную и непрерывную ощупь, которой искали мы свое место под солнцем!

Цены на экскурсии, по зрелом размышлении, мы установили смехотворно, умопомрачительно и беспрецедентно низкие – как будто заранее извиняясь за качество своих услуг. Сейчас я понимаю, что, работая мы по этим ценам и впредь, мы вряд ли наскребли бы даже на еду. Но это сейчас, а тогда сама возможность извлечь эти, пусть и мизерные, но такие нужные деньги из ниоткуда, из воздуха (свое время и труд мы, естественно, не брали в расчет, ибо они тогда ничего не стоили), казалась нам волшебством.

Итак, собственный сайт у нас был – настало время бесплатной рекламы: другой мы позволить себе не могли. Это был куда более механический и бездушный, но совершенно необходимый процесс. Скажу честно: с азартом истинного неопита, подогреваемым чувством близкого голода, я не оставил без внимания ни одной доски бесплатных объявлений на всем сетевом пространстве. В конце концов, когда я зашел на второй круг, меня стали гнать отовсюду, борясь с моим рукотворным самопом, – но семена были брошены в землю, и всходы не заставили себя ждать.

В середине июня оно все-таки пришло, это первое письмо с запросом туристических услуг – наших с Машей услуг! – и передать безграничное ощущение праздника, ворвавшееся в нашу скорбную жизнь вместе с ним, я даже не берусь. Отпрыгав и отскавав положенные восторги, мы крепко поцеловались и сели изучать послание.

Выяснилось, что к нам едет еврей-адвокат из Нью-Йорка, желающий вместе с женою и детьми получить несколько пешеходных экскурсий по Барселоне на русском языке. Думаю, что основополагающим при выборе для него явилось то, что мы – семейная пара,

работающая к тому же за гроши. В те далекие времена туристы еще опасались попасть в лапы жуликов или бандитов, а семья, как почему-то полагали они, уже служит некой гарантией безопасности. Финансовый момент тоже не следовало сбрасывать со счетов – все-таки мы имели дело со стряпчим. Так или иначе, 15 июля американский законник должен был сделаться «нашим». Мы посмотрели на часы и увидели, что стрелки мчат вчетверо быстрее против прежнего. Оставалось меньше месяца – и месяц этот слился в один очень долгий день, состоявший из сплошной учебы. Мы не хотели ударить в грязь лицом.

И конечно же, ударили. К знаменательной дате я почти свихнулся от бессонницы и волнения. Ни к одному из госэкзаменов в далеком студенчестве не готовился я так фанатично и истово, как к этой, первой в своей жизни, экскурсии. Накануне я испытывал лишь одно, но страстное желание – втайне я постыдно мечтал, чтобы адвокат не приехал и, таким образом, избавил меня от краха.

Маша держалась спокойнее, но это как раз понятно: выступать, то есть вести экскурсию, предстояло главным образом мне. Маша обеспечивала моральную поддержку и, на тот случай, если я, паче чаяния, окончательно заплутаю в дебрях маршрута – я плохо ориентируюсь на местности, это врожденное, – Маша должна была сыграть роль Сусанина.

И все же она волновалась и преизядно. Если бы степень волнения измерялась в метрах, мы, думаю, оставили бы Джомолунгму далеко внизу.

Первый прокол, тем не менее, произошел совсем не там, где ожидалось, – и случился еще до начала экскурсии. Встреча была назначена на двенадцать дня. Когда стрелки убежали к десяти минутам первого, я стал тихонько надеяться, что мои малодушные мольбы возымели действие и клиент действительно передумал, – и в ту же минуту зазвонил мой мобильный.

На обратном конце линии сдавленным от ярости голосом поинтересовались, какого черта я опаздываю. «Чегта» – сказано было именно так. Я возмутился – опаздывали не мы. Еще через пять минут нервных переговоров выяснилось, что мы попросту перепутали отель: мы ожидали у «Каталония Плаза Каталуния», а семейство, оказывается, жило в «Каталония Палас».

Быстро просмотрев в телефоне нашу почтовую переписку, я убедился, что ошибся он, сообщая название отеля, но сути это не меняло: он был там, а мы – здесь, и ничего хорошего в этом усмотреть, при всем желании, нельзя.

Вот и первый урок из тысячи, которые предстояло усвоить нам

со временем: всегда уточняй не только название, но и адрес отеля, особенно в Барселоне, где отелей, содержащих в названии слово «Каталония» – около полусотни.

Но ошибся-то, черт побери, он! К тому времени, когда мы, с опозданием в полчаса, все же встретились с клиентом, я непонятным образом успел успокоиться и даже посуроветь – во всяком случае, вместо выяснения отношений Марк (так звали адвоката и главу), взглянув на меня, лишь молча пожал мне руку и невразумительно махнул другой в сторону миловидной жены и двух совершенно одинаковых, но разнополых рыжих детей – знакомство состоялось.

Я не без злорадства отметил, что на белоснежных шортах отца и мужа красуется свежее пятно, явно оставленное апельсиновым соком. Отель был самый пятизвездный, что лишь добавило мне ненависти. Да, да – ненависти! Потому что я уже ненавидел адвоката и все его семейство – за всю ту бездну унижений, через которые мне еще предстояло пройти. От этой ненависти и безысходности у меня сперло дыхание, я злобно и неразборчиво крикнул – и экскурсия началась.

Боже... Боже. Боже! Ангелы, кажется мне, должны были восплакать и вострубить апокалипсис на небесах!

Выглядело это так: в глубоком молчании и с преувеличенно умным лицом (никому, кроме меня, не видимым) я шел на деревянных ногах впереди, за мною в кильватере следовали такие же немногословные клиенты.... Следовали, не терпится сказать мне, «гусь в гусь», – знаю, такого выражения нет, но должно бы быть, потому как, по словам замыкавшей Маши, именно так все и выглядело: шагали они строго один за другим, выстроившись по росту, на полусогнутых и совершенно синхронных ногах, напоминая смешливой Маше группку влекомых злою силой на заклятие гусей. «Злую силу» воплотил я. Маша прикрывала тылы, следя, чтобы гуси не разбежались вдруг ко всем собачьим чертям.

У первой достопримечательности (кажется, это был дом Батльо), я внезапно встал – так резко, что Марк даже ткнулся носом мне в спину, оборотился к аудитории, простер над детьми Израиля ленинскую длань и дикторским, совершенно бесцветным и чересчур громким голосом выдал им, без единой заминки или запинки, полную информацию по объекту. На фоне предыдущего гробового молчания речь моя возымела сильный эффект – даже на меня самого. Мальчик Йонатан забыл во рту палец и глядел на меня не мигая. Девочка Соня, самая живая из всех, даже забежала мне за спину – я уверен, в поисках кнопки, которая привела запряженный во мне автомат в действие. Жена адвоката неопределенно и неосмысленно улыбалась в пространство, как человек в состоянии гипнотического сна. Сам



глава беззвучно шевелил губами, явно проговаривая про себя особенно удачные обороты моей металлической речи.

Нашулав во всеобщей тишине окончание паузы, я вновь издал агрессивный крик, предлагая приступить ко второму акту. В знакомом походном молчании и заведенным порядком мы переместились к следующему объекту – где ситуация до мельчайших деталей повторилась. С великолепной бездушностью говорящей заводной машины я снова пролезгал набор академических сведений, обильно уснащая речь архитектурным жаргоном – и, повинаясь крику, мы двинулись дальше.

После десятка повторов палец во рту забыл уже сам адвокат. Удивление его переросло в изумление и выродилось в недоверие: он явно сомневался, что все происходящее имеет место быть на самом деле. Видимо по этой причине на одном из тихих по-индейски переходов он внезапно схватил меня за руку, останавливая, ткнул пальцем в очень второстепенный модернистский особнячок, где из красот имелся разве что затертый, верблюжьего цвета ковер перед входом, и уставился на меня торжествующе: а ну-ка, как ты теперь выкрутишься?

Он не знал, что, подстегиваемый ужасом от предстоящей экскурсии, я разъял всю необходимую мне для работы Барселону на кирпичики, обнюхал и рассмотрел под микроскопом каждый из них, присвоил их, внося в обширные склады памяти – и затем сложил заново. Я вызубрил ее – мою рабочую Барселону, и усть меня на этом поле было сложно. Потрясенный, Марк схватил и крепко пожал мою руку еще раз.

Он взял все три экскурсии и стоически выдержал их, что сродни подвигу. Положа руку на сердце, экскурсии эти были ужасны, как яблоки из папье-маше или секс с резиновой куклой. В ту пору мы не понимали еще, что цифры и даты – величайшее зло, а знание без страсти – мертво. Расставаясь в конце третьего дня, он записал мой телефон и сказал с отзвуками недавнего потрясения в голосе:

– Послушайте – но это феномен. Это нереально. Я дам ваши контакты своим друзьям. Потому что это невозможно!

Тогда я счел его слова за комплимент – хотя сейчас склонен считать, что относился он не к моим экскурсоводческим талантам, а скорее, к аттракциону безграничных возможностей человеческой памяти, который был троекратно продемонстрирован ему за весьма умеренную сумму. Сейчас я и сам не верю, что такое возможно, – и заплатил бы, не колеблясь, вдвое больше, если бы кто-то смог удивить меня подобным.

Самое интересное, что адвокат действительно сдержал обещание (евреи в этом смысле очень обязательные люди), и через месяц-другой

к нам потянулся целый ручеек клиентов из Нью-Йорка. К тому времени, кстати, им достался «гораздо более ценный мех» – мы быстро набирали мышечную массу в профессии. А Марку я до сих пор и от всей души благодарен за это, пусть и своеобразное, признание нашей профессиональной годности. Признание это было первым – и самым важным. И эту, первую нашу, экскурсию, я помню до сих пор. Первую экскурсию вообще не забудешь – как первую женщину, первый выстрел из настоящего оружия... Как первую, черт возьми, любовь – хотя я до сих пор не знаю, что это такое. После этой, одобренной, первой, мы горы могли сверзить в океан, и свернуть нас с пути гида было уже невозможно.

Судьба, с усмешкою долго наблюдавшая, как «второй муж» ездит по Машиным и моим костям, вдруг поменяла гнев на милость. Не успели отгреметь сомнительные фанфары, знаменующие первый успех, как телефон зазвонил снова: следующие клиенты жаждали наших услуг.

Я уверен и по сей день: никак, ну никак, не обошлось без золотого Божьего крыла. Через неделю нас буквально завалили заказами – такого их количества мы не получали никогда, даже много позже, когда уже были известны, востребованы в своих кругах и на отсутствие работы не жаловались. Но тогда, в начале начал, – творилось немыслимое. Откуда о нас узнавали – остается загадкой. Казалось, повинуюсь небесному приказу, люди в разных странах и городах просыпались среди ночи и влеклись неодолимой посторонней силой к столам, сжимали в вялых от сна руках ручки и под диктовку свыше механически, как зомби, записывали неизвестные им до поры магические знаки: наш адрес электронной почты, наш номер телефона.

Эти люди, возможно, не выезжали за границу уже несколько лет. Вероятно, они вообще никогда не выезжали за границу и не собирались этого делать в дальнейшем. Тем более, не планировали они посещать Барселону (она ведь не в Турции!) и, милуй Бог, заказывать там какие-то экскурсии. Но план был начертан свыше, коды выданы, явки сообщены – и сопротивляться направляющей длани не имело смысла. Люди, продолжая пребывать в управляемом сне, собирали деньги, хлопотали о визе, снимали отели, сдавали домашних животных на попечение родственникам, соседям и друзьям, ехали в аэропорт, летели в Барселону и брали экскурсии именно у нас – так до конца и никогда и не поняв, что сподвигло их проделать все это.

За два с половиной месяца у нас не было ни одного выходного, и случались дни, когда на двоих приходилось целых четыре заказа. Мы учились на работе и работали на учебе. Мы продолжали учиться дома, окончательно отказавшись от сна. Темп и напряжение этого первого

забега мы не смогли бы выдержать и пережить еще раз. Я сбросил пятнадцать кг живого веса, Маша – семь. Но из этих месяцев мы вышли уже сложившимися гидами и вынесли железное понимание: работа эта нам нравится и позволяет не только выживать, но и жить, пожалуй. Работа подходит нам и, что еще важнее, – мы подходим работе. Редко когда в жизни доводилось мне и Маше испытывать такой триумф. Мы обрели ее, нашу собственную корову, мы породили ее сами и могли растить ее, воспитывать и доить, как нужно нам. Так все начиналось – чтобы растянуться на восемь удивительных лет.

\* \* \*

Восемь лет – сказал я. Восемь лет, которые были и закончились, и сейчас я лежу под дубовым своим потолком, в каталонской пред-рассветной глуши – совершенно один. Под звон колоколов, который так точен, размерен и всегда с тобой, я пытаюсь понять, почему мы с Машей не вместе. По-прежнему у нас общее дело, у нас полное доверие друг к другу – но минули эти восемь лет, и наше с ней одно на двоих время вышло. Почему? Уже полгода я трачу по часу в день – с пяти до шести – пытаюсь вспомнить, осознать и понять.

Полтора года мы шли друг к другу. А потом, оказавшись вместе, укрепились на собственной почве и прожили еще восемь лет – до того, как расстаться.

Так какими все же были они, эти восемь?

Мгновенными, сказал бы я. Молниеносными – особенно вначале. Мы жили так быстро, что не оставалось времени даже на сон. Мы много работали, чтобы заработать побольше: поначалу расплачивались с долгами, оставшимися от прежней жизни; после выяснилось, что вокруг много людей, нам совсем не чужих, которым постоянно нужно помогать – и потому мы брали работы под завязку, столько, сколько могли потянуть, а часто и много больше. Да, так, пожалуй, будет еще вернее: чаще, особенно в первые годы, мы брали столько работы, сколько потянуть не могли.

Как мы узнавали о том? Да очень просто: когда все вокруг нас – самые китайские китайцы, самые французские французы и самые испанские испанцы – начинали вдруг дружно разговаривать на чистейшем русском языке; когда каждый чуть более громкий звук заставлял нас вздрагивать, как от расстрельного залпа, и хоронить испуганную голову в плечи; когда витиеватая и длинная произносимая кем-то из нас экскурсионная фраза вдруг обрывалась на середине и повисала в пустоте, потому что к этой самой середине мы успевали начисто забыть, с чего было начато, но даже и не думали продолжать, а лишь мягко улыбались и махали извинительно вялой рукой; когда

на сон оставалось три часа, и даже эти часы мы не могли уже выпать, но отмучивали в тяжелой, напоминающей бред полуяви, – тогда мы, наконец, понимали: пора сказать себе «стоп».

Да, только когда наступал такой вот предел предела и крайний край (мы давно убедились, что завершение, конец всего – это вовсе не точка, но прямая, которая может легко затеряться в той же бесконечности) – когда все-таки иссякали крайние остатки давно уже исчерпанных сил, мы срывались, наконец, в короткое путешествие вдвоем, чтобы через неделю вернуться – и сходу, с колес, нырнуть в ту самую работу и продолжить затяжной марафон. Это была, как я сказал уже, очень быстрая жизнь. Восемь мгновенных лет. И насыщенных – этого не отнимешь. Именно пугающая скорость, с которой мчало наше совместное время, заставляло ценить каждую из все быстрее убегающих секунд.

Забавно, что в каждый свой отпуск мы выбирались в полуобморочном от усталости состоянии – и с железобетонным намерением категорически никуда не спешить. Да, в отпуске мы намеревались быть испанцами. Если встанешь раньше, солнце от этого раньше не взойдет – повторяли мы себе испанскую поговорку. Мы планировали валяться до обеда в постели. Вторую половину дня проводить на пляже. Вечер тратить на бездумные променады и вдумчивые утхи желудка. Мы хотели ничего не делать и никуда не спешить. На деле же нашей испанской созерцательности хватало ровно на два часа.

Секунды бежали все быстрее, толкая друг друга в спину. В отпусках они и вообще мчали формульными болидами. Мир был катастрофически велик – и продолжал расти как на дрожжах. Чем больше мы видели, тем больше нам оставалось посмотреть. Мы не знали, вернемся ли мы в какое-нибудь приглянувшееся нам место во второй раз – и потому должны были взять от него все, что возможно, в первый. На этом фоне каждое потраченное впустую мгновение отпуска выглядело тяжким преступлением, совершенным с особым цинизмом. Пытаясь успеть все, мы вставали затемно и ложились впотьмах. В итоге сумасшедшая неделя отпуска выматывала нас больше, чем три месяца работы до нее, – но эта отпускная усталость, как ни странно, давала нам силы и смысл работать дальше.

Да, так и есть, и мне приятно вспоминать об этом: мы под завязку наполняли наши отпуска событиями и местами. Объездили половину света. Стояли на вершинах разных гор. Спускались в непроглядные пещеры. Хаживали под сводами бесчисленных музеев и церквей. Слушали, как свирепо грызут океаны камни своих берегов. Наши довольные и почему-то на редкость наглые физиономии (странный фотографический эффект) улыбались на фоне тысячи всевозможных

красот. «Лиса Алиса и кот Базилио!» – удивлялась каждый раз Маша, изучая отпускные фотографии, но вряд ли нас это смущало. Да, мы много ездили – и всюду, везде постоянно что-то узнавали и чему-то учились. Мы не хотели быть «кое-какими» в своем деле – мы хотели быть лучшими. И, судя по отзывам экскурсантов, кое-чего на этом пути мы добились.

Да, то были восемь насыщенных лет.

А еще – восемь международных лет. Или, лучше сказать – интернациональных. Или, еще точнее, наднациональных и даже миротворческих. Судите сами: за эти годы нашими клиентами были представители самых разных стран, наций и континентов. Мы и сами не представляли себе ранее, насколько обширен он – ареал человека русскоязычного. А ведь пропуском в наш экскурсионный клуб и был он – русский язык. И человек, им владеющий и заказавший у нас экскурсию, получал в полном объеме и в одинаковой степени все обещанные чудеса, вне зависимости от национальности, гражданства и страны проживания. Снова, снова я сбиваюсь на пресловутое равенство и братство – но только потому, что так было, так есть и так будет, – и я, если честно, горжусь этим и именно это считаю одним из главных достоинств своей профессии.

У нас было одно жесткое правило: никаких разговоров о политике – но этим все запреты и ограничивались. И если мировые лидеры, в силу своей извращенной природы, занимались тем, что сталкивали целые народы лбами, обращая вчерашних друзей в кровных, до сегоднего колена, врагов, – мы на своем маленьком поле делали прямо противоположное. На своем маленьком поле мы доказывали, что взрослые, разумные люди, какой бы нации они ни принадлежали, всегда способны найти общий язык при условии честного друг к другу отношения. И мы находили его, этот общий язык, – с американцами и украинцами, литовцами и латышами, грузинами и казахами. Мы находили его – в противовес всему тому агрессивному бреду, которым пичкали свою паству слепые и кровожадные поводыри. За восемь лет работы мы завели себе множество друзей и хороших знакомых по всему свету – и потому эти годы я с полным на то основанием могу назвать миротворческими.

А еще это были восемь *ровных* лет – сказал бы я. Стабильных – особенно на фоне ухабистых этапов нашего становления. Стабильных – невзирая на высокую плотность и темп. Обозначилась строгая колея, неукоснительная последовательность событий. Цикл, череда, распорядок.

Каждое утро начиналось с чашки кофе и круассана. Каждый день проживался взхлеб и на износ – работать в половину силы мы

не умели. Каждый вечер нужно было читать на испанском, английском или русском – в вечном поиске нового знания. Каждые два года менялись рабочие машины – после того, как успевали за эти два года пять раз объехать Землю по экватору. Каждый месяц нужно было идти на почту и отправлять деньги тем, кто в них нуждался больше, чем мы. Каждые сто дней нужно было сказать себе «стоп» и сделать недельную передышку. Каждую неделю нужно было найти в себе силы и хотя бы разок выбраться в спортзал: организмы наши давно превратились в такие же рабочие машины, вот только поменять их возможности не было – и потому приходилось поддерживать в том порядке, что есть. Каждое лето минимум семь раз нужно было съездить на пляж и окунуться в средиземную воду – чтобы не простужаться потом целый год. Каждую зиму – слетать на пять дней к родителям в Екатеринбург. Каждую весну – на пять дней в Минск. Цикл, черед, распорядок. Мы даже ругались с Машей по распорядку – примерно раз в две недели. Думаю, это отличный показатель для любой семьи. Да и ругались, честно сказать, вполне умеренно – никакого, ни малейшего сравнения с прежними Бородинскими мясорубками! Ругались вяло, без искры и страсти. Но это ведь, в конце концов, и неплохо!

Еще – по ночам или в менее занятые зимние месяцы я кое-что сочинял и надеялся, что делаю это не зря. Меня начинали кое-где печатать. Проведя нехитрые подсчеты, я вывел, что такими темпами лет через сто пятьдесят или двести даже приобрету умеренную известность. Впрочем, пишешь ведь не для этого, да и вообще неизвестно для чего, – пишешь просто потому, должно быть, что не можешь не писать.

Параллельно происходили и другие события – приятные и любые.

Вскоре после начала нашей экскурсоводческой жизни фирма Маши обанкротилась – как и предполагалось. Остались суды и долги, о которых тоже было известно заранее. Муж от выплаты своей части старался всячески увиливать. После того, как рычаги экономического давления на Машу у него отняли, да и собственных доходов делалось не в пример меньше, он изрядно потускнел. Впрочем, мы почти не виделись с ним: после краха фирмы поводов для визита к нам у него не осталось. Не нужно было больше ездить к нам и привозить дурные вести – что он так любил делать.

Всю живость своего характера он обратил на «нежных и покладистых». Он упивался их нежностью и наслаждался покладистостью, реализуя тем самым все попранные было Машей царские амбиции – а для демонстрации восстановленного статуса регулярно приглашал к себе в гости «родственников». Привлеченные шашлыками и дар-

мовой выпивкой, те гостили охотно, с удовольствием наблюдая идеальный домостроевский быт «мужа номер два». Но вот незадача: каждая «нежная и покладистая» наскучивала ему довольно быстро, после чего следовал скандал, жесткое мужское указание на дверь – и новая спутница, лишившись части своего имущества или денег («второй номер», видится мне, брал таким образом плату за все сделанные им туманные блага), оказывалась на улице. Иногда мне казалось, что он и заводил их для того лишь, чтобы прогнать. Странно и забавно, но плакаться они бежали к Маше, непонятным образом прослышав о ней и узнав наш адрес – и Маша, что для нее было совершенно нормальным, действительно утешала их, причем искренне и успешно.

Место отставленной спутницы тут же занимала другая, и ситуация с точностью до деталей повторялась. Тоже, однако, цикл – имевший тенденцию к ускорению. В конце концов, даже «родственнички» запутались и перестали понимать, с какой из них живет сейчас «второй номер».

Что до Маши, они все-таки перестали считать ее заблудшей овцой, одумались, окстились, поменяли минус на плюс и с радостью готовы были принять ее в свой разномастный круг вновь. И причиной тому, в немалой степени, послужил все тот же неугомонный муж.

Случилось это после того, как он прошерстил их славные ряды на предмет сбора средств, наврал им с четыре короба, обещая баснословные и скорые прибыли от вложений в его новое беспроектное дело (как бывшему царю и недавнему мученику, ему давали почти без скрипа, и он брал, брал и брал у всех; даже у наивных и прекрасных Машиных детей), и вместе с очередной «нежной и покладистой» и взятыми под честное слово капиталами, сгрузив все представлявшее мало-мальскую ценность имущество в большой прицеп и прицепив его к огромному черному джипу, кредит на который он так и не выплатил, он покинул пределы прекрасной Испании навсегда. Никакого гиперприбыльного дела, воспетого им, не существовало в природе, и никаких денег он, понятное дело, никому возвращать не намеревался.

Разразилась буря самых разных эмоций. «Родственнички» рыдали, оплакивая утраченные сбережения, негодовали, заламывали в отчаянии руки и безгранично удивлялись тому, как это они не смогли сразу разглядеть во «втором номере» жулика. Жаловаться все побежали к той же Маше, как будто именно она была повинна в том, что воспитала мужа-мошенника. Однако тех, кто пытался повернуть дело таким образом, Маша быстро и жестко, с присущим ей язвительным

юмором, ставила на место. Таких, впрочем, было немного, да они не особенно и ерепенились, ощущая густой пух на всей поверхности своих лицемернейших рыл. В целом же, это был безусловный и полный Машин триумф. Наблюдалось настоящее массовое паломничество заблудших, прозревших и желающих примириться.

Она, она теперь выступала истинной, а не липовой, королевой, к которой несли повинные головы, и, видел я, это запоздалое торжество истины было приятно ей. Разумеется, она всех простила, хотя цену «родственничкам» знала.

Поступок «второго» не удивил меня, не расстроил и почти не порадовал. Я всегда чуял извилистую его суть, еще с первого нашего разговора, и жалел лишь, что не могу ненавидеть его так, как хотелось бы.

...Да, да, ничего не попишешь... Снова этот проклятый ее муж – он всюду выпирает, как ложка из речи политика, – даже сейчас, тревожа линейность повествования. Он выпирал всегда, он долго снился мне в чернейшем из кошмаров: там Маша, угнетенная моей слабостью, изнуренная моей нервностью, напуганная моей злостью, уходила к нему, убегала к нему, возвращалась к нему и, что самое невозможное, наполняла его пустую оболочку своей любовью заново... – от снов таких легко белеют головую...

И все же, все же... Как бы ни было, я всегда помнил, как помню и сейчас, что я – человек, укравший у него жену. Как бы, интересно, поступил я, случись со мной такое? И где гарантия, что и сам я не впал бы в затаенный мстительный грех? Глубокое чувство вины не позволяло мне его ненавидеть, оставляя, к счастью, возможность не любить, – тем более, что возможность эту он походя подпитывал новым и новым топливом...

Странно, что даже сейчас, когда не только мужа ее, но и самой Маши нет в моей жизни, – неприязнь к нему жива во мне. Даже сейчас, когда все давно похоронено и его мерзкий, продолжающий зачем-то дышать труп мирно существует где-то под Николаевом, на исторической родине, – даже сейчас я испытываю желание пнуть его в пах. Казалось бы, я должен быть ему благодарен: никто другой не преподавал мне столько уроков житейской мудрости, как он, – а поди ж ты... На, сволочь, на!..

Все эти события вносили, как принято говорить, «приятную нотку разнообразия» в нашу жизнь, но по большому счету, как я уже сказал, это были очень ровные годы. Время наше, словно тяжелый, запущенный с силой шар, катилось по инерции годы – и встало, упершись в тот самый разговор, изменивший все.



Разговор затеяла Маша.

– Знаешь, – сказала тогда она, – мы не любим друг друга. Нас ведь ничего не связывает, кроме работы. Ни-че-го. Мы чужие люди.

Такие речи она не раз заводила и раньше, но я предпочитал не обострять дискуссию, потому как не понимал, или не хотел понимать, что пытается Маша сказать мне. Мне проще было – не понимать, потому что в противном случае – и я очень хорошо ощущал это – пришлось бы ступить на тропу скользкую и тревожную. А в тот раз я решил впервые: почему бы и не обострить? Так вот и решил: сознательно, спокойно и твердо. Как будто решение давно уже вызрело где-то в глубине и только ждало часа, чтобы проклюнуться. И я принял бой.

– Как это ничего не связывает, Маша? Так уж и ничего? – усомнился я мягко. – Мы живем вместе, мы путешествуем вместе, мы едим вместе, делаем покупки, смотрим телевизор, занимаемся сексом, наконец...

– Угу, – кивнула, словно отмахиваясь, она. – Дважды в неделю. Дважды в неделю ты приходишь ко мне – а потом уходишь тут же спать в кабинет. Дежурная случка. Но это ладно, это я привыкла. Я о другом – нежности нет. Понимаешь? Между нами давно нет никакой нежности! *Нежность* – ты знаешь, что означает это слово? Я не понимаю, честно говоря, зачем мы живем вместе, если мы не семья... Живем и действуем друг другу на нервы. Мы не любим друг друга. Вот отними у нас нашу работу, путешествия, одну крышу над головой – и что останется?

– А что должно остаться? – поинтересовался я. – Так живут все, Маша. Из этого и складывается жизнь. Работа, совместный отдых, одна крыша над головой. Общие интересы. Общий быт. Общее время. Забота о человеке, который рядом с тобой. Та же постель, уж какая ни есть... Из этого и складывается жизнь, Маша. Так живут все семьи. Так живут все.

– Да что ты заладил! Какое мне дело до «всех»? – начала сердиться она. – Меня «все» меньше всего интересуют. Мне интересно, что у нас. А у нас с тобой ничего хорошего нет. Не осталось. Ушло все куда-то. Нет никаких нас больше – есть отдельно ты и отдельно я. Нет между нами настоящей близости. Нежности нет, понимаешь?

Не понимал я, если честно. Мне и вообще такие слова как «нежность» или, тем более, «любовь» – не очень понятны. Уж слишком они абстрактны – ровно в той степени, в какой слово вообще утрачивает всякий смысл. Раньше в таких случаях – если уж спор затеян – я начинал горячиться и слюной побрызгивать даже, пусть и недолго. Но в тот раз не стал. Не было почему-то желания. Зачем? Подумалось, что Маша во многом права. Мы – разные.

Я, например, очень «внутренний» человек. Все, что я чувствую, сокрыто глубоко под поверхностью темной воды. Маша – совсем другая. Маша – вся наружу. И от меня, я догадываюсь, ждет того же. Ей мало знать о чем-то – ей нужно слышать, чувствовать, осязать. Я, очевидно, чего-то давно уже не додаю ей. Я же знаю, я вижу, как на нее накапывает: она замыкается в себе, молчит, хмурится, прячет глаза. Внешне все, вроде бы, спокойно, но я вижу – что-то не так. Уже год, а может быть, два, – что-то не так. Возможно, и дольше – просто я не замечал или не хотел замечать.

Все верно, что-то не так в нашем Датском королевстве. Отсюда – затяжное молчание, что вклинивается меж нами глухим монолитом, отсюда – непонятные вспышки ее злости и такие же головокружительные скачки настроения, к которым я начинаю уже привыкать. Впрочем, чаще она все же молчит – молчит и хмурится. Маша хмурится – хмрюсь и я. Потому как не понимаю, что я такого сделал плохого. И мне совсем не нравится, что первая гримаса на лице ее, когда я заговариваю с ней, – глухое раздражение. Она не особенно и прячет его, честно говоря – не считает нужным.

Что ж, мы очень разные. Я одиночка – и об этом ей тоже было известно с самого начала. Так сложилось, я не очень люблю людей – особых поводов для любви мне мало кто давал. Однако по роду своей работы мне приходится постоянно находиться в их обществе. Потому в свободное время я готов молиться ему яро и истово – Богу одиночества и тишины.

Мой мир – прямая, а точнее – долгий и узкий, в метр шириною, коридор, разделенный на отсеки тяжеленными дверьми. Каждый раз, перебравшись в него, я закрываю очередную дверь на замок и тут же выбрасываю ключ, а вместе с ключом все оставшееся по ту сторону – зачем оно мне, если я двигаюсь в одном направлении и не намерен возвращаться?

Машин мир – круг. Или, если уж я назвал ее однажды «святой», – клуатр, церковный дворик, в центре которого у колодца, под высоким небом, открытая всем негодьям и ветрам, Маша и существует. А округ нее – множество неисчислимо дверей, и за каждой из них – люди, человеки разные, хорошие и совсем уж плохие; сегодняшние, вчерашние и давнишние; друзья и предатели, или друзья, ставшие предателями; любимые, самые-самые и получужие; те, с кем она готова видаться хоть каждый день – и другие, с кем и раз в полгода будет наказанием... Суть в том, что у Маши, и только у нее, ключи от всех этих дверей, и забыть о какой-то из них или о человеке, за ней находящемся, она не может, не имеет права. Святым не положено забывать, да и не умеют они этого делать. А ну как не придет она, не

позвонит ключами, открывая, да не запустит в глухую беззаконную келью свет? Так ведь и ослепнут они во тьме. А ведь все – люди, все – человеки. Вот Маша и присматривает, как положено ей по рангу и статусу, – за своим разномастным живым миром. Хорошо это? Плохо? Ни то и ни другое. Просто Маша такая, какая есть.

Да, ей нужны люди, нужно общение. Конечно же, она предпочла бы, чтобы мы время от времени выходили в эти самые «люди». Однако вытащить меня куда-то – та еще задачка! Если Маше все же удавалось делать это – то с ба-а-альшущим скрипом. Не люблю я «коллективы», как уже было сказано. Вот и еще неизбежный повод для конфликта.

Я так же дорожу Машей, как и ранее, но наблюдать ее хмурое молчание изо дня в день – тоже занятие не из приятных. Честно говоря, устал я его наблюдать. Да и в кульбитах непредсказуемых ее настроения – тоже мало приятно. Ишь ты... – «нежность»! Да, я не очень щедр на нежности – я крайне сдержанный человек. «Дубовый» – по выражению той же Маши. И все же нежность, насколько это вообще для меня возможно, в моих отношениях с Машей присутствует. В чем? Я не пью, не изменяю ей, не транжирю семейный бюджет на какие-нибудь мужские глупости – неужели этого мало? Я никогда, ни разу не изменил ей – и даже малейших поползновений к тому не испытывал. Не то что бы я гордился этим, но есть слова – а есть факты, а точнее, факт, и факт этот непреложен и прост: за все годы совместной жизни я ни разу не изменил Маше. Я, без вариантов и околичностей, считаю Машу самым дорогим мне человеком. И нежность моя запрятана, зашита глубоко внутри, и так запросто ее не вынешь! Но она есть. Есть! Есть? Я прислушался к себе – и впервые усомнился. Не было во мне в тот момент особой нежности, а вот усталость и желание все прекратить имелись, – это точно.

И еще: я осознал, что уже не могу считать ее мысли. Это, как ни крути, показатель. Может быть, Маша права? Может быть, мы действительно, сами не заметив того, растеряли в пути самое важное, и нас действительно ничего больше не связывает? И нежность моя – есть она или нет – ей уже без надобности. Тем более, Маша не первый раз уже заговаривает о том, что мы не любим друг друга. Что ж: если она так говорит, значит за себя уже точно решила...

Так рассуждал я, устало и неспрашно. И согласился с Машей. С ней всегда было непросто спорить, собственно, вообще невозможно. Это, кстати, точка нашего полного совпадения, одна из немногих, – упрямство без меры и конца. Из-за обоюдного упрямства мы с ней, честно говоря, и ругались в первые годы до кровавой пены. Да и потом случалось – пусть и реже. Но это раньше. А сейчас не хотелось ругаться вообще. Устал я ругаться.

Что ж, решила она, мы не семья – так тому и быть. Да и обидно, честно говоря, стало: она прямым текстом заявляет, что я чужой ей человек, вот уже раз двадцать пятый мне о том талдычит, – а я зачем-то пытаюсь доказать обратное.

– Знаешь, так и есть, Маша, – сказал я. – Нас, похоже, действительно ничего, кроме работы, не связывает. И я устал от всей этой недоговоренности – точно так же, как устала ты. Тяжело, честное слово. Давай что-то решать.

Мы и решили. Обычного, раз в две недели, скандалчика не получилось. Никакого скандалчика не получилось. Потому что мы решили – расстаемся. И расстались. Почти друзьями, без битья посуды и выяснения, кто кому должен.

\* \* \*

Уже полгода я живу без Маши – в своей каталонской глуши. Скажи мне кто-то раньше, что будет так, – я считал бы его величайшим лжецом. Оказывается, все возможно. Тяжело только в первые дни, потому что ты уже не там – но еще и не здесь. Ты ровно посередине, на нейтральной полосе. Будущее манит, прошлое тянет обратно. Ты ждешь звонка от той, с кем расстался, – и сам то и дело порываешься ей звонить. Ты уже почти нажал кнопку вызова, но вовремя себя останавливаешь: зачем возвращаться туда, откуда вы оба бежали с таким облегчением? Привычка... – человеку свойственно привыкать. Человек привыкает ко всему – в этом его крест и спасение.

Привык и я к новому порядку вещей. В новом порядке есть свои безусловные плюсы. Их, плюсов, – много больше, чем минусов. Да, здесь нет внезапных брызг шампанского, зато и неприятные сюрпризы полностью исключены. Ведь я один – а себя я более-менее знаю и с собой-то как-нибудь разберусь. А вот с Машей – с тех пор, как я утратил способность читать ее мысли, – было куда сложнее.

Я один, и думать о каких-либо отношениях – упаси меня Бог! Мне разгрести бы старые – чем я занимаюсь уже полгода в свой ежедневный утранный час. Разобраться, закрыть дело и сдать его в архив. Вот я и разбираюсь. Во всем должны быть точность и порядок. Я пожил семейной жизнью немало лет – и это были замечательные годы. А потом что-то ушло, и Маша заявила, что мы не родные люди. И я признал ее правоту.

Теперь мы чужие точно. Общее дело – есть, абсолютное друг к другу доверие – есть, забота – есть, есть Маша и есть я, а «нас» – нет. И нашей странной любви, и по-разному понятой нежности – нет тоже. Вот и славно, потому что любовь – на редкость нервное занятие. Тем более, что я до сих пор не понимаю, что такое это – любовь.

Но что она вредна для нервной системы – усвоил наверняка. Достаточно пожить какое-то время без нее, чтобы убедиться в этом.

Я пожил – и убедился. Пожил в дыре, в возлюбленном мною одиночестве и постепенно вновь обрел его – спокойствие. Потому как важнее спокойствия ничего нет. Оно – тот самый бонус духовного пролетария, которого я был лишен почти десять лет, а теперь обрел снова.

Ведь что такое спокойствие? Спокойствие – отсутствие поводов для страха. Теперь мне не нужно бояться. Любовь, вероятно, и есть не что иное, как тысяча поводов для страха. А самый безжалостный из них – страх, что та, кого ты любишь, умрет раньше тебя. Вот он – наиглавнейший мой кошмар. Вот она – жестокая ловушка, в которую тебя неизбежно загоняет эта самая любовь. Та, кого ты любишь, умрет раньше тебя, спрячется в смерть, бросит, оставит, взойдет на палубу корабля, увозящего безвозвратно на другой берег, – и что тогда будешь делать ты? Что тогда вообще будешь – ты? И что там останется от тебя? Вот о чем я боялся даже думать, пока мы были вместе, – а теперь этого страха не было, как и всех прочих. Теперь было спокойствие.

Спокойствие, спокойствие, спокойствие – особенно ощутимое в темноте. Я ценил темноту – за долгий ясный день я успевал истоскаться по ней так, что свет в вечернем или ночном своем доме зажигал в крайне редких случаях.

Да и зачем, если я и так давно выучил наизусть свое дряхловатое гнездо и знал досконально каждую комнату и место всякого предмета в ней? Переменить это место вещь могла только по моей воле – ведь я совершенно один, а такой глупой воли у меня не было и быть не могло. Зачем менять что-то, определенное однажды, – и определенное правильно? Во всем соблюдался установленный мною порядок: в самую глухую ночь, с глубочайшего просонья, даже не открывая глаз, я легко, будь такая необходимость, мог бы раздобыть любую, на выбор, книгу с любой самой далекой полки книжного шкафа. Я мог бы подняться в крошечной тьме и, не открывая глаз на пахнущий деревом чердак, аккуратно пригнувшись в двух необходимых местах, мгновенно и точно извлечь из ящика с инструментами любую нужную мне отвертку – все лежало на своих местах, и места эти были известны мне досконально: я сам их, переехав, определил.

Чтобы жить так, как я зажил в своем одиноком доме, мне не нужны были глаза. Мне, по большому счету, требовался только слух – чтобы слышать и не слышать. Слышать, как звонят колокола, и не слышать, как рядом с тобой, под одной крышей, живет другой человек. Не все знают это, но присутствие другого человека под одной крышей с тобой всегда слышно – даже если он закаменеет в непо-

движности и перестанет дышать: у всякого есть своя, звучащая постоянно нота. Обычным ухом ее не уловить – но мне удавалось. У Маши, например, была высокая, зеленоватая, с золотыми искрами, у меня – пониже и цвета охры. К своей я давно привык и перестал ее замечать, Машиной больше не слышал. Вот и славно, вот и замечательно! Мой исключительный слух как раз и требовался мне для того, чтобы не слышать Машину ноту. Я просыпался в середине ночи, не слышал ее – и, успокоенный, засыпал тут же снова. Я обрел их, наконец, – одиночество, покой и тишину.

Конечно же, мы с Машей общаемся – у нас ведь общее дело. Работа – наша корова, дающая нам молоко. Правда, экскурсий вместе, как это часто бывало раньше, мы не ведем. Но в этом нет особой необходимости – водителей у нас хватает. Маша ездит со своим водителем, я – со своим.

Того, что было раньше: Маша мастерски ведет, а я разливаюсь барселонским соловьем и притворно сержусь, когда она вклинивается в мои рулады, – больше нет. Туристам безумно нравилось, когда мы работали с Машей вместе. Еще бы – сразу два гида в одной машине! У нас здорово получалось в тандеме, что и говорить. На этих совместных искрометных турах мы и сделали себе эксклюзивную репутацию. Но не для того мы, в конце концов, расставались, чтобы проводить по-прежнему вместе большую часть времени. Теперь каждый делает экскурсии по отдельности.

Теперь все – по отдельности. Так правильнее. Так спокойнее. За полгода разъединенной жизни мы, в очередной раз доработавшись до слуховых галлюцинаций, съездили в отпуска – каждый, разумеется, в свой. Маша уехала в Неаполь. Я был в Провансе – целых четыре дня. В июле нужно ехать в Прованс и смотреть, как цветет лаванда, – я и поехал. Не стал ничего планировать и расписывать по минутам и часам – тем более, что раньше этим всегда занималась Маша. Тем более, что это был первый мой одинокий отпуск, – и я решил, что он должен быть не таким, как все предыдущие. Он должен быть таким, каким должен, – то есть лентяйским. Таким он и получился. Жил я в крохотной деревушке у Вердонского ущелья – в большом старинном доме, где хватило бы места на десятерых. Гулял во французских полях. Спал смертным сном до обеда. Ел подходящие моему вкусу тартары. Ездил каждый день смотреть лаванду: цвела она свирепо и неукротимо, под жужжание миллионов провансальских пчел. Ловил на одиноком себе заинтересованные взгляды женщин-туристок – главным образом, крепких, как танки, белокожих немок, выпирающих из тесных своих футболок ядреными телесами. Ловил и думал

почему-то о том, какие серенады выпевают Маше в Неаполе волосатые цыгане-итальянцы. В том, что выпевают, я ни секунды не сомневался. Впрочем, пусть поют – меня это больше не касается. Теперь, когда мы не вместе, я мог думать об этом совершенно спокойно.

Я отдыхал. Объехал дважды Вердонское ущелье. На смотровых площадках, как и было обещано, ощущал дрожь и холод в испуганных изрядно ногах: еще бы – семь сотен метров отвесной глубины! Поражался, как принято, необычайному цвету воды в еле видимом низу: как будто смешали зеленку с молоком. Взял напрокат электродлодку и день катался в окружении видов славных и ласкающих глаз. Водоросли мотало на винт, я периодически стопорил мотор и с видом заправского волка, побряхтывая, наводил порядок. Сделал привал на берегу и умял килограмм, никак не менее, разного мяса, которое сам же и зажарил на углях накануне.

Утром дня пятого я аккуратно и быстро собрал вещи и уехал в Барселону – хотя дом был снят на неделю. Все было замечательно, и отпуск – первый мой одинокий – нравился мне. Он был самым спокойным из всех, а спокойствие – великое дело. Просто, видимо, я отдохнул раньше, чем планировал. Маша тоже, кстати, вернулась из своего вояжа раньше – почему, я не спрашивал. С той поры, как мы не вместе, это меня совсем не касается.

Конечно же, мы общаемся. Мы разговариваем по телефону, иногда встречаемся даже и пьем вместе кофе, в том самом кафе внизу бульваров Рамблас. Это в случае, если мы оказались поблизости друг от друга и нужно обсудить какой-нибудь срочный и сложный заказ.

\* \* \*

Я и сейчас жду ее, Машу – в этом самом кафе. Я пришел немного раньше, а Маша, как всегда, опаздывает. Ну и пусть опаздывает – я никуда не спешу. Мне нравится бывать здесь. Мне все здесь знакомо.

Сейчас, правда, кажется, что все, все вокруг поголовно разговаривают на чистейшем русском языке, даже глубокие марокканцы, раскидавшие на брусчатке рядом с кафе свои простыни с контрафактом, – но это вполне объяснимо: минули еще три месяца напряженной работы, и скоро я опять уеду в свой спокойный и одинокий отпуск.

Пора, пора – самое время. Снова я стал пугаться безобидных, казалось бы, звуков, и сон мой разладился тоже. Вчера, например, а точнее, сегодня, проснулся я не в привычные пять утра, но с тремя часовыми ударами – и это невзирая на то, что накануне была долгая, от рассвета до тьмы, работа. Встал, сошел скрипучей лестницей на кухню, сварил кофе, ходил курить на холодную ночную террасу, завел компьютер и сидел перед ним бездумно, не зная, куда же

поехать, – на свои заслуженные семь дней... Набирал в поиске разные географические названия, листал фотографии, любовался видами, решая, к какому из них прикаять свое гулкое и пустое тело...

Листая, вспомнил невпопад, как впервые в своей жизни осознал одиночество. Было это в самом начале моей пограничной армейской службы. Едва минул месяц с тех пор, как меня призвали; я только что принял присягу, и армия еще не стала для меня тем уютным, полным друзей, несколько сумасшедшим домом, в какой превратилась впоследствии и о каком, как ни странно, я вспоминаю с теплом до сих пор.

В начале же, как водится, все было иначе. Армия закономерно представлялась мне земным филиалом ада. Безумно и постоянно хотелось есть, спать, курить, выпить, женщину и домой – то есть всего, чего там не было. Два раза в неделю сержант ходил на почту в город за письмами, и желающие, вместо полутора часов сна, могли сходить вместе с ним и вдохнуть, пусть и ненадолго, сладкий воздух свободы.

Как раз в одном из таких походов, на улице провинциального Пинска, механически шагая за камуфляжной спиной впереди идущего солдата, я отчетливо и, можно сказать, чеканно подумал вдруг, причем без всяких мыслительных прелюдий: все люди мира делятся на две половины – тех, кто умрет раньше меня, и тех, кто умрет позже. Это была простая, очевидная, но отчего-то поразившая меня мысль. Потому, может быть, что я очень четко представил себе тогда эту картинку: два отвесных берега, пропасть меж ними, а через пропасть ту перекинут шаткий мостик, и на мостике – я: совершенно и безвариантно один. Отчетливое, до малой детали, видение это поразило меня, но, помнится, не испугало.

Я был совсем молод тогда и не понимал, что так ко мне впервые пришло осознание своего одиночества. Осознание, которое рано или поздно перерастет в страх, – но молодости свойственно забывать страхи и жить надеждами. Да и некогда было мне заниматься абстрактными измышлениями – я служил, осваивался, вращал все глубже в армию, а армия вращала в меня. Все привычнее и комфортнее становилось мне там – и все больше мечталось о гражданке. Я считал, как и всякий, дни, оставшиеся до дембеля, и строил грандиозные жизненные планы.

После мне приходилось считать дни и в других местах, правда, с планами все было уже не так радужно. Но считать было приятно – с каждым новым днем цифра делалась меньше. Всегда я четко знал, сколько дней мне осталось, и знал, что передержать меня за замками и решетками хотя бы на час больше никто не имеет права. Закон, в



который я не верил, но которому вынужден был подчиниться, не допускал такой возможности – хотя бы в такой механической малости он работал, и я мог считать вполне уверенно. Оставалось три, два, один – а потом я утек на свободу через отверстие того самого нуля, каким, по сути, была вся моя тогдашняя жизнь.

Был и еще счет, один из самых волнительных: когда я подсчитывал дни, оставшиеся мне до переезда сюда.

А теперь я здесь – и в жизни моей многое изменилось. И смысла в ней сделалось куда больше. Но я, как и прежде, считаю. Только сегодня в своей махровой предрассветной глуши, проснувшись в беспокойные три, я понял, что по-прежнему веду счет и знаю абсолютно точно, сколько их – дней, прожитых мною без Маши. Сто девяносто один. Завтра их станет ровно на один больше. А когда-то я проснусь и отмечу – тысяча. Хотя к тому времени я уже перестану, возможно, считать их – прожитые без Маши дни. Ведь затея, по большому счету, бесполезная... Считаешь, когда ждешь. Я ничего не жду и считать ради чистого счета – на что это мне? Я ничего не жду, я ничего не боюсь, и армейское воспоминание – не более, чем воспоминание.

Я полистал еще фотографии, так и не в силах решить, куда податься. Был, правда, один снимок, который понравился мне: сделанный из номера с полностью стеклянной стеной. А за стеной, дальше и ниже, были скалы и океан. Именно что не море: океан – зверь совсем другой. Мне приходилось видеть океаны. Нам приходилось – хотя сейчас никаких «нас» уже нет. А фотография хороша, и место, должно быть, чудесное – я полюбовался снимком и так, и этак, и попробовал представить себя в этой комнате – но так ничего и не решил...

А сейчас сижу в том самом кафе внизу Рамблас и жду Машу, с которой нужно поговорить о делах – а она, как всегда, опаздывает.

...Если задрать голову вверх, то на балконе третьего этажа увидишь большущую картину с изображением потрепанного, со взглядом безумным, усача. Усач, разумеется, – Сальвадор Дали, который хаживал сотни раз этими камнями, сиживал десятки раз за этими столбами... А в квартире наверху живет художник, для которого Дали – бог. Художник давно превратил свою квартиру в святилище этого усатого бога. Я был в этом храме: Дали в нем тысячелик, агрессивен и вездесущ. Дали давно уже загнал хозяина в газовку рядом с кухней – но, скоро, кажется мне, выживет и оттуда, заставив ютиться на коврик у двери. Боги эгоистичны, требовательны и ненасытны.

Впрочем, год или два назад у Дали появился соперник. Соперница – бледная девушка из Восточной Европы. Придя в эту

квартиру-храм в очередной раз (точнее, мы пришли туда с Машей), я увидел ее – на небольшом и еще не завершенном холсте. У нее была тонкая талия и маленькие, как два незрелых лимона, грудки. Девушку, сказал художник, зовут Олесей, она из Киева.

Вот и правильно, вот и хорошо, подумалось тогда мне. Наконец-то он обзавелся музой. Дали строил жизнь по канонам сюрреализма. Художник строит жизнь по канонам Дали. У Дали муза родом из Казани, у художника – киевлянка: обе, так или иначе, с постсоветского пространства. Все сходится. Все повторяется. Копия становится все ближе к оригиналу – хотя никогда так и не станет им. За год или два художник написал двадцать, никак не менее, портретов своей Олеси – так что Дали невольно пришлось потесниться.

Сейчас у них любовь – у художника и его Олеси. Любовь – или то, что называется этим словом. Я знаю – художник сам говорил мне. А через пять или восемь лет они, возможно, будут сидеть за этим же столиком, исполненные шумной тоскливой пустоты, и недоумевать, что же это было: их несколько совместных лет. Как до сих пор недоумеваю я...

Я, кстати, так и не смог до сих пор объяснить себе, почему мы с Машей расстались. Честно пытался – и не смог. Я не нашел ни причин, ни поводов, так что вся затея моя – вспомнить, разложить по полочкам, похоронить и забыть – пошла прахом. Или напротив? Может быть, утренний этот, колокольный мой час как раз и нужен был для того, чтобы понять? Понять, что любые попытки объяснить то, что не подвластно разуму, потому что гораздо шире и выше его, – заведомо провальны?

– Мадам, конечно же, из Парижа? – восторженно по-русски спросили вдруг над самым моим ухом.

– Мадам, конечно же, из Свердловска, – задорно отрезала Маша и уселась за мой столик. – Пробки, весь центр забит. Опять бастуют, перекрыли полгорода. Думала, застряну там до ночи.

Она коротко постриглась, отметил я, – это всегда шло ей и особенно нравилось мне. Мы заговорили о делах. Зафальшивил над самым ухом аккордеон неистребимого албанца, мы разом поморщились и вместе улыбнулись. Маша и вообще была, как показалось мне, очень весела.

– Конечно, конечно, пепельницу обязательно нужно утянуть к себе. Как обычно. Как всегда! – проворчала в шутку она.

У меня действительно была такая привычка. Маша поднялась и потянулась через столик за пепельницей, а я – уж не знаю, что на меня нашло, ничего подобного я и в мыслях не держал за секунду до того, и уж точно делать не собирался, – вдруг привстал тоже и чмок-

нул ее прямо в золотистую макушку. Не знаю до сих пор, как это у меня так получилось.

Мы сели и молча уставились друг на друга. Я разглядел, что вовсе она и не весела, как показалось мне вначале, – все это только видимость. А еще – снова я мог запросто читать ее мысли, и читал, вычитывал с жадной и жадностью, но боялся верить в прочитанное. Пока боялся. И все же – нужно было рискнуть.

– Знаешь... – начал я.

– Знаешь... – перебила она.

– Я тут подумал... – продолжал я.

– И я подумала... – подхватила она.

– Может быть...

– Не «может быть», а точно! И не перебивай меня, дай сказать – я же, в конце концов, женщина! – я замолчал, и совсем другим уже, тихим голосом Маша продолжила:

– Не могу. Не могу! Вот – не могу... Не могу без тебя, как ни пыталась. Забывала, забывала – и все зря. Пусто без тебя вот здесь, – взяв мою руку, она приложила ее к своей груди: туда, где у хороших людей обычно бывает сердце, а у Маши, понял я сходу, было целых два – свое собственное и мое, сумбурное, путаное, упрямое – но не самое, может быть, плохое. Оно, как и прочие мои потроха, принадлежало безраздельно Маше – ведь я и жив-то был только благодаря ей. Тогда я взял и поцеловал ее еще раз – уже по-настоящему.

– И еще, – добавила она. – Ты меня сейчас, наверное, убьешь. Но проснулась я вчера посреди ночи, ворочалась, не могла уснуть – и сняла нам на три дня номер в одной деревушке. На Атлантике. Скидки просто отличные. Представляешь, на всю деревню – три жителя. И крохотный отель. И номер там есть один – с полностью стеклянной стеной. Терраса, стекло сверху донизу, и – океан. Краси-и-и-иво... Так вот представила себе вчера, как мы сидим там с тобой, обнявшись, кофе пьем, курим, слушаем волны – ты и я. Я и ты – что еще нужно для счастья?

– Ничего, – сказал я. – Ничего и не нужно больше.

Теперь все вернется – понялось еще дальним краем. Я всегда умудрялся думать о трех вещах и в разных направлениях одновременно. Так было и сейчас: мысль сорвалась с привязи и скакала искрометными зигзагами. Я был счастлив до верхнего края – и уже начинал бояться. А как еще? Вместе с Машей воротятся все мои страхи и тот, самый главный – о каком я боялся даже думать.

– А ты и не думай, – возразила прочитавшая все сходу Маша. – Ты не думай, и я не стану! Не собираюсь даже, потому что это глупо! Пока мы вместе, мы никогда не умрем.

Так она сказала – и я выбросил тут же эту мысль из головы.

Вместо того я попытался представить себе мир, где Маша и я живем порознь, – и не смог. Такой мир не существовал – даже умо-зрительно. И мир, в каком остался кто-то один из нас – не существовал тоже. Зато был другой, в котором мы, проехав тысячу и еще сто километров, отыщем среди атлантического ливня отель и заселимся в тот самый номер – где так хорошо сидеть, обнявшись, вдвоем, на террасе, пить кофе, курить и смотреть на вечную, во все края горизонта, воду. Номер с видом на океан.

*Каталония*

# ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Евгений Брейдо

## Любовь в Городе

*Маленькая нью-йоркская повесть*

Почти все раннее беспамятное детство Вика проболел – воспаления легких чередовались с обычными простудами, скарлатиной и свинкой. Гулять во двор его выпускали редко, о спортивных секциях не было речи, поэтому рос он мальчиком пухлым и неуклюжим. Два первых года учился дома, а на третий пошел сразу в четвертый класс. Случилось это прямо перед Новым годом, таинственным праздником сверкающих гирлянд, восхитительных хрупких елочных игрушек и повсеместного ожидания чуда, нарядного и радостного, как взволнованная тургеневская барышня, приехавшая на первый бал. Все две недели школьных каникул он упоенно бегал с новыми товарищами по окрестным дворам и крышам. Заводилой был лучший друг, с которым Вика познакомился три дня назад, вихрастый белокурый Егор с чистым бесхитростным взглядом голубоглазого ангела. С диким гиканьем в развевающемся пальто он перепрыгивал с крыши одного сарая на крышу следующего и мчался в безумном берсеркерском восторге, едва касаясь сверкающего, нетронутого и слепащего снега, чтобы поразить невидимого врага только что подобранной палкой. Вика, одетый в крепкие валенки на толстый носок, серую цигейковую шубу, перепоясанную ремнем с латунной пряжкой, и круглую шапку, закрывавшую уши и щеки – слегка видны были только нос, рот и два коричневых глаза, – свободный в движениях, как средневековый рыцарь, выбитый из седла, пытался следовать за предводителем, но каждый раз радостно и весело проваливался по пояс в сугроб. Под конец каникул он, конечно, опять заболел пневмонией и о школе снова пришлось забыть. Зато безудержно и страстно глотал книжку за книжкой. Читением его, к счастью, никто не руководил, помогали только воображение и любопытство, а они верные соратники. Между романами Дюма, Конан Дойля и Вальтер Скотта он вдруг открыл Пушкина, и это стало первым детским шоком. Вика завороченно повторил, раскачиваясь в такт ритму, словно в легком трансе:

Безумных лет угасшее веселье  
Мне тяжело, как смутное похмелье...

Что эти слова значили, не имело решительно никакого значения, важен был ритм и упоительные плавные звуки. Он потерянно шевелил губами, набирая в легкие побольше воздуха и растягивая гласные, пробовал на язык согласные – тоже старался тянуть, вдыхал их звук до головокружения, на выдохе чудо кончалось. Медленно приходил в себя, переводил дух, бессмысленная младенческая улыбка еще оставалась на губах и незаметно исчезала.

Придя в гости, Вика задумчиво декламировал:

Люблю воинственную живость  
Потешных Марсовых полей,  
Пехотных ратей и коней  
Однообразную красоту,  
В их стройно зыблемом строю  
Лоскутья сих знамен победных,  
Сиянье шапок этих медных,  
Насквозь простреленных в бою.

Первая строфа была бархатной и тягучей, зато в следующей в голосе уже хлопотала буря и неудержимыми толчками рвалась наружу. На последних строчках энергия стиха подбрасывала его, глаза вспыхивали и сыпали искрами, как бенгальский огонь, он грохотал, упиваясь мощью и яростью неведомой битвы, – ясно видел в пороховом дыму орудия, стрелявшие прямой наводкой по медным куполам петербургских соборов, и безумная эта картина наполняла его грудь сумасшедшим восторгом.

Итээровские родственники сочувственно смотрели на Викиных родителей, те молча держались. За Пушкиным пришли Гоголь, Лермонтов, Толстой, читал он неистово. Печорин, Пьер и безупречный Андрей Болконский были ничуть не хуже обаятельных королевских мушкетеров. Вместе с героями Вика полюбил их затейливый воинственный век. Монархи, вельможи, генералы, дипломаты, проектеры и реформаторы заполнили причудливый исторический театр, в котором он был режиссером и зрителем одновременно. А в прежнем веке его захватил герой Полтавы – настолько, что расстаться с ним так никогда толком и не вышло. Этот мир становился привычным, в нем было уютно, книжная тревожность, приятно будоража, растекалась по телу. И сердце стучало и вздрагивало почти как от всамделишной опасности.

Настоящим Д'Артаньяном, конечно, был Пушкин. Дерзкий, отважный, он всегда, с самого раннего Викиного детства казался окруженным какой-то дымчатой тайной. В отличие от многого дру-

гого, Пушкин не был запретным, просто чуть-чуть волшебным. Бесчисленные женские головки на полях рукописей кружили собственную Викину голову, подхлестывали и без того буйное воображение, они были соблазнительны и сладостно загадочны. Одна из них оказалась так трепетно хороша, что разгадывать загадку хотелось бесконечно, лишь бы никогда не разгадать. Торопливый рисунок в арзрумской тетради, несколько росчерков, две-три быстрых линии – и кажется, сама поднялась высокая прическа над гордым взглядом, в воздухе затрепетали нежные завитки жабо, а взбитая пена платья выплеснулась в комнату прямо с бумажного листа. Кто эта величавая красавица со строгими чертами – надменная статс-дама или страстная полуночная муза? Бывает ли то и другое сразу?

Так в шестом классе он влюбился в портрет Долли Фикельмон. Так же и средневековые короли влюблялись в портреты своих будущих жён, которых никогда не видели. А короли бывали и постарше.

Вика мучился и тосковал. Он бредил невозвратимым миром битв, балов, стихов, эта ослепительная невероятная графиня, жена австрийского посла, внучка Кутузова, и была для него настоящей жизнью. Что может быть реальней мечты, с которой каждый день живешь бок о бок! Для влюбленности иной раз живой человек вовсе не нужен, но попробуй понять это в двенадцать лет.

Потом он видел много портретов Долли. На лучших сводившие его с ума нежные полупрозрачные черты казались обведенными одной почти невидимой линией, как на пушкинском рисунке, причем безотрывно, в одно касание. Но то был только первый слой, а следующий – агатовые огромные глаза, окруженные бархатными длиннейшими ресницами, влажный и чуть смущенный взгляд, полный любви и жалости ко всем, мохнатые изогнутые брови и маленький бантиком рот, поднятые локоны черных волос, оставляющие открытым нежный мраморный лоб. Над такой красотой и годы почти не властны.

Вся жизнь европейская и русская обсуждалась в салонах графини Фикельмон и ее маменьки. В Германии и Англии нужно было читать газеты, в Италии – ходить в оперу, а в Петербурге достаточно бывать у Долли.

Вика как-то прочел в примечаниях к «Пиковой даме», что там под видом дворца старой графини изображен дом австрийской посланницы. Сквозь черты Пиковой дамы ему всегда виделся властный образ просвещенной государыни-матушки, поэтому в его фантазиях посланнический дом становился чуть ли не императорским дворцом. Он без конца перечитывал неувядающую повесть о таинственном могуществе екатерининского века и мистической власти

судьбы, собирал воедино рассыпанные в тексте детали внутреннего особнякового убранства, стараясь представить себе дворец и его юную хозяйку, в которую были влюблены такие разные люди, как Пушкин и император Александр, не говоря о знаменитом графе Фикельмоне. Вот молодая графиня входит в залу, разговаривая с князем Петром Вяземским, легким плавным движением едва дотрагивается до волос, поправляя что-то в сложной, как корабль, прическе. Вокруг них небольшой кружок.

– Вчера у нас был ужин для французского посольства, – рассказывает Долли. – У посланника вид добродушного старого фермера, что во вкусе французов. В таком человеке можно предполагать здравый смысл и принципы, хоть это у них давно редкость.

– Да, – соглашается князь. – Посланник не похож на нынешних французов. Говорит спокойно и просто, разумен, учтив и, кажется, набожен, озабочен нынешними ажитациями.

– Он хочет мира и покоя, но именно эти две вещи кажутся несбыточными во Франции, – подхватывает графиня, – там только подстрекатели всех мастей, война партий, безбожие и гордыня! И давно нет ни чести, ни совести. Этой нацией может владеть лишь демон разрушения.

Дарья Федоровна переводит дух и неожиданно заканчивает: «А другие посольские, включая и князя д'Экмюля, совсем незначительны».

Долли с удовольствием смотрит на князя Петра Андреевича. Вяземский, неприступного вида красавец в очках и бакенбардах, с крупными, взбитыми по моде кудрями и рассеянным близоруким взглядом, придающим его лицу неожиданную смесь суровости с беспомощностью, улыбается ослепительной Дарье Федоровне с полным пониманием дела. Посланник – маршал Мортье, герцог Тревизский, кажется, совсем еще недавно был в России отнюдь не в составе посольства. Он командовал Молодой гвардией императора Наполеона и целый месяц служил московским губернатором. Ему выпало тушить пожар. А молодой князь Экмюльский – сын «железного» маршала Даву, не проигравшего ни одного сражения.

– Слишком мало еще прошло времени, чтобы простить французов, – раздумчиво продолжает внука победителя Наполеона и дочь капитана Тизенгаузена. Того самого Фёдора Тизенгаузена, флигель-адъютанта Александра, с которого будет написан князь Андрей Болконский. Под Аустерлицем он подхватил батальонное знамя и через минуту упал, пронзенный насквозь пулей, но в отличие от толстовского героя, не выжил. Правда, стареющему Вяземскому роман не понравится. Слишком много неточностей, авторского своеволия.



Долли не помнит отца, но хорошо помнит деда. Ей шесть лет, они ненадолго приехали с бабушкой из Ревеля повидаться с Михаилом Илларионовичем, уезжавшим командовать армией против турок. В первые минуты, когда в комнату входит тучный седой человек в ленте и орденах с властным капризным лицом и поврежденным правым глазом, она немного дичится, не признает деда в этом важном генерале, но как только он ласково и чуть игриво обращается к ней по-французски, робость проходит и верх берет природный веселый нрав. Она носится по комнате, выглядывает то из-за шкафа, то из-за портьеры, кокетничает, болтает с ним по-французски и по-немецки, смотрит, как крошечная чашечка с кофе исчезает в большой пухлой ладони; Долли кажется, что толстые пальцы сейчас раздавят хрупкий фарфор, но через мгновение розовая в мелкую сеточку чашка возникает снова, цела и невредима, два пальца осторожно подносят ее к губам и Кутузов делает глоток.

Этот екатерининский вельможа, дипломат и бесстрашный воин – великий гурман; кофе, который заваривал он по особому турецкому рецепту, полюбил последний фаворит, Платон Зубов. Михаилу Илларионовичу это принесло пост начальствующего всеми войсками, флотилией и крепостями в Финляндии одновременно с Вятским и Казанским генерал-губернаторством и директорством в Императорском шляхетском корпусе. Зато и не ленился – приезжал каждый день во дворец за час до пробуждения Платона Александровича, чтоб собственноручно заварить кофий и подать князю. Даром, что был уже в генеральских чинах и даже послужил послом в Константинополе. Восемнадцатый век снисходителен к фаворитам. Каким бы выдалось царствование Екатерины без Потемкина? Скорее всего, заурядным, а главное, невыносимо скучным.

Кутузов умер, когда ей было девять. С австрийской императрицей Каролиной Августой Долли познакомилась в шестнадцать, и та сразу прозвала ее «флорентийской сивиллой» за интуицию и проницательность, удивительные у девушки настолько юной. Старый фельдмаршал если чем и превзошел Наполеона, то энергичной жизненной мудростью и отменным умением сыграть, когда нужно, на человеческих и, пуще того, императорских слабостях и тщеславии, так что Долли была ему достойной внучкой.

А император Александр своего спасителя не любил, не мог простить аустерлицкого разгрома и тогдашнего страха, когда бежал с поля боя один, брошенный свитой и даже слугами. Зато был влюблен в Долли.

В поколении ее отца все восхищались Наполеоном как военным гением и ненавидели как врага. Наполеон повержен и его уж десять

лет нет на свете, ненависть утолена победой, много разного произошло, но пятнадцать лет европейских битв и Отечественная война еще очень даже свежи в памяти. Потому Дарья Федоровна бранит Францию. И князь Петр, знаменитый поэт, человек нынче светский и штатский, одетый в облегающий сюртук темно-зеленого сукна с маленькими лацканами по английской моде, сорочку с крахмальным воротником и длинные светлые пантолоны, с небрежно повязанным белым галстуком, совершенно с ней согласен. В Бородинском сражении он так же изящно носил щегольской мундир армейского поручика и награжден был за храбрость Владимиром с бантом. И граф фон Фикельмон, лучший в свете кавалерийский генерал, по отзыву знавшего в этом толк Веллингтона, другого победителя Наполеона, думает точно то же.

Виктор жадно читал все, что мог найти о Долли и заодно об эпохе, убегал куда-нибудь подальше от взрослых разыгрывать сценки, которые тут же придумывал, и, кажется, начинал уже ревновать ее к мужу. Блистательная империя сливалась в голове с тайной возлюбленной.

Вика как-то угадал, что эта европейская аристократка, подружка императриц и королев, была не царственно снисходительна, а просто, по-домашнему, заботлива, преданна и добра.

Он безуспешно пытался найти такую же или хоть чем-то похожую на нее – в школе, на улице, везде, где бывал. У плотной высокой девочки Юли были темные волосы и длинные пушистые ресницы, как у Долли. Все остальное он легко придумал сам. Вика молча страдал целый год до новогоднего вечера в седьмом классе.

Они остались наедине на мгновение, пока мальчики, как взрослые, отошли купить сигареты. Вика, решив раз и навсегда преодолеть смущение, наклонился к ней и постарался обнять. Робкое движение его закованных в зимнее пальто рук захватило воздух около Юли, но девочка даже не отстранилась, думая о чем-то своем, она просто не обратила внимания. После второго движения посмотрела на него уже с досадой: «И чего ты на меня валишься, я ж так упаду». Беззлобное матерное словцо в конце фразы хлестнуло Вику словно веткой по лицу. Он резко выпрямился. Двухлетняя влюбленность прошла мгновенно.

\* \* \*

Вику принесла в Город одна из волн эмиграции, то и дело сменявших друг друга в конце прошлого века, когда Империю медленно смывало с лица Земли. Собственно, страны, которой он так ревностно служил своими изысканиями, давно уже не было ни на каких картах. Разваливалась последняя Империя уныло и медленно, и не в войнах

с соседями, а от бессмысленной унижительной дряхлости. Когда-то мир был пышно-гвардейским, державным и геройским, как Федор Тизенгаузен под Аустерлицем. Едва выедешь из одной империи, тут же попадешь в другую. Все изменилось всего за сто с небольшим лет. Почти все царственные товарки покончили с собой в большой войне, чудом выжившие не вынесли следующей. Раздуваясь от спеси и гордости победительница раскинулась огромной медвежьей тушей через весь континент, подгребая под себя когтистым захватом все, что удавалось, без разбора. Только скоро надорвалась и начала сжиматься как шагрeneвая кожа, пока не исчезла вовсе, окончательно превратившись в приторные воспоминания и бесстыдные легенды.

Однако в голове Виктора Империя жила, и не той жалкой, лживой и вороватой побирушкой, какой все ее знали и помнили, а суровым и угрюмым отечеством, где понатыкано было без счета обветшалых городов да разоренных деревень на неприкайных просторах. Мечтали же на этих просторах вовсе не о будущем – о прошлом, полном степенного державного могущества и кровавой славы. О прошлом, которого никогда не было. Он стал историком и летописцем этой вздорной увядшей славы.

Из пухлого болезненного мальчика Вика вытянулся в худого и элегантного, как жираф, молодого человека с очень высоким лбом, узким лицом и грустными зелеными глазами. Лоб был с залысинами, венчал его зазорный смешной хохолок, торчавший нелепо и воинственно, словно у молодого петушка, всегда готового к бою.

Бои были редкими, но один он никогда не смог забыть. Их шестой класс учился во вторую смену и они шли с другом в школу к двум часам, весело болтая и размахивая пузатыми портфелями. Шиком считалось нести в руке настоящий портфель, а не ходить с ранцем на плечах, как первоклассник. Едва завернули за угол школьного здания, тут же из окружающей атмосферы соткались два девятиклассника, которых возглавлял второгодник Кузя. Видимо, поджидали добычу. Вика был домашним ребенком и не привык к неожиданностям. Перед ним стоял огромный белобрый Кузя с пудовыми кулачищами, и не улыбался, этого не умел, а вот именно лыбился.

– Нуу, Левидов, – начал Кузя учительским тоном, с отвращением выделяя почему-то средний слог. Два субтильных друга за его спиной угодливо засмеялись.

– Либидов, – хихикая, подсказал один.

– Не, это жидовское, от левитов, мне батя говорил, – поправил другой, желая, видимо, сразить приятелей этимологическими познаниями.

Но Кузя, не склонный к интеллектуализму, пресек дискуссию на

корню. – Нам бухнуть надо, – сказал он веско. – Денежку гони! Уже почти два, а я еще ни в одном глазу.

Вика стоял на ватных ногах маленьким испуганным зайцем. Смотрел снизу вверх на довольную ухмыляющуюся Кузину рожу и не мог ни сказать ничего, ни сдвинуться с места, противный, липкий, позорный страх словно приколотил его к земле. Он случайно взглянул направо и увидел, как друг Сережа улепетывает со всех ног – видимо, рванул сразу, как только Кузя завел с Викой беседу.

– Догони! – приказал Кузя правому другу. Тот лениво поднял глаза на вожака и скривился. – Ну и х-р с ним, – мирно отреагировал Кузя.

Вика двинуться по-прежнему не мог, зато мысли в голове скакали с безумной скоростью. «Денег не жалко, да и нет их почти, но если им сейчас дать денег, Кузя же никогда не отстанет, каждый день будет меня доить.» Вика был уверен, что прошла вечность, пока он оцепенело стоял на негнущихся деревянных ногах.

– Ну, – нетерпеливо шевельнулся Кузя.

Все дальнейшее происходило само. Вика, наверное, хотел этого, но сознание участвовать в его действиях отказывалось категорически. Он зажмурился, просто чтобы не видеть нависшей в полуметре нестерпимо наглой ухмылки, а левая рука без размаха, снизу вверх, но очень резко воткнулась в Кузину рожу как раз там, где был лыбящийся мерзкий рот. В следующее мгновение он услышал звериный вопль, но не угрожающий, а какой-то жалкий. Вика отпрянул, глаза сами открылись, и он бросился куда-то вбок, ноги оказались неожиданно послушными и держались твердо, без всякой ватности. Боковым зрением увидел закрывшего лицо руками и орущего благим матом Кузю.

Ему отчего-то стало легко и весело, вокруг вместо Кузи и его начинающих бандюганов вдруг оказалась шумная толпа королевских мушкетеров в плащах с длинными белыми крестами, за капитана у них почему-то был царь Петр в зеленом преображенском мундире, а лейтенантами – князь Андрей с графом Федором Тизенгаузеном, перепоясанные двухцветными офицерскими шарфами. И вот уже Д'Артаньян заговорщицки подмигивает, гордый Атос как равному протягивает руку, Арамис непринужденно кланяется, а Портос откупоривает в его честь бутылку бургундского. Петр немедленно осушает бокал и благосклонно треплет Вику по плечу, князь Андрей с графом Федором смотрят добродушно, совсем по-домашнему, и один бог знает, с каких высот доносится одобрительный хохот Пушкина. Но главное – кажется, он заметил озорной взгляд Долли и даже ласковую ее улыбку. Неужели она им довольна?

Эйфория, правда, быстро прошла. Весь день Вика ждал мести, но

уже не трясся от страха, был спокоен. На последней перемене к нему подбежал смеющийся вихрастый Егор и поманил за собой к окну.

– Ну ты ваще герой, а чего молчишь? Ты Кузе два зуба выбил, он даже с уроков слинял.

Вика смотрел на друга изумленно и никакой радости не выказывал. Егор хлопнул остолбеневшего приятеля по плечу.

– Кузя трус, он теперь тебя метров за сто обходить будет, да и остальные тоже.

– Но почему, что им стоит меня урыть, тем более всей кодлой, я и драться-то ведь не умею.

– А потому что ты у нас анфан террибль, – Егор с удовольствием шегольнул красивым словом. – Непредсказуемый. Чуть что – в морду, да еще и без зубов оставишь, а морда у каждого своя, ее знаешь как жалко, не говоря о зубах. Они у других будут шакалить, с кем попроще.

Действие этого случая на Вику было удивительным. Что-то сдвинулось, изменилось внутри, душа его стала устойчивей, смелее, и хотя все равно металась порой неприкаянным комочком, в движениях появилась вальяжная небрежность, во взгляде уверенность. Смекалистый Егорка оказался прав, никто из школьной шпаны с ним больше никогда не связывался.

Тогда он в первый раз легкомысленно убедился, что ко всему нельзя быть заранее готовым, жизнь все равно умнее нас, а мужество нужно не чтобы сражаться с ней, но наоборот, не раздумывая, довериться. И Вика пытался, хотя мир вокруг казался слишком неожиданным и ни на что привычное не похожим. Пройдет немного времени, и все встанет на свои места, а привычное, любимое и близкое отыщется как-то само.

Просто сейчас он вывалился из дикого и романтического захламления своей Империи в фантастический невероятный Город, где можно было найти следы всего на свете, вернее, искать-то как раз ничего было не нужно, зато важно было не пропустить. Город был готический, устремленный башнями в самое небо, почти летящий, переменчивый как погода, и словно головоломка, неразрешимый. Всегда ускользающий, насмешливый, сложенный из вечно куврыкающихся плоскостей. Здесь чуть не любое здание – мир, завлекающий и упоительно сложный, а вот улицы как бы не существуют, на них стоят дома, только и всего. В нем жило с десяток прошлых империй, столько же будущих, но все это было мелким, мимолетным и неважным, главным был сам Город, захватывающий, как приключенческий фильм. Виктор постигал его, осваивал, удивлялся, видел сквозь призму прошедших веков, никогда этим городом не пережи-

тых, восхищался радостно и безнадежно, при этом чувствуя себя то победителем, то побежденным, часто с разницей едва в мгновение.

Временами бывало ему страшно. Страх приходил под утро, поэтому он старался в это время работать, понемногу меняя день с ночью местами. Страшно было оттого, что непонятно, как дальше жить, чем зарабатывать; от сомнений, нужно ли хоть кому-нибудь то, что он пишет ночами. И природное легкомыслие не побеждало этого страха. Все равно он приходил, когда бы ни заснул. Виктор просыпался, поживаясь как на иголках, в каком-то тревожном безразличии, долго лежал без сна, искал выход, в сотый раз поворачивал разными сторонами детальки в пазле – складывал в ему одному ведомом порядке и так и эдак. Ничего не выходило. Он вставал, с отвращением стараясь перебороть отчаяние, шел умываться, заставлял себя вставать под душ, успевал подумать, что не над всем в жизни хочется возвышаться, например, очень неудобно быть выше головки душа. Душ смывал первый приступ безнадежной тоски, Виктор запоминал это лекарство, с пустыми глазами возвращался в комнату, выхода все равно не было.

Но потом страх забывался, верх брала просто беспечность и радость жизни.

Он встретил ее на одном из вечеров в маленьком арт-кафе, куда иногда заходил, чтобы чуть-чуть согреться в звуках родной поэтической речи.

Ее глаза казались распахнутыми навстречу именно тебе, с полной готовностью и пониманием принять все, что скажешь, они были огромными, добрыми и словно заранее обещали нежность и ласку, бледность казалась скульптурной, изысканно-мраморной, а сложная прическа из темных волнистых волос вся была устремлена вверх, обнажив шею с несколькими смешными завитками.

Но главное, она будто сошла прямо с пушкинского рисунка. Вика не мог оторвать глаз от ожившего портрета – он никогда не думал, что бывает такое сходство. С трепетом и в полном обалдении спросил имя, готовый услышать «Долли».

– Лидия, – ответила она. И тут же звуки, эти быстрые «л» и «д», легкими копытцами рояльных молоточков запрыгали у него в голове. Потом он шел с ней сквозь Город мимо открытых еще ресторанчиков и редких прохожих. Короткими летними ночами в городском воздухе почему-то разливается беспричинное счастье; неизвестно, больше ли в нем потребности, чем в другое время дня и года, или просто больше покоя, простора и свободы, но нежную легкую чувственность, кажется, можно вдыхать на улицах, как сладковатый запах марихуаны.

Кое-где она собирается в плотные дурмящие облака, парочки исчезают там мгновенно и бесследно. Слегка забытая уже детская влюбленность вдруг снова оглушила Вику – это была она, вымечтанная, придуманная графиня Долли, только живая! Им овладели недоумение и робость. Мечты же не могут сбываться в точности. Тут что-то не так.

Лидия жила в Городе так давно, что уже не представляла себе, что когда-то было иначе. В ранней юности она жила в другом городе, тоже у моря и тоже на островах, только море было угрюмым и холодным, вода билась о серый гранит нескончаемых набережных, а отражались в ней дворцы, купола соборов, шпили да триумфальные арки. Но в ее сознании надменная строгость того города давно уже слилась с безалаберной многоликостью этого.

Жила она внизу, у самой воды, рядом с площадкой, куда, зависая и жужжа, будто по вертикально натянутой струне, плавно опускались черные страшноватые, как пауки, вертолеты, а у берега беспорядочно толпились небоскребы – с дюжину, если не больше, и каждый стоял себе готическим собором, в котором заодно умещался и весь средневековый город со стенами, рыночной площадью, ратушей, епископским дворцом и домами допропорядочных бюргеров. Дух захватывало не на шутку. Эти огромные угловатые, только на себя и похожие здания завораживали с детства, но может быть, именно поэтому у Лиды и мысли не было, что здесь можно жить. Не по Сеньке шапка. Прожив в Городе много лет и переменяв немало адресов, она все приближалась к заветному месту. Наконец, решила. Хотя Город и здесь обманывал. Приманивая небоскрежной готикой, вдруг съезживался до самых обычных зданий, выглядел каменной твердыней, высокомерной крепостью, а в крепости жил закомплексованный неврастеник, не вылезавший от психотерапевтов, застенчивый трудоголик, ненавидящий работу, вечный должник, проматывающий деньги в путешествиях.

Огромное ее окно выходило на небоскреб с горгульями и узкими балкончиками, смутно напоминавший очертаниями Собор Парижской Богоматери, и другой, зеркальный и гладкий, как хирургический скальпель, в котором отражались река с пристанями и лодками, небо с горами и долинами облаков, другие дома и еще всякая всячина, которую никогда не успевала толком разглядеть.

Она приходила в это кафе не из-за стихов – быстро от них уставала, да и читали все больше люди пьющие и жизнью сильно потрепанные, а душе хотелось пленительного, воздушного, чтоб раз – и задохнуться от счастья. Попадались, правда, старательные, чистенькие и свеженькие графоманы, но не о них речь. Над пьяноватым застольем витала сладкая иллюзия всеобщей любви, легкий ее дурман кружил

уоставшие от трудовой прилежности и нестерпимой ежедневной трезвости головы, тут принимали всех и всем были рады, а Лиде так хотелось почувствовать себя защищенной, пусть даже этой эфемерной ненадежной любовью, согреться ее теплом, сберець его, чтобы хватило до следующего раза. Может быть, еще и встретить кого-то родного, совсем близкого, но в том, что ищет его именно здесь, и себе бы не призналась. Приходила она в кафе нечасто, под настроение, каждый раз перед тем долго убеждая себя, что все это мираж, обман, и зачем ей, разумной практичной американке, романтические воздушные замки – будто экзотические блюда знаменитых современных поваров со вкусом давно отцветшей юности, но все равно отчего-то бывала там, даже немного привыкла. В тот вечер пришла скорее по инерции, вообще ничего не ждала и оттого больше удивилась, чем обрадовалась. А вот теперь хотелось понять, что же с ней происходит.

Лидия во всем любила порядок, поэтому однажды решила расположить по порядку действительно важное в жизни. Получилось так: «1. Независимость. 2. Комфорт и прочие жизненные удобства. 3. Путешествия. 4. Удача. 5. Любовь».

Независимость для нее – деньги на счету и надежный заработок, только так чувствуешь себя в безопасности. Тогда вечный эмигрантский страх притупляется, отступает. Про богатство она не думала, не то что бы не хотела, но точно знала, что с ней такого случиться не может.

Потом комфорт. Важно, чтобы быт ничем не раздражал, все было под рукой и делалось легко. От быта нужно быть свободным. Когда не тратишь время и силы на глупости, можно многое успеть.

Дальше путешествия. Если не видишь и не чувствуешь мир, жизнь как-то без толку треплется, потихоньку тускнеет, скучнеет и теряет тот пленительный шарм, который только и отличает настоящую столичную красавицу от хорошенькой провинциальной дурочки. Мир должен быть внимательно осмотрен. Одна поездка почти всегда стоит нескольких умных книг.

Удача – это почти главное. Надо жить так, чтобы ее притягивать. Как именно, она точно не знала, но старалась понять. Просто Лида столько раз видела, как все рушится, когда ее почему-то нет.

Наконец, любовь. Без нее все остальное бессмысленно. Важно любить самой и чтобы тебя любили, от этого чувствуешь себя защищенной, уверенной. Любовь без взаимности прогорает очень быстро.

Вот и все. Вместе это и есть счастье, по крайней мере для нее. Детей у нее не было. Так вышло. Хотя сейчас, конечно, много возможностей, но уже не хотела. Да и поздно, пожалуй. Не физически, душевно поздно. В жизни на все отведено свое время.



Она думала, что в этом нелепом и не таком уже юном мальчике, который носит аляповатые майки, надевает с сандалиями длинные носки и говорит без конца о своей Империи, есть что-то очень особенное. Но здешним людям этого не увидеть, это из того, давно забытого.

На рассказ о школьной влюбленности и предьявленный портрет отреагировала сдержанно. Сходство, впрочем, какое-то есть. Правда, она не помнила, кто эта Долли. Да и какая теперь разница, все было так давно и в другом мире. Ну романтично, забавно. Чем же ему все-таки заняться? Программированием? Надо поговорить с Виталием и Дэном, узнать, какой сейчас рынок, они давно в этом бизнесе. Или лучше ему поступить в бизнес-скул, как когда-то она сама? Надо подумать. И обязательно пойти в магазин купить нормальную одежду, на эту невозможно смотреть. Раньше ей вроде нравилось одевать мужчин. Усмехнулась этой неожиданной мысли, никогда прежде не смотрела на себя как на даму с любовным прошлым. В сущности, верно – как ни исхитряйся, все равно к чему-нибудь принадлежишь, ну или причислят.

Ладно, с ним хоть не скучно. И еще ее заводит, когда он страстно покрывает поцелуями уши, а потом начинает медленно всю ее гладить и ласкать тонкими нежными пальцами.

Так думала умная и практичная Лидия Фейгельсон, очень похожая и вовсе не похожая на Долли Фикельмон. Надо сказать, что впечатление хрупкости и романтической беззащитности, которые она оставляла на первый взгляд, было довольно обманчивым. Умела быть расчетливой и деловой до жесткости. «Я могу быть такой сухой!» – говорила Лидя с застенчивой улыбкой.

Увы, с Викой время застенчивых улыбок прошло слишком быстро, фразы она выпевала ласково, но звучно и уверенно, выгибая каждую дугу с гулким ударом в конце. Причем говорили обычно о чем-то вполне практическом, вроде покупки загородного дома или работы в финансовой компании. А Вика думал, что Империя все время завоевывала и поглощала пустоту, огромные незаполненные смыслом пространства становились Империей, пока она вся не стала пустотой и не погибла, а в Городе совсем нет пустоты, зато в нем есть следы всех цивилизаций, всех когда-то бывших или выдуманных миров, даже следы Империи переместились сюда и, может быть, только здесь и сохранятся, и что загородный дом тоже пустота, пока он не наполнился никаким смыслом, а в финансах он сам ничего не смыслит. Говорить о практических вещах, не устремляясь тут же мыслью куда-то еще, Вике было невероятно скучно.

Лидя всегда была занята, поэтому общались они в основном отрывистыми эзэмэсками, причем ей проще было писать по-английски.

Good morning just looked at my Saturday schedule – I start pretty early. So, if it works for you a reservation for 7 versus 7:30 would be preferable. Пока.\*

*И думать уж забыл, что так бывает.*

*Ты ушла, а взгляд тут, в комнате, – стоит, смотрит, остался. Ну да, вот присел на диван, теперь к холодильнику – правда, пусто там. Зато он дома. Позвони скоро, ладно?*

I am at work!\*\*

*Можно совсем чуть-чуть поговорить? Сможем завтра увидеться? Это было бы так невероятно здорово!*

I do not think I can see you tomorrow.

You have an interview at 2 PM tomorrow. Don't forget about the dress code. Let's talk later.\*\*\*

*Жизнь, по-моему, менять не надо, она насильственных действий не любит и потом долго приходит в себя, но надо ей доверять! Господи, знала бы Ты, как я хочу Тебя видеть!*

Sweet dreams. Will call tomorrow.\*\*\*\*

*Просто давай не будем ей мешать. Она свое дело знает.*

???

*Это я про жизнь.*

Got it.\*\*\*\*\*

*Скопилось очень много невостребованной нежности. Хорошо бы востребовать.*

---

\* С добрым утром! Только взглянула на субботнее расписание. Начинаю рано. Так что, если ты не против, давай в ресторан пойдем к семи вместо половины восьмого. Пока.

\*\* Я на работе!

\*\*\* Не думаю, что сможем завтра увидеться. Напоминаю, что у тебя завтра в 2 интервью. Не забудь про дресс-код. После поговорим.

\*\*\*\* Мечты, мечты, где ваша сладость? Завтра позвоню.

\*\*\*\*\* Ну да.

Предлагаю ни в чем себе не отказывать.  
Sweet dreams.

*Именно это и хотел услышать!  
А какие цветы ты любишь?*

Гиацинты.  
Я предлагаю – легко и весело.  
ХО-ХО.

Он по-прежнему видел в ней графиню Долли из русского 19-го века, каждый раз изумляясь несхожести с оригиналом. Эта несхожесть его озадачивала, но ничуть не останавливала. Не было сил расстаться с мечтой. Влюбленность притупляла страх неустроенности, безытийности, потому что вся его жизнь была в отношениях с Лидой, остальное было просто утомительным фоном, хотя иногда он вдруг напоминал о себе какой-нибудь отвратительной экстравагантной выходкой, например, отсутствием денег.

После сдачи очередного проекта в своей финансовой компании Лида почувствовала себя выжатой как лимонная шкурка, которую вынули из соковыжималки, и захотела поехать куда-нибудь отдохнуть. Почти не работающему Вике ехать было не на что, хотя он и не меньше умотался в нервных и безуспешных попытках ухватить за хвост если не эмигрантскую птицу счастья, то хоть синицу какую.

Она немного подумала и отправилась одна на тропический остров, а растерянный Вика остался переживать и размышлять. Все разумно и, наверное, правильно, но совершенно невозможно представить себе ничего подобного с Долли. Она не могла вдруг куда-то уехать просто потому, что ей так показалось удобно, да и вообще им как-то всегда было лучше вместе, чем порознь. После смерти Шарля Долли шесть лет переписывала мужнины заметки, собирая их в книгу, пока и сама тихо не отправилась за ним следом.

В голове вертелись чьи-то глупые стишки:

Мы играем водевиль –  
Это стиль.  
И слова вставляем в роль –  
Как пароль.

И что к нему привязались пустые строчки?!

Никакого водевиля, все настолько всерьез, что неумоготу. Вот только роль совсем не та и слова в ней другие, чужие. И тут он про-

тив собственной воли просто физически ощутил, что и она другая. Лида совсем не Долли. Она никогда не будет ему помогать, собирать его бумаги, дорожить тем, что он делает, ей никогда не будет интересно и нужно то же, что и ему. Она может быть рядом, но не вместе. Отдельный и вполне самодостаточный человек, партнер, как говорит Лида. Заманчивая обертка оказалась пустой обманкой. Мечта почти сбылась и снова ускользнула, теперь навсегда. Пустота пронзила его. Он снова безнадежно один среди таких же одиноких и равнодушных людей. Что ему делать? А зачем вообще что-то делать? Можно просто сидеть и пусть проходят часы, дни. Какая разница... Его охватила беспросветная унылая тоска. Как-то вдруг выдохся, сдулся. Не осталось ни желаний, ни сил, ни воли. Кажется, если бы сейчас кто-нибудь подошел убить его, и пальцем бы не пошевелил. Почему-то вспомнил, как дрался с амбалом Кузей – сколько было дерзости и счастья неожиданной победы. Тогда Вика ощутил всем существом, наверное, первый раз в жизни, что нельзя уступать силе. Один раз уступишь – и уступишь в следующий, и тебя уже сломали, тебя нет у себя самого. А сейчас было все равно. Он погружался в ватное тупое безразличие, в бессилие, как в мягкую удобную постель, как в сон, из которого не выбраться, потому что больше всего хочется там остаться навсегда. В этом новом его мире все равнодушно и медленно утекало сквозь пальцы, казалось, что ничего нет обязательного, срочного и важного, все хорошо, а может быть плохо, но отличить одно от другого уже совершенно невозможно.

Он не знал, сколько прошло времени, пока он сидел, не двигаясь, в рассеянной полудреме, отпустив мысли и чувства свободно скитаться всюду, где найдут себе приют.

Виктору казалось, что он давно идет за ней по городу, но она почему-то не может его видеть, и дотронуться до нее никак нельзя. Он пытается, протягивает руку – рука повисает в воздухе. Она все время была близко, почти рядом, и вдруг исчезла. Вика в отчаянии оглянулся – она снова была рядом. Он успокоился.

Лида лежала на животе, лениво поглядывая на мелкий сероватый песок и совершенно прозрачную, неподвижную воду. Она смотрела на эту изумрудную воду слегка ошеломленно, как на сбывшуюся мечту – сколько раз представляла себе вот такой спасительный кусочек моря, возвращаясь домой в набитом битком вагоне метро после бесконечного рабочего дня. Это был ее навязчивый мираж в корпоративной пустыне. Смотрела, не отрываясь, будто ждала ответа на какой-то ей одной ведомый вопрос, смаковала мгновения покоя и не думала ни о чем. Потом сами собой потянулись какие-то блуж-

дающие невнятные мысли, и она взялась за книжку. Это был «Дневник», который Долли вела несколько лет в Петербурге. Читала медленно и размышляла о своем последнем романе. Правда, занимала ее не столько мемуаристка, сколько граф Шарль Фикельмон, человек, судя по всему, выдающийся и с отменной жизненной хваткой – отчаянный кавалерийский генерал и знаменитый дипломат, посол в Неаполе, потом в Петербурге, наконец, премьер-министр Австрийской империи. А в России пишут только про его жену. Вот если бы Фикельмон был на месте этого мальчика! О, из нее получилась бы изумительная графиня и превосходная посольша, тем более премьерша. Лида перевернулась на спину, закрыла лицо пестрой пляжной шляпой, прикрыла глаза и принялась мечтать. Правда, уже минут через пять сладостная картинка померкла. Да она двух шагов не ступит, не поскользнувшись, по зеркальному паркету! И как носить их придворные платья вместо джинсов! Ладно бы горничные да лакеи, но ведь еще щебетать с принцессами и королевами на пяти языках, зорко примечая, если вдруг в беседе проскользнет что-то важное. И обо всем рассказывать мужу, и получать от него деньги, отчитываться в расходах. Держать салон, быть в курсе новостей и сплетен, изящно вести беседу, непринужденно перемешивая важное с ненужным, и уметь тут же отойти в тень, если рядом его превосходительство посол Шарль или кто-нибудь из коронованных особ. Лида живо представила себя, ненавидящую быт и этикет, на дворцовом приеме, и расхохоталась. Сейчас все это выглядит иначе, хотя изменились только манеры да условности, а любовь к власти и схватка честолюбий всегда прежние. Увы! Даже если бы ей сдуру предложили, все равно бы тут же отказалась. В свободе и безвестности, что ни говори, есть своя прелесть. Бог с ним с этим Фикельмоном. Все равно не быть ей графиней и кавалерственной дамой. Зато она очень привязалась к Вике. Захотелось его немедленно обнять, прижаться, всем телом ощутить его рядом. В последнее время что-то пошло не так, он был грустнее обычного. Ничего, они все поправят. Ей нужен этот нелепый любимый мальчик, пусть даже и с его дурацкой Империей. Лида легко вскочила и в самом веселом настроении пошла завтракать.

Вике неожиданно повезло. Он устроился работать в большой книжный магазин. Денег было немного, хотя на жизнь, в общем, хватало, и главное, оставалось довольно времени писать.

Как только Лида вернулась с острова, Вика что-то ей сбивчиво объяснил, и они стремительно расстались. Но и друг без друга уже не могли, тоска оказалась упрямой, всамделишной, и через три месяца они сошлись снова, чтобы разбежаться через полгода. Так повторя-

лось несколько раз. Усталая книжная мечта никак не могла взять верх над реальностью, хотя и той не фартило.

Империя незаметно растворялась в городской жизни, мелькании событий, встреч, суете, работе, любви. Жизнь постепенно становилась важнее памяти, но и сливалась с ней, а Город, как гигантская многослойная губка, впитывал истории Вики и Лиды, несравненной Долли, Шарля, их потомков, разбросанных по всему свету, миллионы других историй, рассказанных, выболтанных, нашептанных ему людьми разных культур, рас, цветов кожи, религий, вер, профессий и взглядов на жизнь. Они наполняют его весь, день за днем, с утра и до вечера, от самой глубокой станции подземки до верхнего этажа нового Торгового центра, он живет нескончаемой чередой успехов, падений и взлетов, поражений, побед, смертей и новых рождений. Человеческие судьбы, осколки истории самовластных империй и покорных закону республик, сплетаясь и расплетаясь, становятся его текстом, написанным в разное время на разных языках, и текст становится все загадочнее; медленно продвигаясь к концу, мы забываем начало, а закончив чтение, уже едва понимаем друг друга.

Вика нехотя, через силу просыпался. Закрыл глаза и попытался снова задремать, но упрямый солнечный свет все равно доставал его узким желтым лучом сквозь прозрачную занавеску, как он ни пытался чем-то прикрыться, как ни ворочался с боку на бок.

Огромное в полнеба солнце медленно поднималось из-за реки, отчего голубые граненые полоски воды вспыхивали и загорались внезапно язычками золотого змеистого пламени. Пламя лучше самого заправского акробата взлетало вверх по зеркальным стенам толпящихся у реки небоскребов и, казалось, стремилось вернуться туда, откуда только что низверглось рыжим спящим потоком. Новый день властвовал над проснувшимся Нью-Йорком. Впитанные им тысячелетия смотрели на ползущие автомобильные ленты и рой торопящихся пешеходов со сверкающих башен вечно юных небоскребов. Они были последней опорой бог знает куда летящего моста времени, перекинутого сюда из самых зыбких пещерных времен через шумерские царства, индейские поселения и свежие европейские древности.

Теперь он уже совсем проснулся и лежал, глядя в потолок совершенно бессмысленным взглядом. Мысль его тревожно металась между сном и явью, не находя ответа на главный вопрос: «Господи, почему так больно, где же она?!»

## Андрей Грицман

\* \* \*

Так жизнь ворует у души  
ее воздушные мгновенья.  
Проснешься утром в воскресенье,  
оглянешься – и ни души.  
Как будто понедельник тянет  
подельником свое нитье.  
Поддельный свет с экрана глянет,  
на столике горчит питье.  
Но коль проснулся – повезло.  
Из дома выйдешь – рассвело.

Любовь стоит на остановке,  
лихой автобус пропустив.  
Опасная, у самой кромки,  
бормочет невозможный стих.  
О влажном воздухе корытном,  
о мороке речей чужих,  
и кашляет сведенным ртом.  
Пока судьба стучит копытом  
о борт автобусного быта.  
Надеется, что повезет.

Так и тяни свою резину  
трагикомических забот.  
От сумрака до воскресенья,  
замерзшая наполовину,  
всегда готовая в полет.  
И подвезет автобус шальный  
в остроконечный твой Нью-Йорк,  
чтоб потеряться там навек,  
как под огромным одеялом,  
в его египетском сабвее,  
с надеждой тлеюще несмелой,  
что все же кто-то скажет: «милый».  
Пусть незнакомый человек.

\* \* \*

Рано с утра, да какое там – с ночи –  
шум раздается, гул и кряхтенье.  
То ли от ветра трепещет растенье.  
Так начинается каждый день.  
С мыслями просто о между прочим.

Но на мосту с видом на вечность  
вспомнишь родителей или себя.  
До переезда, до первых известий.  
Все остальное так далеко.  
Так далеко, что еле заметен  
ряд копошащийся давних обид.

Вспомнишь ее. Нет ее, бедной.  
Бедной оставил ее недобитой.  
И нарастает в груди тишина.  
Следом по-прежнему шастает стая,  
шелест листвы под провалом моста.  
Но ухожу я теперь не спеша.  
Знаю, что где бы я ни был назавтра,  
где бы к тебе навсегда ни приник, ни затих, –  
черт его знает, шевелится карма.  
С ветки вспорхнет навсегда этот стих.

\* \* \*

Все, что я делаю, на самом деле,  
валяюсь в кустах на перекрестке  
трех дорог, пьяный, кому в отместку?  
Очевидно себе – так написано в Деле.  
Оно хранится где-то в буфете,  
а где же еще? Старый сыр да мыши.  
Там есть все, что любил на свете.  
Но что это – помню все меньше и меньше.  
Здесь на пути иногда приляжет  
моя подруга с бутылкой рядом.  
Вот мы и дома, плевать что скажут.  
Может другим показаться адом.  
А мы так живем. Выбираем дорогу:  
одна до почты, другая – на реку.  
А третья дорога, наверное, к Богу,  
но туда нельзя дойти человеком.



\* \* \*

Стараясь забыть себя, тебя,  
ту голубую нить, ведущую на взлет.  
И не вопрос: быть или не быть, когда судьба,  
как мальчик, наугад идет в народ.

Присядет отдохнуть, потом в забой,  
а то до пункта с сумкой стеклотары –  
на плавленный сырок, навзрыд, на Зверобой.  
А сдан последний – и по Солнцедару.

Но ты повремени, душа моя,  
не задевай больных по погоде.  
У них свои и без тебя невзгоды,  
без твоего – наотмашь – бытия.

И все же есть бездумное тепло,  
как будто перелив случайных клавиш.  
Она глядит сквозь светлое окно  
тебе вослед, но ты ее оставишь.

\* \* \*

Так и болтаемся между вчера и завтра.  
Обмен теплом в одно касание.  
Ищу себя на контурной карте,  
Но не видать на таком расстоянии.

Не видать, не выдать мест положения,  
Только звук гудит над пустой равниной.  
Иду куда-то с головой повинной,  
до ворот со знаком «Предупреждение».

## КОЛИЗЕЙ

Геометрия смерти.  
Выжженный овал.  
Губы камня.  
Черствый хлеб.  
Песнь ветра  
летающего  
к оливковым рощам памяти.

Переплетение, смещение.  
Сумерки в долине.

Туристское месиво днем,  
каменное кладбище ночью.

Но в воздухе: соль  
на земле Карфагена,  
соль у Масады.  
Тугие паруса  
направленные в никуда.  
Тупик. Цепные псы  
мертвых Цезарей.

Сонная сиеста.  
Италийские тени в каменном саду:  
свежая паста,  
древний рецепт соуса.  
Нещадное солнце щедро жарит,  
слепо плавит маску  
на лице гида родом  
из неизвестного  
берберского племени,  
в майке с именем Тотти.

\* \* \*

Нет ничего там, а может быть, есть,  
Что-то из толя, из глины, из жести.  
К слову сказать – какая там жесьть?  
Все невпопад, да и все не на месте.

Ну и неважно, все это – жизнь.  
Утром дойду до киоска с цветами.  
Там все засохло, но вялая жимолость  
тихо растет среди всякого хлама.

Ну, а потом я до почты дойду.  
Гляну, какое сегодня число  
или какая погода в аду.  
Как и когда нас сюда занесло?

Вспомню – смириться, наверно, пора,  
что никого мне не встретить в метро.  
Только небесная света игра  
даже отсюда заметна порой.

\* \* \*

Время разбазаривая по ночам,  
таращась черт знает на что на экране,  
заранее вторю, что все нипочем,  
раны затянутся на расстоянии.

Все устаканится, жизнь впереди,  
сзади пейзаж после битвы и дым  
вьется над местностью.  
Нам вместе с ним  
вдаль по дороге. А совесть глядит

взглядом усталым на брошенный дом,  
мертвый газон и в сырую сирень.  
И говоришь-то ведь все не о том.  
Лишь иногда телефонное эхо  
глухо подскажет, где мы живем.  
Имя послышится в воздухе свежем.  
И постепенно в черный проем  
лунный гексаметр медленно ляжет.

\* \* \*

Жизнь все откладывая на потом.  
Пыль осядет. Пришлют удостоверение.  
Пытаюсь сказать обожженным ртом  
кинжальной водкой, перцем. Безумное зрение

не сразу видит, кому там еще  
навзрыд собираешься душу вылить.  
Кого-то закутать теплым плащом,  
говорить и вдыхать, убеждать горячо,  
а потом обнять пустоту безликую.

Но снова выйти на белый свет,  
всю жизнь по ночам просчитав заранее.  
И сразу забыть. Как в нашей Москве:  
надеяться, ждать – вот на волоске  
наша встреча с ней,  
с той, которую видел во сне,  
родную, в очереди за бананами.

\* \* \*

Память спит в банке с маслянистым раствором.  
Поезда ушли в неизведанном направлении.  
Нет обратных билетов, стихли слухи и разговоры.  
Везде намечается уже не брожение, а тление.  
Я все зову, поглядите, что случилось, а вы что?  
Кто в бомбоубежище, кто на танцы, кто на собрание.  
С важным уведомлением медленно идет срочная почта,  
хотя и небольшое вроде бы расстояние,  
по тепершним временам. Смутное время:  
лжедмитрии да иоановны.  
Но на Кукуе дремлет тихое кладбище.  
Вы про охрану? Давно разошлась охрана.  
Ветер гуляет на кладбище как на капище.  
Еще обращусь – господа, неужели забыли вы:  
так ведь и начиналось когда-то, незапамятным августом.  
Спит наш корабль, наполненный рыбами, илом или  
мертвый давно, так прости ты нас, Господи!

\* \* \*

Мы с тобой на все это смотрим  
с обратной стороны Луны.  
В свете неровном ветер  
проносит тени и сны.

Что же поделать? Возврата нет.  
Остается ловить  
зеркальцем меркнувший свет.  
Терять больше нечего нам тут на краю.  
Вот мне и весело – сам себе я пою:

Где же ты, милая? Меня заносит метель.  
Клен мой опавший,  
смертный дальний мотель.  
Слякоть на родине,  
злой городской частокол.  
Землю родную услышишь  
навзничь или ничком.

Потому что я, друг мой,  
на другой стороне.  
Друг мой Куинджи плывет на темной волне.

Там длится далекий беспмятный срок.  
Слышен лишь странникам тающий крик.  
И там мне с тобой так спокойно, легко.  
Слава Богу – все это так далеко.

\* \* \*

*А. Кабанову*

Осторожно. Не прислоняться.  
Двери закрываются.  
В вагоне пусто.  
Сесть что ли в угол,  
почитать Пруста,  
Кабанова, Рильке ли, имярека.  
Грустно. В вагоне ни человека,  
ни души, только отсвет звука.  
Входим в тоннель. Ну какая сука  
так вот придумала –  
жить с этим бредом?  
В той темноте, черней чем сажа.  
В ожидании света.  
Что скажешь, Саша?

*Нью-Йорк*

## Григорий Стариковский

\* \* \*

день такой рядовой,  
не лучше других деньков,  
словно шоссейный пробег  
черно-белых грузовиков;

вот он блестит в просвет  
летающих сквозь дождь колес,  
будто вскрыли чужой конверт  
и вынули чистый лист.

\* \* \*

выдерживать, дырявой леечкою звеня,  
дистанцию между бабочками двумя.

между стволами с их сердцевиной злой,  
между одной и другой такой же слепой горой.

нарабатывать это садовое ничего,  
труд побеждает всё, только-то и всего.

грузовик проехал, осталась жирная колея;  
люди своим безразличьем хуже любого зверья.

тени падают, словно солдаты в детском кино,  
гнилую выравнять почву, подсеивать семена;

солнце латунное льется, корявятся деревья,  
завтра займется, высветится трава.

\* \* \*

для вошедшего в церковь  
запах грузовых вагонов,  
простаивающих на зное,  
дух просмоленных брусьев;

для поющего гимны  
в горбатых сосновых стенах,  
украшенных резьбой  
по темному дереву, —

позволь мне замазать шелест  
памятных дат, фотоснимков  
с составами в польшу,  
с деревянными чемоданами.

\* \* \*

когда последний автобус отправится в город,  
и синий почтовый ящик сольется с ослепшей витриной,  
и будущий марафонец прервет подготовку  
и вытрет злобье тыльной стороной ладони, —

мы остановимся возле каменного строения,  
полуразрушенного, с обвалившейся внутрь крышей,  
и будем смотреть, как зарастает оно кустарником  
с белой пеной на мокрых губах цветения.

\* \* \*

взгляд проскальзывает в лунку  
деревянного тепла,  
жук вползает на телесный  
срез, где веточка была;

человек, в конечном счете,  
возродится в густоте  
слов, случайных и ненужных,  
на воздушной бересте,

в обреченности, которой  
поддаются хлеб и кров  
с недовыметенным сором  
сыроватых вечеров.

\* \* \*

ворочаться, думать о воскрешении  
всех, чье пожатье еще не стерлось,  
о поступательном обнищании  
слов, не дающих вполне исчезнуть.

собрать бы полные горсти лилий –  
насыпать до слезных краев  
цветы, они пахнут озером что ли,  
обветренным зрением бытия;

никогда, наверное, не стояла ближе  
ночь, ловимая на живца  
бессонницы, она опускается ниже,  
последнюю жалость слизывает с лица.

*Нью-Йорк*



## Александр Вейцман

\* \* \*

Поль Сезанн, после спора с Золя, не заметил, что угол,  
нарисованный утром, впитал не полуденный свет,  
а случайную тень фонаря, под которым МакДугал  
пересек Бликер-стрит, из пейзажа пророча портрет.

В красно-черном костюме, слегка побледневшем в метели,  
ровным взором следя за полетом души мотылька,  
Арлекин был по-прежнему юн, и протяжною трелью  
удлинял Шостаковича в фуге, под гул «ХТК».

Это было не в зеркале и не в окне: было это  
словно между, в пространстве, оставленном для старых стен,  
отрицавших акустику и дуновение ветра,  
отрицавших и краски, и то, что приходит взамен.

Он бы мог написать Арлекина, но вечером больше  
он склонялся к вину, а потом засыпал, кисть в руках  
машинально сжимая, во сне слыша голос: «О, Боже!»,  
как бы мог Шостакович во сне слышать эхо: «О, Бах...»

\* \* \*

Возвратись в этот зал, пыльным зеркалом  
соскользнув со спины Оливье,  
и заметь, как луна ранним вечером  
в синем цвете уходит в фойе,

где Раневская в гриме Корделии  
томик с пьесами прячет от лиц,  
не простивших Российской империи  
птиц, похожих на чаек; где Фирс

в платье Лира вздыхает об огненном  
шаре из незамеченных снов,  
признаваясь, что в Англии холодно  
только ночью и только со слов

графа Глостера в облике Гаева,  
уходящего в заумь, как в путь  
сокращенного облаком марева,  
из которого можно вернуть

строки с вечной судьбою анапеста,  
чтоб луну ритмом вальса отвлечь, –  
а затем жизнь продолжится, начисто  
удаляя и память, и речь.

\* \* \*

Улисс вернулся домой, а дома опять ни души.  
На небе – ни сини, ни облака. Говорят, горизонт в глуши  
спешит за отсутствием света, и этим бросает фортуне  
существенный вызов в апреле, но чаще всего в июне.  
Улисс спешит по соседям и тихо бормочет: «Когда  
меня покинет память и, значит, покинет беда?»  
Соседи его не слышат, но, видя диковинный профиль,  
кричат о победе в мае, как будто о катастрофе.  
Улисс затем подумал: «Кем выдумана та западня,  
что миру дала Лаэрта, а Лаэрту дала меня?»  
И понял, что будет жить дальше, теперь, впрочем, не объясняя  
себе совсем ничего, помимо собачьего лая.

\* \* \*

Прислушайтесь: из пыльного угла,  
где некогда висели зеркала,  
доносится холодный и невнятный  
звук голоса, летящий к небесам, –  
и это сочиняет Мандельштам  
стихи про неизвестного солдата.

Прислушайтесь: послышится «Аминь»,  
как признак жизни там, где раньше жизнь  
теплилась, наделенная глухими  
и ветхими молитвами, жизнь та,  
что начинается с имени Христа,  
а завершается, совсем не помня имя.

Прислуш... опять идет январский снег,  
рифмуя прежним ямбом новый век,  
что кажется логичным, ибо ямбы  
одергивают время – шаг, вздох, взгляд –  
и в прошлое торжественно спешат,  
чтоб лечь под светом деревянной лампы.

*Нью-Йорк*

## Алексей Ткаченко-Гастев

### ОЛИВЕРУ, С ЛЮБОВЬЮ И НОСТАЛЬГИЕЙ

#### I

Ты говорил со мной даже тогда,  
когда мы много дней подряд не видели друг друга.  
Я слушал тебя в дни сомнений и раздумий.  
В минуты споров с собой, ты был – мой внутренний собеседник.  
Твои доводы были самыми вескими.  
В наших мысленных диалогах  
ты не давал мне лениться и лгать, предавать себя и надежду.  
Ты, в то же самое время, бывал милосерднее ко мне,  
чем я к себе сам.  
Ты и только ты умел видеть меня лучше,  
чем я себя сам.  
Доказывая себе что-то, я доказывал это тебе.  
Я взбирался на те же горы, шагал теми же мостовыми,  
читал те же стихи.  
Я не мог, как ты, воспарить над черно-белой палитрой клавиш,  
не мог и помыслить твоей аскезы.  
И сегодня я будто бы продолжаю идти  
в светлой тени твоего лица, в мягких отзвуках твоего голоса –  
твоего прекрасного, мелодичного говора, который ты,  
приглушая и замедляя,  
приноравливал к моему в наших беседах.  
С этого своего голоса ты мог, не обинуясь,  
говорить о Боге, мог и по-английски играть словами,  
загадочно и темно.  
Вместе с тобой жизнь давала мне шанс –  
принимать себя со всеми странностями и нелепостями –  
с тягой к давно исчезнувшим вещам,  
с запутанной биографией.  
Почему мне понадобились два года  
и твой безнадежный шаг с заснеженных скал,  
чтобы сказать тебе это?

## II

Смерть и Время царят на Земле...

*Вл. Соловьев*

Голубая гора – это только предлог  
для прогулки по небу весенней порой.  
Эти бездны разверз юный, алчущий бог.  
И ракита, и вереск шептали: «Постой!»

Было время, когда ты стоял у плеча.  
Мне его не хватило, чтоб просто спросить –  
от каких осиянных и дивных начал  
пролегла твоих помыслов зримая нить

в этот каменный склеп, где сейчас мы одни?  
Где земного ядра гнет непреодолим?  
И над плахой-помостом в ненастные дни  
так надрывно поет в черной мантии мим:

«Смерть и Время, как прежде, царят на Земле.  
Я владычества их без борьбы не приму.  
Голоса тех, кто жил, утопают во мгле.  
Тихо светят их лики на нашу тюрьму».

## НОВОГОДНЕЕ

Думать о тех пустотах,  
что возникают  
в миг окончания  
вещей и событий.  
Доедать яства  
с праздничного стола  
в первое утро  
нового года.  
Останавливать взгляд  
(по образу фотоснимка)  
на забытых вещах  
в день, когда  
из дома  
уехал  
сын или друг.

Часто бывает так,  
что единственный способ  
сказать о любви –  
это указать на вакуум  
ее отсутствия.

### СОН ОБ АМЕРИКЕ

Что-то всё встает в сонной кутерьме,  
будто бы не прожит последний бой:  
заключен в Америке, как в тюрьме,  
с правом переписки... с самим собой.

Много тех, кто помнит, как плыть домой.  
Мало кто решится свернуть с путей.  
Ведь в садах любви забывая травой  
заросли калитки и тропки те.

Каждый пойман в круг золотых теней.  
Ласков свет в избушке, да темен лес.  
Правдорубы с былью далеких дней  
с тесаками ходят наперевес.

Дух свободы призрачной застит зал.  
Колотьба в висках давит медный лоб.  
Ну, вставай, Емеля, промой глаза!  
С печки до парковки путь недалек...

### ЧЕЛОВЕК

Тучный ельник у станции в сумрачный час  
в колдовскую укутан вуаль.  
Я по тропке бреду вдоль заснеженных дач.  
Я свищу: «...pour forger mon étoile»...

В электрички вбегает прокуренный люд  
подмосковного города N.  
Я стою с фонарем. Я в глаза их гляжу,  
как когда-то глядел Диоген.

Человеческий дух – у кострищ и берлог,  
но к нему здесь примешан иной –  
он – как птичий, криклив, он – как лисий, остёр,  
он – несвеж, как шумок за спиной.

Я полжизни моей с фонарем пробродил,  
за опушкой уж брезжит финал.  
Я прочел в ожидании множество книг,  
но почти ничего не узнал.

Я зову Человека по роду его,  
хоть давно на часах – новый век.  
Пусть займет постамент, что оставил ему,  
уходя в долгий путь – Человек.

*Москва*

Михаил Моргулис

## Хохлуша

Есть дни, которые нам посылаются Сверху. Не знаю, в награду ли, а может быть, для искушения или испытания. Это уже не имело значения, после того, как она посмотрела на меня и смертельно ранила двумя зелеными лучами. Но кровь не стала вытекать, а застыла во мне. И когда она обняла меня и я вдохнул смертельный запах ее волос, то сказал: прости меня, Боже, но силы покинули, я остаюсь только для Тебя и ухожу от людей.

Звали ее по-другому, но я назвал ее Хохлушей.

Хохлуша склоняет аккуратную головку на мое плечо – волосы ниже пояса, – целует руку и шепчет: «Нікому не віддам!» («Никому не отдам!»)

Хохлуша говорит про моего друга:

– Бачиш, яка в нього душа, вона відчула, що ти замість Христа живеш із нами... («Видишь, какая у него душа, она почувствовала, что ты вместо Христа живешь с нами...»)

Я глажу Хохлушу по аккуратной головке, поправляю завитушки на шее и шепчу тихо и жарко:

– Жеребенок, ты скакал, скакал и примчался ко мне. И теперь, куда я – туда и ты, куда ты – туда и я.

Хохлуша закрывает глаза и уходит в свой мир, где у нее полно забот о людях, которых она любит. Она и молится со мной так, что все ее просьбы – о других, и держит в молитве мою руку, и гладит ее своей ладошкой.

У нее маленькие розовые пятки и крошечные мизинцы. Я целую ее нежную пятку и мизинец, приговариваю: «Ну что это за карапузничек передо мной, ну сё такое, ну сё такое!» Она весело повторяет за мной: «Ну сё такое, ну сё такое!». И смеется. И ищет губы. И закрывает глаза. А потом внезапно их открывает и пронзительно смотрит, как будто ищет запрятанную от нее тайну. Но вскоре ее глаза

успокаиваются, и в них уже плавают туманы с разгаданными секретами.

Иногда она замирает и превращается в другую женщину, и на лице у нее одновременно радость и мука. Я не знаю, отчего у нее на лице эта смесь чувств. Она и никогда не скажет мне об этом. И никому не скажет. Я порой догадываюсь, что там. Мне кажется, она любит всех – и никого не любит.

Все хорошее она называет уменьшительными именами: кефирчик, вкусненько, тёпленько. Я говорю ей: «Ты – Элизабет Тейлор, ты игруля, хитрюля, звереныш...» Она смотрит на меня и молчит, и я опять тону в этой зеленой волшебной глубине. Тянет нас в этот омут, хотя знаем, что затянет и убьет, а все равно в радостном дрожании души движемся к ней, к своей сладостной смерти.

Хохлуша удивленно разглядывает, берет в свою маленькую изящную руку мои пальцы:

– Оченята твої такі наївні... Подивися, всі хочуть чогось від тебе і обманюють тебе, а ти віриш... Ой, яка ж ти стара дитина! («Глаза у тебя такие доверчивые. Погляди, все чего-то хотят от тебя и обманывают тебя, а ты веришь... Ой, какой же ты старый ребенок!»)

У Хохлуши глаза меняют цвет. В сумерках они синие, с туманной поволокой, а заглянешь в них – они уже зеленые, терпкие, и когда их целуешь, чуть-чуть пахнут мятой. Однажды она замерла, долго-долго смотрела на меня и говорит:

– Ото ти підеш на небо, бо ти старенький, а я залишуся тут, бо я молоденька, і залишиш мене одну-однісіньку. А я не хочу, мени краще піти з тобою... Ой, любенько мій і горенько мое! («Вот пойдешь на небо, потому что ты старенький, а я одна останусь, ведь я молоденькая. Оставишь меня одну-оденешеньку. Ох, любый ты мой и горюшко мое!»)

И запела колокольчиковым голосом:

– Ой казала мені маги і приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала. Ой мамо, мамо, мамо, не принаджувала!

Я писал своему другу: «Моя жизнь – туманная-претуманная, но иногда из тумана выходит Хохлуша, как маленький жеребенок, и шепчет слова, пахнущие земляникой и теплым хлебом».

Говорю: «Хохлушенька, губы твои мягкие, словно у лошадки, и сама ты ладная, будто лошадка, вырезанная из теплого камушка».



Она прижимается головой к моей руке и бормочет, точно во сне:

– Не вмирай, не вмирай, не вмирай... («Не умирай, не умирай, не умирай...»)

Я шепчу в ответ: «Всегда приходит утро, если мы остаемся живыми. Умереть легко – жить трудно. Не спеши говорить ‘до завтра’. А вдруг хохлуши продлевают жизнь...»

Она опять сладко бормочет:

– Я продовжую життя, я тебе не відпускаю... хохлуші продовжують життя. («Я продлеваю жизнь. Я тебя не отпускаю... хохлуши продлевают жизнь.»)

Хохлуша читает мою книгу. Отворачивается, вижу нежный изгиб ее шеи: «А чого ти з другою дівчиною плакав, а не зі мною? Я хочу поплакати з тобою...» («Почему ты плакал с другой девушкой, а не со мною? Я хочу поплакать с тобой.»)

Она придвигается, кладет ладошки на мои плечи, смотрит не мигая, глаза ее, как маленькие озёрца, наполняются слезами. И я начинаю плакать вслед за ней, мы тихо плачем вместе. Потом она прикасается маленьким носом к моему носу. И я готов в эту минуту умереть.

Мы сидим в ресторане, где пекут озерных лососей. Их приносят нам на кедровых дощечках. Хохлуша замерла, рассматривает рыбу, приготовленную с дымком, нюхает, смешно морща носик. У молодого официанта узенькая поросль по щекам и блуждающий где-то вдалеке взгляд. Он все время что-то путает, забывает. Хохлуша определяет:

– То він вчора багато текіли випив і якусь дівчину покохав... («Он вчера много текилы выпил и одну девушку полюбил...»)

Мне становится интересно, и я говорю официанту по-английски: «Эта девушка думает, что вы влюблены».

Официант озирается вокруг, нет ли рядом метрдотеля, и, комкая слова, бросая быстрые взгляды на Хохлушу, сообщает:

– Да, она правду говорит. Девчонка из Бразилии вчера была со мной, и теперь не могу ее забыть.

Он почти всхлипывает:

– Буду ее искать, но кто знает, где она теперь...

Чешет бородку, снова забывает поставить на стол принесенные соусы и уносит их обратно. Хохлуша смотрит ему вслед:

– Кажуть що від кохання втрачають пам'ять. А я навпаки, все пам'ятаю... («Говорят, от любви теряют память, а я, наоборот, все помню...»)

Рыба почти как с костра. Хохлуша маленькими розовыми кусоч-

ками кладет рыбу в рот, ей вкусно, зажмуривает глаза от удовольствия. Приносят бокал рислинга, она мелкими глоточками выпивает вино и осматривает зал счастливыми детскими глазами.

Ресторан соединен с баром «Синий пингвин». На Хохлушу нападает приступ смеха, она говорит нашему официанту:

– Ой, магинко моя, ти загубив Бразілію! («Ой, мамочка моя, ты потерял Бразилию!»)

Официант таращит глаза, я перевожу: «Она говорит, что твоя девушка найдется...»

Официант не верит, пыхтит и краснеет. Приходится дать ему двойные чаевые.

Хохлуша берет меня за руку, и мы проходим в «Синий пингвин». Там полумрак, посетители тонут в глубоких креслах. Многие курят кальян: в зале смешение разных запахов – яблочного, абрикосового, апельсинового. Льется счастливая журчащая музыка. Между нашими креслами столик, через него мы смотрим друг на друга. Мне кажется, что потолок над нами приподнимается и открывает обнаженное синее небо в серебряной татуировке звезд. Я говорю: пойду потанцую со звездами. Снимаю кроссовки, закатываю джинсы и выхожу на танцпол. Здесь никого, кроме меня, нет. Пол холодит босые ноги, сладкая музыка уводит в край, где живут мечты, – они разноцветные, много оранжевых и фиолетовых. Мечты машут мне руками с нанизанными на них кольцами и браслетами. Я закрываю глаза, раскачиваюсь, почти растворяюсь, плыву по воздуху. Я плыву к ним, а мечты отдаляются, отдаляются, и я кричу на весь зал:

– Вы обманываете меня!

И они хором отвечают: да-а-ааааааа!

Кто-то прикасается ко мне, это администратор зала: «Вы о'кей?»

– Да, – шепотом говорю ему, – мне до ужаса хорошо, и потому хочется танцевать и плакать.

Я вижу одинокую Хохлушу и иду к ней. Глаза у нее печальные, но она смеется:

– Ты був такой кумедний! Ти хотів вхопитися за зірку, а вона вирвалася з твоїх рук і попливла в небо... («Ты был таким смешным! Ты хотел схватиться за звезду, а она вырвалась из твоих рук и поплыла в небо...»)

Я сажусь, а Хохлуша уходит в танцевальный круг. Тоже танцует босой. Я вижу ее узкие лодыжки, нежные щиколотки, изгибы тела, танцующие вместе с ней, она поднимает руки, как будто тянется к небу, смоляные волосы нежно разметываются, глаза полузакрыты, как будто все это происходит во сне. Люди смотрят на нее, как на девочку, прилетевшую с другой планеты. Музыка заканчивается, она

останавливается и возвращается оттуда, где пребывала танцую. Находит глазами меня, иду к ней, спешит навстречу, хрупкий, прекрасный жеребенок. Тонкими пальцами касается моей щеки, я целую их, она говорит:

– Я була там, де живуть ніжні, щасливі люди. Там був і ти... («Я была там, где живут нежные, счастливые люди. Там был и ты...»)

Хохлуша сидит на веранде, рядом с ней – ваза с вишнями. День заканчивается, и закат, тоже темно-вишневый, согревает вишни и Хохлушу. Она что-то говорит закату, а потом берет вишенку, долго рассматривает ее, вздыхает, потом целует. Заметила мой взгляд, засмушалась. Я говорю:

– Да ты не стесняйся, это хорошо, что ты вишенку поцеловала. Это значит, что сердце у тебя хорошее, вишневое, как этот закат, и сладкое, как эта вишенка.

Хохлуша снова берет в руки вишенку и медленно отвечает тоненьким голосом:

– Вони всі наші сестрички та братики... Їх можна цілувати... Вони ж рідненькі... І вони допомагають нам... («Все они наши сестрички и братики... Их можно целовать... Они такие родненькие... И они помогают нам.»)

Господи, мне аж больно стало от ее слов. Я и не знал, что особая нежность может пронзить как боль.

– А что ты сказала закату, если это не тайна?

Хохлуша глянула на меня прозрачной зеленью и прошептала:

– Нічого особливого не сказала, і це не таємниця. Тільки побажала йому доброї ночі... («Ничего особенного не сказала, и не тайна это. Только пожелала ему доброй ночи...»)

Я отвернулся и подумал себе: вот бы политикам услышать эти слова, может быть что-то перевернулось бы в их душах.

Говорю ей: «Хохлушенька, медовичок мой, горькая полынушка моя, вожу я тебя в место, где кажется, что жизнь останавливается, где все люди становятся добрыми и молодыми, где под столами ходят невидимые коты и трутся мягкими спинами о ноги. Это место называется ‘Ужин в раю’».

Хохлуша хлопает в ладоши, но вдруг застывает:

– А хіба ж я твоя гірка полин-трава? Ти завжди шепотів мені, що я солодка... («Разве я твоя горькая полынь-трава? Ты ведь всегда шептал мне, какая я сладкая...»)

– Хохлушенька, ты самая сладкая на этой земле, а горько мне становится, когда я вспоминаю, что скоро уйду в небеса, а ты, жере-

бенок, останешься на земле, и я смогу приходит к тебе только во снах...

Она протянула ко мне руку, как веточку, и стала грозить пальчиком с колечком:

– Не вирішуй свою долю замість Бога. У нас кожен день, як рік, і ми з тобою багато років будемо разом. Не кажи так, щоб мені хотілося плакати, кажи так, щоб мені хотілося сміятися. Рідненький мій... («Не определяй свою судьбу за Бога. У нас с тобой каждый день как год, мы еще много лет будем вместе. Не говори так, чтобы мне хотелось плакать, говори так, чтобы мне хотелось смеяться. Родненький мой...»)

Мне бывает трудно на нее смотреть. И сейчас было очень трудно. Я просто склонил голову и кивал, кивал в знак согласия, хотя знал, что сказал правду.

Не знаю, бывают ли ужины в настоящем раю, но в этом земном раю мне показалось, что я уже не на земле. Откуда в этом ребенке такая нежная сила? Смотришь на нее и сказать ничего не можешь, летишь, как в тревожном, но прекрасном сне, куда летишь, не знаешь, и уповательно, и страшно, и вдруг видишь – к тебе протянута просвечивающаяся ладошка, и ты приземляешься из сна и смотришь, смотришь, и понять до конца не можешь, где ты. Неужто это уже рай и маленький ангел благословляет тебя прозрачной ладошкой-рыбкой?

«Ужин в раю» стоял на берегу океана. Нас провели к столику у окна. За ним, почти рядом, колыхался куст с бледно-розовыми цветами. Хохлуша замерла и смотрела на тихо качающиеся цветы.

Я взял ее за маленькую руку и повлек через боковую дверь на террасу, над которой свисали эти кусты с цветами. Кроме бледно-розовых здесь еще оказались ярко-фиолетовые и даже нежно-зеленые. Все они тихо покачивались и смотрели на Хохлушу. А она внимательно их рассматривала и шевелила губами.

– Вони пісню співають сумну, а ми не чуємо їхні голоси. Я тільки ледь-ледь чую цю пісню. Вони співають про квіткову дівчину, яку вкрали птахи і принесли на маленький острівцець. Але дівчинка втекла звідти, бо на неї вдома чекав Горицвіт. Але вона поверталася додому півжиття. А коли повернулася, дізналася, що її друг Горицвіт засох від туги за нею. І тоді й вона засохла і вмерла. І її останні слова були: «Почекай мене, Горицвіте, голубчику, я йду до тебе...» («Они поют печальную песню, но мы не слышим их голосов. Я едва разбираю слова. Они поют о цветочной девочке, которую украли птицы и унесли на маленький остров. Но девочка сбежала оттуда, потому что дома

ее ждал Горицвет. Долгим был ее обратный путь, почти полжизни. А когда она возвратилась, то узнала, что ее друг Горицвет засох от тоски по ней. И тогда она сама засохла и умерла. И ее последними словами были: ‘Подожди меня, Горицвет-голубчик, я иду к тебе...’»)

– Хохлуша, ты правда слышала это?..

Она посмотрела в небо, потом на кусты, потом на меня:

– Може, я не все почула, але таке могло бути, могло, могло... («Может быть, я не все это услышала, но такое могло быть, могло, могло...»)

Я обнял ее за плечи, и мы пошли мимо качающихся цветов. Хохлуша прошептала:

– Вони вітають нас... («Они приветствуют нас...»)

На берегу мы увидели последние мгновенья жизни заката. Уставшее апельсиновое солнце погружалось в глубину океана. Хохлуша помахала ему рукой. Солнце почти все опустилось в изумрудную воду, оставалась только верхняя тоненькая полоска, похожая на обручальное кольцо. Потом все апельсиновое утонуло в изумрудном. Хохлуша грустно прошептала:

– Пішло сонечко від нас, мрії спливають, і сонце пливе за ними...

(«Ушло от нас солнышко, мечты уплывают, и солнце плывет за ними...»)

Пиво отливало золотом, а люстры, свисающие с лепного потолка, отливали золотистой голубизной. На официантах – шейные узорчатые платки с золотыми полосками. Столовые приборы тоже позолочены, а на хрустящих салфетках светились золотые вензеля с надписью «Dinner in Paradise». И Хохлушино лицо стало отливать нежным золотом, и я спросил:

– Хорошо ли тебе сейчас, Хохлушенька?

И она пожала плечиками, и стала шептать слова, как молитву:

– Добре мені, мій милесенький... Ти відвіз мене далеко, такий острів є на небі... Ми зараз на цьому острові... Я танцювала з гномами, а ти боявся танцювати, щоб не наступити на них... А тепер ми сидимо у короля острова, і він пригощає нас найсмачнішою їжею в світі... Дякую Богу, що Він дав нам таку радість... І спасибі, що ти постукав у моє життя ... («Мне хорошо, мой миленький... Ты увез меня так далеко, этот остров – будто на небе... Я танцевала с гномами, а ты боялся танцевать, чтобы не наступит на них... А теперь мы в гостях у короля острова, и он угощает нас самой вкусной едой в мире... Благодарю Бога, что Он дал нам такую радость... И спасибо тебе, что постучался в мою жизнь...»)

Я поцеловал ее пальцы, коснулся хрупких косточек, погладил их.

К нам подошел темноволосый менеджер ресторана, представившийся как Луиджи Моретти.

– Простите, но эта девушка принесла всем радость, обратите внимание, как люди смотрят на нее, на многих лицах появилась нежность...

Он поклонился и добавил: «Наш ресторан дарит вам бутылку итальянского вина ‘Гречето’. Это не простое вино, его называют вином пьянящей любви. Сейчас вы увидите его красно-гранатовый цвет, оно с бархатистым вкусом и ароматом фиалки».

И правда, вино переливалось гранатовым терпким цветом и мягко касалось губ.

Я смотрел на ее прозрачные руки и вдруг вспомнил строчки, кажется, это был Лорка: «Ее тонкие запястья, словно кастаньеты, в них встают и замирают нежные рассветы...»

На нашем столе горела свеча, а рядом, в простой темно-зеленой бутылке, тянулась вверх красная роза. Хохлуша смотрела то на менеджера, то на розу, то на горящий фитилек свечи. Она сжимала бокал с таинственным вином, костяшки пальчиков побелели от напряжения. Выпивает глоток и говорит, счастливо вздыхая и показывая на менеджера:

– Він, напевно, король цього острова... («Он, наверное, король этого острова...»)

А потом, заглядевшись в окно:

– Боже мій, добрий і праведний... Якби всі люди могли бути щасливими, як зараз я, то я б погодилася заради цього померти. («Боже мой, добрый и праведный... Если бы все люди могли быть счастливыми, как я сейчас, я бы согласилась умереть ради этого.»)

Она легко коснулась моей щеки.

– Чи можна заради такого померти, добрий мій? («Можно ли ради этого умереть, добрый мой?»)

– Не знаю, Хохлуша... Но тогда без тебя и я умру...

Она погладила шрам на моей щеке.

– Шрамик... Малесенький... Я і його кохаю... («Шрамик... Малюсенький... Я и его люблю...»)

Пришли два официанта, расставили тарелки, на них были нарисованы синие птицы с красными хвостами. Официанты с гладкими черными волосами, зачесанными назад. Они поставили в центр стола блюдо с моллюсками в винном соусе. И одновременно сказали:

– Прего, сеньоре!

Хохлуша говорит:

– Треба нам помолитися... («Нам нужно помолиться...»)

И, взяв мою руку в свою, накрыла ее сверху другой ладошкой.

И я сказал: «Боже милосердный, сохрани и спаси всех, кого люблю и кого забыл. Хохлушу сохрани, и пусть она будет здоровой и счастливой. Детей моих сохрани и помилуй...»

Я закончил молитву, а Хохлуша сидела с закрытыми глазами и гладила мою руку. Потом открыла глаза и посмотрела на меня так, что можно было в них прочесть все и увидеть все. Только закаты там были зелеными.

Моллюски пахли морем, и вкусное тепло поднималось от них. Я передал ей ложку, и она стала черпать винный соус, в котором плавали листики петрушки и мелко нарезанные помидоры. Я знал, что такую еду она ест впервые в жизни. Потом принесли кубики козьего сыра с тонкими сухариками и острым оливковым маслом. К нему положили две маленькие вилки. Хохлуша наколола вилочкой кубик сыра, обмакнула его в масло и застыла. Потом очень тихо проговорила, глядя на огонек свечи:

– Коли ми всі разом, то нещасні однаково. Коли ми поодинці, кожен нещасний по своєму. Але навіть найгірша людина заслуговує любові. Любов – це зграї білих птахів, які шукають на чье сердце опуститися. Іноді вони опускаються на закривавлені сердца. І тоді сердца починають вилікуватися. («Когда мы все вместе, то одинаково несчастны. Когда мы сами по себе, каждый несчастен по-своему. Любовь – это стая белых птиц, ищущих, на чье сердце им опуститься. Порой они опускаются и на окровавленные сердца. И тогда сердца начинают исцеляться.»)

Возле нашего стола остановилась смуглая девочка с корзиной цветов. Я знал, что Хохлуша не любит срезанные цветы, но девочку обижать не хотелось, и я купил букет из мелких, почти фиолетовых роз. Тут же подошел один из гладко зачесанных официантов и поставил букет в тонкую вазу из синего итальянского стекла. Хохлуша замерла и стала о чем-то спрашивать фиолетовые розы.

А я, глубокомысленно упершись глазами в стену, думал о том, что в этом мире, отдельно от нас, живут наши тени. Они бесшумно двигаются, и мы в них не узнаем себя и тех, кто рядом с нами. Тени живут отдельно, делают все, что логично для сознания серой массы, а мы, те, что во плоти – реальные, сумасшедшие, странные, – совершаем нелогичные действия, часто даже отчаянные, от безысходности течения нашей жизни. Но надо быть рядом с кораблями, плывущими по жизни, пока Всевышний не скажет нам: «Пора!»

А еще я подумал, что мир бывает, как зеленое сочное яблоко. Можно вгрызаться в него так, чтобы чистые капли стекали по подбо-

родку, так, чтобы весь мир от этого яблока казался зеленым, как ее глаза. В любви нет возраста, нет внешнего, там есть только Я и Ты, Ты и Я. И даже все некрасивое кажется прекрасным. Такое бывает очень редко... А у нас оно произошло.

Такими мы были в этой жизни с Хохлушей, и я ежедневно касался ее нежных пальцев, пока однажды ночью она не сказала:

– Милий мій, там, звідки я, йде війна. Я чую, як поранені діти кличуть мене. Я кохаю тебе, але повинна поїхати до них... Не бійся, я повернуся до тебе... («Милый мой, там, откуда я, идет война. Я слышу, как раненые дети зовут меня. Я люблю тебя, но должна поехать к ним... Не бойся, я вернусь...»)

Конечно, я отправился вместе с ней. Мы перелетели через океан и машиной приехали в места, где с двух сторон стояли солдаты. И неожиданно попали на праздник, который отмечали и те, и другие. Война захотела отвлечься от крови и смерти. И потому все солдаты были пьяны.

На границе с Донецком нас остановили. Высокий молодой боец приказал выйти из машины и, слегка покачиваясь, сказал мне:

– Седой, если я тебя посажу в яму, а потом расстреляю, что ты скажешь мне перед смертью?

Я посмотрел в его жестокие мальчишечьи глаза:

– Ты не согласишься, но скажу, что я тебя люблю...

– Врешь, седой! Как сука последняя, врешь!

– Не вру... Эта девочка научила меня любить всех... Она научила меня любить больных детей, и мы приехали к ним... А если мы любим их, то должны любить и тебя...

– Так, – сказала закутанная в шалевый платок Хохлуша, – так, братику мій, ми любимо їх, і ми любимо тебе... («Да, братик мой, мы любим их, и мы любим тебя...»)

– А тебя кто научил этому? Попы? А может, ты сумасшедшая...

– Ні, братику, це Він навчив мене любити всіх вас, я хочу всіх вас пригорнути до серця, тому що ви всі самотні без Бога... («Нет, братик, это Он научил меня любить всех вас, и я хочу всех вас прижать к сердцу, потому что без Бога вы все одинокие...»)

И Хохлуша показала пальчиком на небо:

– Це Він навчив... («Это Он научил...»)

Солдат отошел, снова вернулся. На лице его играли злые желваки, но глаза протрезвели:

– А сколько людей после тебя я еще убью?

– Після мене ти нікого не вб'єш. Якщо вб'єш, то ти будеш



наступним! («После меня ты никого не убьешь. А если убьешь, то сам станешь следующим!»)

Другие бойцы окружили нас и молча рассматривали меня и Хохлушу. Хохлуша и тот высокий солдат были примерно одного возраста. Она подошла к нему ближе:

– Ты був добрим, та війна вбила добро в твоїй душі. Але душа твоя народить нову доброту. Побачиш... («Ты был добрым, однако война убила добро в твоей душе. Но душа твоя родит новую доброту. Увидишь...»)

Солдат смотрел на нее, смотрел и вдруг попросил:

– Скажи еще что-нибудь, и тогда я тебе поверю...

И тут Хохлуша освобождает из-под шали струящиеся черные волосы и громко шепчет ему:

– Два роки тому ти поховав свою матір. І після цього жодного разу не був на її могилі. Ти п'єш конфісковані в людей коньяк та горілку, гуляєш із повіями і думаєш, що ти крутий! Ні, ти ще прийдеш на могилу до своєї мамусі і будеш плакати там гіркими сльозами... І я, братику, буду плакати з тобою... («Два года тому назад ты похоронил свою мать. И после этого ни разу не побывал на ее могиле. Ты пьешь конфискованные у людей коньяк и водку, гуляешь с доступными женщинами и думаешь, что ты крутой! Нет, ты еще прийдешь на могилу своей матери и будешь плакать там горькими слезами... И я, братик, буду плакать с тобой...»)

Солдат побелел и закричал:

– Ты ведьма, да?! Ведьма?

А она засмеялась колокольчиковым смехом:

– Можливо, я і відьма, але я не зла відьма... Відьми не жалкують людей і не плачуть, а я жалію та плачу... («Возможно, я и ведьма, но я не злая ведьма. Ведьмы не жалеют людей и не плачут, а я жалею и плачу...»)

Солдаты смотрели на нее, худенькую, с изумительными зелеными глазами, с распущенной гривой черных волос поверх шали. Потом они сказали, что если мы поедем дальше, это опасно, там стреляют и грабят машины.

Но мы поехали. И спустя полчаса в душе у меня заныло, будто птица закричала, которая потеряла птенцов.

– Вернемся, Хохлушик? – спросил я и остановил машину. Она посмотрела на меня великой зеленью глаз. И я все понял. Мы поехали дальше.

А минут через сорок по нашей машине начали стрелять. Я выполз из кабины, потащил за собой Хохлушу, мы упали в траву, и

тут Хохлуша вдруг вырвалась, поднялась и повернулась в сторону стрелявших. И пуля, эта проклятая пуля, ударила ее в грудь. И тотчас же стрельба прекратилась. Она покачнулась, удивленно посмотрела на меня, откинула назад свою прекрасную голову и стала медленно опускаться в траву.

Я прижимал рукой место на блузке, через которую сочно проступала кровь, похожая на то вино, что мы пили.

Губы ее шептали:

– Нічого, нічого, улюблений мій... Не плач, мені не боляче... Не плач, любий мій, ми скоро побачимося... Коли ти не плачеш, я така щаслива... («Ничего, ничего, возлюбленный мой... Не плачь, мне не больно... Не плачь, любимый мой, мы скоро увидимся... Когда ты не плачешь, я такая счастливая...»)

Ладонь моя стала ярко-красной. Я знал, ей уже ничто не поможет. Я знал, что она умирает, и у меня есть только минуты. Я шептал ей:

– Хохлушенька, подожди еще немноженько, чуть-чуть подожди... Хохлушонок, ну нельзя умирать так сразу. Хохлушечка, погоди...

А она тихонечко говорит своим колокольчиковым голоском:

– Я піду в небо раніше за тебе і чекатиму на тебе там. («Я пойду на небо раньше тебя и буду ожидать тебя там.»)

Круглая слеза выкатилась из ее глаза. Она бы сказала – «кругленькая».

– І, знаєш, мій мілесенький, там не плачуть, це тільки тут плачуть, а там ні! («И, знаешь, миленький, там не плачут, это только тут плачут, а там – нет!»)

И еще одна круглая слеза покатила по родной щеке.

И еще она сказала, уже уходя, собрав последние силы:

– Я не хочу вмирати... Люди її вбили, а я знову її народила... («Я не хочу умирать... Люди ее убили, а я опять ее родила...»)

– Кого убили, Хохлушенька?

И уже посиневшие родные губы прошептали:

– Любов вбили... Коханья... А я і ти... ми знову її народили... («Любовь убили... Любовь... А я и ты... мы вновь ее родили...»)

Ее не стало. Бог не услышал мои молитвы. Я лежал рядом с ней. Ко мне подошли старик и женщина. Старик протянул лопату. Я вырыл могилу, снял с себя старый крестик и зарыл его с ней. Все, что было у меня из денег, я отдал старику и попросил: «Навещайте ее...»

И пошел, уже не видя и не слыша никого. Мне надо было собираться к Хохлуше и к Нему... Я вышел к берегу реки. Над миром стояла отчаянно синяя ночь. Я протянул руки к небу и закричал:

– Хохлуша, Хохлушенька, где ты?!

Когда я прокричал это в третий раз, мне показалось, что из ночных туч раздался ее колокольчиковый голос: «Любенький мій, я тут, я чекаю на тебе...» («Родненький мой, я здесь, я жду тебя...»)

И потом приплыла музыка. Наверное, ее послала Хохлуша. И музыка колокольчиково зашептала: «Люби меня, люби меня, несмотря ни на что! Люблю ли я тебя, нет ли, стою любви или не стою, умеешь ты любить или не умеешь, даже если на свете вовсе нет никакой любви и это просто выдумка – все равно люби меня!»

*Флорида – Донецк. 2017*

## Валентина Синкевич

### ДОМА

*Лиле Матвеевой*

Безвыездно-безвыходно я дома.  
Одна. Куда же мне идти?  
Дорога, будто бы, знакома,  
но дома я, а не в пути.  
И с Чеховым твержу я снова:  
В Москву! В Москву!  
И знаю: все это не ново,  
но у меня там рандеву.  
Там рандеву я жду с друзьями.  
Вот и Елагин со стихами  
мечтал на Сретенке побыть.  
Но «Ты, мое столетие!»  
ему прокаркало: «Не быть!»

А дочь Елагина живет в глубинке  
и там щебечет на машинке  
простые строчки обо всем.  
И говорю я с ней о том,  
что хоть сию давно я дома,  
но четко вижу как соломой  
горело время в несгораемом бараке,  
и два поэта были в браке:  
Анстей-Елагин. Ну, а я – полупоэт  
искала в их поэзии ответ  
на всё. И находила и теряла...  
И начинала все сначала...

И вот сию я сиднем дома,  
где все давным-давно знакомо:  
на коврике мурлычет кошка,  
и солнце бьет лучом в окошко.  
А ветер на дворе затих.  
И я пишу, пишу я снова,  
и все как прежде: подбираю слово,  
которое закончит стих.  
И слышу голос со двора:  
«Пора!»

## ТОГДА

И плотно закрыты двери,  
и окна все на запор.  
И в жизни были потери.  
Да, были. Но это сегодня – вздор.  
И плакать над этим не надо.  
Остер, а не Ленинград.  
И детство – без шоколада,  
но разве нужен был шоколад,  
когда ветки свисали из сада –  
они ведь тогда цвели!  
И строчки лилился рекою,  
и детской упрямой рукою  
я стихи писала тогда.  
Потому не исчезнуть надежде!  
Твердит она много лет,  
что «стихи ты пишешь, как прежде,  
ведь родилась ты тогда как поэт».

\* \* \*

*Володе*

Предстоит ли нам встреча? – Не знаю.  
В тех краях ведь свои права.  
Здесь я верила нашему раю –  
я ведь в этом была права?

Или в том, что нам солнце светило  
и подсолнух тянулся к нему?  
Это было у нас, ведь было!  
И не спрашивай – почему?

Просто время настало акаций  
и цветущих яблонь в саду.  
Здесь мы прожили жизнь без оваций,  
я, как ты, без оваций уйду.

А встречаться – неужто не будем,  
там, где ангелы и небеса?  
На земле мы не верили судьям.  
Но на небе – ведь есть чудеса?

*Филадельфия. Сентябрь 2017*

## Екатерина Оленина

\* \* \*

Прозвенов высокой синей звенью  
над рекой и слуха не задев,  
не свое окликнут отраженье  
сумерки в погашенной воде.

Это наши лица и ладони,  
молча догоревшие с костром.  
Только твердь становится бездонней.  
Только мрак становится нутром.

В наших жилах – смерть, а не водица,  
В наших рощах пепел, а не цветъ.  
Чтоб весною заново родиться,  
осенью придется умереть.

\* \* \*

Я налегке. Куда иду, не вем...  
Там звездный ковш мне вычерпает душу,  
там хлынет ночь по руслам моих вен  
и русла те нечаянно разрушит.  
С собою я немного ношу:  
сквозняк на сердце, а под сердцем море!  
Что знаю я о жизни? –

только шум

да грусть  
за этой яростью шальнойю.

\* \* \*

На зернах и на звездах колдовал...  
Мой ключ магический – жар-цвет, разрыв-трава.  
Сорвал, так не смотри назад! – он рече.  
Он отомкнул мне недра и леса,  
зверей и птиц ручные голоса.  
Он перевел мне мир на человеческий.







И руны ожили,  
в свой черед,  
и бытия  
обнажили нервы.

Он был поэтом,  
он магом был.  
Скитался по городам  
и весям,  
но в силу величья  
его судьбы  
в них стало тесно ему  
кудесить.

Солярный челн,  
человек-каное,  
плывя по травам  
и палым листьям,  
он оттого в мир уплыл  
иной,  
что в этом –  
лимит красоты превысил.

\* \* \*

Над головой опрокинуто веретено,  
у ночи из рук выпало, как – неведомо,  
застыло в падении вечном, прося одно:  
нареките туманностью Андромеды!

А у времени ночью, знаешь, лицо травы,  
лицо младенца, и только дрёма, и слов нет,  
на губах у него – молоко галактик кривых,  
звездных спиралей, и утром оно обсохнет.

Отражения всего во всем – факел зажги –  
не порознь тогда запоют, а великим хором.  
И мироздание – только твои шаги  
по пустому зеркальному коридору...

*Нью-Йорк*

## Ольга Злотникова

\* \* \*

Здесь даже зверь, себя преодолев,  
стал человеком в облике зверином,  
и в яслях спит его младенец-лев,  
и львица-мать укачивает сына,  
как ночь – новорожденную звезду.  
Открыто все: дома, амбары, хлев,  
и лев с козлом резвятся на земле,  
и юноша, сидящий на осле,  
беспечно напевает ерунду,  
и юноша играет ду-ду-ду  
на деревянной дудочке-свирели,  
и время проплывает еле-еле,  
как перышко, высоко над землей...  
Какая это глупость, Боже мой!  
И тут же выпадаешь из постели  
в предзимний непроявленный рассвет:  
стоят солдаты «да», «не знаю», «нет»,  
и каждый непременно – только на смерть.  
Разгонишься, упрешься – и привет,  
и хорошо хоть – не поднимут на смех,  
но будут долго, пристально смотреть,  
как ты живешь на четверть и на треть:  
беднее всех, виновней – хуже всех.

### ЛЕПЕТ

Звуки сбегаются в лепет, всегда – в лепет,  
слово – невнятица в мировой бродильне,  
слово в давитьне ума, в плавильне идеологии,

безделушка «люблю», безделушка «прощай»,  
взлет на языке бессмыслица «поздно»,  
размыкаешь кольцо губ – выговорить не можешь,

в горле громада «память», в сердце дворец Аушвиц,  
в ямке между ключицами красный цветок Дахау,  
блуждающие огоньки Терезиенштадт, Берген-Бельзен,  
Маутхаузен, Равенсбрюк.

Здравствуйте, пан Корчак, как поживаете, мать Мария?

Малый Тростенец под сердцем, в нескольких шагах от дома.  
Ежевечерне ложисься в свою постель,  
целуешь детей,  
шепчешь: «Спокойной ночи...»

Из Бабьего Яра в густой тишине: – Агу!  
Автоматная очередь новостной ленты,  
флаги и крики и флаги и кровь и пот.

Сходим с тобой со свечкой на Куропаты,  
посидим, помолчим, покурим, заводы хоботы вытянут  
в разреженную пустоту атмосферы,

и если каждый замученный хрипло попросит: «Воды!»,  
если каждая просьба будет услышана,  
нас ждет великий потоп, и новый Ной –  
кроткий бездомный с Киевского вокзала,

свита его – старая дворняга, черная кошка  
с выводком тощих котят,  
вокзальные голуби, вороны и воробьи.

В каждом флаге сидит мутноглазый бес,  
но белые флаги чисты – я пою белые флаги.

Хоботы заводов сосут пустоту,  
и если нет сил произнести «люблю»,  
остается жалость и нежность,  
нежность и жалость.

\* \* \*

Качается соломенная зыбка,  
история тиха и безъязыка  
до первого младенческого крика

(гляди, как прибывает молоко!)

Хватай изголодавшимся зверьком  
торчащий бледно-розовый сосок,

младенец мой,  
щенок,  
детеныш,  
Бог.

Я видела, как плещется внутри  
светящаяся маленькая рыбка –  
в аквариуме – детская улыбка,  
давай ее отпустим:  
раз,  
два,  
три!

...Я тоже улыбаюсь,  
посмотри,

я тоже исчезаю,

я – внутри  
дрожания, свечения...

Замри!

\* \* \*

так шишка пахнет – тсс! – едва-едва  
так шишка пахнет

не сказанное вслух огромно

так лес встает, так лес один стоит  
так руки поднесешь к лицу – смола и хвоя

не сказанное вслух огромно

и – вглубь отсутствия – как свет сквозь иглы  
сквозь их непримиримое  
часы и частокол

сквозь пустоту, и нет роднее –  
сквозь колыбель, где ветер  
качает паутину как простынку

так свет сквозь время говорит

еще любовь, твой волглый мох и прель  
и вдруг в апреле грянет первоцветом  
на ней растешь, она тебя удобрит  
она тебя взрастит и заберет

так шишка пахнет...

не сказанное вслух огромно

\* \* \*

*Памяти Елены Шварц*

Я здесь проездом, потому  
имущества не завожу.  
Как мошкара: на свет, во тьму  
звеню, жужжу...  
Лечу бесстрашно, как комар,  
на страшного земного зверя.  
Едва коснусь – свистит удар  
хвостом – невелика потеря  
для вечности – один сосун,  
один случайный кровопийца.  
В раю, как вечером в лесу,  
таких – тьма-тьмущая толпится.  
И всё звенят, жужжат, как встарь,  
беспечные, но видишь, Боже:  
у пса на кончике хлыста  
облезла шерсть,  
и неспроста  
лоснится  
розовая кожа!

\* \* \*

1

июль явился бабочкой в окно,  
скорее цветом, чем прикосновеньем,  
скорее тишиной, чем...  
перед грозой такая тишина!  
а мы смогли бы бабочкой в просвет  
из своего присутствия молчать:

намеком, взмахом,  
жизнью смерть поправ,  
смотреть из глубины цветов и трав?  
лучась, как детство, явленное нам,  
чтоб стать надеждой,  
хижиной дощатой  
в запутанных темнеющих ветвях  
(как хорошо сбегать туда в июле!)  
не забирай меня отсюда, смерть!

## 2

– а если я умру, – спросило детство, –  
зачем тогда кузнечики в траве?  
– а если я умру, – спросила юность, –  
зачем тогда жасмин перед грозой?  
– а если я умру, – спросила зрелость, –  
зачем тогда налитые плоды?  
– а если я умру, – спросила старость, –  
зачем тогда вязание и сон?  
– а если я жива, – спросила смерть, –  
зачем тогда меня вы так боитесь?  
и человек, смущенный, замолчал,  
потом чему-то долго улыбался  
в густые седоватые усы.  
а рядом с ним, как мать, сидела смерть  
и гладила младенческие кудри,  
и называла именем домашним.

*Минск*

## Михаил Вирозуб

### ЖИЛИ ЛЮДИ...

Мне осталось наследство –  
имена, имена.  
Родных, знакомых  
и незнакомых,  
живших по соседству с нашей жизнью.  
Остается решить,  
что со всем этим делать.  
Одно понятно: если забыть кого-то,  
я без наследства останусь!

Вот жил человек, который кричал,  
что советская власть – просто банда,  
а работал начальником.  
Это мой дед.  
Жил другой человек, который сказал,  
что не будет прислуживать банде,  
уж лучше нищая жизнь.  
Он работал библиотекарем.  
У жены его выбора не было –  
она прилепилась к мужу.  
Это отец и мать.  
А вокруг были люди разные:  
зубной врач с «левым» золотом –  
он уехал в Америку;  
комсомольский вожак –  
этот уехал в Израиль;  
директор фабрики –  
дедов друг детства –  
кажется, сел в тюрьму;  
был умный старик,  
все больше молчавший,  
советовавший не высовываться, –  
все прислушивались к нему,  
и другой старик,  
просто горячившийся,  
которого слушали тоже.  
И еще много людей

с незнакомыми именами,  
с женами и детьми –  
этих куда девать?  
Вспоминая их всех,  
как по кладбищу прохожу.  
И совсем не помню,  
о чем они спорили,  
а ведь кто-то был прав, кто-то нет.  
Что ж, и такое наследство бывает:  
кладбище имен,  
на котором останки судеб.  
И я –  
сторож, метущий дорожки.

## СЕМЕН ЕФИМОВИЧ

Отец прозвал его Стариком  
и очень любил.  
Говорил:  
– Пойду к Старику!  
Иногда брал с собой меня.  
Он был слесарь и книжник.  
Книги собирал про евреев,  
против евреев тоже,  
говоря, что надо знать своего врага.  
Еще он знал идиш.  
Отец не говорил на нем  
с довоенного детства,  
радовался, что понимает  
и может ответить впопад.  
Отец жалел,  
что познакомились они поздно.  
А я читал ему юношеские стихи.  
Последний друг отца.

Старик был женат.  
У жены – интеллигентной армянки –  
был сын, книг не читавший.  
Когда Старик умер,  
сын думал недешево продать  
эту странную библиотеку,  
но покупателей не нашел.  
Он выбросил все. Мы поздно узнали.



## АНАТОЛИЙ

Почему люди расстаются?  
Живут вместе, срастаются,  
а все равно расстаются.  
И друзья сначала реже слушают друг друга,  
меньше встречаются, звонят, пишут,  
потом вспоминают о другом к праздникам.  
Хотя кто сказал, что отношения  
должны быть долгими?

Был у отца друг Толя.  
Дружили они лет шестьдесят.  
Вместе покупали первые книги,  
бегали от милицейских облав –  
тогда книжников гоняли –  
узнавая московские проходные дворы.  
Жизни их шли по-разному:  
отец женился, родился я.  
Анатолий жил один,  
ходил на полуподпольные киносеансы,  
добывал самиздатскую литературу,  
делясь ею с отцом,  
и набивал книгами девятиметровое жилье.  
Больше в его жизни ничего не было.

Когда оба состарились,  
они перестали ходить по книжным  
и вообще встречаться.  
Перезванивались редко.  
А поговорив, отец злился, повторяя:  
– Как он мне надоел!  
Анатолий оставался один с комнатой книг  
и снова зачем-то звонил.

Когда отец умер,  
Анатолий на похороны не пришел.  
Может, они и не были друзьями,  
а просто знали друг друга всю жизнь?  
Или я чего-то не понимаю,  
и мне предстоит еще  
пережить свои дружбы.

## БАБУШКА ЛАНА С ЛЮБОВЬЮ

Люди женятся, рожают детей,  
без которых могли б обойтись, –  
хорошие люди,  
у которых проблем по горло,  
плюс выпали им, как обычно,  
хреновые времена.  
Их детям родительских чувств  
достаётся немного.  
Моему отцу, когда он был ребенком,  
тоже не повезло.

Но ведь должен в жизни быть человек,  
который любит тебя ни за что!  
Отца так любила бабушка Лана.  
И он приезжал к ней  
просто посидеть рядом,  
читая книгу.

К ней он привел  
свою девушку – мою маму,  
а потом рассказывал мне про бабку  
все, что знал, –  
хотел, чтоб ее доброта  
досталось и мне –  
самым дорогим делился.  
В ответ я смог  
только запомнить эти рассказы,  
продлевая память о бабке  
на одно поколение.  
Ведь от бабушки Ланы  
не осталось ни колечка, ни даже чашки.  
Одно фото, всего одно.  
И воспоминания подростка:  
как он садился на трамвай «Б»  
и долго – больше часа – ехал  
туда, где его любили.

## ВОТ ТАКАЯ МОЛИТВА

Господи,  
прости моему деду!  
Он кормил большую семью,  
полагаясь только на свои руки,  
и забыл Тебя.  
Прости моей бабке:  
когда в войну умирал ее сын,  
она не думала о Тебе,  
а только, где бы добыть еду.  
Отцу моему прости:  
он помнил всех безвинно убитых родных  
и понять Тебя не смог.  
Матери моей прости:  
она любила своего сына,  
не видя никого вокруг,  
даже Тебя.  
Прости моих близких,  
ведь, говорят, Ты прощаешь  
богохульников, пьяниц, блядей,  
даже убийц и политиков,  
хотя откуда нам знать!  
Господи,  
я верю в твою доброту,  
но не верю в Тебя.

Но если Ты – любовь,  
тогда это Ты кормил мою семью,  
сидел с умиравшими и отчаявшимися,  
а люди были  
Твоими глазами, руками, сердцем.  
Хотя, говорят,  
Ты – просто надежда.  
Я не верю в Тебя.

\* \* \*

Мифы пишет чиновник,  
иногда – хорошие мифы.  
Например, делает героев  
из погибших на войне мальчиков.

Я хочу стать чиновником  
для сорока поколений предков,  
просто тянувших лямку.  
Хочу, чтобы их, наконец,  
отметило командование.

Чиновник многое может.  
Вся история – это его фантазия.  
Плод таланта и производная  
хорошего почерка.  
Он сочиняет жизни и смерти,  
зная: видеть – не главное,  
главное – всё расставить.

И на моем клочке бумаги,  
на моем клочке истории  
напишу, что один молился,  
другой молот зерно,  
третий просто был терпелив.  
Я подаю прошение  
на сорок поколений, тянувших лямку –  
я представляю их к орденам.

*Москва*

## Екатерина Преображенская

\* \* \*

Самоубийцы с веревками  
Бельевыми,  
Просроченными таблетками,  
Бритвами – острыми  
И тупыми,  
Бросившиеся под мыло,  
По расписанию поезда.  
Ах, Сильвия, Сильвия\*,  
Почему ты стоишь в такой позе,  
На коленях, с головою в духовке:  
Ноги – в раскорячку, и зад – отклячен,  
Может быть, ты хотела, чтобы смерть  
Пристроилась сзади?  
Большой стриптиз? Праздник для некрофила?  
Чтобы смерть тебя так любила?

Самоубийцы с записками – длинными и короткими,  
Умными и смешными,  
С глазами – горящими и пустыми,  
Внимательные – с планом в голове,  
И неряшливые – без плана,

Самоубийцы – с флакончиками  
И пипетками,  
С обидами – срочными,  
Изобретательные и не очень,  
Вооруженные  
Ножницами, отвертками, пистолетами,  
Клозетами, лестницами и порошками,  
С мостами и водоемами  
Под мышкой, –  
Выбросьте эти игрушки,  
Смерть – не карьера,  
Которую можно сделать,  
Она не оценит вашу смелость,  
И долгожданной встречи – не будет.

Здесь она, здесь!  
 Как стояла за левым плечом,  
 Так и лежит –  
 За мертвецом,  
 Подпрыгивает,  
 Обнимает  
 И держит за плечи,

Show must go on,  
 И новый реквизит –  
 Приносят  
 Плачущие родственники.

И колокол опять звонит для всех,  
 И плачут все по всем,  
 И все смеются хором,  
 И вспоминают всех...

---

\*Сильвия Плат (1932–1963) – американская поэтесса, зачинатель «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе XX века. Покончила жизнь самоубийством. (Ред.)

\* \* \*

*Е. В.*

Ну вот мы и добрались до сути дела, до сердца Европы,  
 до середины жизни, до Праги.  
 И глядя с тобой с почти римских холмов –  
 Я вижу не город, а  
 Ловкую воронку, в которую стекается всё  
 Я вижу много-много ступеней, степеней,  
 Указателей, архитектурных деталей зла,  
 Придуманных так тонко, как будто бы действие всегда  
 Происходит на закате

Да, да, кивает скелетик на пражских часах, –  
 Я – механическая игрушка, умею кивать головой только вперед,  
 Еще в средние века считали, что мир очень стар,  
 А сейчас он – супер стар, так, звезда ни о чем  
 Посмертно награжден медалью «За храбрость»

Печально, что ты перешел на сторону сопротивления,  
 но если бы ты  
 Не перешел – тоже было бы печально, Карел Павлик\*,



\* \* \*

Листья по-прежнему пустынно –  
Записывают и стирают воздух,  
Записывают и стирают  
По-прежнему безумны –  
Прячут внутри куста как тайну часть ночи  
Но ночь – не тайна,  
Она – добыча – для того, кто ее догоняет,  
И – охотник – для того, кто убегает

Деревья заняли свои места навсегда  
И не пускают туда,  
Где стоят, а земля  
Земля – всегда повсюду, всегда на месте, и потому  
Некуда перемещаться

О эти темные неподвижные письма,  
Вечная бессонница Черного  
Впереди – утро, позади – футбольное поле  
Направо – мяч, налево – забвение

\* \* \*

*А. Д.*

Автозапчасти, – о Боже!  
Сумерки – окончанье всего,  
Предел возможностей, затемнение  
Ты уже умер  
Так и не написав мне рекомендательного письма,  
Единственной вещи, которая мне была от тебя нужна  
Теперь я называю тебя так –  
Без имени без отчества,  
Изнемогающих под собственной тяжестью.  
Обратно, вместе с твоею рукою, идущую спать,  
С рукою, которую не удержать, учащенно падает снег  
Вопреки земле насильственной, переданной, вручённой –  
Несошедшему голосу точно.

*Санкт-Петербург*



# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

**Сергей Максимов**  
(1916 – 1967)

**Денис Бушуев\***

*Главы из третьего, неопубликованного, тома романа*

*В сдвоенном № 6-7 журнала «Грани» (1949) был впервые опубликован роман Сергея Максимова «Денис Бушуев». В 1950 г. в издательстве «Посев», НТС, «Денис Бушуев» выходит отдельным изданием. Эмигрантская критика восторженно отзывается о романе молодого писателя. Сергей Максимов получает большое количество положительных отзывов о книге, в том числе от И. Бунина, Б. Зайцева, И. Елагина и др. Роман незамедлительно переводится и издается на английском, немецком, а позже на испанском языках. Впоследствии к писателю поступают предложения сделать перевод на французский и итальянский. Из Голливуда Максимова предлагают снять фильм по роману, работа начинается, – но, к сожалению, этому проекту не суждено было сбыться.*

*В 1974 г. стараниями родного брата С. Максимова, Николая Пашина (1908–1976), издательством «Посев» был переиздан первый том «Дениса Бушуева».*

*Выход романа застал писателя живущим уже в США. Сергей Максимов задумывает продолжение романа, и в декабре 1951 г. в газете «Новое русское слово» публикуется одна из первых глав. Автор время от времени возвращается к работе над романом и, наконец, заканчивает второй том в 1955 году, назвав его «Бунт Дениса Бушуева». Книга выходит в Нью-Йорке в Издательстве имени Чехова в апреле 1956 года.*

*Спустя некоторое время Сергей Максимов начинает работу над 3-м томом романа. По задумке автора главный герой повествования Денис Бушуев остается в живых. Действие нового романа происходит во время войны с гитлеровской Германией. Денис Бушуев – в действующей армии, затем в партизанском отряде. Повествование ведется и в родном селе Дениса – Отважном.*

*Известно, что в газете «Новое русское слово» были опубликованы три*

---

\*«Новый Журнал» продолжает публикацию глав последнего, неопубликованного, тома романа «Денис Бушуев». См. НЖ № 286, сс. 299-308. Тексты С. Максимова см. также: НЖ, №№ 279-280, 2015; № 282, 283, 2016. О Сергее Максимова см.: НЖ, №№ 254-257, 2009.

*главы из 3-го тома. Были ли написаны еще главы – об этом сведений в семейном архиве С. Максимова не найдено. Ясно лишь, что третий том не был закончен и никогда не издавался.*

*Андрей Любимов*

## ГЛАВА 2\*

Начштаба капитан Бережков предложил Денису Бушуеву перебраться к нему в землянку на место убитого лейтенанта Рябова. Бушуеву осточертела глупая болтовня повара Макарова, и он с радостью перебрался в землянку Бережкова. Маленький, тихий Бережков ему нравился. Орнитолог по профессии, он так же, как и Бушуев, органически ненавидел войну, кровь и все то, что неизбежно так или иначе связано с войной. И так же, как и Бушуев, он был случайным человеком в партизанском отряде.

Дни были тревожные. Несмотря на распутицу, немцы, видимо, решили во что бы то ни стало ликвидировать партизанский отряд, мешавший нормальному передвижению их частей, и, как донесла разведка, они сосредоточили в районе Климова крупное соединение для «прочистки» леса и разгрома отряда. Последние четыре дня над лесом кружил немецкий разведывательный самолет «Стрекоза», кружил до тех пор, пока партизаны не сбили его. Летчик остался жив, его взяли в плен, и он подтвердил, что германское командование готовит решительное наступление на партизанский отряд, с тем, чтобы ликвидировать его одним ударом.

Надо было уходить, но командир отряда Марина Егорова почему-то медлила. Быть может, ей не хотелось расставаться с прочно благоустроенным на зиму лагерем.

Всем было ясно, что Марина Егорова, прозванная бойцами за пристрастие к самогону «мадам Центроспирт», не на своем месте. Но бороться с нею было невозможно: за ее спиной стояла Москва и даже – сам Сталин, о чем красноречиво говорили многочисленные ордена, украшавшие ее богатырскую грудь.

Мужеподобная, высокая и грузная, в неизменной шапке – пилотском шлеме, всегда под хмельком, она, казалось, была рождена для того, чтобы убивать. И убивала она, особенно безоружных пленных, с дьявольским хладнокровием.

У Дениса Бушуева она вызывала тошноту, и он дожидался только конца распутицы, чтобы удрать из отряда. Бережков же считал Егорову психопаткой и без брезгливости не мог говорить о ней.

---

\* «Новое русское слово», 13 октября 1957 г.

– Ей не русским отрядом командовать, а шайкой эсэсовцев... – часто говаривал он. – Компрометирует, гадина, русскую армию...

– Ну, какая же мы армия! – смеялся Бушуев. – Партизаны – не армия.

Однажды – это было в конце марта – Бушуев лежал на нарах в землянке, курил и, от нечего делать, прислушивался к шуму сосен. Этот шум напоминал ему шум вековых берез, там, над крышей домика деда Северьяна, и навевал мучительные и сладкие воспоминания. В землянке было сумрачно и холодно. На самодельном столе, сооруженном из жердей и врытом в землю, тускло мигала коптилка, а с потолка с бревенчатого наката капала вешняя вода.

По лесу гулко раскатился одинокий выстрел. Где-то за оврагом охнуло эхо.

Минут пять спустя в землянку вошел Бережков. Неторопясь сошел по земляным ступенькам. Бушуеву было лень поднять голову, и он лишь глазами проследил за кожаными сапогами капитана, густо облепленными талым снегом и грязью.

– Дождь? – спросил Бушуев.

– Моросит...

– Кто это стрелял?

– Мадам Центроспирт.

– Зачем?

– Опять пленного расстреляла, баба поганая! – возмущенно сказал Бережков. – Сама расстреляла, дрянь! Из нагана!..

– Кого? Зондерфюрера? – бесстрастно осведомился Бушуев.

– Нет. Летчика со «Стрекозы».

Лицо капитана было бледно, сердито, губы дергались и заметно побелел шрам на правой щеке. Фыркая, он отстегнул кобуру с револьвером и зло бросил ее на топчан.

– Зондер ей нужен, видите ли, как переводчик. А этот мальчишка – летчик – убийца, видите ли, женщин и детей, как она выразилась... Какого черта? Парень был кадровый офицер. За какую-то провинность его перевели с «Мессера» на «Стрекозу»... А она – расстреляла. За что, спрашивается? Мы возмущаемся, когда немцы пленных расстреливают. А сами что делаем? Как прикажете расценивать поступок Егоровой?.. Стыд! Позор!.. Все бойцы возмущены!.. Н-нет, вот поверьте, Иван Дмитриевич, все это плохо кончится. Когда-нибудь наши же партизаны ее и прикончат.

– Вы думаете?

– Непременно прикончат. И не только за пленных, а в первую очередь – за Семенова. Помните бойца, которого она перед строем расстреляла?

Капитан сел на топчан, расстегнул ватник, достал кiset с махоркой. И уже спокойнее сказал:

– Назначила меня начальником штаба. Ну какой я начштаба? Я их трехверстку-то с трудом читаю. В армии я случайный человек, и чин мне дали по необходимости – по роду моей службы мне нужен был чин... Я глубоко штатский человек, и вся эта история с войной мне невыносимо противна. Ей-богу!..

Минуты две-три они молчали, думая каждый о своем. Бережков старательно счищал щепочкой грязь с кожаных сапог. И вдруг сказал:

– Знаете, Иван Дмитриевич\*, кого мне напоминает наша Егорова?

– Кого?

– Машку Косову из пьесы Дениса Бушуева «Братья»\*\*.

Бушуев не пошевелился, не взглянул даже на Бережкова, только пальцы правой руки его, державшие цыгарку, чуть дрогнули.

– Видели эту пьесу? – спросил капитан.

– Видел... – неохотно и хмуро ответил Бушуев.

– Где? В Художественном театре?

– Видел в Художественном, видел и в других...

– Вам понравилась эта пьеса?

– Нет, не понравилась... – тихо ответил Бушуев.

– А почему же вы несколько раз смотрели ее?

– Так... пришлось как-то... – неопределенно ответил Бушуев.

– Я очень рад, что пьеса эта вам не понравилась, – сказал капитан. – Значит, вкусы у нас более или менее одинаковы... Но образ Машки Косовой – великолепен. По крайней мере, в исполнении Еланской\*\*\* ... Так вот, наша Егорова – вылитая Косова. Обе фигуры – живые, реальные. Машка Косова, как вы наверное знаете, реально существовала в отряде повстанца Антонова и реально расстреливала пленных красноармейцев. И в данном случае Бушуев не врал... А теперь вот мы с вами сами очутились под начальством Машки Косовой номер два...

Бережков разулся, размотал портянки и заботливо повесил их на рейку возле холодной печки.

---

\* Бушуев, бежав из плена, взял другую фамилию, под которой и оказался в партизанском отряде.

\*\* Под пьесой «Братья», в которой идет речь о Тамбовском восстании А. С. Антонова, автором, вероятно, подразумевается роман писателя Николая Вирты «Одиночество».

\*\*\* Клавдия Николаевна Еланская (1898–1972) – актриса, сыгравшая в 1948 г. роль реального исторического персонажа Марии Николаевны Косовой в пьесе Н. Вирты «Хлеб наш насущный», поставленной по его роману «Одиночество».

– Надо бы, пожалуй, сходить, да привести к нам пленного зондера. Пусть у нас переночует.

– Зачем?

– Да ведь к вечеру мадам нарежется да чего доброго шлепнет и его под пьяную руку. А-а-а... к черту! Не пойду! – и капитан решительно повалился на топчан. – О чем это мы сейчас говорили?... Да, о пьесе Бушуева.

– Что же вам особенно в пьесе не понравилось? – спросил Бушуев.

– Типичная советская пьеса, каких сотни... – коротко ответил капитан. – Пьеса, с тенденцией показать обреченность каких бы то ни было антисоветских мятежей. Но отдельные образы в пьесе – очень хороши. И есть смелые сцены. А в общем – нет ни жизненной правды, ни исторической.

– Так что же вам особенно не понравилось в пьесе? – повторил свой вопрос Бушуев. – Конкретно – что?

– Извольте! – вдруг почему-то горячо сказал капитан и даже сел на топчане, свесив босые ноги. – Извольте!.. Главный недостаток пьесы – наглое вранье автора, наглое искажение исторической правды. По Бушуеву, крестьянское восстание Антонова подавляет Котовский. На самом же деле восстание было подавлено частями Уборевича под общим руководством Тухачевского. А Котовский в это время находился на пути к Тамбову... Ложь, ложь и ложь! Ложь от начала до конца!

– Ну вы же не ребенок, Сергей Петрович, – запротестовал Бушуев. – Ведь когда пьеса репетировалась в Художественном театре, то к этому времени и Тухачевский, и Уборевич были расстреляны. И, естественно, автор не мог писать правду... И, как я слышал, автору пришлось заменить Уборевича Котовским.

– А если автор не мог писать правду, то вообще не надо было писать на эту тему... – сказал Бережков и, помолчав, добавил: – Мне эта бушуевская ложь дорого обошлась.

– Каким образом? – глухо спросил Бушуев и насторожился.

– Очень просто. Сидели мы вот так, как мы сейчас с вами сидим. Только не в землянке, а на московской квартире моего друга энтомолога Георгия Максимовича Кириченко. Сидели и обсуждали пьесу Бушуева. Как водится, изрядно выпили... Ну-с, кто нападал на автора, кто защищал. Вертели пьесу и так и сяк, но почему-то упорно обходили молчанием ту историческую подтасовку, о которой я вам только что говорил. Слушал я слушал, да как вскочу – и давай выкладывать правду-матку. Выложил я, кажется, все, что знал об антоновском восстании и добросовестно указал на роль Тухачевского и Уборевича во всей этой истории...

Капитан нервно чиркнул спичку и прикурил потухшую цыгарку.

– Ну-с, примерно через недельку вызывают меня в соответствующие органы – и с места в карьер: «Так расскажите-ка, уважаемый гражданин Бережков, как вы восхваляли Тухачевского и Уборевича?» – «Помилуйте, – говорю, – я не восхвалял их, я только указал на то, что исторически неверно в пьесе Бушуева.» Следователь – в крик: «Да как вы смеете компрометировать крупнейшего советского писателя? Пьесу смотрел сам товарищ Сталин и дал о ней прекрасный отзыв!» И пошел, и пошел, и пошел... Короче говоря, меня арестовали, и выбрался я из тюрьмы лишь месяца через два. И с испорченной репутацией, разумеется. Теперь судите сами – во что мне обошлась эта бушуевская ложь...

Слушая капитана, Денис, как под ударами, все ниже и ниже клонил белокурую голову. И чувствовал почти физическую боль в сердце. За последнее время он при каждом удобном случае судорожно цеплялся за малейшее доказательство правоты своего нового, глубоко отрицательного отношения ко всему тому, что когда-то написал. Но в то же время, он чувствовал, как становится все труднее и труднее расставаться ему с тем, что когда-то составляло радость и смысл его жизни. Он понимал, что если зачеркнуть все его творчество, как творчество насквозь лживое, не достойное высокого звания писателя, то это значит – признать, что тридцатилетняя жизнь прожита впустую, зря. Больше того, жизнь прожита не только впустую, но и – преступно. И незамысловатый рассказ капитана – лучшее тому доказательство.

На одну секунду у Дениса Бушуева возникла мысль – не открыться ли Бережкову? Не высказать ли ему все, что накопилось на сердце, все до конца с беспощадной откровенностью? Но мысль эта мелькнула только на один миг и сейчас же потухла. Жажда жизни с дьявольской силой вдруг проснулась в нем и одним ударом придавила шевельнувшуюся было совесть...

– Бог с ним, с Бушуевым, – сказал Денис как можно спокойнее. – Он, говорят, двадцать пять лет получил. И – по заслугам.

– Да-с, товарищ Сталин не поспешил. Отблагодарил своего любимчика с лихвой... – рассмеялся капитан.

В сумерках, когда на талый снег легли лиловые тени, а в чащобах начали токовать тетерева, пьяная Егорова пошла проверять посты, и кто-то из бойцов всадил ей в затылок пулю. Капитан Бережков, ходивший на похороны, вернулся в землянку часов в десять вечера.

– Я говорил, что убьют... Так оно и вышло... – хмуро сообщил он Бушуеву.

– Закопали?

– Закопали... – равнодушно ответил капитан. – Я спрашиваю: «Кто убил, ребята?» Смеются, черти. «Шальная, говорят, пуля вдарила ее, товарищ начальник.» Ну, что с ними поделаешь!

– Кого же командиром выбрали?

– Хотели меня, да я отказался. Выбрали Гришина. И – хорошо, по-моему. Боевой офицер, знает дело. А в общем, надоело мне все это до чертиков...

Помолчали. Бушуев с хрустом потянулся во весь свой огромный рост, рывком сел на нарах и вдруг сообщил, глядя на Бережкова повеселевшими, добрыми глазами:

– А я, Сергей Петрович, через недельку-две уйду из отряда. Дезертирую, попросту говоря. Вам надоела вся эта история, а мне – противна. Приму последний бой, – и уйду.

Бережков мельком взглянул на Бушуева и откровенно рассмеялся:

– А знаете что, Иван Дмитриевич, я ведь предчувствовал это. Знал, что рано или поздно вы дадите от нас тягу. Интуитивно чувствовал – не ваше это дело. И еще: догадываюсь, что вы не тот, за кого себя выдаете. Бог с вами! Вы милый, хороший человек, и я от души желаю вам найти свою стезю. Запутанный вы человек. Впрочем, не мое это дело. Уходите, уходите с Богом. И нечего вам дожидаться последнего боя, когда немцы разгромят нас. Уходите теперь же...

– Нет, бой я приму вместе с вами, Сергей Петрович... – тихо сказал Денис. – А если останусь жив – тогда уйду...

Тьма окутала лес. Взошла луна и прозрачным, зеленоватым светом залила все вокруг. В соседней землянке кто-то тихо наигрывал на гармони, и отчетливо доносились слова грустной песни:

...Ах зачем же вы, русские девушки,  
Немцам продали вашу любовь?

И как всегда, слушая эту песню, Денис Бушуев, в десятый, в сотый раз, подумал о том, как мелко и ничтожно его личное горе перед тем национальным горем, которое переживал весь его народ, тот народ, который он так любил и за который, при случае, он, не задумываясь, отдал бы жизнь.

На рассвете Денис Бушуев и Бережков были разбужены гулкой и беспорядочной стрельбой из автоматов. За ночь немцы окружили лагерь и перешли в наступление.

## ГЛАВА 3\*

...В шесть часов вечера приказчик Бюро похоронных процессий № 2 Гриша Банный отпустил по ордеру последний гроб и решил, что пора закрывать свое невеселое заведение. Гриша Банный был один. Заведующий бюро Иван Иванович Ковригин еще с утра уехал в Леспромхоз за новой партией теса для поделки гробов, а второй приказчик – хромой Ефим – третий день пил мертвым поем.

В тесном помещении было сумрачно и тихо. Все здесь напоминало о бренности жизни человеческой. Прислоненные к стенам крышки гробов нагоняли на душу смертельную тоску. Они были наспех сколочены, доски были не оструганы, в занозах и трещинах, в темных пятнах сучков. Под большим зеленым венком, криво висевшем на стене, стопкой были сложены детские гробики разных размеров. В углу стояли два деревянных креста с привязанными к ним ярлычками, на которых была обозначена цена. На заднем дворе небольшой, но беспорядочной грудой лежали непроданные еще гробы и уныло маячил единственный гранитный памятник.

Все выглядело бедно, убого: и здесь сказывалось военное время. Впрочем, на витрине бюро, что выходила на пыльную улицу, красовался отличный выставочный гроб. Он был добротен сделан, выкрашен коричневой масляной краской и отполирован. Гнутые, витиеватые ножки приятно подпирали гроб, а по углам висели веревочные посеребренные кисти. Гроб этот продаже не подлежал.

– Оптический обман-с, а не гроб... – вслух сказал Гриша, задумчиво глядя на выставочный гроб.

Скрестив за спиной костлявые руки, Гриша Банный тихо прошелся по бюро и стал у окна, что выходило во двор. Мысли его снова вернулись к Денису, к вчерашней встрече с ним. Образ бородатого, усталого и грязного Дениса все время стоял у Гриши перед глазами. Да полно – тот ли это белокурый кареглазый мальчик, которого Гриша бесконечно любил когда-то и с судьбой которого так тесно и странно переплелась его судьба? И неужели этот глубоко несчастный человек, по-волчьи одинокий и загнанный, был когда-то молодым и счастливым человеком, чья жизнь до краев была наполнена бурной, радостной деятельностью и беззаветной любовью к людям? Неужели это он, он был когда-то гордостью села Отважного и человеком, которого знала вся страна? Уж не приснился ли Грише сон, тяжелый, кошмарный сон? Нет, все это было, было...

---

\*НРС, 4 октября 1959 г. Местечко Козловы Горы – реальный волжский топоним. Также: герой Гриша Банный ссылается на одну из опубликованных книг известного изобретателя М. М. Поморцева (1851–1916).



– Сомнений нет-с. Это настоящий Денис Ананьевич, а не оптический обман... – вздохнул Гриша и взглянул на гранитный памятник. И мысли его потекли по иному руслу.

Гранитный памятник, так же, как и выставочный гроб, не подлежал продаже. Бог знает, для кого и для чего его хранили. Гриша предполагал, что для какого-нибудь ответственного работника.

Этот памятник был предметом вечной тревоги заведующего бюро Ивана Иваныча. Дело в том, что хромой старик Ефим не раз пытался продать памятник по-черному и пропить, но всякий раз попадался при попытке погрузить монумент на ломовика. Пытался Ефим пропить и катафалк, но не находилось покупателя. Бесследно исчезли лишь плюмажи с двух вороных. По слухам, Ефим продал их открывшемуся новому Бюро похоронных процессий № 3.

Скрипнула дверь, и в бюро вошел постаревший, сторбившийся Ананий Северьяныч. Несмотря на лето и на жаркую погоду, он был почему-то в валенках. Седая бороденка кривилась к левому плечу, а по морщинистому лицу старика разлилась медовая хитреца – стало быть, Ананий Северьяныч собирался что-нибудь просить.

– Здравствуй, Гришенька!

Гриша Банный, не поворачиваясь, прыгнул в сторону и застыл, робко вобрав в голову в плечи. Потом повернулся и, узнав Анания Северьяныча, тихо подошел к прилавку и вкрадливо, с оттенком таинственности, спросил:

– Что желаете, Ананий Северьяныч? Венок-с? Гробик-с? Какой размер-с? Но предупреждаю-с: гробы отпускаем только по ордерам. Военное время-с...

Медовое выражение мгновенно исчезло с лица Анания Северьяныча. Он страсть как боялся таких слов, как «гроб», «могила», «кладбище»... Страшно вытаращив глаза, он сердито сказал:

– Пошто мне гроб? Себе купи, дуралей! Я, мил друг, стало быть, с конца на конец, тебя переживу лет на сто! Вот оно что!.. И на черта тебя из сумасшедшего дома выпустили! Сидел бы себе за решеткой да сидел! Людям спокойнее было бы!

– Всех тихопомешанных выпустили... – ответил Гриша, нежно поглаживая детский гробик. – Военное время-с, под лазареты требуются обширные помещения, а их нет-с. Кроме того, не исключена возможность немецкого наступления на город... В этом отношении тихопомешанные, выпущенные из сумасшедших домов, могут сыграть благородную и решающую роль в деле отражения врага-с... А перед сдачей города предполагается, доложу я вам, отпустить буйнопомешанных-с... Не знаю, хорошо ли это будет – чересчур опасный элемент-с...

– Ну, понес! – махнул рукой Ананий Северьяныч и, сердито пыхтя, присел на колченогую табуретку. Гриша же, высоко вскидывая журавлиные ноги, прошел в угол и заботливо поправил криво стоявшую крышку гроба.

– Материал плохой-с, – вздохнул он. – Доски не оструганы, кругом занозы...

– А что ж мертвецы – вертятся, что ль, в гробу-то? – сказал Ананий Северьяныч. – Али, может, танцы, стало быть, с конца на конец, танцевать? ..

– Ну все-таки, неприятно, я полагаю, лежать в занозистом гробу... – не сдавался Гриша.

Ананию Северьянычу надоели похоронные разговоры, и он опять сердито махнул рукой:

– А ну ты к лешему и с твоими гробами, и с занозами, и с мертвыми вместе, стало быть, с конца на конец!..

И помолчав, спросил:

– Ефим не пропил еще памятник?

– Нет-с... Пытались опять, но не удалось. Ограничились плюмажиками с вороных-с. Плюмажики пропиты-с...

Гришу Банного очень подмывало рассказать Ананию Северьянычу об удивительной встрече с Денисом, но он помнил строжайший наказ Бушуева никому не говорить о том, что они виделись, помнил – и молчал. Ананий же Северьяныч вдруг вспомнил, зачем пришел, и морщинистое лицо его снова приняло медово-хитренькое выраженьице.

– А ведь я, брат Гришенька, к тебе с просьбой пришел. Не поможешь ли мне, дружок, это самое... стало быть, с конца на конец, до Отважного доехать? Я, понимаешь, поустал малость. Все по городу мотался, туда-сюда... Полмешка дуранды нашел да фунтов пять конины... Лодка у меня здесь, на берегу. Может, погребешь малость? А то, дружок, я аж руки натер веслами-то. Да и страшновато одному, на ночь глядя, ехать-то... Уж ты помоги.

– Далеко-с... Восемнадцать верст... – уклончиво ответил Гриша. – К тому же, дорогой Ананий Северьяныч, завтра мне опять надо гробами торговать...

– Врешь, врешь, врешь!.. Завтра воскресенье! Какие там гробы!

Гриша тяжело вздохнул и уныло сказал:

– Хорошо, я помогу вам.

– Ну и слава Богу! – обрадовался старик. – Закрывай, стало быть, с конца на конец, свою надгробную лавочку. Смотреть на нее тошно. Закрывай поскорее!

Когда Ананий Северьяныч с Гришей пришли на берег, солнце уже село. Но на позолоченых, бескрестных куполах собора, высоко взмет-

нувшего над городом, еще играли золотистые блики. На «стрелке» смутно вырисовывался Ипатьевский монастырь. На въезде, что шел к Молочной Горе, звонко стучали колеса телег о бульжник мостовой, а над гладкой, словно маслом политой Волгой кружили чайки, печально курлякая. От пристани, грузно ворочаясь, отваливал пассажирский пароход. Пахло мазутом, дымом и прохладной речной свежестью...

Лодченка у Анания Северьяныча была углая, дряхлая, как и ее хозяин. В прогнившем днище были щели, а деревянные уключины еле держались в бортах. Пока Гриша Банный деревянным ковшом откачивал воду из лодки, Ананий Северьяныч мигом сбегал на пристань и принес полмешка дуранды и конину.

– Ульяновне, стало быть, с конца на конец, подарочек... – весело сказал он, бережно укладывая на слани лодки драгоценный груз.

Гриша Банный глотнул слюну – он был очень голоден.

Путешественники собрались, было, уже отчаливать, как вдруг на берегу, возле лодки, словно из-под земли выросла высоченная и толстая, в три обхвата, молодая баба. На груди и на спине ее висели большие пустые бидоны из-под молока. Сбросив бидоны наземь, баба выпрямилась, поправила косынку на голове и светлыми, смеющимися глазами взглянула на Антона Северьяныча и Гришу.

Она была так высока и так непомерно толста, что в первую минуту Ананий Северьяныч и Гриша не поверили, что живой человек, а не привидение. Широченные могучие плечи бабы распирала лопнувшую по швам телогрейку, как дубовый клин распирает трухлявый пенек. Огромные кожаные мужские сапоги тоже лопнули по швам на голенищах, и непонятно было, каким чудом баба натянула их на тумбообразные ноги.

– Абсолютный оптический обман-с... – прошептал Гриша мгновенно посеревшими губами. – Монумент-с!..

Ананий же Северьяныч, закинув голову так, словно смотрел не в лицо бабе, а на Полярную звезду, удивленно и испуганно тарачил глаза, дохлым лещом округлив рот.

– Голубчики, уж не вниз ли едете? – спросила баба. Против ожидания, голос у нее оказался тоненький, пискливый, как у голодной кошки.

Ананий Северьяныч секунду-две молчал и, поборов робость, недовольно и как-то неуверенно ответил:

– Ну, на низ, положим... А что?

– Ох родимые! – всплеснула баба пудовыми руками. – Подвезите меня, Христа ради, до Козловых Гор. Опоздала я на пароходишко-то. Молоко сдавала в госпиталь раненым, вот и опоздала. Подвезите, родимые! Всего – я да шесть пустых бидонов.

Ананий Северьяныч подумал-подумал и – как ножом отрезал – решительно сказал:

– Нет, не возьму.

– Отчего же, голубчик?

– А потому, бабонька, что лодка у меня утлая – веретенцем стряхнуть, а в тебе, небось, пудов десять будет. Потонем ненароком.

– Да нет, старичок, во мне всего семь пудиков... с гаком маненьким...

– Сказал – не возьму, значит, не возьму! Гришка, отчаливай!

Монумент подошел вплотную к Ананию Северьянычу и, как скалой, напирая на него необъятной, могучей грудью и играя смеющимися глазами, вкрадчиво и сладко сказала:

– А я тебе трешницу дам...

Ананий Северьяныч опять задумался – трусость боролась с жадностью, и, как всегда, жадность победила.

– А не можешь «петушка» дать? Давай «петушка»!

– Могу и «петушка» дать...

Так на пяти рублях и поладили.

Старик швырнул бидоны в лодку, а баба уселась на среднюю скамейку, заботливо подобрав широченную юбку. Скамейка скрипнула и прогнулась, а лодка сразу осела на добрые две четверти. Гриша Банный сел на весла, Ананий Северьяныч – на корму, с кормовиком в руках. Отчалили. Борты лодки едва-едва подымались над водой.

– Мотри, Аграфена, не двигайся, – предупредил старик.

– Не-е...

Выехали на стрежень. Гриша Банный лениво и уныло помахивал веслами. Сумерки сменились теплым августовским вечером. На иссиня черном небе заблестели крупные низкие звезды, а над лесом левого берега показался алюминиевый диск луны, ярким зеленоватым светом заливая все вокруг. В свежий запах речной прохлады вплелись доносившиеся с заливных лугов запахи поздних цветов и сена.

– Так ты что ж, Аграфена, в колхозе делаешь? – спросил Ананий Северьяныч от нечего делать.

– А вот молоко вожу в город.

– Не по тебе занятие. Тебе бы, стало быть, с конца на конец, трактором быть. Не пробовала вместо трактора землю пахать? – серьезно спросил Ананий Северьяныч.

– Могу и вместо трактора работать, – спокойно ответила баба, поблескивая смеющимися глазами. – Только работать-то я не люблю.

Она зачерпнула двухлитровым ковшом воды из Волги и одним духом опорожнила ковш...

Ананий Северьяныч, не скрывая удивления, взглянул на пустой ковш и спросил:

– А ведро, к примеру, выпить можешь?

– Могу.

– А железный шкворень согнуть можешь?

– Могу. Отчего же не согнуть? Я как-то ненароком железный лом согнула...

– А как насчет толстых гвоздей-с? Не пробовали гнуть? – осторожно осведомился Гриша.

– Гнуть – не гнула, – ответила баба, – а забивать приходилось. Как вдарю кулаком по трехвершковому гвоздю, так по самую шляпку в доску и забью. Это просто.

Гриша Банный изумленно приподнял белесые брови, а Ананий Северьяныч неопределенно крякнул:

– А муж, к примеру, у тебя есть, Аграфена?

– Есть, как же...

– Тоже, того... Семи пудов с гаком?

– Не-е, он маненький. Вроде тебя, папаша.

Ананий Северьяныч опять неопределенно крякнул и недоверчиво покосился на бабу.

– И ничего... справляется? – с откровенным любопытством спросил он.

Баба опять заиграла глазами и расхохоталась.

– Справляется! Еще как справляется. Только он у меня, папаша, под каблуком. Страсть как боится меня!

– Матриархат-с... – вздохнул Гриша. – Классический пример пережитка далеких тысячелетий. Говорят, на Марсе матриархат до сих пор-с.

Баба-монумент обернулась к Грише и негромко спросила:

– А ты, мил человек, кто таков будешь?

– Я-с?

– Да, ты.

– Я – тихопомешанный... – с готовностью ответил Гриша Банный.

Баба не поняла. Секунду подумала и снова спросила:

– А чем ты занимаешься?

– В Бюро похоронных процессий работаю-с... Гробами торгую, с вашего позволения... В Бюро похоронных процессий номер два-с.

– Он два года в сумасшедшем доме сидел, Аграфенушка, – сообщил Ананий Северьяныч. – Ты того... не больно суди его. Убогой он.

...Возле Песков откуда-то вдруг подул ветерок, и лодку стало

покачивать. Ананий Северьяныч принялся отливать из лодки воду. Аграфена же стала проявлять некоторое беспокойство. Она поеживалась, крутила головой и ерзала по скамейке.

– Ты чего егозишь, стало быть, с конца на конец? – недовольно спросил старик. – Вишь, ветер подул. Неровен час – опрокинемся. Ты сиди себе, сиди...

– Мне бы до берегу... – тихо и скорбно сказала баба.

– Это пошто? – сердито спросил старик.

– Сам, папаша, понимаешь... – скромно опуская глаза, ответила Аграфена.

Ананий Северьяныч перестал работать кормовиком и вопросительно посмотрел на бабу, соображая. Наконец понял и гневно и решительно сказал:

– Ну уж это ты, бабонька, оставь! До берега, стало быть, с конца на конец, полверсты. Туда – назад, – глядь, а ветер разгуляется... Я уж тонул раз с сыном, с Дениской, стало быть, с конца на конец. Больше не хочу.

– Моченьки нет, папаша. Уж как-нибудь...

– Тьфу, пропасть какая! – выругался старик. – Еще бы: полведерным ковшом воду пьешь!.. А ты того... это самое... потерпеть не можешь?

– Никак не могу, старичок.

Ананий Северьяныч через плечо бабы взглянул на Гришу Банного.

– Гриша, что делать будем? А? – тревожно спросил он.

Гриша Банный перестал грести и посмотрел на луну, словно на луне был написан ответ с указанием выхода из затруднительного положения. Но на луне ничего такого не было написано, и Гриша уныло сказал, пожимая худыми плечами:

– Затрудняюсь ответить, дорогой Ананий Северьяныч. Вот если бы при мне была книга Поморцева М. М., в которой есть поразительные ответы на все случаи жизни, то не исключена возможность, что и на данный случай с нашей обворожительной Юноной мы бы нашли ответ-с...

Ананий Северьяныч лишь безнадежно махнул рукой:

– Вижу, брат, что пора тебя опять в сумасшедший дом запирать.

– До берегу... – стонала меж тем баба, – моченьки нет.

– Да, пойми, дура!.. – начал было Ананий Северьяныч, но вдруг, осененный простой мыслью, негромко и вкрадчиво сказал:

– А ты, Аграфенушка, того... это самое... дуй, стало быть с конца на конец, прямо в лодку... Потому... Потому на борт тебе садиться никак нельзя: лодку опрокинешь. Дуй, не стыдись! А мы с Гришей помолчим.

Баба так и сделала. А Ананий Северьяныч с Гришей помолчали. От того ли, что баба так и сделала или течь в днище увеличилась, только лодка еще больше осела. Заметив это, Ананий Северьяныч опять дохлым лещом округлил рот и с минуту молча и свирепо смотрел на повеселевшую Аграфену. И вдруг пришел в бешенство и визгливо закричал:

– Чего христосиком ручки на животе сложила? Бери, стало быть, с конца на конец, ковш! Откачивай!

И сунул в руку бабы деревянный ковш.

Аграфена покорно принялась откачивать воду, но от мощных движений ее громадного тела лодка стала качаться и черпать бортами воду. Гриша Банный перестал от страха грести и накрепко вцепился костлявыми руками в скамейку. Ананий Северьяныч, словно китайский болванчик, мотался на корме из стороны в сторону, клинышком выставив вперед седую бороденку. Теперь он жалел, что позарился и взял эдакую необыкновенную и опасную попутчицу.

– Вдругорядь, Аграфена, давай мне хоть тыщу рублей – не возьми. Пушай тебя твой маненький муж возит! – тихо и сокрушенно сказал он.

Баба улыбнулась и вдруг вполголоса запела:

...С кустика на кустик  
Прыгает синичка.  
Я порхаю тоже –  
Маленькая птичка...

«Маленькая птичка» опять зачерпнула полуведерным ковшом воды из Волги. Лодка качнулась и чуть не перевернулась.

«Потонем мы с этим монументом-с, – тоскливо думал Гриша, – непременно потонем-с.»

Впрочем, до Козловых Гор кое-как добрались и направились к берегу. Обрадованный Ананий Северьяныч наспех мелко перекрестился и спросил у бабы:

– Куда приставать?

– А вот к мосточкам, что у тальничков.

Гриша Банный стал подгребать к мосточкам, Ананий Северьяныч из последних сил помогал ему кормовиком, чтоб скорее доехать и избавиться, наконец, от опасной пассажирки. До берега оставалось сажени две-три. Монумент вдруг поднялся во весь свой громадный рост и замахал пудовыми руками:

– Да не к этим мосточкам, а вона – к тем, что у тальничков!

Вконец измученный Ананий Северьяныч сердито рванул кормо-

виком, загребая воду, круто развернул лодку. Монумент, не ожидавший столь неожиданного и крутого поворота, закачался, как подорванный динамитом массивный гранитный памятник, необъятным каменным задом плюхнулся на трухлявый тощий левый борт лодки. И в ту же секунду Гришу Банного, словно на трамплине, подбросило в воду и вышвырнуло из лодки – мелькнули лишь журавлиные ноги, и Гриша исчез. Борт подломился, а баба грузно, спиной повалилась в воду, взметнув высокие снопы брызг, – такие высокие, будто упал в воду не человек, а трехэтажный дом. Ананий Северьяныч, не дожидаясь, пока лодка перевернется, чертиком сиганул за борт. Лодка перевернулась.

– Спасай конину! – крикнул Ананий Северьяныч Грише.

Но Грише Банному было не до конины, да он и не слышал приказания старика, ибо был еще под водой. Вынырнув же, он скореехонько нащупал ногами дно и встал, шумно фыркая и отплеываясь. Вода доходила ему до груди. Несмотря на это, он решил все-таки, что безвозвратно погиб и громко крикнул:

– Денис Ананьич жив! Клянусь Поморцевым М. М., что жив!..

Перед смертью сообщаю-с!..

Но теперь Ананий Северьяныч не слышал Гришу, ибо он был еще под водой. Как голова бегемота, показалась над водой голова Аграфены. С лица ее по-прежнему не сходило игривое, смеющееся выражение, хорошо видное в ярком лунном свете. А когда она, нащупав дно, встала, то оказалось, что вода доходила ей лишь чуть выше колен. Вынырнул, наконец, и Ананий Северьяныч, топорща мокрую увядшую бороденку и испуганно тараща глаза.

– Конину спас? – осведомился он у Гриши.

– Нет-с...

– Ищи, дьявол долговязый! Ищи, чтоб... – он еще хотел что-то сказать, но вдруг стал пускать пузыри и камнем пошел ко дну: он был слишком мал, чтобы достать ногами до дна. Баба схватила его за шиворот и, словно котенка, выволокла на берег.

Пустые бидоны, весело искрясь под лунным светом, серебристыми лебедями плавали вокруг затонувшей лодки. Баба швырнула Анания Северьяныча на песок и принялась ловить бидоны. Гриша Банный опять было хотел крикнуть Ананию Северьянычу насчет Дениса Бушуева, но раздумал: ему показалось, что еще не исключена возможность чудесного спасения. Подумал – и зашагал к берегу.

Ананий же Северьяныч, пританцовывая на песке в мокрых валенках, показывал на бабу дрожащим корявым пальцем и истошно кричал:

– Григорий! Нет ли у тебя, стало быть, с конца на конец, подходящего гроба для этой ведьмы? Я ее чичас жизни порешу!..



– Таких размеров гробов не бывает, дорогой Ананий Северьяныч, – вкрадчиво ответил Гриша, выбираясь на берег и волоча за собой мокрый мешок с дурандой. – Такого типа мертвецов лучше всего отправлять в крематорий-с.

Баба захохотала и, подобрав бидоны, тоже вышла на берег. Заодно и лодку вытащила из воды.

– Сам виноват, папаша, – примирительно сказала «маленькая птичка» и легко, словно детскую игрушку, опрокинула вверх дном наполненную водой лодку.

«Петушка» Ананий Северьяныч все-таки с бабы взял. Спрятав мокрую пятерку в валенок, Ананий Северьяныч стал требовать с бабы еще пятьдесят рублей и семьдесят шесть копеек за погибшую конину и за подмоченную дуранду. Баба наотрез отказалась. Ананий Северьяныч настаивал. Тогда баба пригрозила отнять у Анания Северьяныча назад «петушка», если Ананий Северьяныч будет требовать дополнительной платы. Услышав это, Гриша Банный мгновенно спрятался в кусты и лег там лицом вниз в густые заросли крапивы.

– Убьют-с, непременно убьют-с... – шептал он, стуча от страха зубами. Угроза бабы подействовала на Анания Северьяныча. Он ни секунды не сомневался в том, что Аграфена, при ее необыкновенной силе, легко может отнять назад у него «петушка» да еще при этом, быть может, руку или ногу вывихнуть, а походя – и Гришу искалечить. И, понимая это, Ананий Северьяныч не только вдруг перестал требовать дополнительной платы, но даже заюлил перед бабой:

– Да ить это я так, Аграфенушка... от нечего делать... Иди, стало быть, с конца на конец, к своему маненькому мужу... А то он, небось, заждался тебя, родимый... Иди с Богом! Иди, росленькая...

Баба сверкнула смеющимися глазами, легко вскинула на грудь и на спину связанные бидоны, как воробьиные перышки, и зашагала сажеными шагами в гору, подминая и втаптывая в песок пудовые камни.

Гриша Банный робко выполз из кустов, почесывая обожженный крапивой длинный нос.

– Оптический обман-с, а не женщина... Юнона-с, увеличенная в сто и один раз... – сказал он. – И я не уверен, дорогой Ананий Северьяныч, поместится ли она в печь крематория, если вы ее лишите жизни?

Ананий Северьяныч затрусил к лодке, радуясь, что и «петушок» спасен и кости целы.

# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Л. Ф. Краснова

## Биографические данные о Войска Донского генерале от кавалерии Петре Николаевиче Краснове\*

### ЧАСТЬ 2\*\*

10 декабря 1913 года Петр Николаевич вступил в командование 10-ым Донским казачьим полком, стоявшим в г. Замостье Холмской губернии в 60 верстах от железнодорожной станции Травники. Полк входил в состав 1-ой Донской казачьей дивизии. Он состоял из казаков Донецкого округа, прекрасных, ловких и смелых людей, сидевших на отличных, рослых и кровных лошадях. Все 6 сотен полка и полковая конно-пулеметная команда из 8 пулеметов были расположены в приспособленных в старых рavelинах казармах. Полк был в прекрасном виде. При обучении его Петр Николаевич в полной мере применил опыт Японской войны и те методы, которые он выработал во время службы с боевыми туркестанцами в Джаркенте.

26 февраля 1914 года полк праздновал свой 100-летний юбилей и получил новые Георгиевские знамена. Это было большое и очень богатое торжество, на котором полк показал себя необыкновенно красивым. К этому дню Петром Николаевичем была написана и издана «Полковая памятка».

18 июля 1914 года в полку была получена телеграмма о мобилизации, и так как полковая мобилизация была 6-часовая, то полк 19 июля в 6 часов утра после молебна на городском плацу выступил в поход и стал заставами вдоль австрийской границы, имея резерв штаба полка в селе Бархачев. Боевые разведки стали по границе, имея приказание до объявления войны не переходить границы.

\* \* \*

1 августа 1914 года полк в авангарде 1-ой Донской казачьей дивизии, бывшей под начальством генерал-майора Кузьмина-Караваева<sup>1</sup>, перешел границу Империи у кордона Подоелкец.

---

\* «Составлено 12 декабря 1932 года в Сантени департамента Сены-и-Уазы, Франция».  
(Л. Ф. Краснова)

\*\* Начало публикации см.: НЖ, № 287, 2017.

В этот день полк сделал набег на австрийские железнодорожные станции Белжец и Любич, которые уничтожил после успешного боя с австрийцами и взорвал 2-пролетный мост у станции Любич. Петр Николаевич всюду в этом бою был впереди своего полка, за что и был награжден Георгиевским оружием.

2 и 3 августа 1914 года австрийцы частями пехоты и конницы повели наступление на русскую границу, и разыгрался большой бой у деревни Рабинувки, в котором Петр Николаевич командовал нашим арьергардом из сотен своего 10-го полка, сотен 13-го и 16-го полков и 7-ой Донской казачьей батарее.

Донская дивизия под напором превосходящих сил неприятеля медленно отходила к Замостью, и полк, все время находясь в арьергарде, имел дела 6 августа у Майдана-Гурно и 8 августа у Криницы.

9 августа 1914 года 10-ый полк был назначен в корпусную конницу XIX армейского корпуса генерала от инфантерии Горбатовского<sup>2</sup> и получил задачу прикрывать мобилизацию корпуса.

Здесь Петр Николаевич, усиленный потом 39-ым казачьим Донским полком и 6-ою Донскою казачьею батареею, в полном смысле слова применил былую платовскую казачью лаву, но только по-современному, с пулеметами, скорострельными орудиями и жестоким огневым боем. Имея против себя австрийский авангард в составе пехотной бригады с артиллерией, Петр Николаевич изводил ее, заставляя постоянно разворачиваться и начинать упорный бой. Там разыгрались бои:

13 августа у Подледова и Гопке,

14 августа у Вожучина и Рахане,

15 августа у Чертовчика и Вожучина, где полком взято 1 орудие, 6 зарядных ящиков, 4 офицера и 19 солдат 65-го пехотного австрийского полка,

16 августа у Чесники,

17 августа у Невиркова и Дуба,

18 августа у деревни Котлице, где полком взято в плен 204 австрийца,

23 августа опять у Чесники, где полком захвачен австрийский обоз из 10 повозок и несколько пленных,

25 августа у Снятыче...

Эти действия полка в составе XIX армейского корпуса были весьма лестно аттестованы генералом Горбатовским, представившим Петра Николаевича одновременно к производству за боевые отличия в чин генерал-майора и к ордену Св. Георгия 4-ой степени. Первое представление прошло, и 2 ноября 1914 года Петр Николаевич «за боевые отличия» произведен в генерал-майоры.

В начале сентября 1914 года 10-ый полк вернулся к своей дивизи-

зии. Началось наше наступление к Львову, и Петр Николаевич со своим полком шел теперь в авангарде дивизии. 14 сентября [1914 года] Петр Николаевич в авангардном бою у города Пильзно командовал авангардом из сотен своего и 9-го Донского казачьего полков.

15 сентября 1914 года был в авангардном бою у Яворника,

16 – у Жуковице,

17 – у Езерки,

20 – при отходе дивизии в арьергардном бою у Мелеца,

13 октября в арьергардном бою у деревни Тыменице, где 10-ым полком взято 23 австрийца и 4 лошади с вьюками,

17 – у деревни Пяски,

22 – у местечка Хмельник, где 10-ым полком захвачены 1 автомобиль, 8 повозок, 4 зарядных ящика и 50 пленных австрийцев,

25 – у деревни Дзялошице,

с 1 по 8 ноября находился с полком в набеге в тыл притивнику у г. Кракова,

4 ноября, находясь с полком в составе Гвардейского корпуса в деле у Ивановица, взял в плен 77 австрийцев,

с 7 по 18 ноября в боях у деревни Дзвонице в составе 1-ой Донской дивизии в течение 10 дней сдерживал натиск австрийцев, отбил 6 упорных атак, причем 10-ым полком взято в плен 8 офицеров и 524 австрийских пехотника,

9 декабря находился в бою у Нового Корчина,

А 15-го – у господского двора Виняры, где полком взято с боя 2 целых австрийских орудия,

с 23 февраля по 3 марта 1915 года 1-ая Донская дивизия, находясь в составе 2-го кавалерийского корпуса, имела бои у селения Недзелиски. Петр Николаевич с полком при овладении этим селением внезапной атакою в спешном строю взял в плен 10 германских офицеров и 31 рядового, 2 германских пулемета и уничтожено 3 эскадрона германцев и в ночной конной атаке 5-ой сотни полка во время страшной снежной вьюги взято в плен 2 офицера и 176 солдат 65-го Венгерского пехотного полка. В этих боях 28 февраля Петр Николаевич, находясь в цепи своего полка, ведшего наступление на деревню Городоньку, был ранен пулей в левое плечо навывлет и, несмотря на большую потерю крови, остался в строю до окончания наступления и после перевязки продолжал командовать полком, не покидая позиции и не отправляясь в госпиталь. Этою раню Петр Николаевич гордился более, чем всеми полученными орденами, и называл ее орденом, данным ему самим Господом Богом<sup>3</sup>.

10, 11 и 12 марта полк принимал участие в жестоких боях при обороне города Залешки.

15 марта полк в составе дивизии вошел в только что сформированный 3-ий Конный корпус графа Келлера<sup>4</sup>.

17 марта на рассвете Петр Николаевич, командуя авангардом дивизии из своего и 9-го Донского казачьего полков, атакою в спешенном строю овладел деревней Шиловцы, причем взял в плен 7 офицеров, 3 врачей и 441 рядового австрийца.

Блестящим этим делом, особо оцененным графом Келлером, закончилось боевое командование Петра Николаевича 10-ым Донским казачьим полком. По личному предложению командовавшего Кавказскою Туземною дивизией Великого Князя Михаила Александровича<sup>5</sup> Петр Николаевич 1 апреля 1915 года Высочайшим приказом назначается командиром 3-ей бригады Кавказской Туземной дивизии<sup>6</sup>.

\* \* \*

18 апреля 1915 года Петр Николаевич нашел свою бригаду в местечке Тлусте, где и вступил в командование ею. Бригада состояла из 2 полков 4-сотенного состава: Ингушского, которым командовал товарищ Петра Николаевича по Офицерской школе, полковник Мерчуле<sup>7</sup>, и Черкесского, которым командовал полковник князь Чавчавадзе<sup>8</sup>;

2 мая Петр Николаевич с бригадой находился в авангарде при преследовании противника к реке Прут в бою у Видинува;

25 мая при нашем общем отходе командовал арьергардом у селения Тулава;

27 [мая] – у селения Ясенов-Польный;

29 мая в арьергардном бою у города Залещики командовал отрядом из 214 и 215 ополченских дружин, одной ротой 211-ой дружины Черкесского, Ингушского, 2-го Дагестанского и Кабардинского конных полков, 1-ой сотни Татарского конного полка и 3 и 4-го Заамурских конных полков, 1-го Уральского казачьего полка;

при 7 конных и 4 конно-горных орудиях весь день сдерживал натиск превосходящих сил неприятеля, а когда вечером неприятель прорвал наше расположение, лично атаковал прорвавшие части в конном строю 4 сотнями замурцев, смял и опрокинул их, и прогнал за Днестр, причем около 100 человек взял в плен, за каковое дело награжден орденом Св. Георгия 4-ой степени;

4 и 5 июля находился с бригадой в ожесточенных боях у Колодубки.

Прямо с поля сражения Петр Николаевич был вызван в штаб дивизии, где узнал от Великого Князя, что он назначен командующим 3-ей Донской Казачьей дивизией.

\* \* \*

9 июля [1915 года] Петр Николаевич отправился к месту своего служения к г. Ковелю и в штабе генерала Горбатовского узнал, что 3-ья Донская дивизия отправлена в Петроград на поправку и начальником ее назначен князь Белосельский-Белозерский<sup>9</sup>, Петр Николаевич же по приказанию Верховного Главнокомандующего допущен к командованию 2-ой Казачьей Сводной дивизией<sup>10</sup>.

Эта дивизия состояла из 16-го Донского казачьего полка (полковник Юдин), 17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка (полковник Маркозов); первой бригадой командовал генерального штаба генерал-майор Гуславский, [из] 1-го Линейного казачьего генерала Вельяминова полка<sup>11</sup> Кубанского казачьего войска (сначала генерального штаба полковник Черный, потом полковник Евсеев) и 1-го Волгского казачьего полка Терского казачьего войска (полковник Солнышкин, потом полковник Вдовенко), 20-ой бригадой командовал генерал-майор Плаутин<sup>12</sup>. [Из] 2-ой и 3-ей Оренбургских казачьих батарей, артиллерийским дивизионом командовал полковник Ончоков. Начальником штаба был недолгое время полковник Агапьев, потом полковник Денисов<sup>13</sup> и, наконец, полковник Рот.

19 июля Петр Николаевич прибыл к дивизии; в ночь с 21 на 22 июля у посада Савина Петр Николаевич, сдерживая натиск прорвавшихся расположение XIV армейского корпуса генерал-лейтенанта Войшин-Мудрас-Жилинского, в конном строю при свете луны и горящих деревьев 2 сотнями 1-го Волгского полка, сопровождаемых 6 сотнями 1-го Линейного полка, атаковал германскую пехоту и развеял ее, за что был представлен к награждению орденом Св. Георгия 4-ой степени. Награждение это Георгиевской Думой было принято и утверждено, самое же награждение не состоялось, так как Петр Николаевич к этому времени уже получил орден Св. Георгия за дзвиничское дело.

30 июля Петр Николаевич имел бой у селения Угнин;

31 июля – у селения Яблонь;

2 августа – у поселка Россон;

7 и 8 августа – у селения Непле.

Дивизия прикрывала отход наших армий, причем Петр Николаевич и здесь, но только в еще более широком виде, применил метод защиты платовскими лавами и изводил неприятеля, сжигая перед ним все припасы и лишая его продовольствия и крова.

В августа 2-ая дивизия вошла вместе с 16-ой кавалерийской дивизией в состав IV Конного корпуса генерала Гилленшмидта<sup>14</sup>.

11 августа начались бои под Железницей. В эту ночь частями дивизии село Железница было взято, причем были захвачены 3 целых и 1 обгорелый в пожаре пулеметы германские.

С 13 по 22 сентября Петр Николаевич с дивизией, подкрепленной 2 батальонами Орского и Обоянского полков и 4 эскадронами 18-го гусарского Некинского полка, сдерживает атаки превосходящих сил неприятеля у селения Кухоцкая Воля.

С 23 по 27 сентября Петр Николаевич находится со своей дивизией и 2-ой бригадой Кавказской казачьей дивизии в набеге в тыл неприятеля за рекой Стоход, причем полки берут много пленных, обозы и штабную канцелярию германского генерала фон Бернгарди.

С 28 сентября по 6 октября дивизия имеет решительные бои на Тараке, где частями отряда Петра Николаевича взят 1 пулемет, 8 офицеров и 352 рядовых 55-го австрийского пехотного полка и 1-го австрийского драгунского полка.

7 и 8 октября Петр Николаевич ведет упорные бои за обладание Езерцами.

С 25 по 30 мая 1916 года Петр Николаевич ведет упорные бои у Костюхновки и Вульки Галузийской, причем взято много пленных и весь лагерь генерала Пилсудского<sup>15</sup>.

7 августа 1916 года на реке Стоходе в районе Рудка Червище Петр Николаевич со своєю дивизией бросается в конном строю на выручку 4-ой Финляндской стрелковой дивизии, под огнем нескольких тяжелых и легких германских батарей по наскоро устроенному мосту под расстрелом пулеметами с 5 германских аэропланов, оказавшихся над атакующими частями, переходит реку Стоход, разворачивает за рекою 16-ый и 17-ый полки и 6-ую сотню 1-го Волгского полка и атакует в конном строю германцев, причем было нарублено более 200 и взято в плен 6 офицеров, более 600 низших чинов, 15 пулеметов, 2 миномета, 1 прожектор и 5 телефонных аппаратов.

С сентября 1916 года IV Конный корпус занимает боевой укрепленный участок по реке Стоходу, Петр Николаевич со своєю дивизией находится против местечка Любешов. Полки спешены и посажены в окопы, началась окопная война. В ней Петр Николаевич применил систему подвижных резервов, частой смены частей и этим сохранил конский состав, избежал тифа и вшей на позиции. Им за это время была составлена и издана «Инструкция для окопной службы для частей 3-ей казачьей Сводной дивизии».

\* \* \*

Революция и отречение Государя Императора застали Петра Николаевича в окопах у Любешова, в господском дворе Павлинове. Считая невозможным после отречения Государя Императора и образования Временного Правительства служить, Петр Николаевич, как и

его командир корпуса генерал Гилленшмидт, подал прошение об отставке. Прошению этому хода дано не было.

Пока дивизия оставалась в окопах, Петру Николаевичу удавалось держать в ней порядок и дисциплину. Ни одного красного банта не было ни на ком из чинов дивизии, но когда в конце апреля дивизия была отправлена на отдых в тыл, она при соприкосновении с солдатами тыла быстро стала разлагаться.

В первых числах мая Петр Николаевич, обгоняя эшелоны своей дивизии, следовавшие через станцию Видибор, увидел кузнеца 17-го Донского полка с красным бантом на шинели. Петр Николаевич вышел из вагона, сорвал бант и пристыдил казака. Бывшие на станции солдаты разных тыловых частей собрались в числе нескольких сот человек и на глазах 2 эшелонов 17-го Донского казачьего полка, попрятавшихся в вагоны, арестовали Петра Николаевича и отвели его сначала в селение Видибор, а потом для расстрела в г. Минск, где Петр Николаевич был освобожден командующим Западным фронтом генералом Гурко<sup>16</sup>.

После этого Петр Николаевич не считал возможным оставаться во главе продавших его казаков и вторично подал в отставку. Отставка не была принята, но Петр Николаевич был освобожден от командования 2-ой казачьей Сводной дивизией и назначен командующим 1-ой Кубанской казачьей дивизией.

\* \* \*

1-ая Кубанская казачья дивизия – полки 3-ий Таманский, 2-ой Запорожский, 2-ой Уманский и 2-ой Хоперский – были собраны на поправку в районе города Мозыря, где Петр Николаевич их и нашел. Они были в ужасном материальном положении. Петр Николаевич, работая с командирами полков и умело подобранными комитетами, стал приводить конский состав и обмундирование казаков в порядок, потом стал понемногу начинать с ними ученья. Все шло хорошо, и скоро дивизия стала считаться надежной и дисциплинированной частью, тогда ее стали употреблять на усмирении, как тогда говорили, солдатских «эксцессов». При таком усмирении и сама дивизия стала быстро разлагаться.

Приказом [по] армии и флоту от 26 августа 1917 года Петр Николаевич был назначен командующим 3-им Конным корпусом. 2 сентября Петр Николаевич вступил в командование корпусом и с ним должен был идти в «Корниловский» поход на Петроград<sup>17</sup>. Но в Пскове по распоряжению генерала Бонч-Бруевича<sup>18</sup> был арестован и посажен в псковскую тюрьму, но на другой же день освобожден по приказанию начальника штаба Верховного Главнокомандующего



генерала Алексева<sup>19</sup>, отправлен с корпусом в район Петрограда. Там Петр Николаевич и простоял, водворяя порядок в корпусе около месяца, после чего был переведен в район г. Острова. Здесь его вызвал Керенский для похода против большевиков. Поход этот кончился полным разложением частей 3-го конного корпуса, отказавшихся сражаться. Петр Николаевич был вместе с исполняющим должность начальника корпуса подполковником Поповым выдан казаками большевикам и отвезен в Петербург в Смольный институт, где оба были должны быть расстреляны, но освобождены матросами Гвардейского экипажа и уехали в Великие Луки, где собирались части 3-го Конного корпуса. В Великих Луках среди большевицкого гарнизона Петр Николаевич прожил до конца января, когда ему с чинами штаба удалось отправиться на юг к атаману Каледину<sup>20</sup>.

Это сложное и путаное время, полное опасностей и самых необыкновенных приключений, подробно описано Петром Николаевичем в 1-ой книге «Архива Русской Революции», издававшегося в 1921 году в Берлине И. В. Гессеном<sup>21</sup>, в большой статье «На внутреннем фронте»<sup>22</sup>.

\* \* \*

После целого ряда приключений, столь свойственных тому времени, 2 февраля 1918 года Петр Николаевич прибыл в Новочеркасск на другой день после похорон атамана Каледина<sup>23</sup>. Атаманом был избран генерал Назаров<sup>24</sup>, к которому Петр Николаевич и явился. Назаров сказал Петру Николаевичу, что он в изобилии имеет офицеров и генералов, но совсем не имеет казаков для формирования полков, он предложил Петру Николаевичу оставаться в Новочеркасске и наблюдать за формированием там дружин, из этого формирования ничего не выходило, ибо казаки собирались в Новочеркасск, получали обмундирование и снаряжение и расходились по домам, не желая сражаться против большевиков, применить же против них силу атаман Назаров не мог, так как этой силы у него не было. 11 февраля атаман Назаров вызвал Петра Николаевича и приказал ему с офицерами ехать в станицу Константиновскую, чтобы приготовить для атамана и Круга<sup>25</sup> возможность работать. Петр Николаевич прибыл в станицу Константиновскую к вечеру 12 февраля и узнал от окружного атамана 2-го Донского округа, что в эту ночь в станице будет объявлена «советская власть». Петр Николаевич распустил своих офицеров по хуторам, сам же со своею женою и адъютантом есаулом Кульгавовым поселился открыто в самой станице у старой казачки дворянки Марии Тимофеевны Чумаковой. Здесь Петр Николаевич прожил до конца апреля. В конце апреля большевики настолько досадили каза-

кам, что казаки стали подниматься против них. Походный атаман Попов<sup>26</sup>, скитавшийся до этого времени по задонским степям, направился к Новочеркаску, и Петр Николаевич вслед за ним поехал в Новочеркасск, куда и прибыл 26 апреля, на другой день по его взятии частями отряда генерала Попова и отрядом полковника Дроздовского<sup>27</sup>.

Петр Николаевич прибыл в Новочеркасск ночью без гроша денег и поселился на Почтовой улице в доме казачки Титовой в подвальном этаже.

Кругом Спасения Дона<sup>28</sup> 3 мая 1918 года Петр Николаевич избран на пост Войскового Атамана Войска Донского<sup>29</sup>.

\* \* \*

Деятельность Петра Николаевича как Донского атамана, его борьба с большевиками, освобождение Войска Донского от большевиков, создание Донской армии, политические сношения с гетманом Скоропадским<sup>30</sup>, с немецким командованием на Украине<sup>31</sup>, с союзниками и с командованием Добровольческой армии<sup>32</sup>, его работа с Кругом подробно описаны в большой статье, напечатанной в 5-ой книге «Архива Русской Революции» И. В. Гессена под названием «Всевеликое войско Донское»<sup>33</sup>.

26 августа Петр Николаевич произведен Большим Войсковым Кругом в чин генерала от кавалерии «за выдающиеся заслуги перед родным краем». Производство это впоследствии было утверждено Великим Князем Николаем Николаевичем<sup>34</sup>.

2 февраля 1919 года ввиду выраженного Кругом недоверия и требования отставки командующего армией генерала Денисова<sup>35</sup> и его начальника штаба Полякова<sup>36</sup> Петру Николаевичу был поставлен вопрос о доверии. Ввиду желания командования Добровольческой армии и союзников, чтобы Петр Николаевич не оставался на своем посту, Петр Николаевич доверия не получил и удалился с поста атамана.

\* \* \*

Генерал Деникин<sup>37</sup> не позволил Петру Николаевичу оставаться в войске или на территории, занятой Добровольческой армией, и предложил Петру Николаевичу отправиться или в Крым, где были французы, или в Батум, где были англичане. Петр Николаевич отправился в Батум, где и устроился на даче своего бывшего товарища по Атаманскому полку и сотенного командира И. О. Дукмасова на Зеленом мысу. Здесь вскоре в марте Петр Николаевич захворал черной оспой, за ним ходила его жена. Едва Петр Николаевич оправил-

ся от болезни, как еще в более сильной форме заболела черной оспой его жена. Без ухода, без врачей и сестер милосердия, без медикаментов, ухаживая друг за другом, оба выжили от этой болезни, от которой в их возрасте никто не выживает.

Когда Петр Николаевич оправился и окреп, он стал хлопотать о том, чтобы ему дали возможность сражаться за Родину. Ввиду отказа генерала Деникина допустить его на территорию Добровольческой армии Петр Николаевич писал телеграммы и письма, стараясь попасть к Колчаку<sup>38</sup>. Но так как письма и телеграммы можно было отправлять только через английский штаб в Батуме, ни одна из телеграмм и ни одно письмо Петра Николаевича до Колчака не дошло.

В начале июля на Зеленом мысу проездом в Добровольческую армию был генерал-лейтенант Баратов<sup>39</sup>. Он возмущался, что Петр Николаевич в такое горячее время остается не у дел, и обещал серьезно переговорить с генералом Деникиным. Результатом этих переговоров было предложение Петру Николаевичу отправиться в Северо-Западную армию к генералу Юденичу<sup>40</sup>.

Как только это предложение было получено, Петр Николаевич, не медля ни одного часа, 22 июля отбыл на пароходе из Батума в Новороссийск, а потом в Таганрог, где был штаб генерала Деникина, и, получив нужные документы, через Константинополь, Марсель, Лондон, Гуль, Копенгаген и Або отправился в Северо-Западную армию.

\* \* \*

В первых числах сентября Петр Николаевич прибыл в Ревель, где представился Председателю Северо-Западного Правительства г. Лианозову<sup>41</sup> и на другой день выехал в Нарву, где находился командующий Северо-Западной армией генерал от инфантерии Юденич.

Генерал Юденич сначала принял Петра Николаевича очень любезно и обещал дать ему большой командный пост в армии, но на другой день, переговорив с генералом Глазенапом<sup>42</sup>, приехавшим от генерала Деникина, и с представителями союзников, он переменял свое решение. Петр Николаевич был зачислен в резерв чинов Северо-Западной армии и остался не у дел. Благодаря прежним товарищеским отношениям с генералом Глазенапом, Петр Николаевич получил возможность добровольцем сопровождать армию генерала Глазенапа и быть при занятии города Ямбурга, в походе к Гатчине, при взятии Гатчины и Царского Села. В Гатчине приехавший туда генерал Юденич поручил Петру Николаевичу создать фронтовую ежедневную газету для армии. Петр Николаевич в сотрудничестве с писателем А. И. Куприным и г. Лебедевым создал газету «Приневский Край»<sup>43</sup>,

которая выходила при самых необычайных условиях: например, в Нарве во время бомбардировки этого города большевиками снаряд попал в помещение редакции и типографии и рассыпал шрифт. Эстонцы, недовольные направлением газеты, устраивали охоту на продавцов и разносчиков газеты и избивали их и т. п. Несмотря на все это газета просуществовала почти 4 месяца и прекратилась с ликвидацией Северо-Западной армии по требованию эстонцев, заключивших мир с большевиками, и по настоянию союзников.

Петр Николаевич проделал весь отступательный марш Северо-Западной армии от Гатчины в Ямбург, последним ушел из Ямбура со своим адъютантом ротмистром Шпаковичем<sup>44</sup>, пробыл всю осаду Нарвы и в конце декабря 1919 года, когда эстонцы заключили мир с большевиками и большевицкие представители приехали в Нарву, Петр Николаевич переехал в Ревель.

В Ревеле Петр Николаевич после похищения генерала Юденича чинами отряда Булах-Булаховича<sup>45</sup>, отъезда генералов Юденича, Глазенапа и Кондзоровского<sup>46</sup> из Ревеля был назначен представителем Добровольческого Командования в Эстонии, а потом членом ликвидационной комиссии графа Палена<sup>47</sup>.

По роспуске Северо-Западной армии, по требованию эстонского правительства покинуть Ревель Петр Николаевич с женою последним рейсом, отвозившим чинов Северо-Западной армии, 22 марта 1920 года покинул пределы Русской земли и отправился в изгнание за границу.

\* \* \*

Первоначально Петр Николаевич поселился в окрестностях Берлина в Шлахтензее. Отсюда Петр Николаевич писал генералу Врангелю<sup>48</sup>, прося его о вызове в Крым, но через представителя генерала Врангеля генерала Хольмсена<sup>49</sup> получил указание, что приезд высших чинов в Крым будет производиться всякий раз по особому вызову.

Вызова этого не последовало. Петр Николаевич, узнав о крушении Крымского фронта и о переезде Русской армии в Галлиполи и на Лемнос, стал заниматься исключительно литературой.

В 1921 году он переехал к своему старому другу, герцогу Георгию Николаевичу Лейхтенбергскому<sup>50</sup> в его замок Зееон в Баварии.

Петр Николаевич не мог оставаться холодным к судьбам казаков-изгнанников. Он несколько раз обращается к ним с открытыми письмами, которые печатает и рассылает по всем местам казачьего изгнания. В письме № 1 Петр Николаевич обращается к казакам с советом собраться, организовать на старых казачьих началах и за границей

создать свои хутора и станицы и оставаться верными своим атаманам. В дальнейших своих письмах Петр Николаевич предостерегает казаков от необдуманного возвращения «домой» к большевикам, от дальних поездок в Перу и другие экзотические страны.

В 1922 году Петр Николаевич переселяется в Гаутинг подле Мюнхена, где устраивается на даче в пансионе у свойственницы герцога Лейхтенбергского С. П. Дурново. Здесь совершенно неожиданно в ноябре 1923 года Петр Николаевич получает вызов к Великому Князю Николаю Николаевичу в Шуаньи подле Парижа<sup>51</sup>.

Еще в бытность свою в Зееоне Петр Николаевич входит вместе с герцогом Лейхтенбергским в образованное С. А. Соколовым (Кречетовым) тайное общество для борьбы с большевиками и начинает сотрудничать в подпольном журнале «Русская Правда»<sup>52</sup>.

\* \* \*

По прибытии в Шуаньи к Великому Князю Николаю Николаевичу Петр Николаевич получает назначение состоять при Великом Князе. Здесь он пишет открытое письмо казакам № 6, в котором приглашает всех казаков объединиться подле Великого Князя, создать «казну» Великого Князя для борьбы за Родину. Некоторое время Петр Николаевич несет при Великом Князе секретарские обязанности до приезда князя Оболенского<sup>53</sup>. После, примерно до весны 1924 года, остается только при Великом Князе, осведомляя его о том, что делается в России и в казачьих станицах за границей.

Петр Николаевич был принципиальным противником Зарубежного съезда и отговаривал Великого Князя делать ставку на Зарубежный съезд<sup>54</sup>.

Зарубежный съезд состоялся весной 1926 года. На нем 6 голосами воздержавшихся было отклонено безоговорочное подчинение Великому Князю. Русская эмиграция не нашла одного языка и раскололась.

В ночь на 24 декабря 1928 года (6 января 1929 года) Великий Князь Николай Николаевич в Антибе на юге Франции в Бозе почил, и Петр Николаевич потерял свое последнее официальное место, остался частным человеком, «политическим эмигрантом».

\* \* \*

Когда Петр Николаевич был вызван во Францию к Великому Князю Николаю Николаевичу, Великий Князь пожелал, чтобы Петр Николаевич поселился подле него, чтобы Великий Князь мог каждую минуту вызвать Петра Николаевича к себе в Шуаньи. Петр Николаевич с женою устроился в старом развалившемся замке в

деревне Сантени департамента Сены-и-Уазы, где ему дала пристанище старая, очень образованная француженка Мадемуазель де ла Перрьер. Ознакомившись близко с Лидией Федоровной и Петром Николаевичем, Мадемуазель де ла Перрьер очень полюбила Лидию Федоровну и, памятуя, как во время Французской революции русские дворяне оказывали гостеприимство французским эмигрантам, закрепила эти 2 комнаты за Петром Николаевичем и его женою до их смерти и, умирая в январе 1931 года, указала в завещании сохранить эти комнаты за Петром Николаевичем и его женою.

До сентября 1932 года Петр Николаевич продолжал состоять в тайном обществе «Братство Русской Правды» и за почти 10 лет своего в нем пребывания Петр Николаевич написал для журнала общества более 60 статей и многое количество листовок и воззваний. В сентябре 1932 года при реформировании Верховного Круга «Братства Русской Правды» Петр Николаевич не счел возможным оставаться дальше в нем и вышел из общества<sup>55</sup>.

С этого времени Петр Николаевич занимается исключительно литературой и живет в полном одиночестве с женою в старом замке Сантени.

\* \* \*

Военная служба Петра Николаевича отмечена многими знаками Высочайшего внимания и благоволения и запечатлена многими орденами, а именно Петр Николаевич имеет ордена:

орден Св. Георгия 4-ой степени;

Георгиевское орудие;

[орден] Св. равноапостольного Князя Владимира 2-ой степени (звезду) с мечами, 3-ей степени с мечами, 4-ой степени с мечами и бантом,

[орден] Св. Анны 1-ой степени с мечами, 2-ой степени с мечами, 3-ей степени, 4-ой степени с надписью «за храбрость»;

[орден] Св. Станислава 1-ой степени с мечами, 2-ой степени, 3-ей степени с мечами и бантом.

Медали серебряные:

в память царствования Императора Александра III и

в память Священного коронования Государя Императора Николая II в 1896 году;

[Медали темно-бронзовые]:

Темно-бронзовую медаль за труды по всеобщей переписи;

Светло-бронзовые медали:

в память Русско-Японской войны 1904–1905 годов;

медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых;  
 медаль в память 100-летия Отечественной войны как потомок ее  
 участника.

Знак Красного Креста;  
 Французский кавалерский крест ордена Почетного Легиона 3-ей  
 степени и  
 Абиссинский орден Эфиопской звезды III класса.

Петр Николаевич произведен:  
 в полковники «за отличие по службе»,  
 в генерал-майоры «за боевые отличия» и  
 в генералы от кавалерии «за выдающиеся заслуги перед Родным  
 Краем».

\* \* \*

Трудно, почти невозможно перечислить все то, что написано  
 Петром Николаевичем в различных повременных журналах.  
 Достаточно сказать, что он в течение многих лет был сотрудником  
 следующих изданий:

Ежедневных газет:  
 «Петербургского Листка» Скроботова (1891–1892 гг.);  
 «Петербургской Газеты» Худекова (1892–1898);  
 «Русского Инвалида» Лаврентьева, Лачинова, Поливанова,  
 Макшеева и Беляева (1891–1932 гг.), Баратова и Головина;  
 «Свет» Комарова (1896–1907 гг.);  
 «Русь» А. Суворина (1906–1907 гг.);  
 «Русская Газета» Дубенского (1906–1911 гг.);  
 «Новое Время» А. Суворина;  
 «Биржевые Ведомости» Проппера (1892–1898 гг.);  
 «Руль» Гессена (1920–1921 гг.);  
 «Общее Дело» Бурцева (1921–1922 гг.);  
 «Вечернее Время» Б. Суворина (1924–1926 гг.);  
 «Возрождение» Струве, Гукасова (1925–1929 гг.);  
 «Новое Время» М. Суворина (1925–1928 гг.);  
 «Шанхайское Новое Время» Б. Суворина и др.

При этом в «Русском Инвалиде» за время 1898–1914 годов, то  
 есть за то время, когда Петр Николаевич считался «примадонной»  
 «Русского Инвалида», им было написано более тысячи больших ста-  
 тей-фельетонов.

Еженедельных журналов:  
«Нива» Маркса и  
«Разведчик» Березовского.

Двухнедельных журналов:  
«Вестник Русской Конницы» и  
«Часовой» Орехова.

Ежемесячных журналов:  
«Военный Сборник»;  
«Военно-Исторический Сборник»;  
«Русская Молва» Баталина;  
Приложения к «Свету» Комарова и пр.

Из сочинений Петра Николаевича в довоенное время отдельными книгами следует отметить следующие:

«Донцы», сборник рассказов;  
«Ваграм», сборник рассказов, 1-ый и 2-ой сборники рассказов, изданные Сойкиным;  
«Фарфоровый кролик» и  
«Волшебная песня», повести, издание Березовского;  
«В житейском море», роман;  
«Погром», роман;  
«Казачи в Абиссинии»;  
«По Азии», «Год войны», 2 тома...

В эмиграции Петром Николаевичем изданы отдельными книгами:

«От Двуглавого орла к красному знамени», роман в 4 томах, 3 русских издания, 4 английских, голландское, итальянское, 4 немецких, сербское, финляндское, французское, хорватское, 2 чешских, шведское;  
«Амазонка пустыни», на русском, английском, итальянском, немецком, сербском, польском, французском, хорватском, чешском и шведском языках;  
«За чертополохом», 2 русских издания и немецкое;  
«Опавшие листья», на русском, немецком и польском языках;  
«Понять – простить», на русском, английском, итальянском, немецком языках;  
«Единая неделимая», на русском и немецком языках;  
«Белая свитка», на русском, английском, голландском, немецком, чешском языках;  
«Ларго», на русском и английском языках;  
«Выпашь»;



«С нами Бог», на русском, английском, немецком и чешском языках;

«Все проходит», на русском, английском, итальянском и немецком языках;

«Мантык», на русском и итальянском языках;

«С Ермаком на Сибирь», на русском и английском языках.

В довоенное время еще выпущены:

«Картины былого Тихого Дона» и

«Атаманская памятка»;

«Памятка 10-го Донского казачьего полка» и

«Выездка строевой казачьей лошади»...

\* \* \*

Матерьялами для этой биографии служили:

Послужной список Донского атамана Всевеликого войска Донского генерала от кавалерии Краснова Петра Николаевича;

Г. Щепкин. Донской атаман генерал от кавалерии П. Н.Краснов. Новочеркасск, 1919 г. и

Биографические очерки, предпосланные к английским, немецким и французскому изданиям «От Двуглавого орла к красному знамени».

Составлено 12 декабря 1932 года в Сантени департамента Сены-и-Уазы, Франция.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кузьмин-Караваев Александр Николаевич (1862–1923) – генерал-лейтенант Генерального штаба. В 1914 году – начальник 1-й Донской казачьей дивизии.
2. Горбатовский Владимир Николаевич (1851–1924) – в августе 1914 года участвовал в боях в Галиции.
3. О деталях своего ранения Краснов рассказал в статье «Инвалид», см. газету «Русский инвалид» (1934, No. 67, май).
4. Келлер Федор Августович (1857–918) – генерал от кавалерии, «первая шашка России».
5. Романов Михаил Александрович (1878–1918) – Великий князь, формально – последний император России, генерал-майор. В годы Первой мировой войны командовал Кавказской (Дикой) дивизией.
6. Кавказская туземная конная дивизия – кавалерийская дивизия. Сформирована 23 августа 1914 года. Состояла главным образом из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья.

7. Мергуле Георгий Александрович (1864–1917) – абхазец, полковник. Командир Ингушского конного полка Кавказской туземной дивизии.
8. Чавчавадзе Александр Захарович (1870–1930) – князь (из дворян Тифлисской губернии). Командовал Черкесским конным полком (1914–1917).
9. Князь Белосельский-Белозерский Сергей Константинович (1867–1951) – генерал-лейтенант.
10. 2-я Свободная казачья дивизия была под командованием генерала Краснова полтора года (август 1915 – март 1917).
11. 1-й Линейный казачий генерала Вельяминова полк был сформирован в 1832 году и считался одной из элитных частей Императорской армии.
12. Плаутин Николай Сергеевич (1868–1918) – гусар.
13. Денисов Святослав Варламович (1878–1957) – впоследствии генерал-лейтенант. Начальник штаба (1915–1917) 2-ой Свободной Донской казачьей дивизии генерала Краснова.
14. Гилленшмидт Яков Федорович (1870–1918) – генерал-лейтенант.
15. Пилсудский Юзеф Клеменс (1867–1935) – будущий маршал независимой Польши. В годы Первой мировой войны организовал несколько польских легионов, которые сражались на стороне Германии и Австро-Венгрии против России.
16. Гурко Василий Иосифович (1864–1937) – генерал от кавалерии. Командир всех русских войск Западного фронта.
17. Неудачный военный путч против Временного правительства, организованный генералом Л. Г. Корниловым в конце августа 1917 года.
18. Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) – генерал-майор. Начальник гарнизона города Пскова.
19. Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) – генерал-адъютант. Во время Первой мировой войны начальник Ставки. При Временном правительстве занимал должность Верховного главнокомандующего Русской армии.
20. Каледин Алексей Максимович (1861–1918) – генерал от кавалерии. Стал первым свободно выбранным атаманом Войска Донского с 1709 года.
21. Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) – политический деятель. В эмиграции возглавлял издательство «Слово» (Берлин), которое издавало «Архив русской революции» (тт. 1–22, 1921–1937).
22. *Краснов П.* На внутреннем фронте // «Архив русской революции». Т. 1 – Берлин, 1921. Сс. 97–190.
23. 29 января 1918 года атаман Каледин покончил жизнь самоубийством после отказа казачества поддержать его в защите Донской области от наступления Красных войск.
24. Назаров Анатолий Михайлович (1876–1918) – донской казак, генерал-майор. 12 февраля 1918 года красные войска заняли столицу Дона – Новочеркасск. Назаров и его приближенные были расстреляны.

25. Здесь имеется в виду «Большой Войсковой Круг» – казачий парламент.
26. Попов Петр Харитонович (1866–1960) – генерал от кавалерии, казак Новочеркасской станицы. Назначен генералом Назаровым Походным атаманом для продолжения борьбы с большевиками.
27. Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919) – впоследствии генерал-майор. В конце 1917 года на Румынском фронте организовал бригаду русских добровольцев. Бригада освободила Ростов-на-Дону от Красной армии и выбила советскую власть из Новочеркасска.
28. «Круг спасения Дона» состоял из представителей всех казачьих станиц, освободившихся от советской власти.
29. По счету Краснов стал третьим Донским атаманом нового времени.
30. Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) – генерал-лейтенант, гетман Украины (1918). Обсуждался вопрос об объединении Украинской Державы с Всевеликим Войском Донским.
31. Краснов придерживался пронемецкой ориентации.
32. Краснов и его соратники были против единого командования генерала Деникина Белыми армиями на юге России.
33. *Краснов П.* Всевеликое Войско Донское // «Архив русской революции». Т. 5. Берлин, 1922. Сс. 191-321.
34. Романов Николай Николаевич (1856–1929) – Великий князь. Во время Первой мировой войны (1914–1915) был Верховным Главнокомандующим армии и военно-морского флота.
35. Денисов Святослав Варламович (1878–1957) – генерал-лейтенант, доверенное лицо в штабе Краснова. Самостоятельно воевал против Красной армии; был против единого командования Белой армии.
36. Поляков Иван Алексеевич (1886–1969) – генерал-майор Императорского Генштаба. Начальник штаба Донской армии в чине полковника.
37. Деникин Антон Иванович (1872–1947) – генерал-лейтенант Генштаба. После того, как генерал Краснов согласился подчинить Донскую армию командованию Деникина, Деникин стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Юга России.
38. Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – Верховный главнокомандующий Белыми войсками в Сибири. Верховный правитель России (1918–1920).
39. Баратов Николай Николаевич (1865–1932) – генерал от кавалерии. Представитель Добровольческой армии в Закавказье.
40. Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – генерал от инфантерии. Лидер Белого движения на северо-западе России.
41. Лианозов Степан Георгиевич (1872–1949) – промышленник, меценат и политический деятель. Возглавлял Северо-Западное правительство.
42. Глазенап Петр Владимирович (1882–1951) – генерал-губернатор Северо-Западной области.

43. «Приневский край» – военно-осведомительная, литературная и политическая газета (1919–1920, вышло 50 номеров). Александр Куприн описал свою работу в газете в повести «Купол Св. Исаакия Далматского» (Рига, 1928).
44. Шпакович Александр Антонович (1896–1971) – в Северо-Западной армии, в управлении по осведомлению.
45. Генерал С. Н. Булак-Балахович (1883–1940) арестовал генерала Юденича после того, как тот объявил о роспуске своей армии. Под давлением союзных миссий ему пришлось освободить Юденича.
46. Кондзоровский Петр Константинович (1869–1929) – генерал-лейтенант Северо-Западной армии.
47. Фон дер Пален Алексей Петрович (1874–1938) – граф, генерал-лейтенант.
48. Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, генерал-лейтенант. Главнокомандующий Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).
49. Хольмсен Иван Алексеевич (1865–1941) – генерал-лейтенант. Представитель ВСЮР в Германии.
50. Лейхтенбергский Георгий Николаевич (1872–1929) – герцог Лейхтенбергский (von Leuchtenberg). В эмиграции владел берлинским издательством «Медный всадник» (1922–1928).
51. Великий князь Николай Николаевич со своей женой жили в замке Шуаньи (Choigny), в двадцати километрах от Парижа.
52. «Русская правда» – газета антибольшевистской организации «Братство Русской Правды» (БРП). О роли Краснова в БРП см. : НЖ, № 271, 272 (2013); также: *Базанов П.* Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского Зарубежья. – М., 2013.
53. Оболенский Николай Леонидович (1878–1960) – князь. Начальник гражданской канцелярии при штабе Великого князя Николая Николаевича, когда тот занимал пост Верховного Главнокомандующего Русской армии (1914–1915).
54. Съезд русской эмиграции проходил в Париже в начале апреля 1926 года. Была сделана попытка объединить все русские общественные организации вокруг Великого князя Николая Николаевича Романова в борьбе против большевиков.
55. Краснов, один из создателей организации «Братство Русской Правды» (БРП), вышел из БРП, так как к этому времени организация была полностью скомпрометирована деятельностью советских агентов и провокаторов, проникших в организацию.

## «Я поверил в Вашу искренность...»

*Переписка Марка Алданова и Георгия Гребенщикова:  
новые материалы*

Несколько лет тому назад на страницах «Нового Журнала» (2013, № 273) читателям была представлена переписка классиков Русского Зарубежья – Марка Александровича Алданова (1886–1957) и Георгия Дмитриевича Гребенщикова (1883–1964), которая хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета (публ. В. А. Росова).

По счастливой случайности, в этом году удалось обнаружить, помимо уже опубликованных 14 писем, дополнительно еще 23. Они находятся в Архиве Центра по изучению истории эмиграции при университете штата Миннесота (США), коллекция Георгия и Татьяны Гребенщиковых (Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota; George and Tatiana Grebenstchikoff Papers, Box 9, Folder 11). Из них 15 писем – Марка Алданова (автографы и машинопись), 6 – Гребенщикова (отпуски) и 2 – жены Алданова, Татьяны Марковны (автографы). Еще семь писем этой переписки попали в ранее опубликованные в «Новом Журнале», поэтому они не вошли в эту публикацию. Данный массив документов дополняют два письма из Издательства им. Чехова (Нью-Йорк) и два письма Гребенщикова, адресованных Чеховскому издательству и публицисту, историку Б. Н. Николаевскому. Переписка охватывает довольно большой временной промежуток – с июля 1941-го по март 1957 года.

Сибирский писатель Г. Д. Гребенщиков оказался в эмиграции, спасаясь от натиска Красной армии, которая находилась на подступах к Крымскому полуострову. Из Константинополя он отплыл во Францию, и с января 1921-го обосновался в Париже. Дружеские отношения с Бунинным, Купринным, Бальмонтом позволили ему укрепиться в писательской среде Зарубежья. Известность и признание приходят к писателю после выхода в свет романов «Чураевы» (1922, 1-й том) и «Былина о Микуле Буяновиче» (1924). По совету художника Н. К. Рериха он переезжает в Нью-Йорк, основывает книгоиздательство «Алатас» и становится его директором. В Америке Гребенщиков продолжает заниматься литературной работой, один за другим выходят очередные тома эпопеи «Чураевы», сборники рассказов. Он открывает в себе новые грани – лектора, публициста, а позже и преподавателя колледжа. Весной 1941 года получает кафедру профессора Florida Southern

College (пробные лекции), а с сентября начинает преподавательскую деятельность. Именно на этот период приходится его контакты с М. А. Алдановым.

В 1940 году Алдановы обосновались в США, эмигрировав из оккупированной Франции. Имея статус признанного в эмиграции писателя, мастера исторического романа, Марк Александрович продолжал плодотворно работать на литературном поприще. Еще в Париже у него вышло несколько талантливых вещей, повествующих о Французской революции и эпохе Наполеона. Широкая популярность пришла благодаря трилогии – «Ключ» (1929), «Бегство» (1930), «Пещера» (1932). Творческое мастерство сблизило писателя с собратьями по перу – Адамовичем, Набоковым и Ходасевичем, а Бунин стал для него особенно близким другом. В Нью-Йорке им созданы новые романы и повести: «Начало конца» (1943), «Истоки» (1950), «Живи как хочешь» (1952), «Повесть о смерти» (1952) и др. Некоторые из его произведений были переведены на английский язык. Вскоре Алданов вместе с М. О. Цетлиным основал «Новый Журнал», первый номер которого вышел в январе 1942 года. Алданов пригласил Гребенщикова к сотрудничеству в журнале. Предложение было принято, и вскоре на страницах нового русскоязычного издания появляются очерки сибирского писателя из цикла «В просторах Америки».

Между писателями установились теплые дружеские отношения, хотя не по всем вопросам их мнения совпадают. Так, Г. Д. Гребенщиков, в отличие от Алданова, жестко критиковал И. А. Бунина в связи с выходом в свет сборника его рассказов «Темные аллеи». Важным вопросом их литературной дискуссии является выпуск тех или иных книг Издательством им. Чехова. Писатели сетуют на кризисное положение русской эмигрантской среды, но не теряют надежды на то, что когда-нибудь в России будущие поколения «кое-что прочтут и узнают, что мы в эмиграции согрели свое сердце подлинной любовью к своей несчастной родине».

Данная публикация неизвестной ранее части переписки обусловлена недавним появлением архивного фонда Гребенщиковых в Миннеаполисе. Фонд был открыт для исследователей только в 2012 году, после обработки документов, поступивших из городской библиотеки Лейкланда (штат Флорида). Переписка воспроизводится по копиям с оригиналов в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации. Автор публикации благодарит Даниэля Нечаса, куратора Архива Центра по изучению истории эмиграции при Университете штата Миннесота за разрешение опубликовать переписку в «Новом Журнале».

*О. Б. Кудзоева*

1. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*16 июля 1941*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Сердечно благодарим Татьяну Денисовну<sup>1</sup> и Вас за Ваше любезное приглашение<sup>2</sup>. Мы, вероятно, на днях ненадолго уедем – быть может, в Бичхерст. В субботу у меня деловое свидание (одно из многочисленных, ничего не дающих). Кроме того, мы и не поместились бы: Коварские<sup>3</sup> едут не одни. Разрешите отложить визит к вам до начала осени. Еще раз очень вас благодарим.

У меня неразборчивый почерк, и я письма тоже пишу на машинке.

Татьяна Марковна<sup>4</sup> и я шлем вам обоим сердечный привет.

Ваш М. Алданов

---

1. Гребенщикова Татьяна Денисовна (в девичестве Стадник, в первом браке – Давыдова, (1892–1964) – вторая жена Г. Д. Гребенщикова. Родилась в Тифлисе. Получила образование в частной гимназии в Харбине. До начала Первой мировой войны работала в компании «Зингер» в Хабаровске. Во время войны состояла на службе в Управлении уполномоченного Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам при XI армии в качестве помощницы делопроизводителя и машинистки (1917–18). Вступила в брак с писателем Гребенщиковым 17 сент. 1917 года в Киеве. В 1920-м вместе с мужем эмигрировала в Константинополь, в 1921 – в Париж, в 1924 – в Нью-Йорк. Помогала вести дела книгоиздательства «Алатас». Преподавала во Florida Southern College (Lakeland) основы типографского дела и возглавляла типографию «Dixie Press».

2. Имеется в виду приглашение посетить Чураевку – поселение, основанное Гребенщиковым в 1925 г. в 75 милях от Нью-Йорка (Southbury, Conn.). Чураевка стала своего рода очагом русской культуры, на летних дачах там проживали и просто гостили видные деятели эмиграции – Игорь Сикорский, Сергей Рахманинов, Михаил Чехов, Николай Рерих и др. Было открыто книгоиздательство «Алатас» и типография, построена часовня св. Сергия Радонежского, организован детский образовательный центр. В начале 1940-х в связи с переездом во Флориду на преподавательскую работу Гребенщиконы посещали Чураевку только в летний период. Дом Гребенщиконых, помещение типографии и часовня сохранились до наших дней.

3. Коварский Илья Николаевич (1880–1962) – известный врач и общественный деятель Русского Зарубежья, секретарь Общества русских врачей им. Мечникова во Франции, редактор ряда эмигрантских изданий; его жена Коварская Лидия Антоновна (1874–1965), педагог, писатель, критик. Коварский состоял управделами изд-ва «Я. Поволоцкий и Ко», где в начале

1920-х вышло собрание соч. Гребенщикова. Позже в Париже им было основано собственное книжное дело «Родник» (издательство, магазин, библиотека). В 1940-м переехал в США и продолжил врачебную практику. Член корпорации НЖ в конце 1950-х.

4. Ландау Татьяна Марковна (урожд. Зайцева, 1893–1968) – переводчица, жена писателя М. А. Алданова. Переводила на француз. язык, в основном произведения мужа. Похоронена в Ницце в семейном склепе на кладбище Кокад.

## 2. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

26. VIII. [19]42

Дорогой Георгий Дмитриевич.

И. Н. Коварский переслал нам сюда<sup>1</sup> Ваше любезное приглашение. Искренне Вас благодарим, но, как Вы видите, мы теперь далеко, на отдыхе. Очень жалею, что не можем приехать. Кланяемся профессору Durig'у<sup>2</sup> и желаем большого успеха.

Шлем Вам и Вашей супруге самый искренний привет.

Ваш М. Алданов

---

1. Письмо Алданова написано на почтовой открытке, указан адрес: Mount Holyoke College, South Hadley, Mass.

2. Профессор Эрнест Дьюриг (Ernest Durig, 1894–1962) – скульптор швейцарского происхождения, ученик Огюста Родена. Жил и работал в США. В письме речь идет о его визите в Чураевку вместе с дочерью Розмари Дьюриг. На встрече в усадьбе Гребенщиковых присутствовало более 60 гостей, перед которыми скульптор Дьюриг выступил с воспоминаниями о своем учителе Родене.

## 3. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

16 января 1944

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Татьяна Марковна и я от всей души благодарим Вас и Татьяну Денисовну за Ваш милый подарок. Мы вчера вечером его получили, тут же съели по два апельсина, а с остальными поступили по Вашему указанию. Мы оба очень тронуты Вашим вниманием. Апельсины превосходные.

Очень хотел бы послать Вам книгу<sup>1</sup> с надписью, но у меня ничего нет: все осталось в Париже. В здешних магазинах, по крайней мере в двух, тоже нет ничего. Буду искать специально для этого.



Ваш последний – действительно прекрасный – рассказ<sup>2</sup> имеет у всех большой успех. Хвалят самые разные читатели и сотрудники. Все ругают Яновского<sup>3</sup>. Насчет Бунина мне трудно согласиться и с Вами, и с некоторыми другими писателями (Сирин, например). Я огорчен тем «уклоном»<sup>4</sup>, который Вы имеете в виду, но он большой, очень большой мастер. Вестей от него нет уже полтора года! Увидим ли его еще когда-либо?

Большое спасибо за все. Шлем самый сердечный привет, самые лучшие наши пожелания Татьяне Денисовне и Вам.

Ваш М. Алданов

---

1. Наиболее вероятно, что Алданов имеет в виду свою книгу «Пуншевая водка» (Париж: Дом книги, 1940), которая вышла в свет накануне его отъезда в США.

2. Возможно, речь идет о рассказе Гребенщикова «Страшнее смерти», опубликованном в НЖ (1943, кн. VI, сс. 122-132).

3. Яновский Василий Семенович (1906–1989) – прозаик, публицист, мемуарист. В эмиграции с 1922 года. Жил четыре года в Польше, затем переехал в Париж, сблизился с поэтами-монпарнасцами Борисом Поплавским и Виктором Мамченко. Посещал «воскресенья» Мережковского и Гиппиус. Печатался в эмигрантской и французской периодике: «Числа», «Современные записки», «Последние новости», «Le Populaire» и др. В 1940 г. после немецкой оккупации Франции, Яновский переехал в свободную зону (Монпелье), затем – в Касабланку (Марокко), в 1942-м выехал в США и обосновался в Нью-Йорке. Сотрудничал с изданиями «Новый Журнал», «Новоселье», «Опыты».

4. Под «уклоном» Алданов имеет в виду тему эротики, которая выходит на первый план в ряде рассказов И. А. Бунина, вошедших в нашумевший сборник «Темные аллеи» (Нью-Йорк, 1943; Париж, 1946). Рассказы цикла «Темные аллеи» публиковались в НЖ начиная с первого номера.

#### 4. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*27 февраля 1946*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Рад был Вашему письму. Мы оба сердечно благодарим Вашу супругу и Вас за приглашение в Чураевку. Но мы еще совершенно не знаем, где будем летом. Может быть, уже во Франции или еще во Франции.

«Новый Журнал» замучил меня, главным образом, корректура-

ми, сношениями с типографией, письмами. Я всегда ненавидел редакционную работу. Напротив, М. М. Карпович<sup>1</sup>, как и покойный М. О. Цетлин<sup>2</sup>, очень ее любит. Поэтому, к большой моей радости, мы сошлись на том, что он (после кончины Михаила Осиповича) стал единоличным редактором. Мы продаем около тысячи экземпляров журнала, но этого мало, чтобы окупить расходы (при бесплатном труде редакторском и секретарском, при бесплатном помещении): типография повышает цены беспрестанно (мы только что перешли поэтому в другую типографию). По-моему, Мих[аил] Михайлович делает свое дело превосходно и чрезвычайно добросовестно. Почему же вы «не решаетесь» послать ему свои вещи! Его адрес: 61 Brattle St., Cambridge 38, Mass. Но посылать надо именно ему, а не мне.

Я читал все вышедшие тома «Чураевых»<sup>3</sup>. Буду, разумеется, рад прочесть их снова.

Шлем сердечный привет Вам и Вашей супруге.

Преданный Вам,

М. Алданов

---

1. Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) – русско-американский историк, один из основателей русистики в США. Сотрудник и автор «Нового Журнала» с 1946 года, после смерти М. О. Цетлина – главный редактор НЖ.

2. Цетлин Михаил Осипович (псевд. Амари, 1882–1945) – поэт, прозаик, критик, редактор, издатель, меценат. Член партии эсеров, с 1907-го по 1917-й жил за границей в эмиграции. В 1918-м – повторная эмиграция (Италия, Франция, Португалия). В Париже основал литературный журнал «Окно» (1923–1924), возглавлял отдел поэзии в журнале «Современные записки» (1920–1940). С 1941-го – в США, вместе с М. А. Алдановым один из основателей и главных редакторов НЖ.

3. Роман Гребенщикова «Чураевы» задуман как 12-томная эпопея. При жизни писателя было опубликовано лишь семь из них: «Братья» (1922, 1925), «Спуск в долину» (1925), «Веления Земли» (1926), «Трубный глас» (1927), «Сто племен с единым» (1932), «Океан багряный» (1936), «Лобзание змия» (1952). Из-за тяжелой болезни эпопею завершить не удалось, фрагменты неизданных томов публиковались в 1950-е в русскоязычной периодике в США.

## 5. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*15 ноября 1948*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Мы чрезвычайно огорчены Вашим сообщением, я и не знал, что Вам предстоит операция<sup>1</sup>. Правда, здесь, насколько мне известно,

операцию катаракты не считают особенно серьезной. Года полтора тому назад одной милой старушке 80 лет, Семеновой, сделали в Ницце эту операцию, и несмотря на столь преклонный возраст, все сошло отлично. Конечно, так будет и у Вас, но я понимаю, как Вам тяжело и трудно работать.

У меня сейчас на счету в нью-йоркском банке чрезвычайно мало денег, я очень боюсь, что не хватит на уплату налогов там. Есть еще немного уор-бондов<sup>2</sup>, но они в сейфе, и я их продать не могу. От издателя Скрибнера<sup>3</sup> и от литературного агента деньги, верно, будут еще не скоро: я получил перед отъездом в Европу и теперь живу на это и на доходы от французских изданий. Но я думаю, что Вы легко это можете сделать одним из следующих двух способов: 1) нью-йоркский Фонд помощи писателям<sup>4</sup>, вероятно, переводит после вечера деньги своим клиентам во Франции. Он может заплатить Вам, а И. Г. Савченко<sup>5</sup> отдаст эти деньги, кому они скажут; 2) «Новый Журнал», конечно, платит гонорары в Париже Зайцеву<sup>6</sup>, Гулю<sup>7</sup> и др. Журнал продается во Франции очень слабо, и, без сомнения, сумм, выручаемых от продажи, никак не хватает на уплату живущим во Франции сотрудникам. Значит, и они могут это сделать. Я сегодня же написал об этом Вашем деле<sup>8</sup> Борису Ивановичу Николаевскому<sup>9</sup> (его новый адрес: 417 Уэст 120 Стрит, ап. 5 С, Нью-Йорк 27). Он председатель фонда и видный сотрудник журнала. Я просил его устроить это дело. Вы, быть может, слышали, что я ушел из основанного мною журнала, а с Цетлиной<sup>10</sup> фактически прекратил отношения. Если Вы с ней в добрых отношениях, то напишите ей (Hotel Harvard, 112 Уэст 72 Стрит) – я ей писать не могу. Если Вам неудобно писать ей, напишите Карповичу (61 Brattle St., Cambridge, Mass.). По делу же фонда хорошо было бы, если бы и Вы, в дополнение к моему письму, написали Борису Ивановичу.

Не хочу просить Вас теперь написать мне – Вам это, верно, нелегко. Но очень просил бы хоть несколькими словами известить меня относительно операции. Мы не сомневаемся, что все сойдет прекрасно.

Шлем Вам оба сердечный привет и самые лучшие пожелания, также Вашей супруге.

Ваш М. Алданов

---

1. Реакция на письмо, написанное Гребенщиковым 1 нояб. 1948 года. В этом письме, адресованном М. Алданову, сообщалось о предстоящей операции на глаза: «Слепота моя давит на мое сознание, отражается на моей энергии, ложится бременем на плечи моей жены и вообще парализует мою работу как преподавателя, не говоря уже о том, что писать я совершенно не могу. И вот намечается возможность операции» (НЖ. 2013, № 273, с. 222).

2. От англ. *war bond* – облигация военных займов.

3. Скрибнер Чарльз (Scribner Charles III, 1890–1952) – в течение 20 лет возглавлял одно из старейших американских издательств Charles Scribner's Sons, основанное в 1846 году.
4. Фонд помощи русским писателям и ученым в изгнании (Fund for the Relief of Russian Writers and Scientists in Exile). Учрежден в Нью-Йорке в 1918 году. Фонд отправлял нуждающимся русским литераторам во Францию продовольственные посылки и денежные средства.
5. Савченко Илья Григорьевич (1889–1961) – писатель, литературный критик, секретарь газеты «Сибирская жизнь». Участник Первой мировой войны и Белого движения. С 1921 г. в эмиграции в Болгарии, затем – в Праге (1923). Позже перебрался в Париж, сотрудничал с газетой «Последние новости». В 1929-м опубликовал мемуары о Гражданской войне «Зеленая Кубань» на франц. яз. С Гребенщиковым дружил всю жизнь, начиная с учебы в Томском университете; являлся его личным представителем по издательским делам во Франции.
6. Зайцев Борис Константинович (1881–1972) – русский писатель, мемуарист. В эмиграции с 1922-го (Германия). В марте 1923-го избран вице-председателем Союза русских писателей и журналистов. С 1924-го обосновался в Париже, где прожил до конца своих дней. Работал в газете «Последние новости», позднее – в «Возрождении». После Второй мировой войны состоял в переписке с Гребенщиковым.
7. Гуль Роман Борисович (1896–1986) – русский писатель, журналист, мемуарист, литературный критик. Участник Белого движения, антикоммунистического движения эмиграции. В эмиграции с 1920-го (Германия), в 1933-м в Париже, с 1945-го – в США, жил в Нью-Йорке. При М. Карповиче работал ответственным секретарем НЖ, с 1959 г. – вплоть до кончины, главный редактор журнала.
8. Гребенщиков в письме к Алданову от 1 нояб. 1948 г. сообщал о предстоящей операции на глаза, на которую «надо достать много денег», и просил своего собрата-писателя о содействии в получении у И. Г. Савченко 30 тыс. франков, оставшихся во Франции от гонора за французское издание романа «Былина о Микуле Буяновиче» (Брюссель, 1947).
9. Николаевский Борис Иванович (1887–1966) – историк, публицист, общественный деятель. Меншевик. Видный представитель антикоммунистического движения эмиграции. В 1922 г. выслан из Советской России, жил в Германии. Берлинский представитель московского Института Маркса-Энгельса (1924–1931) и Русского заграничного исторического архива в Праге. С 1933 г. обосновался в Париже, с 1940 г. – в США. Сотрудничал в НЖ, «Новом русском слове» и др. Гребенщиков в своем письме к Б. И. Николаевскому от 21 ноября 1948 г. интересовался возможностью получения денег, хранящихся в Париже, путем обмена франков на доллары, поскольку с его стороны предполагалось оказание финансовой помощи русским писателям во Франции.

10. Цетлина Мария Самойловна (урожд. Тумаркина; 1882–1976) – супруга М. О. Цетлина, общественный и политический деятель, издатель, меценат. В Париже содержала литературный салон, эмигрировала в Нью-Йорк с мужем. На протяжении первых лет существования НЖ была одним из его спонсоров, при редакторстве Цетлина вела административные дела НЖ. Конфликт между М. С. Цетлиной и М. А. Алдановым произошел из-за И. А. Бунина, которого Цетлина необоснованно обвинила в симпатиях к Советскому Союзу и открытым письмом разорвала с ним отношения. Алданов встал на защиту Бунина, зная о неизменных твердых антикоммунистических взглядах своего друга.

6. Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ – М. А. АЛДАНОВУ

24 июля [19]49

Дорогой Марк Александрович,

Получивши Ваше письмо с разрешением прислать Вам все шесть томов «Чураевых», я испугался. Эта далеко не законченная работа так далека от совершенства, тем более там такая масса опечаток. Но сказано – сделано. Послал Вам пока пять томов, как раз второго тома здесь нет, и мы его пришлем из Чураевки, куда с таким запозданием на днях выезжаем всего только на четыре недели. Причина – моя очень серьезная болезнь, которая в острых формах проявилась 23 июня, а 24 я был взят в госпиталь для операции, но операция не вполне удалась. Камни в почках – дело не такое простое оперировать. Очень мучился с острыми болями. Теперь, благодаря специальной диете, чувствую себя гораздо легче, но поездки побаиваюсь, а нужно: половина нашей жизни все время находится в Чураевке. Если не побуду там хоть месяц – год считается пропавшим. Но и Чураевкой заняться времени нет. Там все запущено, и самая колония меня забывает, меняется, отходит. Некоторым из них типография и прочие культурные дела кажутся просто глупостью. Может быть, так оно и есть, но мы без этого сами себе кажемся пустыми. Вот опять выпускаем, через несколько лет бездействия, книжку одного стихотворца<sup>1</sup>. Татьяна Денисовна произвела одна всю работу здесь, а брошюровать и прочее должны в Чураевке: там есть такие машины.

Между прочим, так как после прочтения Вами мои книжки будут только лишний багаж, то разрешите Вас просить переслать их мадам П. П. Карташевой<sup>2</sup>: она их продаст в пользу сирот.

С самыми лучшими пожеланиями и приветами Вам и супруге от нас обоих.

---

1. Речь идет о сборнике стихов И. П. Умова «Незримый гость» (Southbury: Alatas, 1949).

2. Карташева-Соболева Павла Полуэктовна (1889–1969) – жена известного эмиграции религиозного мыслителя, историка Церкви и политического деятеля Антона Владимировича Карташева (1875–1960). Похоронена вместе с мужем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

7. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*26 ноября 1949*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Простите, ради Бога, что так долго Вам не отвечал. У нас здесь, в Ницце, тяжело заболел двоюродный брат, очень старый, одинокий и бедный человек, Зайцев<sup>1</sup>. Вся его болезнь, оказавшаяся раком, лежала на мне – у него больше никого не было. Три дня тому назад он, после операции, скончался.

Кроме того (и главное), я Ваши книги читал медленно, не торопясь. Читал я с истинным наслаждением. Вы превосходный художник, я это знал, а теперь убедился лишний раз. Никаких критических замечаний у меня нет. Надеюсь, мы с Вами весной увидимся в Нью-Йорке. Наш отъезд или, точнее, его дата зависит от дел с визой, о которых рассказывать долго и незачем. Скоро это выяснится. А когда увидимся, поговорим о Ваших произведениях. Еще раз сердечно Вас благодарю за доставленное мне очень большое удовольствие.

А вот Вы мне никак удовольствия не доставили сообщением о здоровье. И мне не очень везет тут, но Вам не повезло особенно. Знаю, что камни в почках мучительная вещь. Вероятно, в Чураевке Вы отдохнули. Я читаю «Новое русское слово» и знаю, что теперь Вы, во всяком случае, чувствуете себя лучше.

Татьяна Марковна и я шлем самый сердечный привет и самые лучшие пожелания Вам и Татьяне Денисовне.

Ваш М. Алданов

---

1. Зайцев (ум. 23 нояб. 1949) – двоюродный брат М. А. Алданова, в эмиграции жил во Франции, в Ницце. У М. Алданова было трое двоюродных братьев, о ком именно идет речь – неизвестно.

8. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*[28. IV. 50]<sup>1</sup>*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Ваше письмо вернулось, новое шло долго, а я болел, и тяжело, –

прошу Вас извинить, что отвечаю с таким опозданием и так кратко. Запустил всю корреспонденцию.

От души благодарю за добрые слова. Вы знаете и то, как я Вас высоко ставлю. Жена моя, как и я, шлет Вам и Татьяне Денисовне самый сердечный привет. Мы были так рады, что Вы вполне оправились. Ведь Вы должны, обязаны написать еще много.

В этом году, если буду жив, увидимся. Всего, всего вам доброго. И еще раз прошу простить.

Ваш М. Алданов

1. Письмо написано на открытке, отправлено из Nice Notre-Dame, датировано по почтовому штемпелю: 28 апреля 1950.

#### 9. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

[24. IV. 53]<sup>1</sup>

Дорогой Георгий Дмитриевич,

Мы получаем «Н[овое] Р[усское] Слово» через месяц и только теперь узнали о несчастном случае с Вами<sup>2</sup>. Примите самое искреннее сочувствие. Надеемся, что проходит благополучно, желаем полного и скорейшего восстановления сил.

Разумеется, не отвечайте на эту открытку.

Шлем Вам и супруге сердечный привет.

Преданный Вам,

М. Алданов

1. Письмо написано на открытке, отправлено из Nice Notre-Dame, датировано по почтовому штемпелю: 24 апреля 1953.

2. Зимой 1953 г. Гребенщиков во время хозяйственных работ по обустройству садового участка дома, упав с лестницы, сломал ногу (стопа была раздроблена на пять частей) и повредил бедро; в течение полугода оставался сначала недвижимым, потом передвигался на коляске.

#### 10. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

6 августа 1953

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Получил от редакции «Нового русского слова» Вашу интересную статью и сердечно Вас благодарю за столь любезный и лестный

отзыв, особенно мне приятный, потому что он исходит от Вас. Спасибо и за то, что оказали мне внимание, – прислали его. Я ни одной русской газеты теперь не вижу, ни парижской, ни нью-йоркской, кроме «Н.Р. Слова».

Надеюсь, Вы чувствуете себя много лучше, чем прежде? Пишете ли? В наши годы это единственная радость – правда, и мученье.

Шлем самый искренний привет Вам и Татьяне Денисовне.

Ваш М. Алданов

Моя машинка только что вернулась из починки – простите масляное пятно.

## 11. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*12 января 1954*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Мы оба шлем Вам и Вашей супруге самые сердечные поздравления и лучшие новогодние пожелания.

Ваше письмо получил только сегодня. Оно без даты, но, по-видимому, шло с месяц! Быть может, из-за почтовой забастовки во Франции. Карточки доставлялись особенно медленно.

Перед моим отъездом из Нью-Йорка я говорил с выздоровевшим как раз тогда Вреденом<sup>1</sup> о Вашей книге<sup>2</sup>. Говорил и еще о двух<sup>3</sup>. Он проявил самое благожелательное отношение. Но тогда у них еще не было денег, второй ассигновки Фордовской организации<sup>4</sup>, и поэтому никаких решений они тогда не принимали. С месяц тому назад я получил частное сообщение, что ассигновка ими получена, – больше ничего об их намерениях. По-видимому, произошла какая-то непонятная мне заминка. Я писал им, что В. Н. Бунина<sup>5</sup>, вдова Ивана Алексеевича, сидит без гроша. Между тем Вреден тогда же мне сказал, что книга Бунина<sup>6</sup> (он еще был жив) считается принятой, «как только они получают деньги». Эта книга была ими получена летом, однако Вера Николаевна ни предложения, ни договора пока не получила. Просто не понимаю, в чем дело. По слухам (за достоверность никак не ручаюсь), М. М. Карпович будет принимать участие в издательстве. Мне ему писать неловко, так как я этим слухам не очень верю. Не склонны ли написать Вы? Его адрес: 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass. Если Николай Романович (Вреден) мне напишет (я писал ему очень давно и ответа все не имею), я тотчас напомним о всех делах и, в частности, о Вашей книге. А кто теперь другие «власть имущие» – я просто не знаю.



Надеюсь, у Вас все благополучно. А мы оба здоровьем похватать никак не можем. Делами тоже нет.

Шлем Вам обоим сердечный привет.

Ваш М. Алданов

- 
1. Вреден Николай Романович (Робертович) (1901–1955) – издатель, переводчик. Кадет Императорского военно-морского училища в Петрограде (1916), участник Белого движения. В эмиграции с 1920 г. (Дания, США). С 1939 г. – управляющий книжным магазином Скрибнеров (Нью-Йорк), в 1944–55 гг. – гл. ред. издательства Даттона (Dutton, Нью-Йорк), в 1951–55 гг. – директор Издательства им. Чехова (Нью-Йорк). Литературный агент Алданова в Великобритании и США. Переводил на англ. яз. произведения Марка Алданова, а также Гайто Газданова, Юрия Елагина и др.
  2. Имеется в виду автобиографическая повесть Гребенщикова «Егоркина жизнь», изданная лишь после смерти писателя в 1966 г. свящ. Александром Александровым (впоследствии епископ Русской Зарубежной Церкви Даниил Ирийский), который жил в Чураевке (Southbury, Conn). Алданов пытался устроить рукопись Гребенщикова в Издательство им. Чехова.
  3. 13 октября 1953 г. М. Алданов «завтракал с Вреденом в его клубе» (письмо Г. В. Адамовичу, 14 окт. 1953), и речь шла, в том числе, о планируемой к изданию книге Адамовича о литературе русской эмиграции; книга вышла под названием «Одиночество и свобода» (1955).
  4. Ford Foundation был создан в 1936 г. Эдселоом Фордом, сыном Генри Форда, основателя Ford Motor Company, с капиталом в \$25,000 и с целью поддержки организаций, работающих в области науки, образования, благотворительности и других видов гуманитарной направленности. С годами филантропическая деятельность Ford Foundation приобрела международный характер, поддерживая работу общественных организаций по упрочению демократических ценностей, расширению образования и укреплению мира. В 1950-е годы среди реципиентов Фонда были писатели, общественные деятели и организации русской эмиграции, в их числе в США – Издательство им. Чехова и НЖ.
  5. Бунина Вера Николаевна (урожд. Муромцева; 1881–1961) – мемуарист, переводчица, жена И. А. Бунина. Автор литературных статей и книг, в том числе об И. А. Бунине.
  6. Бунин И. А. О Чехове: Незаконченная рукопись. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. – 412 с.

12. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*24 апреля 1955*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Я очень огорчен тем, что Ваша книга<sup>1</sup> возвращена Вам

Чеховским издательством. Узнал об этом из Вашего письма. Вы пишете: «Я поверил в Вашу искренность и до сих пор в ней не сомневаюсь». Действительно, было бы трудно сомневаться в искренности моего желания содействовать устройству Вашей книги! Так как тень сомнения у Вас все же, по-видимому, есть, то прилагаю давнее письмо ко мне Александровой<sup>2</sup>. Я всячески старался о Вашей книге. Подчеркнутые мною в письме ее строки об этом и свидетельствуют<sup>3</sup>.

У меня они приобрели не пять книг, а три. Ни из антологии под моей редакцией, ни из «Повести о смерти», о которых она тогда писала, ничего не вышло: они не взяли. Пяти книг они ни у кого вообще не приобретали. Четыре приобрели у покойного Бунина (включая приобретенную, но еще не вышедшую его книгу о Чехове) и, кажется (не уверен), у Максимова<sup>4</sup>. У меня купили «Живи как хочешь», «Ульмскую ночь» и старый роман «Ключ»<sup>5</sup>. Антология европейской новеллы была их идеей, а не моей, они сами ко мне за редакцией обратились, а потом передумали.

По-видимому, издательство кончается, и я только этим могу объяснить, что они вернули Вашу книгу. Искренно Вас благодарю за столь любезные слова обо мне. Вам давно известно, что и я о Вас очень высокого мнения. Поклонников у Вас не меньше, думаю, чем у кого бы то ни было из эмигрантских писателей, и я совершенно не понимаю, почему Вы думаете, что Вас хотят отодвинуть «на задворки литературы»!! Вам обеспечено высокое и прочное место в эмигрантской литературе.

А издаваться нам всем по-русски, действительно, больше негде – впервые за все время существования эмиграции. Я не думал до этого дожить. Между тем пришла старость, болезни. Сбережений у меня на два года жизни. У Вас хоть дачи есть, а у меня даже нет своей мебели: живем в мебелированной квартире. Правда, нет долгов, как и у Вас. Теперь кое-кто из эмигрантов печатает книги на свои деньги, как, кажется, полковник Воронович<sup>6</sup> или Андрей Седых<sup>7</sup>. Я на такой риск не могу пойти и не пойду.

Письмо Александровой, пожалуйста, мне верните при случае.

Оба шлем сердечный привет и лучшие пожелания Вам и Вашей супруге.

Ваш М. Алданов

---

1. См. прим. 2 к письму 11.

2. Александрова Вера Александровна (урожд. Мордвинова; 1895–1966) – критик, литературовед, публицист. В эмиграции – с 1922 г. (Берлин), затем в Париже (1933), а с 1940 г. – в США. Глав. ред. Издательства им. Чехова (1952–56).

3. В письме В. А. Александровой к М. Алданову от 22 января 1954 г. выделены слова: «Не знаю еще о судьбе романа Гребенщикова, но думаю, что, если не в 54 г., то в 55 г. он будет включен в план наших изданий» (Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota; George and Tatiana Grebenstchikoff Papers, Box 9, Folder 11).

4. Максимов Сергей Сергеевич (наст. фам. в эмиграции Пашин, в СССР – Пасхин; 1916–1967) – русский прозаик, поэт, драматург. В 1936 г. осужден за «антисоветскую агитацию» на пять лет. После освобождения (1941) ему было запрещено жить в Москве, он уехал в Калугу. В военные годы оказался на оккупированной территории. После войны жил в Гамбурге, Камберге. Вошел в редколлегию журнала «Грани», где опубликован его роман «Денис Бушуев» (1949). В 1949 г. переселился в США. В 1956 г. Изд-во им. Чехова выпустило 2-ю часть романа – «Бунт Дениса Бушуева». 3-я часть осталась незавершенной.

5. В Чеховском изд-ве вышло три романа М. Алданова: «Живи как хочешь» (1952, в 2-х тт.), «Ульмская ночь: Философия случая» (1953), «Ключ» (1955). Первая публикация романа «Ключ» состоялась в 1929 году.

6. Воронович Николай Владимирович (1887–1967) – публицист, мемуарист, общественный деятель; офицер Русской Императорской армии, Георгиевский кавалер. Участвовал в революционных событиях 1917 года на стороне восставших; член партии эсеров. После 1920 г. – эмиграция в Чехословакию и Францию, зарабатывал на жизнь тяжелым физическим трудом (лесозаготовки и пр.). В конце 1940-х переехал в США. Сотрудничал в НРС. Русский Обще-Воинский союз и Общество галлиполийцев выдвигали обвинения в адрес Вороновича в связи с его деятельностью во время Февральской революции. В 1955 г. Н. В. Воронович издал свою книгу «Вечерний звон: Очерки прошлого. 1891–1917».

7. Андрей Седых (наст. имя Цвибак Яков Моисеевич; 1902–1994) – писатель, журналист, личный секретарь И. А. Бунина. В эмиграции – с 1920 г., сначала Италия, затем Франция (1922). Сотрудничал с газете «Последние новости». В 1933 г. сопровождал Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии. В 1941 г. из оккупированной Франции переехал в США, с 1942 г. – штатный сотрудник НРС, позже – гл. редактор газеты. Автор мемуаров «Далекие, близкие» (1962). Возможно, Алданов имеет в виду вышедшую к тому моменту книгу Андрея Седых «Только о людях» (Нью-Йорк, 1955).

### 13. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*6 мая 1956*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Из редакционной заметки, сопровождавшей вчера Ваш прекрас-

ный рассказ в «Русской мысли»<sup>1</sup>, я узнал о Вашем юбилее<sup>2</sup>. Разрешите принести Вам самые сердечные поздравления. Очень жалею, что делаю это с таким опозданием, – верно, это было давно. Вам известно, что я большой и давний Ваш почитатель. Искренно поздравляю и Вашу супругу. Моя жена присоединяется.

Разумеется, не отвечайте на это письмо: Вы, наверное, получили очень много поздравлений, а времени у Вас мало.

Шлем самый искренний привет и лучшие пожелания.

Ваш М. Алданов

А вот Вы мне год тому назад не вернули письма ко мне Александровой, которое я просил вернуть.

---

1. В газете «Русская мысль» (1956, 5 мая) был опубликован рассказ Гребенщикова «Как гуляет Тихоныч». Впервые этот рассказ опубликован в 1906 году.

2. Ведущая в эмиграции парижская газета «Русская мысль» сообщила о юбилее Г. Д. Гребенщикова, 50-летию его литературной деятельности.

#### 14. Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ – М. А. АЛДАНОВУ

*12 мая [19]56*

Дорогой Марк Александрович:

Как можно не ответить на Ваше такое драгоценное для меня письмо, хотя бы потому, чтобы иметь случай попросить Вашего прощения за потерю письма к Вам Веры Александровны, которое осталось, вероятно, в ожидании ответа в Чураевке, в штате Коннектикут. Ну что могу я сказать в свое оправдание, когда виновен без прав самозащиты. За то и наказан и стыдом, и поисками письма в своих архивах, и предстоящими поисками в Чураевке, куда мы скоро выедем отсюда.

Несмотря на свои преклонные годы, явно вне линии академических должностей, нынче все-таки я опять учил в трех классах<sup>1</sup> и, конечно, многому учился. Вам должно быть понятно это отеческое чувство к молодежи, когда они чувствуют, что даже ваша твердость не баловать их высокими отметками идет им же на пользу. Вот если мне удастся опубликовать повесть об этом опыте, Вы увидите, в чем дело. Вероятно, я даже переведу это на русский язык, хотя, представьте, не очень гладко получается. Очевидно, уже выработалась привычка думать по-английски и подгонять психологию к американскому восприятию. Но признаюсь Вам, я просто не представляю себе, как я буду жить без своих студентов и без этой столь приятной академической среды.

Готовлю теперь их к экзаменам и, конечно, покажу их публике в специальном литературно-историческом вечере. Как они уже волнуется, и как они будут все разнаряжены, и как хотят прочесть больше, нежели позволит время. На эти вечера я мобилизую и профессоров из других отделов, и тоже ревность: почему вот меня обходите. Есть одна у меня чтица, профессор драмы и спичей, это просто гениальная женщина, притом красавица, и голос ее таков, что когда она переходит на низкие тона, вплоть до шепота, – публика с ума сходит, когда ей аплодирует. Она будет в рассказе показана, и для нее я даю отрывок из некоторых своих сокровенных мыслей, абсолютно не американских.

Вы ничуть не запоздали с Вашим драгоценным для меня приветствием. Юбилей мой только начинается. Во многих городах и даже на внешних континентах затеваются специальные вечера. Я сам даже не знал, что я-таки писатель. Таковым себя никогда не считал, оставался просто немного переросшим себя Егоркой. Но вот вы даже и рассказ мой, очень старый, назвали прекрасным. Ведь это Вы, Алданов. У меня сдуру может закружиться голова. Между прочим, моя Татьяна готовит для Славянского отдела Нью-Йоркской Публичной библиотеки выставку моих книг и переплетает их в сафьян и замшу. Уже готово 33 книги, не считая иностранных. Она решила догнать до пятидесяти, по числу лет юбилея. Тут уж и я проникаюсь уважением к книге, потому что без переплета они выглядят брошюрами, а не книгами. В этом виде Татьяна и думает их поместить в книгохранилище при Колумбийском университете в надежде – быть может, они долежат до того времени, когда Россия будет свободной демократией и, может быть, кто-то когда-то ими там заинтересуется. У каждого есть свои слабости. Есть и у меня такая: мечтаю, что когда-либо и там кое-что прочтут и узнают, что мы в эмиграции согрели свое сердце подлинной любовью к своей несчастной Родине.

Еще раз от всего сердца благодарю Вас за Ваше сугревное письмо и прошу Вас разрешить поместить его в особом юбилейном сборнике, который готовится для издания либо «Посевом»<sup>2</sup>, либо кем-то еще. Если же Вам это неудобно, так как это частное письмо, то не откажите либо запретить нам это делать, либо перепишите его в более прохладную форму. Слова о том, что Вы мой почитатель, слишком мне не по чину, я это отлично понимаю и ничуть не обижусь, если в печати такое слово будет заменено соответственным моему званию.

«Егорка» так и не появится в Чеховском издательстве, но я не пал духом и ищу путей все-таки «Егорку» выпустить. Вера Александровна согласилась дать к нему предисловие. Это большое

утешенье. Ведь Вы знаете, я так и прошел полвека своей службы литературе, не замеченный большими людьми.

---

1. В конце 1940 г. Гребенщиков получил приглашение на должность профессора кафедры русской литературы и истории во Флориде (Florida Southern College), официально начал преподавать в сентябре 1941 года. В течение 15 лет, до выхода на пенсию, он преподавал американским студентам русский язык, русскую литературу и историю, вел специальный курс писательского мастерства.

2. Издательство «Посев» возникло в 1945 году, по окончании Второй мировой войны в Германии, в лагере «перемещенных лиц» (ди-пи). Выпускало книги (в том числе художественную литературу) на русском языке, также журналы «Посев» и «Грани». В 1992 г. открыт филиал в Москве.

#### 15. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*19 мая 1956*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Сердечно Вас благодарю за столь любезное и лестное письмо. Искренно рад тому, что Ваш юбилей идет так удачно. Разумеется, я решительно ничего не имею против того, чтобы Вы поместили мое предыдущее поздравительное письмо в юбилейном сборнике, – я ведь написал совершенно искренно.

А вот издателей больше ни у кого из нас нет (на русском языке), и это конец эмигрантской культуры! Вы, верно, прочли S.O.S. М. М. Карповича о «Новом Журнале»? Не думаю, чтобы он нашел еще тысячу подписчиков. Ведь вся беда в том, что эмиграция, даже американская, наиболее состоятельная, книг не читает или, по крайней мере, не покупает.

Мне всегда казалось, что Вы очень недооцениваете и свое положение в русской литературе, и степень внимания к Вам в эмигрантской критике. Прилагаю в виде лишнего доказательства статью<sup>1</sup> Терапиано<sup>2</sup> – на случай, если автор или друзья Вам ее не прислали.

Неужели Татьяна Денисовна умеет переплетать книги, да еще в сафьян и замшу! Сколько труда, должно быть, положила! Во всем нам, эмигрантам, не везет, а вот на жен никак пожаловаться не можем ни вы, ни я, ни покойные Бунин, Куприн и другие. Пожалуйста, передайте Татьяне Денисовне и примите самый сердечный привет от нас и лучшие пожелания.

Ваш М. Алданов

Не ищите долго письма В[еры] А[лександровны]<sup>3</sup> – оно мне не так уж нужно.

1. *Терапиано Ю. Г. Д.* Гребенщиков. К пятидесятилетию литературной деятельности // Русская мысль. 1956. 15 мая.

2. Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) – поэт, прозаик, литературный критик. Участник Первой мировой войны. В эмиграции с 1920 г. (Турция), через два года обосновался во Франции. В 1925 г. основал «Союз молодых писателей и поэтов». Автор шести поэтических книг, мемуаров «Встречи» (1953), антологии русской зарубежной поэзии «Муза диаспоры» (1960), исследования по истории зороастризма «Маздеизм» (1968), эзотерической повести «Самсара» (1972, на франц. яз.). В 2014 г. повесть «Самсара» издана впервые на русском языке в Москве.

3. См. примеч. 2 и 3 к письму 12.

16. Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ – М. А. АЛДАНОВУ

*[Нач. ноября 1956]*

Дорогой Марк Александрович:

От своего имени и от имени моей Татьяны (Денисовны) и от избытка самых глубоких чувств уважения и братской любви приношу Вам поздравления и самые молитвенные благопожелания по случаю исполнившейся полной зрелости Вашего возраста<sup>1</sup> и завершения его коронной мудрости. Боюсь, что избыток моих чувств рискует здесь запутаться в словесном мудровании. Бывают чувства смущения и выливаются в неуклюжие слова. Очень Вы большой человек и писатель, чтобы для «малограмотного» (см. книгу Глеба Струве<sup>2</sup> «Русская литература в изгнании»<sup>3</sup>) – найти подходящие к сему случаю сентенции...

Но Вы знаете, я почитаю Вас не только за широкую эрудицию в вопросах истории, за мастерство изображения исторических фигур в Ваших романах, за объективность политических отображений и трезвую прохладность и тонкий анализ событий, Вами претворяемых в художественные образы, но и за ту филигранность Вашего стиля, который делает Ваши книги столь читабельными и который останется честным свидетельством для будущих поколений, ничего не имеющих лучшего для их суждения о прошлом и о настоящем.

Но все же, думаю, чувства свои выразил более конкретно путем поднесения букета цветов Вашей драгоценной спутнице Татьяне Марковне. Для чего и прилагаю маленький чек. Эти цветы, их аромат и краски да посвидетельствуют о моем и моей Татьяны теплых чув-

ствах к Вам обоим. А то, что это не перевод на один из французских банков, то, полагаю, его не трудно будет так или иначе разменять и реализовать. Сложная это волокита для столь малой суммы с банковским переводом.

Между прочим, как Вы видите по нашему адресу, мы нынче не поехали еще во Флориду, значит я в отставке и провожу здесь свое время, будучи занятым своим «Егоркой», которого мы сами в своей типографии медленно, но верно преодолеваем и в январе надеемся «Егорку» вывести в люди. (Набрано уже больше половины, и обнаруживается, что в книге будет около 400 страниц.)

Я теперь понимаю В. А. Александрову: санкционируя по книге Глеба Струве мою малограмотность и убогий мой символизм, она, конечно, не могла рисковать издавать и мою книгу. Но я все же уверен, что книга «Егоркина жизнь» удостоверит, что Глеб Струве и Чеховское издательство сами себя публично высекли. Ведь пропуская малограмотного автора в журналы и иностранные издания, и все мои редакторы, и переводчики, а среди них и коллектив из пяти редакторов «Современных записок», и академик Е. А. Ляцкий<sup>4</sup>, и Максим Горький, пустившие меня в лоно столичных журналов, оказываются автоматически вместе со мной тоже малограмотными. Я отомщен.

---

1. Письмо написано в связи с 70-летием М. А. Алданова (7 нояб. / 26 окт. 1886).

2. Струве Глеб Петрович (1898–1985) – русский поэт, переводчик, литературный критик, литературовед. В эмиграции – с 1919 г. (Англия). Жил в Праге, Берлине, Париже. Преподавал историю русской литературы в Лондонском ун-те (1932–47). Последний период жизни провел в США, профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского ун-та в Беркли. Литературоведческая деятельность посвящена развитию русской, советской литературы и русской литературы в эмиграции.

3. Гребенщиков упоминает о книге Г. П. Струве «Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956).

4. Ляцкий Евгений Александрович (1868–1942) – этнограф, историк литературы, издатель. В конце 1917 г. уехал в Финляндию и в Россию уже не вернулся, редактировал газ. «Северная жизнь». В 1920 г. в Швеции организовал изд-во «Северные огни». С октября 1921-го – проф. Карлова ун-та в Праге. Продолжил издательскую деятельность, возглавил изд-во «Пламя» (1923–26). Осуществил стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» (Прага, 1943).



17. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*20 ноября 1956*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

От души благодарю Вас и Татьяну Денисовну за столь любезное и лестное письмо, за поздравление, пожелания и милый подарок Татьяне Марковне. Мы оба очень тронуты. Вы догадываетесь, как я ценю отзыв большого писателя о моих книгах.

Из Вашего письма узнал, что Вы оставили профессию. Вероятно, из-за предельного возраста. Да, оба мы с Вами стары. Что ж, у Вас будет больше свободного времени для Вашей главной, то есть художественной, работы. Издателей в эмиграции больше нет, но вижу, что Вы «Егорку» набираете сами в своей типографии.

Я не читал книги Глеба Струве, мы с ним мало знакомы, и он мне своих работ не посылает, как и я не посылал ему моих. В Париже я от нескольких писателей слышал, что они чрезвычайно раздражены его книгой. Кажется, это общее мнение; видел я и резкую, в высшей степени резкую рецензию о нем Романа Гуля. Слышал, что обо мне тоже Струве написал неодобительно, хотя не знаю, что именно. Неужели он Вас назвал «малограмотным»?!! С годами я стал равнодушнее к брани, хотя вполне равнодушным стать не мог. Вероятно, и Вы в таком же положении. Я уверен, однако, что Вы совершенно напрасно ставите в связь с мнением Струве решение Чеховского издательства относительно Вашей книги. Насколько мне известно, Струве в этом издательстве, в частности у Александровой, авторитетом и влиянием не пользовался (это пишу Вам конфиденциально, тем более, что не уверен). У Вас с ними дело, верно, объяснялось внезапным сокращением их программы из-за надвигающегося безденежья. Лично я не мог на них пожаловаться: они с первого же дня создания издательства обещали меня печатать (я тогда был в Нью-Йорке) и печатали. Но Вреден еще незадолго до своей кончины сказал мне, что они берут и мой «Бред»<sup>1</sup>, а когда он умер и надвинулось безденежье (в которое он не верил), они отказались от этого романа, и он, верно, по-русски никогда не появится. Впервые в жизни и Вы, и я, и все мы остались без русских издателей! Просто не могу примириться с этой мыслью.

Еще раз сердечно благодарю. Шлю Вам самый искренний привет и лучшие пожелания.

Ваш М. Алданов

[Приписка к письму от 20 ноября 1956]

Дорогие Татьяна Денисовна, Георгий Дмитриевич.

Вы очень тронули меня Вашим подарком ко дню юбилея Марка

Александровича. Это было для меня полной неожиданностью, тем более ценю Ваше внимание.

Всего Вам хорошего, будьте здоровы – это главное. Сердечный привет.

Искренно Ваша,

Т. Алданова

---

1. Роман М. Алданова «Бред» публиковался в НЖ в 1954 г. (№ 38-39), в 1955 г. (№ 40-42) и в 1957 г. (№ 48).

#### 18. М. А. АЛДАНОВ – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*20 февраля 1957*

Дорогие Татьяна Денисовна, Георгий Дмитриевич.

Вы в свое время необыкновенно любезно поздравили меня с юбилеем и даже послали Татьяне Марковне подарок. Разумеется, мы оба немедленно Вам ответили в Чураевку по воздушной почте. После этого мы отправили Вам в дар в ту же Чураевку, но по обыкновенной почте заказным пакетом, книги с надписями. Сегодня эти книги к нам вернулись!! Прилагаю клочок моего конверта с пометкой почты. Помоему, я адрес написал совершенно правильно? Просто не знаю, как быть. Очень опасаясь, что тогда не пришло и письмо, которое мы оба Вам отправили. Вы могли бы в этом случае совершенно справедливо недоумевать и сердиться, хотя никакой нашей вины не было. Посылаю настоящее письмо по адресу Вашего университета в надежде, что оно дойдет, что Вам его перешлют.

Еще раз сердечно Вас обоих благодарим и шлем самый искренний привет и лучшие пожелания.

Ваш М. Алданов

#### 19. Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ – М. А. АЛДАНОВУ

*27 февр[аля] [19]57*

*Лэйкленд, Флорида*

Дорогой Марк Александрович:

Только что через наш колледж получил Ваше письмо от 20 февраля и даже удивился, что оно через штат Коннектикут и потом через досылку из колледжа мне на частную квартиру получилось всего через семь дней.

Нас очень тронуло Ваше и Татьяны Марковны внимание и посылка мне Ваших книг, да еще с надписью, но как печально, что они вернулись в Ниццу. Да, адрес Вами написан не совсем правильно. Чураевка – да, но в Чураевке нет почтового отделения, а почтовый адрес Southbury написан, действительно, как Coutbury. Поэтому книги и не дошли. Иначе у меня с этим Р.О.<sup>1</sup> договор о досылке и даже, на случай посылки, оставлены деньги. Но я надеюсь, если Вы будете так великодушны и еще раз пошлете по моему здешнему адресу, что в заголовке этого письма, то книги мы получим и будем ждать их с великим нетерпением. Конечно, расходы по двойной пересылке их разрешите мне оплатить.

А я как раз собирался Вам писать по поводу романа «Самоубийство»<sup>2</sup>, да, по правде сказать, написать так о Вашем общем творчестве, как недавно было доложено Г. Аронсоном<sup>3</sup> и П. Ершовым<sup>4</sup>, я просто не сумел бы, поэтому обеими руками подписываюсь под их широким и глубоким определением Вашей популярности и о значении, художественной и исторической, Ваших замечательных романов, о чем в свое время и я Вам писал. А роман Ваш, сейчас идущий в «Новом русском слове»<sup>5</sup>, мы читаем с захватывающим интересом и даже соримся из-за газеты, которая к нам всегда приходит с запозданием.

Я нахожу, что это очень мудро, что Вы дали эту вещь «Новому русскому слову». Газета эта имеет читателей буквально во всех странах и, несомненно, проникает и в современную Россию и делает Ваше имя еще более популярным и любимым. На меня лично благотворно действует общий тон Вашего стиля, его спокойная и в то же время уверенная объективность в описании исторических фигур. А безбоязненное, без оглядки влево, определение идеи самоубийства самой революции меня просто умиляет. Скажем проще, Вы уже наметили постепенное поедание друг другом захватчиками царской власти, лучшего не создавшими, но взявшими меч только для того, чтобы самим погибнуть и погубить миллионы невинного народа. И еще меня подкупает, что в Вашем определенном осуждении виновных Вы оказываетесь судьбою милостивым и справедливым. В этом видна правда наших официально применявшихся до революции судебных Уставов Царя Освободителя<sup>6</sup> и нашего воистину неподражаемого по неподкупности Суда Присяжных Заседателей, который в последнее время имел воспитательное значение и на народ, и на администрацию, в конце концов уж вовсе не такую полицейскую, как некоторые борзописцы из левых и до сих пор утверждают. Другими словами, я имею основание предвидеть, что Ваши труды будут иметь громадное значение в смысле гражданского воспитания в будущей, даже несвободной России.

Простите, чрезмерно заболтался.

Сердечнейший привет Вам и дорогой Татьяне Марковне от нас обоих.

Искренно Ваш,  
Георгий Гребенщиков

- 
1. Post Office (англ.) – почтовое отделение
  2. Роман М. А. Алданова «Самоубийство» печатался в НРС с 11 декабря 1956 г. по 2 мая 1957 г. (№ 15872-16014). Отдельным изданием вышел посмертно в 1958 г. с предисловием Георгия Адамовича (Издание Литературного фонда, Нью-Йорк).
  3. Аронсон Григорий Яковлевич (1887–1968) – публицист, общественный деятель; меньшевик. В эмиграции с 1922 г. (Рига, Берлин), затем – Франция, а с 1940 г. – США. Участник международного антикоммунистического движения. Обозреватель газ. НРС (1944–57).
  4. Ершов П., писатель второй волны эмиграции, литературный критик. В НЖ опубликовал повесть «Нинель» (1954, № 37-39), которую высоко оценил Алданов. Критические статьи Ершова посвящены творчеству Б. К. Зайцева.
  5. Имеется в виду роман Алданова «Самоубийство». См. прим. 2 к наст. письму.
  6. То есть Уставов Императора Александра II (Романова), правившего с 1855 по 1881 гг.

20. Т. М. АЛДАНОВА – Г. Д. и Т. Д. ГРЕБЕНЩИКОВЫМ

*8 марта [1957]*

Дорогие Татьяна Денисовна, Георгий Дмитриевич.

Спасибо вам за ваше милое сердечное письмо. Марк Александрович очень огорчился тем, что книги его до вас не дошли. Я еще не пробовала разобраться в его бумагах, он оставил распоряжение, чтобы все незаконченное сжечь. К сожалению, я совершенно не знаю, что он сделал с пакетом, который ему вернули. Если он его оставил в таком же виде, то его можно будет найти. Если же он книги вынул, то будет гораздо труднее, так как я не знаю, какие именно книги он вам посылал. Обещаю вам, что если я на них натолкнусь, я их вам тотчас же перешлю. Пока же позвольте вам вернуть ваш чек. Я ведь не знаю, придется ли мне их пересылать, а если да, то сделаю это с удовольствием.

Спасибо вам обоим за теплые слова, всего вам хорошего.

Искренно Ваша  
Т. Алданова

21. Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВ – Т. М. АЛДАНОВОЙ

*16 марта [19]57*

Дорогая Татьяна Марковна:

Мне было очень обидно, что Вы вернули мой маленький чек, посланный на пересылку книг, надписанных для меня Марком Александровичем. Это может значить, что Вам не удастся найти этих книг. Мне также не хотелось бы причинять Вам лишние хлопоты, но поймите меня – книги эти для меня больше, чем память покойного, но дар любимого мною писателя-собрата. Книги эти мы сами переплетем в кожу, и они сохранятся после нас, может быть, для тех, кто особенно в таких книгах нуждается. В конце своего письма к Марку Александровичу, напечатанного в «Новом Русском Слове» от 7 марта, я говорю о том, что романы Алданова должны быть помощью для будущих поколений России в смысле гражданского их воспитания. Сказал я это с твердым пониманием ответственности за то, что пишу. Поэтому я буду несказанно Вам признателен, если Вы потрудитесь найти эти книги и мне их все-таки переслать: до мая месяца сюда, во Флориду, а после мая – в Чураевку.

С искренним и неизменным уважением и преданностью от нас обоих, остаюсь.

22. Т. М. АЛДАНОВА – Г. Д. ГРЕБЕНЩИКОВУ

*21 марта [1957]*

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Я нашла две книги с автографами М[арка] А[лександровича], которые переслала Вам несколько дней тому назад по указанному Вами адресу. Не сердитесь, что я вернула Вам чек, это стоило гроши, и я рада, что Вы их получите.

Искренний сердечный привет Вашей жене и Вам.

Ваша Т. Алданова

*Публикация, предисловие и примечания – О. Б. Кудзоева*

# ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Мария Рубинс

## Литература Ар-деко\*

### ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

По воле истории русские парижане оказались в эпицентре модернистской культуры. Более молодые и ассимилированные из них не только с интересом следили за изменениями в эстетике, идеологии и философии, но и осваивали в своем творчестве западные художественные образцы, хотя такое отступничество от национального канона и вызывало критику со стороны представителей диаспоры, сосредоточенных исключительно на традициях русской литературы. «Человеческий документ» стал для «потерянного поколения» наиболее подходящим жанром для выражения его травматического опыта. «Незамеченное поколение», русская разновидность этой культурной мифологемы, создавало тексты в столь же безыскусном, исповедальном стиле, но привнося в них особую точку зрения, обусловленную опытом изгнания. Жанр человеческого документа особенно хорошо подходил для репрезентаций Парижа, поскольку позволял установить связь между постапокалиптическим сознанием и мрачными аспектами современного мегаполиса.

Однако катаклизмы начала XX века не только усилили экзистенциальные тенденции в европейской литературе и искусстве. Параллельно они породили вполне декадентскую эстетику, легкий декоративный стиль, дух гедонизма и культ безудержных развлечений. Литературе принадлежала немаловажная роль в формировании культурных кодов «эпохи джаза», главным стилистическим компонентом которой был стиль ар-деко. Многочисленные западные и русские тексты свидетельствуют о том, что авторы межвоенного периода живо откликнулись на современную им массовую культуру, художественные тренды, новые средства массовой информации и поведенческие модели. Новации в культуре, социальной среде и технике влекли за собой изменения традиционных представлений о писательском успехе, издательских приоритетах, а главное – природе, структуре

---

\*Главы из книги «Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма». Книга готовится к печати в издательстве НЛЮ (2017). Журнальный вариант.

и поэтике литературного нарратива. В большинстве произведений из этого корпуса новая перспектива способствовала изменению тональности и жанра: на место стилизованного человеческого документа пришли произведения, отличающиеся несомненной художественностью.

Понятие «ар-деко» в данном контексте не сводится только к стилю в прикладном искусстве, архитектуре, дизайне и моде «*les années folles*», который был представлен на Всемирной парижской выставке в 1925 году и назван тогда просто «современным стилем»<sup>1</sup>. Под ним понимается куда более всеобъемлющий социокультурный феномен межвоенных десятилетий, вобравший в себя самые разнообразные социальные практики, творческие, политические и идеологические предпочтения и оказавший влияние на образ жизни миллионов людей. <...> Быстро завоевав весь мир при посредстве кино, радио и джазовой музыки, ар-деко утвердился в качестве *lingua franca* межвоенного периода. Он предложил универсальный лексикон и новый механизм осмысления реальности, обращаясь ко всем нациям и расам, к мужчинам и женщинам, вбирая в себя элементы всевозможных местных традиций, творчески переосмысливая и популяризируя самые разнообразные течения в искусстве. Ар-деко, для которого в первую очередь характерна эклектичность, разрушал все границы: между высокой и низкой культурой, между разными видами искусств и сферами человеческой деятельности, между социальными и этническими группами, прошлым и будущим, архаикой, классикой и авангардом, традицией и новацией, публичной и частной жизнью, роскошью и массовым производством, эксцентричностью и функциональным минимализмом и даже – между разными политическими системами (доказательством чему служит постоянное «контрабандное» проникновение этого стиля в советское искусство<sup>2</sup>). Возникнув после беспрецедентной мировой войны, ар-деко сделался транснациональной жизнеутверждающей программой, которая провозглашала всеобщее примирение и предлагала беззаботную, урбанизированную, либидную культуру, основанную на гедонизме и потребительстве.

Как отметил в очерке «Отзвуки века джаза» (1931) Ф. Скотт Фицджеральд, новая цивилизация, возникшая на Западе после Первой мировой войны, устала от «великих идеалов», типичных для позитивистского дискурса предыдущего поколения, и «не испытывала решительно никакого интереса к политике»<sup>3</sup>. Война, равно как и теории Фрейда, обнажила иллюзорность и манипулятивность таких абстрактных понятий, как «патриотизм», «гуманизм», «прогресс», «долг», «смысл жизни» и даже «Бог». Стремление забыть об ужасах войны в условиях отсутствия подходящей идеологии, породило культ

роскоши и развлечений – и началась «настоящая оргия»<sup>4</sup>. Как пишет Модрис Экстейнс, «Людам все труднее было отвечать на фундаментальные вопросы о смысле бытия <...> и они все громогласнее настаивали на том, что смысл жизни заключен... в самом процессе жизни, в каждом ее мгновении. В результате в двадцатые годы гедонизм и нарциссизм достигли небывалых пропорций. <...> Стало принято потворствовать чувствам и инстинктам, а поведение, в большей степени, чем когда-либо, стал определять эгоизм... Прихоти и сумасбродства молодого поколения двадцатых годов были прежде всего следствием циничного отношения к условностям во всех их формах, а в особенности – к морализаторскому идеализму, который совсем недавно способствовал бойне под названием Западный фронт»<sup>5</sup>.

Путешествия и танцы стали главным выражением тяги к удовольствиям и постоянному перемещению в пространстве: в поисках «идеальной вечеринки» золотая молодежь раз за разом пересекала Атлантику под звуки фокстрота, танго или шимми, непрестанно звучащих на палубе океанских лайнеров. Скорость стала отличительной чертой 1920-х годов, воплотившись в вездесущих изображениях автомобилей, поездов и пароходов. Стиль ар-деко, как и футуризм, живо воспринял достижения технического прогресса и даже взял на вооружение язык инженеров: так, большую популярность приобрело слово «streamline», которое изначально использовалось в авто- и авиастроении для описания обтекаемой формы корпуса, за счет которой снижается сопротивление воздуха и повышается скорость. Аэропланы стали особенно выразительным символом современности после беспрецедентного одиночного перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан в мае 1927 года. В Париже Линдберга приветствовали как настоящего героя эпохи. Жозефина Бейкер, по свидетельству очевидцев, даже прервала свое выступление в Фоли-Бержер, чтобы сообщить зрителям эту потрясающую новость. Бравый американский авиатор заставил представителей своего поколения увидеть себя в более привлекательном свете:

«Один молодой миннесотец, казалось, решительно ничем не связанный со своим поколением, совершил поступок подлинно героический, и на какой-то миг посетители загородных клубов и подпольных кабаков позабыли наполнить рюмки и вернулись памятью к лучшим стремлениям своей юности. Может, и вправду полеты – это средство бежать от скуки, может, наша беспокойная кровь поугомонится, если мы окунемся в бескрайний воздушный океан? Да вот беда – к этому времени все мы уже очень глубоко вросли в ту жизнь, которой жили, и Век джаза не кончился...»<sup>6</sup>

Направление полета Линдберга еще раз подтвердило централь-



ное положение французской столицы на условной светской карте мира, связав гламурный облик Парижа с технологическими достижениями Нового Света. Соединив два самых динамичных мегаполиса, полет положил начало следующему этапу мировой интеграции, ибо доказал относительность географических расстояний и условность государственных границ.

Ар-деко не только пропагандировал приспособляемость и мобильность, но и сам был крайне динамичным стилем: он постоянно развивался, изменялся, приобретая местные черты<sup>7</sup>. Культуру ар-деко, имеющую сильную транслокальную окраску, трудно вообразить вне городского контекста. Космополитический мегаполис тех лет способствовал движению разнонаправленных потоков, циркуляции символов и идей, равно как и слиянию разнородных элементов. Городская среда ассоциировалась со скоростью, энергией, неоновой рекламой, электрическими огнями и эклектичными формами массовых развлечений (кинотеатры, джаз-клубы и мюзик-холлы). В архитектуре природные мотивы, завитки и асимметричные орнаменты, характерные для стиля модерн, сменились плоскими фасадами с симметрично расположенными декоративными элементами, в том числе монументальными барельефами, геометрическими объемами и «линиями, обозначающими движение, новую простоту, обновление»<sup>8</sup>. Принципы, воплотившиеся в архитектурных формах и отделке интерьеров, облегчали снятие барьеров между личностью и городом. Диагональные композиции, зигзаги, стилизованное изображение молнии (метафора энергии), зеркала, расположенные в строго определенных местах, задавали направление и человеку, и его взгляду, приглашая двигаться в динамичном ритме мегаполиса. На портретах этого периода фигуры вписаны в абстрактный городской пейзаж, они часто изображены в обрамлении геометрических форм.

Экспансия ар-деко преобразила и частную сферу: мебель, лампы, посуду и даже узор кафеля или паркета оформляли по тем же визуальным принципам. Под декоративностью и беззаботным лоском ар-деко, на первый взгляд, лишённого каких бы то ни было идеологических составляющих, скрывался эстетический механизм программирования вкусов, социальных практик и быта. С особым напором в частную жизнь вторгались радиоприемники, которые стремительно обживались в кухнях и спальнях, обеспечивая новую форму общественной мобилизации. В определенном смысле, эти приборы и аксессуары стали откликом на теорию бихейвиоризма, получившую широкое распространение в начале XX века. В отличие от других течений в психологии, которые делали упор на внутреннем мире человека, бихейвиоризм предлагал метод управления движениями



**Барельеф на фасаде театра Елисейских полей**

разума и души через внешние воздействия и целенаправленное изменение окружающей среды.

На пике увлечения ар-деко некоторые художники начали выражать озабоченность по поводу потенциальных угроз урбанизации. Теа фон Харбоу выпустила роман-антиутопию «Мегаполис» (1925), в котором действие происходит в 2026 году, описана высокоразвитая цивилизация и ее губительное влияние на человеческую личность. Экранизация Фрица Ланга, появившаяся год спустя, пронизана стилистикой ар-деко: так в фильме имплицитно устанавливается связь между модным современным направлением и дегуманизированным урбанизмом грядущего.

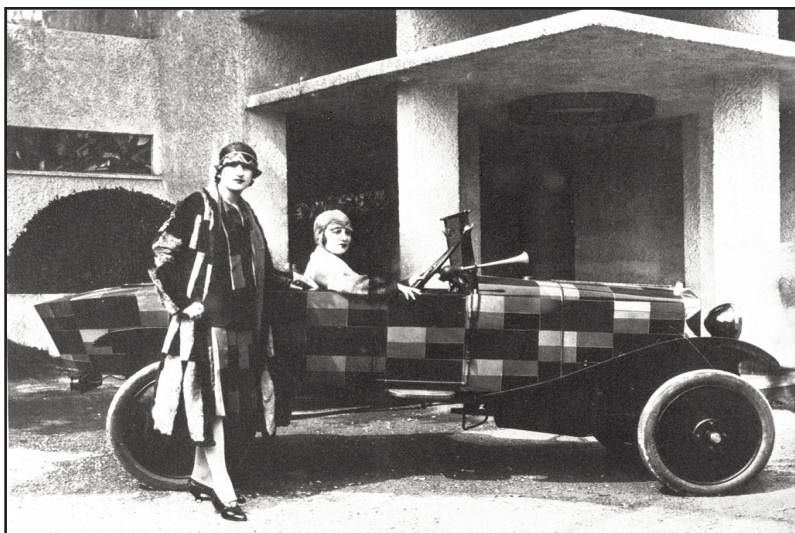
Помимо устремленности в будущее, ар-деко стер хронологические границы, заново дав жизнь целому ряду стилей прошлого и включив их в свою эклектическую систему. Например, очень характерный для него мотив солнечных лучей был позаимствован из древнеегипетского искусства – оно вошло в моду после обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году. Наряду с другими экзотическими элементами, почерпнутыми из азиатской, африканской и индейской традиций, египетская эстетика была приспособлена для нужд современности. Так, лучи восходящего солнца стали ассоциироваться с оптимистическим мировосприятием и приобрели созвучность философии *sağre diem*, которую насаждала культура ар-деко. Кроме того, в 1920-е годы возродился интерес к античности, классической сдержанности и

гармонии. В этих тенденциях отразилась альтернативная модель эскапизма, получившая известность как «призыв к порядку» после непрерывной, расточительной и бессмысленной оргии, диагностированной автором «Великого Гэтсби».

Этнические, археологические и неоклассические компоненты сочетались с использованием передовых строительных материалов: бетона, стали, стекла. Наиболее известные здания 1920–1930-х годов служат иллюстрациями впечатляющей многоликости эстетики ар-деко: от самого раннего образца (Театр на Елисейских Полях), Крайслер-билдинга и Эмпайр-Стейт-билдинга в Манхэттене и блочных построек Ле Корбюзье до роскошных дворцов Порт-Доре (возведенного для Колониальной выставки 1931 года) и Шайо на площади Трокадеро (построенного для Международной выставки 1937 года). В живописи, как и в архитектуре и скульптуре, тяжелые монументальные формы сочетались с подчеркнутой декоративностью. Преобладали яркие, контрастные, чистые цвета. Художники, в чьем творчестве эстетика ар-деко выразилась с особой полнотой, такие как Тамара де Лемпицка, Мари Лорансен, Соня Делоне, Эрте (Роман Тыртов), Кес Ван Донген и Моис Кислинг, часто выбирали в качестве моделей эмансипированных светских модниц. Такие портреты вносили свой вклад в формирование визуального канона женской эмансипации: короткая стрижка, яркий макияж, а иногда и стилизованный «мужской» гардероб (включавший в себя брюки, костюмы, жилетки, смокинги, галстуки-бабочки и цилиндры). Женский силуэт приобрел андрогинные черты. Пышные формы больше не являлись идеалом женской красоты; на смену декольте пришла оголенная спина, а корсеты стали архаизмом.

«[О]круглости были отвергнуты в пользу прямых линий. <...> Женщины освободились от платьев с высоким горлом и длинных юбок; на их место пришли «веселые лохмотья» и «мальчишеский облик». Впервые за всю историю грудь стали воспринимать как недостаток, и задачей лифа стало уплощение, а не подчеркивание. Естественная линия талии была отменена, пояс спустился на бедра. Поскольку малейший намек на округлые формы считался теперь признаком невоздержанности в еде, в моду вошли диеты»<sup>9</sup>.

Женщина «золотых двадцатых» (как эпоху джаза иногда называли по аналогии с немецким определением *Goldene Zwanziger Jahre*) получила прозвание гарсонн (*garçonne*), или женщина-мальчик, за амбивалентную внешность и поведение. Она увлекалась спортом, плаванием, загаром, беззастенчиво обнажая свое тело на публике. Чтобы подчеркнуть эту страсть к физической культуре, на картинах женским фигурам часто придавали геометрические формы. Ар-деко



**Соня Делонэ на фоне «Ситроена-Б12»**

внешне был лишен каких бы то ни было духовных исканий и пропитан культом телесности и здоровья (необходимого хотя бы для того, чтобы выдержать танцевальный марафон, длившийся всю ночь напролет, и иные утомительные развлечения). Свою свободу гарсонн подчеркивала не только короткой стрижкой, одеждой, курением, занятиями спортом и вождением автомобиля, но и тем, что в обществе появлялась без мужского сопровождения, нарушая привычный этикет. Художники часто изображали женщин, сидящих в одиночестве за столиком в ресторане или баре, с пачкой сигарет и бутылкой шампанского. И это вовсе не дамы легкого поведения, поджидающие клиентов, и не любительницы абсента, вззирающие на нас с картин рубежа веков. Перед нами независимые образованные женщины, которые не нуждаются в мужском покровительстве. Характерный протофеминистский портрет такого типа, «Журналистка», принадлежит кисти художника Христиана Шада, представителя движения «Новая вещьественность» (Neue Sachlichkeit) – немецкого варианта ар-деко. Вместо кавалера гарсонн иногда сопровождала в ночные клубы борзая (эта порода вошла в моду, поскольку удлиненный силуэт собаки напоминал очертания женского тела – сходство это запечатлено на картинах Лорансен).

Радикальное отступление гарсонн от традиционных гендерных ролей вписывалось в общий контекст 1920-х годов, отмеченных снятием многочисленных табу<sup>10</sup>. В 1924 году Гюстав Бейриа и Гастон Лестрад основали первый французский журнал для гомосексуали-

стов<sup>11</sup>. Самый популярный ночной гей-клуб, запечатленный на фотографиях Брассая, на которых целуются или танцуют однополые парочки, находился на холме Сент-Женевьев, в сердце Латинского квартала. Лесбиянки, в свою очередь, были завсегдатаями кафе «Монокль» на бульваре Эдгар Кине. Многие парижские знаменитости откровенно демонстрировали свою сексуальную ориентацию; среди них были художницы Лорансен, Лемпицка, Сюзи Солидор и хозяйки модных левобережных салонов – Гертруда Стайн и Натали Барней. Вскоре к этим щекотливым темам обратился и кинематограф. В фильме Йозефа фон Штернберга «Марокко» (1931) Марлен Дитрих, облаченная во фрак и цилиндр, играет певицу из ночного клуба, которая внезапно прерывает свое выступление и целует в губы одну из посетительниц. Лесбийские мотивы использованы в фильмах «Ящик Пандоры» (1929) Георга Вильгельма Пабста и «Девушки в униформе» (1931) Леонтины Заган.

Будучи самым передовым искусством той эпохи, кино во многом определило культуру 1920-х годов, отчетливо выразив ее основные эстетические и социальные параметры. Немые фильмы, снятые в оформленных по последней моде интерьерах, сопровождавшиеся джазовой музыкой и пропитанные мелодраmatизмом, гламуром и эротикой, стали основным средством превращения ар-деко в мировой тренд. Язык кино, в свою очередь, оказывал влияние на иные сферы. Картины, рекламные объявления и плакаты часто компоновались, как кинокадры<sup>12</sup>. Зеркальные поверхности, неотъемлемый элемент внутреннего дизайна, воспринимались как подобие киноэкрана.

На литературу межвоенного периода новые эстетические принципы, подхваченные и растиражированные кино, влияли не меньше, чем на другие виды искусства. Однако литература не только впитывала ритмы «эпохи джаза», но и подвергала ее этос критической, а зачастую и иронической рефлексии. <...>

### КИНЕМАТОГРАФИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Тенденции, сформировавшие эстетический контекст межвоенного периода, высветили условность дихотомического подхода к культуре как «высокой» или «низкой», бросив вызов тем художникам, которые по-прежнему относились к своему ремеслу, как к священнодействию. Пожалуй, из всех искусств именно литература оказалась наиболее уязвимой к неуклонному ускорению темпа жизни, ненасытной тяге к развлечениям, прославлению материальности бытия и витальности человеческого тела. Эти тенденции неизбежно вели к снижению интереса читателя к интроспекции и духовным исканиям.

В мире безудержного потребления, где художник постепенно утрачивал автономность и делался все более зависимым от вкусов, программируемых коммерческой средой, многие задавались вопросом: а возможно ли вообще оригинальное творчество? Новые способы тиражирования художественных произведений способствовали расцвету массовой культуры, которая стремительно лишала искусство его былого ореола. В своей программной статье Вальтер Беньямин заявил: главное, что «гибнет в эпоху технической воспроизводимости, – это аура произведения искусства»<sup>13</sup>. К угасанию этой ауры и утрате подлинности приводит растущая роль масс как потребителей творческой продукции, их стремление сделать ее легко доступной, «приблизить в пространственном и человеческом смысле, причем стремление это столь же сильно, как и их готовность удовольствоваться эрзацем и тем самым лишить любую реальность ее уникальности». «Аура» в понимании Беньямина предполагает запрет на то, чтобы слишком сильно приближаться к «сакральному предмету». Ощущение пространственной и временной дистанции между зрителем и произведением искусства наделяет последнее определенными мистическими свойствами, «инакостью», оригинальностью, включает его в «ткань традиции»<sup>14</sup>. Указывая на амбивалентное отношение Беньямина к революционным переменам в современной ему эстетике, Стивен Николс пишет, что ауру можно «трактовать как квинтэссенцию того, что обычно понимается под ‘высокой культурой’: комплекс аутентичности, элитную форму искусства, доступную только посвященным, причем через внутреннее усилие»<sup>15</sup>. Другие европейские литераторы куда более прямолинейно выражали свою ностальгию по «высокой культуре» как форме инициации. Один из лейтмотивов «Степного волка» Германа Гессе – это душевная смута рафинированного эстета, созерцающего растиражированные, лишённые уникального предметы искусства. Главный герой романа Гарри Галлер сначала отвергает все современное, а затем опасливо начинает осваивать граммафон, кинематограф и даже танцы.

Поскольку само существование кино зависело от технологии копирования, оно, казалось, наилучшим образом воплощало дух эпохи и стремительно оставляло позади все другие формы массовых развлечений. Многие писатели придерживались мнения, что культ кинематографа грозит вовсе лишить письменную культуру какой-либо значимости. Естественным образом взаимоотношения между кинематографом и литературой стали предметом ожесточенных споров в писательской среде. В большинстве ведущих французских литературных журналов появилась постоянная рубрика, посвященная кинокритике, где периодически помещали интервью с писателями,

рассуждавшими о влиянии кино на их творчество. В целом ряде выпусков газеты «Ордр» в разделе «Роман и кино» публиковались ответы известных авторов, в том числе братьев Таро, Марселя Арлана и Поля Валери, на вопрос, сформулированный Рене Гроосом: «По вашему мнению, влияет ли кинематограф на роман? И как именно?» Ирен Немировски, в частности, заметила с изрядной долей оптимизма: «...это влияние будет положительным и плодотворным в силу своей новизны... как и все прочее, литература нуждается в обновлении во имя собственного выживания»<sup>16</sup>.

В русскоязычной прессе споры о роли кинематографа быстро перешли в полемику о том, следует ли считать кино искусством, антиискусством или явлением, вообще не подпадающим под эстетические критерии. Павел Муратов однозначно заявил, что эта развлекательная форма создана для людей без воображения, а «привычка к кинематографу убивает привычку к театру, картине и книге»<sup>17</sup>. Ходасевич обвинял кино в тривиальности тем и приемов, специально рассчитанных на то, чтобы зрителю не нужно было прилагать никаких умственных или душевных усилий (С. 354). Александр Кизеветтер связывал триумф кинематографа с изменениями в человеческой психике, произошедшими в последнее время: современного зрителя восхищают внешние события, он не склонен погружаться в изучение внутренних переживаний персонажа. Личность как таковая не вызывает любопытства и рассматривается как «простой винтик в жизненном механизме» (С. 351). Петр Пильский считал, что кино не может вызвать у зрителя эмоционального отклика: он реагирует только на ловко поставленные трюки и остается холоден. По мнению Пильского, кинематография как эстетическая сила – разрушительна, а романы, на основании которых снимают фильмы, «кинематографически прости-туированы» (С. 352). По мнению Антона Крайнего (З. Гиппиус), поскольку сюжеты всех фильмов принадлежат к одному и тому же, обусловленному коммерческими соображениями, типу, кинозрителю вовсе не обязательно обладать воображением, а предсказуемость счастливого конца не дает ему испытать страх или надежду. Крайний язвительно заключает: «Очень вероятно, что число зрителей в синема будет все увеличиваться, то есть увеличиваться количество людей без воображения, страха и надежд; зачем активное участие в жизни? Зачем книга, мысль, сцена? Да и звук уже почти не нужен, не говоря о звуке слова» (С. 358). В духе русской традиции литературоцентризма Юлий Айхенвальд утверждает, что кинематограф «отучает от чтения. Он отнял у словесников слово и вынул из литературы ее душу» (С. 359).

Оппоненты хулителей кинематографа отвергали эти нападки, видя в них проявление снобизма. Соглашаясь с тем, что при про-

смотре фильма действительно нет нужды задействовать воображение, Евгений Зноско-Боровский, тем не менее, находит, что это даже к лучшему: «[К]инематограф, который все показывает, является именно таким искусством, которое наиболее доступно современному человеку. Печально ли это? Нет. Особенно потому, что кинематограф освобождает работу чистой мысли зрителя. Воображение его утлено, все ему показано, но сказано ему очень мало. И потому мысль человека начинает свою работу умозаключений» (С. 361). Соответственно, этот вид искусства является наименее тенденциозным, и Зноско-Боровский даже предрекает появление в будущем философского кино. К когорте киноэнтузиастов примкнули также Андрей Левинсон, Сергей Волконский, Михаил Каракаш, Михаил Кантор и Николай Бахтин.

Писатели русского Монпарнаса были слишком молоды, чтобы принять участие в этой полемике, однако несколько позднее, уже консолидировавшись в единое литературное поколение, они стали проявлять живой интерес к кинематографу. Впрочем, к этому времени, в связи с появлением звука, кино полностью преобразилось. Звучащая речь должна была, по сути, снять некоторые претензии тех противников кино, которых не устраивала бессловесность экранного действия, – многие критики даже рассуждали о том, что звуковое кино нельзя рассматривать как полноправного преемника немого. Примечательно, что в одном из первых номеров журнала «Числа» была опубликована статья французского кинокритика Роже Режана, в которой он называет звуковые и немые фильмы двумя разными видами искусства и безапелляционно утверждает, что только последние можно с полным правом назвать «кинематографом». Далее Режан заявляет, что кино есть искусство образов и что суть его состоит в «молчаливом выражении (а не в немом) состояний души и природы». И наоборот, если для объяснения психологического состояния используется текст, кинематограф перестает существовать<sup>18</sup>.

Широкое распространение в литературной среде полемик, рецензий и анкет, связанных с кинематографом, свидетельствует об изменении в 1920-х годах статуса словесности. Вопрос о том, является ли литература самодостаточной и «высшей» формой художественного творчества, которую никак не должны затрагивать перемены в области массовой культуры, или же, напротив, она должна заимствовать многочисленные новые приемы из области кино, был, по сути, очередной вариацией извечной дилеммы *ut pictura poesis*. Соперничество между Словом и Образом существовало со времен античности, и в каждый конкретный период иерархия искусств формировалась под влиянием наиболее авторитетных мнений по этому



вопросу<sup>19</sup>. В межвоенные десятилетия сложилось впечатление, что кинематограф становится приоритетной формой творчества, порождая эстетику, основанную на визуальности, ускоренном темпе, стилизации и преувеличенной экспрессии.

Стирание границ между кинематографом и литературой привело к появлению многочисленных гибридных жанров. Сюрреалисты с энтузиазмом отнеслись к новым культурным доминантам и пустились в экспериментирование с жанром «кинематографического стихотворения» (poème cinématographique). Перелагая экранную мелодраму языком авангардной поэзии в «Мистическом Чарли» (1918), Луи Арагон с восторгом приветствует Чарли Чаплина как провозвестника идей современности, а экран – как еще один канал для проникновения в загадочную «сверхреальность». Этот подход резко контрастирует с неприятием кино как «низменного» развлечения, которое звучит в стихах более традиционных поэтов. Например, Ходасевич в «Балладе» (1925) указывает на непреодолимую пропасть между каноническим представлением о поэте-пророке, беседующем с ангелами, и дешевыми трюками комедианта, предназначенными для развлечения «нищих духом»:

Мне невозможно быть собой,  
Мне хочется сойти с ума,  
Когда с беременной женой  
Идет безрукий в синема.

Мне лиру ангел подает,  
Мне мир прозрачен, как стекло,  
А он сейчас разинет рот  
Пред идиотствами Шарло.<sup>20</sup>

Впрочем, в конце стихотворения лирический герой признаёт, что смирение и неприхотливость этого любителя американских комедий приведет его в конце концов в «царствие небесное», в то время как сам он будет гореть в аду, расплачиваясь «за жизнь надменную свою» и за свой культурный снобизм. Кинематографическая аллюзия, равно как и несостоявшийся диалог между поэтом и «безруким» кинозрителем, служит в этом стихотворении грустной констатацией того факта, что в современную эпоху поэты-пророки, преданные служению искусству и пытающиеся напоминать человеку о его высоком предназначении, обречены на поражение.

Поскольку роман находился в кризисе, а отношения между литературой и кинематографом становились все более амбивалент-

ными, прозаики, наиболее склонные к смелым экспериментам, начали потакать вкусам массового книжного рынка и работать в новом популярном жанре «киноромана», создаваемом по американскому образцу. Пионером этого жанра стал Гарольд Макграт – автор многих экранизированных романов и нескольких оригинальных сценариев. В 1913 году он преуспел в двух жанрах одновременно, выпустив книгу, основанную на его же сценарии к тринадцатисерийному фильму «Приключения Катлин». Во Франции особенно активно перекрестному опылению литературы и кинематографа способствовало издательство «Сирен», которое тем самым положило начало современной книжной концепции<sup>21</sup>. Писатели все охотнее создавали сценарии или романы в стиле кинопьесы, чтобы обратить на себя внимание какого-нибудь режиссера. Формула успеха основывалась на широко распространенном убеждении, что высочайшую оценку литературный текст получает только тогда, когда становится основой для киносценария.

\* \* \*

В надежде на экранизацию своих произведений или же просто для того, чтобы подчеркнуть новаторский характер своего письма, авторы часто прибегали к кинематографической поэтике. Типичная проза ар-деко по преимуществу построена на диалоге и обладает подчеркнутой визуальностью – для этого применяются приемы, позаимствованные из немого кино, в том числе выразительные жесты и преувеличенная мимика вместо психологического анализа. Проникновение во внутренний мир персонажей зачастую заменяется крупным планом отдельных внешних деталей. Эти детали, которые Мишель Колломб называет «фильтрами», остраивающими и дистанцирующими объект описания и подчеркивающими искусственность словесного творчества, достигают эффекта, противоположного эффекту от традиционного литературного портрета<sup>22</sup>.

Говоря о своем цикле рассказов «Звуковые фильмы» (1934), Ирен Немировски подчеркивает, что для нее кинематографическая техника сводится к минимальному развитию и сжатому сюжету<sup>23</sup>. Видя, что общий темп жизни ускоряется, писатели предпочитали писать короткие романы, напоминающие киносценарии, обходясь без длинных придаточных предложений, сокращая пространные описания и пользуясь телеграфным стилем. Романы, как правило, делились на краткие главки; эта гиперфрагментация, наряду с рублеными, обрывочными фразами, задавала синкопированный ритм, который ассоциировался с джазовыми мелодиями. Примером доведения этого приема до крайности может служить мини-глава из романа Блеза Сандрара «Золото:

удивительная история генерала Иоганна Августа Сутера» (1925)<sup>24</sup>. Этот текст, напоминая дадаистское стихотворение, передает сумбур американской «золотой лихорадки» – которая, по мнению автора, была предтечей лихорадочной деловой активности «золотых двадцатых»:

Греза. Покой. Отдых.

Тишина.

Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет: ЗОЛОТО!

Золото.

Лихорадка.

Золотая лихорадка, охватившая мир.

Великая лихорадка 1848, 49, 50, 51, которая продлится пятнадцать лет.

САН-ФРАНЦИСКО!

Основным стилистическим маркером сделался эллипс: из обычного глифа он превратился в риторическую фигуру, призывавшую читателя самостоятельно по ходу чтения додумать опущенные подробности и тем самым еще стремительнее подталкивая повествование к драматической развязке. Многие авторы отдавали предпочтение глаголам в настоящем времени, что характерно для киносценариев и порождает иллюзию сиюминутности происходящего. Типичный нарратив в стиле ар-деко создавался по законам фотографического мимесиса, как будто перед нами – серия снимков, подобранных не по какому-либо определенному принципу, а с единственной целью: остановить мимолетное мгновение изменчивой жизни, запечатлеть разнообразие мира. Как фотограф находится в постоянном поиске следующего кадра, так и нарратор, повествующий в быстром темпе, не тратит время на детальные описания. Возникающая в результате картина реальности предсказуемо бессвязна и напоминает киномонтаж. Случайные явления оказываются рядом исключительно по аналогии или произвольной ассоциации, а их внезапное столкновение усиливает экспрессию текста. По сути, основная драма в любом произведении, построенном на принципе монтажа, разворачивается именно на стыке, где соприкасаются два разнородных явления. Возникающий в результате диссонанс структурирует и стимулирует сознание читателя, запуская в нем процесс активной интерпретации. Техника монтажа также предполагает разнообразие ракурсов, чередование крупных и панорамных планов, а также смещение временных плоскостей – время сжимается из-за преднамеренного нарушения линейной последовательности. Паратакисис становится синтаксиче-

ским выражением общей раздробленности бытия, внося свой вклад в «коктейльную» эстетику.

Другим литературным проявлением ускоренного темпа стало отсутствие контекстуализации и уточняющих подробностей. В литературе ар-деко преобладают редуцирующие формулы и стереотипы, нивелирующие национальные или этнические нюансы. В «Золоте» Сандрара свирепые «краснокожие» вечно следуют «по тропе войны». Банкира из «Давида Гольдера» Немировски наделяет «огромным крючковатым носом, как у еврея-ростовщика»<sup>25</sup>, а его делового партнера – «тяжелыми сонными глазами восточного человека»<sup>26</sup>. В после-революционные годы европейцы проявляли повышенный интерес к русским, и в различных текстах вновь и вновь всплывает все тот же набор стереотипов. По мнению героя повести Дриё ла Рошеля «Молодой европеец» (1927), русские – «красивые дикари, которые всему подражают неправильно, как негры»<sup>27</sup>. А в «Милой Франции» (1934) Морана русский кинорежиссер по фамилии Татарин клянется своей честью «с тем ясным взором, на какой способны только русские, когда лгут»<sup>28</sup>. Эти однозначные, поверхностные характеристики порождали гротескных, нелепых персонажей, заполонивших массовую литературу того периода: каждый из них обладает особым колоритным признаком, считавшимся неизменным маркером той или иной этнической группы. Во французских литературных текстах все чаще звучало слово «раса», которое толковалось весьма вольно, – и это свидетельствовало о постепенном нарастании расистских и антисемитских настроений.

Кульτ скорости, характерный для «эпохи джаза», также нашел выражение на дискурсивном уровне. Так, нарратор отзывается о герое «Льюиса и Ирен»: «как и все в те времена, он и его нервы были жертвами духа скорости»<sup>29</sup>. Героиня ранних комических скетчей Немировски, Нонош, – выскочка, мечтающая стать звездой музыкального реву, говорит о себе как о представительнице послевоенного поколения: «Что до меня, я послевоенной выделки, здесь все быстро, мы все спешим»<sup>30</sup>. Ей хмуро вторит герой Дриё ла Рошеля: «Скорость – наша молитва»<sup>31</sup>.

## БИЗНЕС И ФИТНЕС:

### ПОПУЛЯРНЫЕ ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ АР-ДЕКО

Одним из самых популярных жанров межвоенной литературы стал роман о спорте<sup>32</sup> – он оказался особенно созвучен настроению тогдашних читателей и отражал динамичность их образа жизни. Спортивная тема облегчала внедрение принципов прогресса и рациональности в сферу физиологии, а атлетизм стал символом передовой

техники. И в литературе, и в изобразительном искусстве телам атлетов, как и механизмам, часто придавали геометрические формы, а их выверенные, ритмичные движения уподоблялись работе двигателя. Поплавский (под псевдонимом Аполлон Безобразов) писал, что стремительные движения профессиональных боксеров превосходят скорость кинокамеры<sup>33</sup>, – высочайший комплимент в эпоху технического прогресса. Даже если спортивные достижения и не были в центре повествования, в текстах романов часто фигурировали упоминания об активном образе жизни персонажей, описания соревнований, автомобильных гонок, восхваление силы, ловкости и мужественности<sup>34</sup>. Тотальное увлечение спортом пародируется в романе Клемана Вотеля «Мадам не хочет иметь детей» (1924), задуманном как сатира на систему представлений той эпохи: один из персонажей устраивает в своей квартире спортзал, регулярно тренируется до изнеможения, а людей классифицирует только с точки зрения их мускулатуры.

Огромную популярность приобрел и еще один жанр – «роман о бизнесе», или «роман о деньгах» (*roman d'argent*), в котором рассказывается о финансовых спекуляциях. Этот жанр отвечал вкусам широкой публики, зачарованной сенсационными сделками, масштабными финансовыми аферами, мгновенно зарабатываемыми и столь же быстро утрачиваемыми миллионами, рассказы о которых время от времени попадали на страницы газет. Для этих произведений характерны резкие повороты фортуны, а также описания скоростных путешествий и роскошного образа жизни героев: ни бюрократические препоны на государственных границах, ни закрытость определенных политических режимов не останавливают этих авантюристов в их неустанной погоне за богатством и, пожалуй, в еще большей степени – за азартно рискованной сделкой (по словам героя Морана, «Бизнес сам по себе является развлечением. Неважно, чем торговать, – морскими ракушками, купюрами, выпущенными Банком Англии, или упавшими в цене акциями. Мы приходим в этот мир, чтобы играть»<sup>35</sup>).

В одном из своих последних романов, «Осенние костры» (1941–1942), Немировски воспроизводит топысы «романа о спекуляциях», чтобы подвергнуть критике ложные ценности, расцветшие в межвоенный период. Она показывает, как дух материализма, роскоши и гедонизма, который культивировался после лишений Первой мировой, в итоге привел к поражению Франции двадцать лет спустя. «Золотые двадцатые» она рассматривает как связующее звено между двумя губительными войнами, в определенном смысле следуя историографической логике Толстого и обращаясь к прошлому для объяснения настоящего. Впрочем, в анализе причин и следствий гло-

бальных событий Немировски избегает философских отступлений, продолжая в целом писать в динамичной манере ар-деко. Вместо этого она пропускает свое историческое видение надвигающейся катастрофы через судьбу главного героя, Бернара, который олицетворяет межвоенное поколение.

В 1914 году Бернар охотно отправляется на фронт, находясь под влиянием романтических представлений о долге и славе (Немировски включает в текст несколько прозрачных отсылок к размышлениям князя Андрея под Аустерлицем). На фронте он быстро осознает абсурдность и бесчеловечность войны и лживость патриотической риторики, а по возвращении разделяет со сверстниками тоску по загубленной юности и циничное стремление компенсировать утраты всеми доступными средствами. Вскоре его втягивают в преступную бизнес-аферу – поставку бракованных американских запчастей для французских самолетов. В итоге Бернар теряет не только все инвестиции, но и сына, – тот погибает в самом начале Второй мировой, совершая испытательный полет на самолете, укомплектованном неисправными деталями. Размышляя о своей трагедии, Бернар осознает всю тяжесть вины своего поколения в трагическом поражении Франции в 1940 году. Через внутренний монолог своего героя Немировски дает безжалостную оценку всему историческому циклу:

«Какая битва? – подумал Бернар, – она отшумела и была проиграна. И случилось это не вчера и даже – хотя многие в это верят – не когда немцы вошли в Бельгию. Битва за Францию была проиграна двадцать лет назад. Когда в 1919 году мы вернулись с войны и решили повеселиться, чтобы забыть четыре окопных года, когда мы соблазнились легкими деньгами, когда целый класс общества думал и говорил: ‘Я! И вообще, мне на все наплевать, пока в кармане водятся деньжата’. И я так думал. Я это говорил, я в это верил, как и все. Я, я, я...»<sup>36</sup>

#### (АНТИ)ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ:

##### ЕВРЕИ, ГРЕКИ И ИНЫЕ «БЕЗРОДНЫЕ КОСМОПОЛИТЫ»

Большинство героев популярных «романов о бизнесе» изображались как честолюбивые выскочки сомнительного происхождения, этнические гибриды с примесью еврейской крови, часто выходцы из Восточной Европы. Это соответствовало типажу напористого, агрессивного чужака, который нарушает освященное временем благолепие западного делового мира<sup>37</sup>. Его падение столь же внезапно, как и его взлет из полной безвестности на олигархический Олимп, и поэтому когда в 1934 году разразился скандал вокруг Стависского<sup>38</sup>, француз-

ская публика увидела в этом подтверждение стереотипов, давно уже транслируемых культурой того времени. В середине 1930-х целый ряд французских писателей, в том числе братья Торо и Моран, начали все откровеннее обыгрывать в своих текстах антисемитские настроения. Так, согласно Морану, французская киноиндустрия была напичкана «кишащей дрянью» (*gascaille qui gouille*) – «пиратами, как натурализованными, так и нет, которые выкарабкались из мрака Центральной Европы и Леванта к огням Елисейских Полей»<sup>39</sup>.

Наряду с евреями, в роли корыстных и честолюбивых «героев» этого времени порой выступали греки. В массовой культуре Греция перестала восприниматься как колыбель европейской цивилизации и изображалась как отчетливо неевропейский, левантийский мир. Тактика ведения бизнеса, деловая этика и внешность некоторых персонажей-греков мало чем отличались от стереотипного образа еврея – это свидетельствует о том, что греков вводили в повествование исключительно как эвфемизм. Это отчетливо видно в романе Немировски «Властитель душ» (1939)<sup>40</sup>. Дарио Асфар, иностранный доктор-шарлатан, богатство и роскошная жизнь которого построены на нравственной и профессиональной нечистоплотности, прекрасно встраивается в созданную писательницей галерею корыстных евреев, наряду с Давидом Гольдером и Беном Синнером (персонажем романа «Собаки и волки»). Однако после неоднократных обвинений в злоупотреблении антисемитскими клише, а также сознавая радикализирующее влияние расистской риторики на французское общество (особенно пропаганды, направленной против иностранных врачей<sup>41</sup>), писательница в более зрелых своих произведениях сознательно приглушала антиеврейские мотивы и, сохранив общий подход, стала приписывать те же негативные свойства людям, внешне не имеющим отношения к еврею. Прежде чем остановиться на ближневосточной фамилии Асфар<sup>42</sup>, Немировски думала назвать своего героя Пападопулос. В итоге Дарио Асфар, уроженец Одессы, «низкорослый левантиец» с «тревожным, голодным волчьим взглядом»<sup>43</sup>, оказался наделен итальянской и греческой кровью. Первая его фраза («Мне нужны деньги!»), которой и открывается роман, четко определяет жанр «Властителя душ» как «романа о деньгах» (при этом в нем слышатся отзвуки отрывистых зачинов и финалов других произведений той эпохи, в том числе последней строки «Золота» Сандрара: «Кто хочет золота?»).

Сделать своего героя отчасти греком Немировски было нетрудно, поскольку стереотипами, связанными с этой национальностью, межвоенная французская литература была почти так же богата, как и антисемитскими. Моран в «Льюисе и Ирен», например, создал целую

галерею живописных морально нечистоплотных греков, от «старого паразита» Гектора Лазаридеса, который оказывает друзьям «небольшие услуги» (шпионит за их женами) в обмен на бесплатное жилье, до Апостолатосов, семейства влиятельных международных банкиров, скрывающих под маской респектабельных европейских финансистов облик «завистливых, неводержанных, диких восточных людей»<sup>44</sup>. Английское отделение банка Апостолатосов Моран помещает на Олд-Джури-стрит (Старой Еврейской улице), – это исторический центр финансовой жизни лондонского Сити и вместе с тем часть средневекового еврейского гетто; настойчиво повторяя этот адрес, нарратор дополнительно усиливает нужные ему аллюзии. Лондон, самый центр которого заполонен греками-«чужеземцами», является вариантом Парижа, который Моран в других произведениях называл «оскверненным» евреями и другими выходцами из Восточной Европы.

Особенно пристрастно Моран описывает патриарха клана Апостолатосов, «алчного маниакального тирана»<sup>45</sup> с крючковатым носом и в ермолке. Его особняк в Бейсуотере<sup>46</sup>, набитый редкостными и дорогими «предметами последней необходимости», сравнивается с «сералем»: там томятся его покорные дочери, старые девы, отягощенные тяжелыми жемчужными ожерельями. Моран распространяет карикатуру и на свою героиню Ирен, которая постепенно становится в глазах Льюиса представительницей чуждой, неевропейской «расы». Превращение этой преуспевающей женщины, которую автор поначалу характеризует как современную, умную, независимую и светскую, в невежественную «восточную» фанатичку с примитивными вкусами столь же удивительно, сколь и неубедительно, и наводит на мысль о том, что ксенофобские взгляды Морана заставили его поступиться художественным правдоподобием.

«Льюис и Ирен» стал первым романом Морана, а также первым его обращением к популярной теме финансовых спекуляций. И хотя некоторые критики укоряли его за схематичность персонажей, другие, как, например, Бенжамен Кремье, хвалили за создание удачного социологического портрета современной элиты<sup>47</sup>. В лице Льюиса Моран вывел архетипического «героя» своего времени: незаконный сын банкира-еврея, космополит, спекулянт и современный донжуан, который не только ведет подробный список своих любовных побед, но и зачитывается Фрейдом. Как отметил Стефан Саркани, жизнь Льюиса очерчивается тремя основными занятиями: «бизнес – эротика – путешествия»<sup>48</sup>. Эта модель, связывающая деньги с роскошным образом жизни и эротическими похождениями, прочно укоренилась в межвоенной массовой культуре. В кино она использована в мелодраме Марселя Л'Эрбье «Деньги» (1928). Главный герой фильма Николая



Саккар занимается махинациями на бирже и пытается соблазнить хорошенькую жену молодого авиатора, чей одиночный перелет в Латинскую Америку он берется финансировать. В итоге Саккара разоблачают и сажают в тюрьму, и он терпит поражение и в бизнесе, и в любви. Название фильма «Деньги» отсылает к роману Золя из цикла «Ругон-Маккары» – фильм является его очень вольным переложением, а время действия вообще перенесено в 1920-е годы. Эта кинокартина не только отдает дань современным технологиям – в ней показана передовая конструкция самолета и некоторые кадры сняты в полете, – но и включает в себя ряд ставших классикой сцен на Парижской фондовой бирже, которые Л'Эрбье снимал в течение трех дней в историческом здании Пале-Броньяр, использовав две тысячи статистов. С высоты птичьего полета он показывает здание биржи, вокруг которого непрестанно снуют тысячи маклеров, – эта сцена очень точно передает «дух времени», лихорадочную активность делового мира, жажду наживы, энергию, скорость.

Наряду с популярностью рассказов о «легких» деньгах и сказочных авантюристах, интерес к Америке как к непревзойденному символу современности привел к возрождению жанра романа о «диком Западе». Фильм «Золотая лихорадка» (1925) с Чарли Чаплином в главной роли внес свой вклад в это увлечение. В «Золоте», опубликованном почти одновременно с выходом фильма, Сандрар активно использует возникшую во Франции моду на американскую музыку, кино и технологии. Образ золотоискателя XIX века, человека скромного происхождения, который отправляется в неведомый мир, преодолевает все препятствия и добивается успеха исключительно благодаря своему упорству, сопрягается в романе с архетипом честолюбивого бизнесмена «золотых двадцатых». Мигранты, в «лихорадочном возбуждении» движущиеся на запад в поисках Эльдorado, названы «толпой жадных до золота космополитов»<sup>49</sup> – это коррелирует с типичной лексикой, используемой в прозе о финансовых спекуляциях. <...>

А вот в эмоциональной палитре архетипического «еврейского хищника» Немировски Давида Гольдера место эротической составляющей занимает родительская любовь, хотя в остальном этот образ вписывается в привычные рамки французской литературы того времени. В отличие практически от всех других героев романа, которые представлены в карикатурном виде, Гольдер не ослеплен страстью к наживе и не тешится мыслью, что деньги принесут ему райское блаженство<sup>50</sup>. Его пороки во многом искупает любовь к дочери; его чувство не ослабевает даже после того, как жена безжалостно сообщает ему, что он – не отец девочки. К концу романа голос повествователя утрачивает сатирический тон, и читателю позволяют заглянуть в смя-

тенную душу Гольдера: этот неприкаянный странник умирает один, на борту судна, везущего его из Одессы в Константинополь. В последний момент память переносит его в заснеженный городок его детства, и он слышит далекий голос, зовущий его по имени; к Давиду внезапно приходит осознание того, что он неправильно распорядился своей судьбой и растратил жизнь на ложные устремления. Немировски видоизменяет жанр «романа о бизнесе» и придает ему философскую и психологическую глубину. Гольдер, которого современники воспринимали сквозь призму гротескных антисемитских стереотипов<sup>51</sup>, предстает героем трагическим, не сумевшим реализовать свой человеческий потенциал, – во многом похожим на толстовского Ивана Ильича<sup>52</sup>.

Оставаясь в целом в рамках тематики, которая уже успела укорениться во французской культуре и ментальности того времени, первый роман Немировски все же подает тему корыстных евреев-космополитов в куда более неоднозначном свете. Несмотря на безупречный французский и высокую степень аккультурации, иностранные корни позволили Немировски более широко взглянуть на целый ряд явлений, которые воспринимались французами как само собой разумеющиеся. Она свободно ассимилировала, преобразовывала и преодолевала образцы, воспринятые из французской культуры, давая неоднозначные ответы на основные вопросы времени.

### ГЕРОИНЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ: ГАРСОНН

Наряду с честолюбивым финансистом-космополитом, который играл главную мужскую роль в массовой литературе межвоенного периода, ар-деко вывел на авансцену героиню 1920-х годов – гарсонн. Этот неологизм еще в 1905 году придумал Ж.-К. Гюисманс в своей повести «Флорентийка», а широкое распространение он получил после выхода в свет сенсационного романа Виктора Маргерита «La garçonnette» (1922)<sup>53</sup>. Именно этот текст во всей полноте показал новое явление – эмансипированную, андрогинную фам фаталь, которая своим дерзким поведением демонстрирует неприятие каких бы то ни было условностей. В центре романа – конфликт поколений: убедившись в лицемерии своих родителей-буржуа, Моник уходит из дома и оказывается в богемных кругах, где курит гашиш, вступает в связь с мужчинами и женщинами – и одновременно делает успешную карьеру дизайнера. При этом главным символом ее бунтарства оказывается короткая стрижка, которая и довершает ее превращение в гарсонн. Особо выделяя именно этот элемент женской моды, Маргерит подчеркивает важную социокультурную тенденцию<sup>54</sup>. К концу романа Моник достигает гармоничного синтеза новых пове-

денческих кодов и более традиционных практик и выходит замуж за преподавателя философии, разделяющего ее феминистские взгляды.

Хотя роман написан с большой долей юмора, он спровоцировал громкий скандал. Причем ярость вызвали отнюдь не подробные описания наркотических оргий или эротические сцены – они не были новшеством во французской литературе. Однако мода на гарсонн, как пишет Кристин Бард, преступила куда более серьезное табу, бросив вызов привычным гендерным различиям и прямо обратившись к лесбийским темам. Это стало ударом по французскому культу женщины: «Франция живет апологией Вечной Женственности, выстраивая на ее основании лестный образ национального ‘Я’»<sup>55</sup>. Всеобщее возмущение не смогло погасить даже авторское предисловие, в котором Маргерит заявлял о своей благородной цели разоблачения порока. Скандал стоил Маргериту ордена Почетного легиона, которого он был демонстративно лишен, однако способствовал небывалому взлету спроса на книгу<sup>56</sup>. В 1923 году, когда в частном парижском клубе состоялся показ фильма Армана дю Плесси, снятого по роману Маргерита, около 3000 человек, не сумевших достать билеты, попытались взять здание штурмом<sup>57</sup>. Культурный роман Маргерита вышел за пределы художественной литературы, став текстом жизни. <...>

Со своей стороны, Моран подверг новый женский образ критическому анализу, сосредоточившись лишь на одной из его ипостасей – деловой женщине. Героиня романа «Льюис и Ирен» бросает вызов традиционным гендерным стереотипам, беря на себя инициативу во всех областях, где традиционно доминировали мужчины. <...> Моран обыгрывает в романе несколько антропоморфных и географических метафор, ставя под вопрос архетип, отождествляющий женщину с Землей. Оперируя привычными представлениями, Льюис ассоциирует женское начало со странами, землями, островами. Глядя, например, на рельеф Британских островов из самолета, он заключает: «Нет, Англия – не плоская, только грудь у нее маловата»<sup>58</sup>. Приближаясь с моря к греческому городу Митилене, он представляет его себе в виде покорного, безвольно лежащего женского тела «с узкой талией» (С. 109). Эта игра в метафоры распространяется и на Ирен. Льюис видит ее в минуту слабости – и воображение мгновенно подсказывает ему удобное сравнение: «Ирен покоилась, уронив голову Льюису на колени, она была подобна греческому городу, который тиран напитал своей отравой» (С. 137). <...> Однако Ирен вскоре подрывает его иллюзии и самостоятельно устраивает свою судьбу в международном финансовом мире. Саму себя она воспринимает как потомственную мигрантку: «За моей спиной века торговли, свободы, эмиграции». (С. 136) Образ европейского континента связывался с образом женщи-

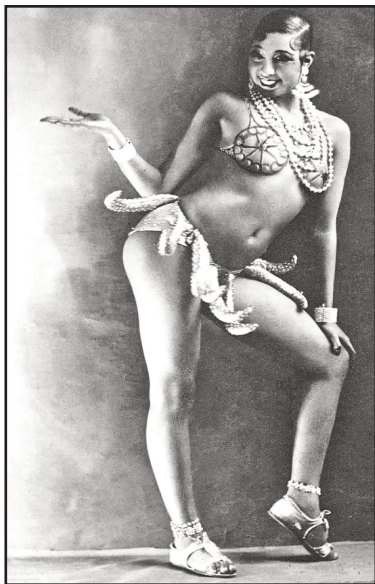
ны еще со времен возникновения мифа о похищении Европы, однако в своем романе Моран кардинальным образом пересматривает эту ассоциацию. Современная женщина не ждет покорно, когда ее отыщут, покорят или похитят, она сама активно осваивает европейские пространства, ловко уклоняясь от преследователей.

Международный бестселлер Мориса Декобра «Мадонна спальных вагонов» (1925) внес значительный вклад в формирование образа современной женщины как обольстительной путешественницы. Выбрав Восточный экспресс в качестве основного символа космополитизма своих героев, Декобра показывает, как поезд эволюционировал в творческом воображении от «мистического монстра» до комфортного средства передвижения на службе у современного человека. Этот роман – типичный пример популярного жанра «железнодорожного триллера», который получил широкое распространение не только в литературе, но и в кино<sup>59</sup>. Он написан в форме мемуаров современного денди, герцога Селимана, доверенного лица блистательной леди Дианы Уингем, которая втягивает его в рискованную аферу по возвращению себе прав на нефтяные месторождения в советской Грузии. Чтобы лучше вписаться в «моду на Россию», француза Селимана в киноверсии романа Декобра заменили на русского князя из белоэмигрантов. Роман, изображающий сливки британского общества и советскую дипломатическую элиту, уснащен колоритными альковными сценами и описаниями застенков ЧК. Авторская манера Декобра, внимание к деталям в описаниях отелей, яхт и модных аксессуаров служит альтернативой эллиптической стилистике ар-деко. Как и в архитектуре и в оформлении интерьеров, где ар-деко совмещал противоположные тенденции, от безудержной декоративности до утилитарного минимализма, в литературе этот стиль породил самые разнообразные нарративные стратегии.

Образ гарсонн, сформировавшийся в произведениях популярных французских писателей, стал появляться в новых вариациях в прозе Хемингуэя, Фицджеральда, Немировски, Газданова, Одоевцевой и других парижских авторов, которые использовали этот архетип для решения собственных творческих задач.

#### LOCI CLASSICI: МЮЗИК-ХОЛЛ И КИНОСТУДИЯ

Наряду с поездами, аэропланами, океанскими лайнерами и автомобилями, к излюбленным локусам в романах ар-деко относятся казино, ночные клубы, биржа, отели Лазурного берега и горнолыжные курорты. Но с еще большим рвением писатели межвоенных десятилетий эксплуатировали семиотический потенциал киностудий и мюзик-холлов. С конца 1910-х годов парижская публика была оча-



Жозефина Бейкер в costume из шкурки банана

рована иностранными танцовщицами, от Маты Хари и Айседоры Дункан до Жозефины Бейкер, которая сделала музыкальное ревю невероятно популярным. Писатели, однако, высокомерно относились к новому сценическому жанру. В «Молодом европейце» Дриё ла Рошель использует мюзик-холл как метафору современной культуры, которая, как он считает, неуклонно приходит в упадок. В его описании мюзик-холл превращается в транслокальное пространство, которое подавляет всякую самобытность, различия, индивидуальность. Отрицая «неопределенные достоинства национального гения»<sup>60</sup>, мюзик-холл заставляет всю планету говорить на одном языке: как в средневе-

ковье путешественник испытывал ощущение знакомого пространства, попадая в церковь, так современный космополит обретает привычные ориентиры, наблюдая за знакомым ритуалом в любом мюзик-холле мира. Мюзик-холлы, построенные с одинаковым безвкусием, предлагают единственное «экуменическое удовольствие», доступное современному человеку, – единообразное шоу с идентично одетыми безликими «герлз» разного этнического происхождения, вышколенными для соответствия одному и тому же графарету, а не для проявления индивидуального таланта. «Общепланетная цивилизация», которую пропагандируют мюзик-холлы, построена на «хаотическом метиссаже»<sup>61</sup>. Даже различия между нациями и классами сливаются в некое аморфное «промежуточное состояние». В глазах героя Дриё ла Рошеля, зрители представляют собой зеркальное отображение «безродных» исполнителей на сцене: «Я нахожусь между сценой и зрительным залом, между двумя толпами – элиты и масс, – которые вожделяют друг друга, похожи друг на друга, перемешиваются и отрицают друг друга»<sup>62</sup>. При том, что эти люди преследуют только личные интересы, они ведут «параллельные жизни», поскольку собственную судьбу способны вообразить лишь как отражение «коллективной мечты». По сути, мюзик-холл в изображении Дриё ла Рошеля наделен всеми чертами транснациональной культуры ар-деко, а его глобальное распространение подписывает смертный приговор уникальности «старой

Европы». Свои пессимистические выводы писатель еще отчетливее сформулировал в статье «Идея декаданса» (1928): «Я провел своего молодого европейца по мюзик-холлу и заставил его задуматься над смыслом нашей цивилизации. Все его мечты сошлись в финальной точке, идее декаданса»<sup>63</sup>. Дриё ла Рошель утверждает, что критика декаданса – вообще распространенная тема современной литературы, и среди своих единомышленников называет Поля Валери, Андре Жида, Поля Морана, Пьера Мак Орлана и Франсуа Мориака.

В ином, но не менее критическом ключе рассматривает мюзик-холл Немировски: в повести «Ида» (1934) она делает его местом, где разворачивается драма современности. Немировски ведет читателя за кулисы и открывает перед ним внутренний механизм музыкального шоу через опыт одной из «герлз», которая в течение долгих лет каждый вечер безупречно исполняет перед восторженными зрителями один и тот же номер. Героиня повести Ида<sup>64</sup> представляет собой женский вариант Давида Гольдера: бедная еврейская девушка из Восточной Европы, она становится звездой французского шоу-бизнеса благодаря таланту, железной дисциплине и сверхчеловеческим усилиям. В своем роде, она тоже «золотоискательница», вот только влечет ее к славе. Ее существование, личное счастье, окружающие ее люди приносятся в жертву честолюбию. Золото становится аллегорией ее жизни и плачевного финала. Каждый вечер, облаченная «в длинный расшитый золотом плащ», она появляется на сцене мюзик-холла и спускается «по тридцати золотым ступеням» между обнаженными девушками, каждая из которых держит в руке золотой зонтик. Ида во всем превосходит свое окружение: «никто во всем мире не способен так носить головной убор из перьев, золота и жемчугов»<sup>65</sup>. Несколькими точными мазками Немировски воссоздает симулякры эпохи джаза – пульсирующие огни неоновой рекламы проецируют в пространство неизменный блистательный образ Иды Сконин: «На парижских стенах, на каждом углу возникает ее изображение: она стоит, полуодетая, на золотых ступенях, со страусовым плюмажем на голове; ее имя мерцает в скупой светящейся дымке парижских вечеров, то вспыхивая, то угасая»<sup>66</sup>. Наряду с другими идолами эпохи коммерциализации, образ напоминающей языческую богиню Иды, растрепанный на вездесущих рекламных щитах, изменяет традиционный городской пейзаж и создает новую городскую мифологию.

Главную битву Ида ведет со временем: несмотря на отчаянные попытки сохранить иллюзию вечной молодости, ее тело, «которое она отладила, точно механизм», начинает постепенно сдавать, несмотря на то, что каждую ночь, в одиночестве, в темной спальне, она совершает ритуал «мумификации»: «Она вернулась. И вот вечер-

ний туалет завершен. Она лежит в постели. Лицо, лоб, руки и шея обернуты тканью, пропитанной густым кремом, от которого исходит аромат трав и легкий запах эссенций. <...> Горничная плотно закрывает ставни, задергивает тяжелые шторы»<sup>67</sup>. Однако мечта египтян<sup>68</sup> – навеки сохранить тело нетленным в замурованных погребальных камерах – это иллюзия, и скоро Идино место на сцене и в сердцах поклонников занимают юные старлетки. В конце повести Ида падает с той самой золотой лестницы, по которой столько раз спускалась с триумфом, и это, с одной стороны, означает ее окончательное поражение, а с другой намекает на неизбежный конец «золотых двадцатых», эпохи симулякров и искусственных наслаждений. Помимо своих обычных тем, в «Иде» Немировски обращается к технологиям создания поп-звезд и размышляет о цене успеха.

Еще более подходящим, чем мюзик-холл, контекстом для исследования феномена «звезд», равно как и более общих социальных, психологических и эстетических смыслов новых развлечений стало кино. Литература не только имитировала кинематограф, пользуясь его поэтикой и стилистикой, а также создавая экспериментальные промежуточные жанры, но и превращала кино в объект пристального изучения – писатели пытались проникнуть по ту сторону экрана, понять процесс кинопроизводства и демистифицировать притягательный мир «синема».

Самой язвительной сатирой на индустрию кино во французской литературе стал роман Морана «Милая Франция». Этот roman à thèse (дидактический роман), отражающий горькое разочарование автора собственной карьерой в кинематографе<sup>69</sup>, представляет собой гротескное повествование о производстве фильма на так называемой киностудии «Эфирфильм», созданной нечистоплотными дельцами с сильным иностранным акцентом и нелепыми, подчеркнуто нефранцузскими именами и фамилиями (Калитрих, Саша Сашер, Якоби и Перикл Герметикос). Еврея Макса Крона приглашают в режиссеры, приняв по ошибке за его знаменитого тезку-немца; после разоблачения он сбегает, прихватив бобины с отснятыми фрагментами фильма «Милая Франция». Ему удается продать фильм некой американской кинокомпании, даже не демонстрируя его; он с триумфом возвращается в Париж, шантажирует бывших работодателей и становится директором «Эфирфильма». Эта хитроумная интрига становится у Морана иронической метафорой всей французской экономики, которая, по его мнению, ослаблена нелегальной финансовой деятельностью евреев иностранного происхождения. В этой виртуальной реальности место подлинных бюджетов занимают чеки без обеспечения; продюсеры и сценаристы ставят фильм по «Песни о Роланде»,

даже не прочитав поэмы; речь их является пародией на французский язык, а режиссером становится самозванец, не имеющий никакого опыта работы в кино (Моран дает одной из глав ироническое название «Лжедмитрий»). Конечный продукт этой сложной аферы, поглотившей астрономический, пусть и несуществующий в реальности бюджет, – не отснятый фильм, а рекламные ролики, масштабные продажи международных прав и тост «за нашу милую Францию» – бокал с шампанским поднимает новый президент студии «Эфирфильм», беглый немецкий еврей, мошенник. В общую картину вписывается и то, что премьера «Милой Франции» происходит в огромном кинотеатре «Кинотриумф», который наскоро возводят рядом с Триумфальной аркой из материалов, столь же мнимых, как и все остальное, – это хрупкая постройка из папье-маше, облицованная мрамором толщиной в миллиметр.

В романе воспроизведены расистские клише предвоенного десятилетия. Чтобы сделать критику иностранцев-«паразитов» еще острее, Моран показывает читателю киностудию «Эфирфильм» глазами одного из немногих подлинных французов среди персонажей романа, единственного честного спонсора фильма, провинциального нотариуса месье Тардифа. Его фамилия («Запоздавший» по-французски) намекает на старомодность его традиционных французских ценностей, таких как порядочность в делах и «священные» часы обеда и ужина. <...>

За ксенофобскую тональность «Милой Франции» Моран был подвергнут суровой критике. Однако, как отметил Колломб, если заглянуть за гротескный фасад, роман предстает в ином свете, являясь «ярким описанием повадок кинопродюсеров и атмосферы киностудий на заре звукового кино. Между строк можно прочитать, как автор клеймит индустриализацию культуру»<sup>70</sup>.

В русскоязычной эмигрантской прозе искусство кино, правда с более тонкой нюансировкой, тематизируется в романе Ирины Одоевцевой «Зеркало» (1939). Это один из самых «французских» текстов писательницы, явственно ориентированный на литературные приемы ар-деко. Хотя героиня Одоевцевой Люка – молодая русская парижанка, в этом романе писательница отказывается от центральной темы своего творчества – горестной судьбы изгнанников, – а вместо этого сосредоточивается на основных тенденциях индустрии развлечений. Для Одоевцевой кино является квинтэссенцией современности<sup>71</sup>, этот взгляд отражен в поэтике романа, особенно в использовании «титровых» фраз, стремительном темпе, эллиптическом стиле, употреблении глаголов в настоящем времени (этот прием отметил в своей рецензии Газданов<sup>72</sup>) и в подчеркнута мелодраматических



жестах, заменяющих проникновение в психологию персонажей. Как и в «Милой Франции», основной топос романа – киностудия, съемочная площадка, однако Одоевцева описывает его в принципиально ином ракурсе.

Люка мечтает о красивой жизни, которую показывают в популярных фильмах, и судьба ее, вроде бы, складывается по лекалу стереотипного сюжета экранных мелодрам. Обыденная жизнь с преданным, но заурядным мужем меняется в одночасье после знакомства со знаменитым режиссером Тьери Ривуаром, который обещает сделать из нее кинозвезду. Ривуара, впрочем, привлекают не ее несуществующие актерские способности, а «молодое, совсем новое, как из магазина, лицо... Еще не помятое, не запачканное жизнью и воспоминаниями»<sup>73</sup>. В тон рассуждениям Дриё ла Рошеля о сработанных под копирку танцовщицах из мюзик-холла, эта «безликость» представлена в романе Одоевцевой как идеальная основа для создания знаменитости.

Все, что окружает Ривуара, пронизано эстетикой ар-деко: белые стены его кабинета, белые кресла, его черный, плавных обводов (streamlined) автомобиль, «похожий сразу и на водолаза, и на акулу», и даже океанский лайнер «Нормандия»<sup>74</sup>, на котором он намеревается пересечь Атлантику. Плоская лампа в его кабинете имеет форму диска и светит «желтоватым туманом». Это описание передает типичное освещение, используемое в интерьерах ар-деко, которое «вылепляло электрический свет, подчеркивая его молочную прозрачность, а не способность создавать и преобразовывать цвет»<sup>75</sup>. Постоянный эпитет в описаниях Ривуара – «электрический»<sup>76</sup>. Для Одоевцевой и других писателей ее поколения это слово было кодовым для обозначения современности, эпохи, когда понятия энергии, электрического тока и радиоактивности свободно мигрировали из научных текстов в обиходное употребление и даже в литературу. Как отмечает Дэвид Троттер, электроэнергию можно считать своего рода формулой литературных и художественных экспериментов модернизма<sup>77</sup>. В стремлении включить в текст все основные приметы современности Одоевцева наделяет Ривуара «электрической улыбкой». Пробудившись, он, подобно электрическому прибору, мгновенно переходит от бессознательного к гиперактивному состоянию. А стоит ему задремать, как он тотчас же превращается в инертный, неодушевленный предмет. В этом контексте у слова «электрический» возникают дополнительные коннотации искусственной бодрости и энергичности, противопоставленных обычным человеческим свойствам. Постепенно становится ясно, что жизненные силы Ривуара истощены, он, как вампир, нуждается в подпитке от «естественных»

людей, которые еще не превратились в бездушные шаблонные существа, лучше приспособленные к жизни на экране, чем в трехмерном физическом мире. Одним из таких персонажей является актриса Тереза Кассани: весь ее образ – черные глаза, шляпа, «очень красный рот» и «безразличный взгляд» – четко соответствует архетипу пресыщенной красотицы в живописи ар-деко.

Под руководством Ривуара Люка быстро превращается в известную актрису и образцовую «современную женщину»: она, не задумываясь, бросает мужа, перебирается в шикарную квартиру, заводит собственный автомобиль, чем подчеркивает свой «эмансипированный» статус: ключи от машины – «эмблема свободы и власти над пространством, которым современная женщина гордится совсем так же, как ее мать гордилась ключами от шкафов и комодов» (С. 499). Символическая роль автомобиля в жизни современной женщины многократно запечатлена на картинах и фотографиях эпохи ар-деко, в том числе на автопортрете Тамары де Лемпицка 1925 года, где она представлена за рулем «Бугатти». Ривуара как «режиссера» судьбы Люки ожидает полный провал. Он бросает ее, узнав о ее беременности, и она погибает в автомобильной аварии. Впрочем, фильм Ривуара, в котором Люка играет роль Ангела, выходит в прокат и тут же становится чрезвычайно популярным. Увидев ее на экране, Ривуар начинает терзаться муками совести и в конце концов кончает с собой. Этот мрачный финал подводит символическую черту под всей веселой эпохой *les années folles*. В романе, написанном в конце 1930-х, когда предвестия грядущей катастрофы становились все заметнее, Одоевцева скептически переоценивает культуру гламура, с помощью которой западная публика пыталась избавиться от мучительных воспоминаний о предыдущей войне и отогнать страх перед новым неизбежным глобальным конфликтом. Хотя подтекст изгнанничества в «Зеркале» не очевиден, это роман, созданный писательницей, взгляды которой на структурообразующие принципы европейской массовой культуры и беспечный дух современности сформировались под влиянием ее собственных утрат и отстраненности от западноевропейской реальности. Жизнь блистательного Парижа межвоенной эпохи, пропущенная через мироощущение эмигрантки, предстает в романе лишь как соблазнительная иллюзия.

В рецензиях на роман современники Одоевцевой, как правило, подчеркивали именно искусственность созданного в нем мира, которая передана через метафору зеркала, традиционного атрибута *vanitas*:

«‘Зеркало’ – книга о тщете, о бренности, о пустоте. Блестящий, ультрасовременный, так сказать ‘аэродинамический’, мир, в котором живет Люка, лишь по первому взгляду кажется реальным. В самом

деле – он призрачен: ухватиться в нем не за что. Все ускользает, растворяется, исчезает. Иллюзия – это видимость блеска. Иллюзия – это видимость «беззакатной» любви. <...> Иллюзия – даже жизненность Люки. Смерть, прерывающая кинематографический ритм действия, – не развязка, а объяснение»<sup>78</sup>.

«Одоевцева <...> выкачивает весь жизненный воздух, истребляет всякое наследие реальности <...> она строит ‘Зеркало’, где в одном плане, вдвойне удаленные от нас, движутся, скользят, страдают силуэты, залитые ‘электрическим сиянием’. Подчас эти искусственные, стеклянные улыбки, цвета и запахи даже удручают, но это сделано искусно, автор сам назвал свое произведение ‘Зеркалом’: он именно этого хотел. И надо признать: то, что было им задумано, выполнено отлично»<sup>79</sup>.

В тексте Одоевцевой зеркало прежде всего служит метафорой экрана: оно не открывает человеку глаза на собственную сущность, а предлагает определенные ролевые модели и стандартный рецепт счастья, одновременно стирая все индивидуальные черты. Так, в начале романа неудовлетворенность Люки собственной жизнью и мечта об ином существовании зарождаются после того, как она посещает кинофестиваль и видит на экране «фантастически счастливую судьбу героини» (С. 466)<sup>80</sup>.

Зеркало становится в романе и красноречивым символом обманчивости современного мира. Описание отражений, которые Люка видит в парикмахерской, иллюстрирует такие ключевые принципы авангардного искусства, как фрагментированность, искусственность, механистичность, неорганичность и нерепрезентативность. Умножение отражающих поверхностей разрывает привычные связи между знакомыми элементами мира, остраивает реальность, деформирует и дегуманизирует человеческий образ:

«Лица, головы, флаконы, аппараты для завивки и сушки волос, зеркала под разными углами, отражающие эти лица, флаконы и аппараты с бесчисленными отражениями, уводящие их за границу света и реальности в блестящую потусторонность зеркального мира, дробящие, перекашивающие, ломающие их на отдельные части, на составные элементы, переводя всю банальную парикмахерскую из плоского жизненного плана в таинственный план искусства. Глаз, отражающийся в скошенной плоскости facetsа, глаз сам по себе, увеличенный, сияющий, как осколок каменного угля во льду, непонятный, значительный своей собственной необъяснимой жизнью, пугающий и прекрасный. Глаз, не составляющий целого ни с чьим лицом, не освещающий, не гармонирующий, не украшающий, – глаз сам по себе. И внизу, в продольном четырехугольнике зеркала, рука сама по себе,

рука с длинными пальцами и красными ногтями, отрезанная у кисти металлической рамой» (с. 496).

Рука и глаз в этом отрывке становятся метаобозначениями авангардного кинематографа, особенно очевидна отсылка к крупным планам из фильма «Андалузский пес» (1929) – бритве, рассекающей глазное яблоко, и постоянно появляющимся в кадре отчлененным рукам. Раздробленность окружающей действительности Одоевцева подчеркивает через монтаж различных предметов (своего рода «реди-мейд»), произвольно из нее выхваченных. Фотографическое восприятие мира, представленное через монтаж фрагментов, напоминающих отдельные снимки, еще раз говорит о том, сколь многим писательница обязана художественной практике модернизма.

В этом «кинематографическом» романе из жизни Запада есть и прямые отсылки к классической русской литературе, в том числе к «Крейцеровой сонате» и «Анне Карениной». Взаимное влечение Ривуара и Люки зарождается под звучание «лукавого, сладострастного <...> голоса». В последний день жизни героини, когда она в полубредовом состоянии колесит по «опереточному Парижу», мир предстает ей искаженным, расколотым на множество хаотичных фрагментов, напоминающим разбитое зеркало. Эти описания перекликаются с восприятием окружающей действительности Анной Карениной перед ее самоубийством – в эпизоде, который предвосхитил «поток сознания» в его модернистском варианте. Говоря о Венеции, где проходят основные съемки фильма, Одоевцева задействует русский топос Венеции как города иллюзорных, зеркалоподобных поверхностей, как города-театра, искусственного и обманчивого.

Неожиданный актерский успех Люки как будто свидетельствует о том, что метод К. С. Станиславского применим и в кино, хотя создатель знаменитой «системы» изначально изобрел его для театральной сцены. И действительно, эпизоды съемок в Венеции, где Люка страдает из-за измены Ривуара, иллюстрируют основной прием Станиславского: режиссер придавал особую важность личной памяти актеров в создании необходимого для роли эмоционального состояния. У Одоевцевой чувства героини выглядят на экране правдоподобно именно потому, что они совпадают с переживанием актрисой ее личной трагедии. <...>

«Настоящие слезы», которыми Люка сопровождает «фальшивые слова роли», задают параметры мира Одоевцевой, где мелодрама и трагедия, реальность и вымысел, жизнь и смерть находятся в неразрывном единстве. Ее роман является попыткой и продемонстрировать поверхностность современной массовой культуры, самым ярким воплощением которой является отражающая поверхность киноэкра-

на, и проникнуть за этот мерцающий слой, чтобы показать извечную драму любви и предательства. Амбивалентность становится структурным принципом «Зеркала»: все в тексте обладает внутренней двойственностью, будто каждого персонажа, предмет и явление сопровождает его зеркальное отражение. Если роман этот действительно можно прочесть как своеобразную реплику Одоевцевой в дискуссии русских эмигрантов о кинематографе<sup>81</sup>, остается непонятым, на чьей стороне симпатии автора. Интерпретируя «Зеркало» как критику «искусственных, стеклянных улыбок, цветов и запахов» киноподобной реальности, критики не оценили многослойность этого текста, в котором подчеркивается как иллюзорность экранных мелодрам, так и способность кино к передаче подлинного человеческого чувства.

Если сравнить «Зеркало» с французским романом о кинематографе, «Милой Францией» Морана, становится ясно, что последний намного сатиричнее, однако некоторые приемы, которыми пользуются оба писателя, на удивление схожи. Например, зеркало – центральный образ Одоевцевой, символизирующий кинематографическую гиперреальность, – коррелирует с определением кино как «уже не драматического, а скорее зеркального искусства» у Морана. Кроме того, даже если критика коммерциализации искусства и не входила изначально в планы Одоевцевой, она все же предпринимает попытку привнести социологический аспект в свое психологическое исследование мира кино. В финале романа речь заходит о стратегиях создания кумира: после трагической гибели Люки и успеха фильма Лоранс, экзальтированная дочь продюсера этой кинокартины, творит миф о прекрасной непорочной актрисе, очень похожей на сыгранную ею героиню. <...> Образ Люки, как воплощения «удачной, победительной, непобедимой жизни» (Сс. 621, 622) запечатлен в изваянии ангела, установленном на ее могиле, в ее улыбающихся портретах в киножурналах и в идеализированных жизнеописаниях. В своей типичной сдержанной, но суггестивной манере Одоевцева анализирует потребность современного потребителя массовой культуры поклоняться диве как высшему, совершенному, бессмертному существу. Кроме того, она рассматривает механизм создания подобных ролевых моделей и все возрастающее влияние кинематографа и рекламы на коллективное воображение. В определенном смысле литературный эксперимент Одоевцевой резонирует с критикой Беньямина в адрес киноиндустрии, которая формирует культ кинозвезд, предлагая потребителям «не уникальную ауру человека, а ‘чары личности’, ложное очарование предмета потребления»<sup>82</sup>. В результате роман оказался чрезвычайно своевременным текстом, поставив целый ряд насущных вопросов о функции и статусе массовой культуры.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Термин «ар-деко» стали использовать применительно к этому стилю только в 1960-е годы, когда возродился интерес к культуре межвоенного периода.
2. Даже на советских агитплакатах, которые клеймили западных декадентов и прославляли советских тружениц, присутствовали атрибуты того самого стиля, который они предположительно предавали анафеме.
3. *Фицджеральд Ф. С.* Отзвуки века джаза // *Фицджеральд Ф. С.* Портрет в документах. М.: Прогресс, 1984. С. 40.
4. *Ibid.* С. 41.
5. *Eksteins M.* Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. New York: Anchor Books Doubleday, 1990. Pp. 257-258.
6. *Фицджеральд* (1984). С. 46.
7. Например, в американской архитектуре ар-деко, особенно в силуэтах небоскребов, часто «цитировались» индейские пирамиды доколумбового периода. Тем самым создавалась ложная генеалогия: стиль, который был целиком заимствован из Франции в 1925 году и не имел решительно никаких корней на американском континенте, теперь прослеживали к аборигенным цивилизациям.
8. *Eksteins* (1990). P. 259.
9. *Ibid.* P. 259-260.
10. *Bard C.* Les Garçonnes. Modes et fantasmes des Années folles. Paris: Flammarion, 1998.
11. Затея эта провалилась: первый же номер журнала был конфискован, а издатели приговорены к десяти и шести месяцам тюремного заключения соответственно.
12. Примером творческого переосмысления художником киноматериала может служить использование Анри Матиссом декораторов киностудий Ниццы. Он заказывал им специальный кинореквизит, который впоследствии изображал на своих полотнах.
13. *Benjamin W.* The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // *Illuminations* / Ed. by H. Arendt, trans. H. Zohn. New York: Schocken, 1969. P. 221.
14. *Ibid.* P. 223.
15. *Nichols S.* The End of Aura? // *Mapping Benjamin: The Work of Art in the Digital Age* / Ed. by H. Gumbrecht and M. Marrinan. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 257-258.
16. *Roman et Cinéma. L'Ordre.* 291, 18 Oct. (1930). P. 1.
17. *Янгиров Р.* «Синефиль» и «антисинемисть»: полемика русской эмиграции о кинематографе в 1920-х гг. (По страницам эмигрантской прессы) // Ежегодник Дома Русского Зарубежья. № 1. 2010. С. 349.
18. *Режан Р.* О кинематографе // «Числа». № 2-3. 1930. Сс. 234-238.
19. См.: *Рубинс М.* «Пластическая радость красоты»: Экфрасис в творчестве акмеистов и европейская традиция. СПб.: Академический проект, 2003. Сс. 14-42.

20. *Ходасевич В.* Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. С. 84.
21. Среди текстов, подготовленных издательством «Сирен», были «Синематома» Макса Жакоба, роман Луи Делюка «Джунгли кинематографа», сборник Д. Эпштейна «Кинематограф» и киносценарий Блеза Сандрара «Конец света, снятый на пленку Ангелом Нотр-Дам».
22. *Collomb M.* Littérature Art Deco. Paris: Meridiens Klincksieck, 1987. P. 141.
23. *Auscher J.* Sous la lampe. Irène Némirovsky // Marianne. 13 Feb. 1935. P. 5.
24. *Cendrars B.* L'Or. Paris: Gallimard, 2004. P. 119.
25. *Némirovsky I.* Oeuvres complètes. Vol. I. Paris: La Pochothèque, 2011. P. 465.
26. *Ibid.* P. 408.
27. *Drieu la Rochelle P.* Le Jeune Européen suivie de Genève ou Moscou. Paris: Gallimard, 1978. P. 35.
28. *Morand P.* France la douce. Paris: Gallimard, 1934. P. 364.
29. *Morand P.* Lewis et Irène. Paris: Bernard Grasset, 2011. P. 36.
30. *Némirovsky I.* Nonoche au ciné // *Némirovsky* (2011). P. 73.
31. *Drieu la Rochelle* (1978). P. 122.
32. См. напр.: *Prévost J.* Plaisir des sports (1925); *Schlumberger J.* Dialogues avec le corps endormi (1927).
33. *Безобразов А.* О боксе // «Числа». № 1. 1930. Сс. 259-261.
34. О жанре спортивного романа в межвоенной Франции см.: *Essays in French Literature and Culture*. 46, November 2009, особенно статьи Томаса Бауэра, Жюли Гоше и Мартины Штембергер.
35. *Morand* (2011). P. 27.
36. *Némirovsky I.* Les Feux de l'automne. Paris: Albin Michel, 1957. P. 243.
37. Традиционный способ ведения бизнеса показан в романе Андре Моруа «Бернар Кене» (1926). Герой романа – молодой человек, который вернулся с фронта и против своего желания включился в работу на семейной текстильной фабрике. В противоположность героям-«спекулянтам», Кене родом из Франции, разделяет «старомодные» ценности, такие как производительный труд и семейный долг, и приносит им в жертву мечты о личном счастье.
38. А.С. Ставиский (1886–1934) – одесский еврей, ставший во Франции влиятельным банкиром. Он много лет подряд выпускал фальшивые векселя, втягивая в свои аферы видных политиков. Вскоре после того, как его махинации были раскрыты, Стависского нашли мертвым в Шамони. Обстоятельства его убийства или самоубийства так и не были выяснены.
39. *Morand* (1934). P. 357.
40. Немировски сначала хотела дать роману название «Шарлатан».
41. Публичная ксенофобская риторика подкреплялась законодательными инициативами. 26 июля 1935 года, после продолжительной кампании во французской прессе, обвинявшей врачей-иностранцев (по преимуществу

евреев) в профессиональной непригодности, был принят закон Кузена–Наста. Он ужесточил правила медицинской практики (теперь в профессию допускались только французские граждане), установил пятилетний срок ожидания для натурализованных лиц и отменил процедуру экзаменов для иностранных студентов.

42. Поскольку фамилия Асфар созвучна арабскому слову «путешествие», комментатор собрания сочинений Немировски увидел в нем имплицитную аллюзию на мифологема «Вечного Жида» (или «странствующего жида» (*le juif errant*) в буквальном переводе с французского; ср.: *Notice // Némirovsky* (2011). Vol. II. P. 203).

43. *Némirovsky* (2011). Vol. II. P. 207.

44. *Morand* (2011). P. 78.

45. *Ibid.* P. 79.

46. Во второй половине XIX века центром лондонской греческой общины стал Бейсуотер, и в 1872 году началось строительство величественного греческого собора.

47. См.: *Sarkany S. Paul Morand et le Cosmopolitisme littéraire*. Paris: Editions Klincksieck, 1968. P. 82.

48. *Ibid.* P. 83.

49. *Cendrars* (2004). P. 147.

50. Обсуждая героя Немировски, некоторые критики даже вспоминали Эклезиаста: В. Crémieux (*Les Annales*, 1 février 1930), А. Thérive (*Le Temps*, 10 janvier 1930), А. Maurois (*Le Spectacle des Lettres*, mars 1930).

51. В рецензии на роман «Давид Гольдер» в русской эмигрантской прессе Немировски хвалили за силу и пафос, но укоряли за то, что в романе описана «наиболее циническая и беззастенчиво-корыстная» финансовая элита, а также за некоторую поверхностность («Числа». № 1. 1930. Сс. 246-247). Анализируя роман Немировски в газете «Л'Орд», Рене Гроос отметил, что особый порок Гольдера – его неудержимая страсть к бизнесу, к заключению сделок, а не просто жажда наживы. Кроме того, Гроос отметил, что хотя эта «лихорадка» вообще характерна для современности, особенно ярко она воплощается в фигуре «еврея-космополита» (*Roman et Cinema*. P. 291).

52. Немировски подчеркивала, что очень многим обязана Толстому, и особо отмечала универсальный характер повести «Смерть Ивана Ильича». По ее словам, драма Ивана Ильича понятна «любому пожилому или больному человеку, который боится смерти» (*Lefevre F. En marge de l'Affaire Courilof. Radio-Dialogue entre F. Lefevre et Mme I. Némirovsky. Sud de Montpellier. IMEC, GRS 315 – Dossier de presse l'Affaire Courilof. 7 June 1933. (Стенограмма радиointервью)*).

53. В русских переводах роман выходил под названием «Моник Лербье».

54. О короткой стрижке как своеобразном кредо поколения 1920-х см.: *Zdatny S. The Boyish Look and the Liberated Woman: The Politics and Aesthetics*



of Women's Hairstyles // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture. Vol. 1. Issue 4 (1997).

55. *Bard* (1998). P. 8.

56. Несмотря на то, что роман вышел в июле (мертвый сезон для книжной торговли), число проданных экземпляров скоро достигло рекордной цифры в 700 тысяч.

57. Десять лет спустя Жан дю Лимур снял по роману еще один фильм, с Мари Белл в главной роли; в нем дебютировала Эдит Пиаф.

58. *Morand* (2011). P. 74. Далее в тексте цитаты по этому изданию с указанием страниц в скобках.

59. «Шанхайский экспресс» Йозефа фон Штернберга, «Леди исчезает» Альфреда Хичкока и др.

60. *Drieu La Rochelle* (1978). P. 82.

61. *Ibid.* P. 116.

62. *Ibid.* P. 106.

63. *Ibid.* P. 311.

64. Выбор имени явно не случаен. Ида Рубинштейн, гениальная танцовщица дягилевских «русских сезонов», заморозила французскую публику с момента сенсационного появления в «Саломее», где, по мере исполнения Танца с семью покрывалами, она постепенно обнажалась. Уйдя из балетной труппы Дягилева, Рубинштейн основала собственную и продолжала выступать. В 1934 году, когда вышла в свет повесть Немировски, имя Иды Рубинштейн опять оказалось на слуху в связи с награждением ее орденом Почетного легиона.

65. *Némirovsky* (2011). P. 1102.

66. *Ibidem.*

67. *Némirovsky* (2011). P. 1108.

68. Египетский подтекст эпизода, в котором идолоподобная Ида появляется на вершине золотой лестницы с тиарой на голове, облаченная в золотой плащ, не только напоминает о популярности египетского стиля в эпоху ар-деко, но и служит еще одной отсылкой к Иде Рубинштейн, которая танцевала заглавную партию в балете Дягилева «Клеопатра».

69. Отношения Поля Морана с киноиндустрией складывались куда менее удачно, чем с книжными издательствами. С 1930 по 1932 год он отправил в «Парамаунт» не менее шести сценариев, и все они были отклонены. Фильм, созданный по его роману «Льюис и Ирен», так никогда и не вышел на экраны. А когда Георг Пабст заказал ему сценарий «Дон Кихота», Моран вынужден был отказаться в знак протеста против того, что режиссер отверг музыку, сочиненную его другом Морисом Равелем.

70. *Collomb M.* Paul Morand. Petits certificats de vie. Paris: Hermann Editeurs, 2007. P. 77.

71. Проза Одоевцевой служит подтверждением вывода Янгирова о том, что «эта эпоха была пронизана 'чувством фильма', радикально обновившим

- художественные приемы беллетристики и их рецепцию» (*Янгиров Р.* Чувство фильма. Заметки о кинематографическом контексте в литературе русского зарубежья 1920–1930-х годов // Империя Н. Набоков и наследники: Сборник статей / Под ред. Ю. Левинга и Е. Сошкина. М.: НЛЮ, 2006. С. 399).
72. *Газданов Г.* «Зеркало» // «Русские записки». № 15. 1939. С. 196.
73. *Одоевцева И.* Зеркало: Избранная проза. М.: Русский путь, 2011. С. 470. Далее в тексте цитаты по этому изданию с указанием страниц в скобках.
74. Трансатлантический лайнер «Нормандия», спущенный на воду в 1932 году, совершил первый переход из Гавра в Нью-Йорк в 1935-м. Желая показать достижения французского прикладного искусства, правительство Франции финансировало роскошный дизайн кают и салонов в стиле ар-деко.
75. *Sternau S.* Art Deco: Flights of Artistic Fancy. New York: Smithmark, 1997. P. 78.
76. Ср. стихотворение Одоевцевой «Под лампой электрической» (1936).
77. *Trotter D.* Literature in the First Media Age: Britain between the Wars. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. P. 23.
78. *Елита-Вильчковский К.* Ирина Одоевцева. «Зеркало» // *Одоевцева (2011)*. С. 640.
79. *Яновский В.* Ирина Одоевцева. Зеркало. Роман. Изд. Петрополис (Bruxelles) // *Одоевцева (2011)*. С. 637.
80. В «Зеркале» есть несколько косвенных цитат из романа Триоле «Защитный цвет»; по всей вероятности, образ Люки, которая пытается жить жизнью экранной мелодрамы, возник как слепок с одной из героинь Триоле, Люсиль, существование которой – шикарное, беззаботное и при этом отмеченное крайним эгоизмом и невниманием к окружающим, напоминает, по словам Триоле, «американское кино» (*Триоле Э.* Защитный цвет. – М.: Федерация, Круг, 1928). С. 160.
81. *Проскурина Е.* Кинематографичность и театральность романа И. Одоевцевой «Зеркало» // Ежегодник Дома Русского Зарубежья. 2011. Сс. 265-279.
82. *Benjamin W.* The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // Illuminations / Ed. H. Arendt. Trans. H. Zohn. New York: Schocken, 1969. P. 231.

Сергей Шиндин

## Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский

И для многих исследователей биографии и творчества Мандельштама (далее – О.М.), и для большинства его искушенных читателей образ Сергея Маковского, к самому глубокому сожалению, ассоциируется только с легендарной анекдотической историей о визите в 1909 году юного поэта в сопровождении матери в редакцию журнала «Аполлон». Источником для этого стали его воспоминания, вышедшие в свет в середине 1950-х годов<sup>1</sup>, и с тех пор о данном «факте» с большей или меньшей степенью уверенности (или, во всяком случае, не высказывая явного недоверия) пишут многие мандельштамоведы и те литературоведы, для которых эта тема является периферийной<sup>2</sup>. Лаконичную реплику о реакции поэта на это «мемуарное свидетельство» оставила в своих «Воспоминаниях» Надежда Мандельштам: «он успел прочесть рассказ Маковского о приходе его матери в ‘Аполлон’, и это его очень огорчило», – и, как всегда бывало в тех ситуациях, когда она пыталась развенчать очередной миф или откровенную ложь об О.М. или утвердить в сознании читателей собственную версию происшедшего, повторила это во «Второй книге», где среди тех, кто в эмиграции позволял себе «нести что угодно», назван и «Маковский, рассказ которого о случае в ‘Аполлоне’ дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил»<sup>3</sup>. В таком контексте более чем симптоматичным кажется то обстоятельство, что об этом эпизоде, явно заслуживающем интереса современников, Надежда Мандельштам, вероятно, не заговорила ни с кем из своих собеседников, – во всяком случае, в недавно вышедшем из печати обширном сборнике мемуарных свидетельств о ней, относящихся к периоду от начала 1950-х до начала 1980-х годов, имя Маковского не упоминается ни разу, чего нельзя сказать о более безобидных ситуациях. Так, например, одна из вспоминающих ее свидетельствует: «Помню, что в разговорах особенно от нее доставалось разным ‘мемуаристам’ – И. Г. Эренбургу, Георгию Иванову, Ирине Одоевцевой, которые прежде всего запомнили в Мандельштаме небольшой рост, щуплую фигуру, вздорный характер, его пристрастие к пирожным.

Или 'привычку' не отдавать долги, забывая о той беспросветной нищете, в которой маялись Мандельштамы. <...> Н. Я. [Мандельштам] и не думала скрывать свою установку не на пресловутую 'объективность', а на пристрастность. И ей была чужда боязнь кого-то оттолкнуть, задеть. Она была готова и к обидам, и к разрывам, зная, что они в какой-то мере могут быть ею спровоцированы»<sup>4</sup>. Возможно, именно стремление оставаться в границах существующей версии происшедшего мотивировало отказ мемуаристики от обращений к данной теме.

Поскольку никакими другими источниками современные биографы О.М. не располагают, только эти высказывания вдовы поэта послужили Юрию Фрейдину основанием для следующего утверждения: «Все, что рассказывает О.М. в 'Шуме времени' о своей матери, находится в отчетливой негативной корреляции с сочиненной С. Маковским историей»; при этом автор отмечает, что неясным остается тот факт, «какой из рассказов <...> является 'стимулом', а какой – реакцией, поскольку мы располагаем только датами создания и публикации повести О.М. и датой издания мемуаров Маковского, но ничего не знаем о циркуляции их устных версий»<sup>5</sup>. В примечаниях к последнему, «академическому» выпуску воспоминаний Надежды Мандельштам было высказано более нейтральное предположение: «Возможно, Н. М[андельштам] имеет в виду реакцию О.М. на воспоминания Г. И. Иванова 'Петербургские зимы', которые были напечатаны в 1928 г. в Париже», – однако и после этого пассаж Маковского в очередной раз воспроизводится полностью и безо всякого комментария о степени его достоверности<sup>6</sup>. В силу таких обстоятельств приходится признать преждевременным, если не совершенно безосновательным следующее утверждение: «Как современники, так и исследователи сомневаются в достоверности этого эпизода»<sup>7</sup>. Трудно сказать, каких современников подразумевает автор, но в этом контексте в первую очередь, безусловно, должно учитываться утверждение младшего брата поэта – Евгения Мандельштама: «Маковский, издавший уже в старости в Париже книгу своих воспоминаний, приводит нелепый рассказ о том, как якобы в редакцию 'Аполлона' в Петербурге приходила к нему наша мать за советом о выборе жизненного пути для Осипа. <...> Пользуюсь случаем, чтобы опровергнуть эту нелепую выдумку. Те, кто знал нашу мать, разделяют мое возмущение. Она не только не бывала в 'Аполлоне', но вообще не вмешивалась в Осипу жизнь, а тем более в его поэтическое творчество»<sup>8</sup>. Несмотря на это, о сомнительной степени реальности данной ситуации большинство исследователей упоминает крайне редко; одно из немногих исключений – тот факт, что в комментариях

к последней публикации первого из двух известных писем О.М. главному редактору «Аполлона» о мемуарах Маковского говорится: «Начальный эпизод его воспоминаний требует существенных корректив»<sup>9</sup>; предусмотрительно не было включено упоминание об этом эпизоде и в первый научный вариант реконструкции мандельштамовской биографии<sup>10</sup>.

О «смыслообразующей» роли журнала «Аполлон» и круга его авторов в художественном мировоззрении и творчестве О.М. известно немало, но, как представляется, и эта тема также еще только ждет своего рассмотрения, что косвенно подтверждает, очевидно, еще один легендарный, но почти символический факт биографии поэта: «Весьма многозначительным кажется то обстоятельство, что с вырванным из ‘Аполлона’ листком, где было напечатано стихотворение Анненского ‘Петербург’, Мандельштам не расставался в течение всей своей жизни»<sup>11</sup>. Конкретные внутренние и внешние причины, побудившие О.М. предложить свои стихи именно в это издание, неизвестны, поэтому при составлении его жизнеописания биографам приходится лишь констатировать, что впервые поэт посетил редакцию журнала в конце весны – начале лета 1909 года. Источником такой точки зрения послужило предположение Александра Меца, основанное на дневниковых записях Вячеслава Иванова, из анализа которых можно сделать вывод и о том, что именно ему «принадлежала инициатива в публикации стихов Мандельштама в ‘Аполлоне’»<sup>12</sup>. Если следовать осторожному предположению о том, что поэт не был непосредственным участником организации своей первой публикации, то естественным кажется допустить, что он не посещал с этой целью редакцию журнала весной – летом 1909 года. Более того, согласно неопубликованному пока предположению Виктора Драницина, визит О.М. в редакцию «Аполлона» состоялся не ранее июня 1910 года (тогда же было отправлено и первое из двух его известных писем Маковскому), поскольку в подборке, появившейся в августовском номере журнала, три из пяти стихотворений к маю 1909 года еще не были написаны<sup>13</sup>. Краткая мандельштамовская записка Анненскому, посланная 30 августа 1909 года из Гейдельберга, совершенно ясно дает понять, что он, как и старший поэт, был не просто заинтересован в прямых взаимоотношениях с редакцией журнала, но искал и ждал их продолжения и развития: «Сообщаю Вам свой адрес на случай, если он будет нужен редакции ‘Аполлона’»<sup>14</sup>. В данном контексте актуально то обстоятельство, что совершенно откровенное свидетельство о значении для начинающего автора первой публикации в текущей периодике оставил Георгий Иванов («Последние новости» (Париж). 1928. 20 июля). Вспоминая о своем поэтическом дебюте, состоявшем-

ся осенью 1910 года в трудноидентифицируемом издании «Все новости литературы, искусства, театра, науки, техники, промышленности и гипноза», он, в частности, подчеркнул: «великая вещь – напечататься в первый раз, хотя бы и в ‘Новостях гипноза’. Остальное делается уже само собой... <...> Главное было сделано – я напечатал первые стихи. Остальное пошло само собой. Через год я был в самой гуще ‘литературной жизни’, правда, не особенно ‘первосортной’»<sup>15</sup>.

Говоря о причинах и значении первой публикации О.М. именно в «Аполлоне», даже если она состоялась случайно, без его прямого участия, следует учитывать то хорошо известное место, которое занимало это издание в культурном пространстве России конца 1900-х годов. В такой ситуации нельзя не признать, что более удачного выбора сделать было невозможно: есть все основания с полной уверенностью утверждать, что читательская аудитория, ориентированная на современное русское и западноевропейское искусство, принимала журнал как безусловный авторитет. Немаловажно и то обстоятельство, что на границе 1909–1910 годов «Аполлон» еще не только не стал откровенным оппонентом русского символизма, но даже, в известном смысле и в определенных границах, был проводником его художественной идеологии. Один из представителей «аполлоновского кружка» – Иоганнес фон Гюнтер – вспоминал о начальном периоде существования журнала так: «Мы считали себя символистами, мы принадлежали символизму, – но стихи второго поколения символистов представлялись нам уже скучными и ненужными. Символизм с его субъективными оценками весьма реальных понятий казался нам слишком педантичным – и не лишенным налета пафоса»<sup>16</sup>. Данный факт отмечают и современные исследователи: «Оппозиция символизму в критике ‘Аполлона’ нарастала постепенно. В первые годы издания журнала (1909–11) символисты, оставшиеся после закрытия ‘Весов’ и ‘Золотого руна’ в ‘Аполлоне’, во многом определяли лицо его литературного отдела. Здесь публиковалась символистская поэзия, шли споры о судьбах символизма. Примечательны на этом этапе попытки иных представителей течения навести мосты между творчеством ведущих символистов и программными неоклассицистическими установками ‘Аполлона’»<sup>17</sup>. Вместе с тем, много позже сам Маковский утверждал: «Мне самому новый ежемесячник <...> представлялся меньше всего примыкающим к одному из тогдашних передовых литературных ‘течений’, будь то декадентство московских ‘Весов’ с Брюсовым у кормила или богоискательство и мифотворчество петербургских новаторов (с Блоком, Вячеславом Ивановым, Мережковским и Г. Чулковым)»<sup>18</sup>.

В любом случае, факт первой публикации О.М. именно в этом

издании не мог не импонировать начинающему поэту при его совершенно явной и осознававшейся им самим символистской ориентации, – по словам Лидии Гинзбург, «Мандельштам начинал как преемник русских символистов, но начинал именно в тот момент, когда распад символизма был уже для всех очевиден, а недавний его корифей Блок искал уже другие ответы на тревожные запросы времени. Еще до того, как возникло прямое противодействие символизму (футуристы, акмеисты), это направление стало перерождаться в руках поздних своих представителей (Кузмин, Гумилев). Вместо мистики и религиозной философии все большее значение приобретают моменты эстетические, стилизация, экзотика»<sup>19</sup>. И именно появление стихов О.М. в этом издании стало событием, открывшим нового поэта для внимательных читателей, – Юрий Терапиано так вспоминал об этом: «Его имя, как драгоценный камень, засияло в 1910 году в ‘Аполлоне’ и на петербургских поэтических собраниях для немногих, а для всех, то есть для ‘не-петербуржцев’, для провинции, для будущей его всероссийской известности, – в 1913 году, с выходом его первой книги стихов ‘Камень’»<sup>20</sup>. Непосредственно в связи с появлением этого издания и Николай Гумилев в рецензии, опубликованной в составлявшемся им разделе «Аполлона» «Письма о русской поэзии» (1914. № 1–2), констатировал, что «поэт сравнительно недавно перешел из символического лагеря в акмеистический»<sup>21</sup>. Здесь же следует отметить тот факт, что Георгий Иванов, вспоминая о своем знакомстве с мандельштамовской поэзией, акцентирует внимание именно на «аполлоновской» перспективе происшедшего: «Стихи, сочинявшиеся в Швейцарии или Гейдельберге русским студентом, <...> появились в ноябрьской книжке ‘Аполлона’. – Дано мне тело. Что мне делать с ним <...>. – Я прочел это и еще несколько таких же ‘качающихся’ туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: – Почему это не я написал? <...> – Стихи были удивительные. Именно удивительные. Они, прежде всего, удивляли. – Я очень ‘уважал’ тогда ‘Аполлон’, чрезмерно, пожалуй, уважал. Сам еще там не печатался и на всех печатавшихся смотрел как на каких-то посвященных. – До этой ноябрьской книжки 1910 года все, печатавшееся в стихотворном отделе ‘Аполлона’, я искренне считал поэзией. Но книжка со стихами Мандельштама впервые ввела меня в ‘роковое раздумье’. Она выглядела особенной, непохожей на прежние. И не к украшению это ей служило... – Впервые блеск ‘Сребролукого’ показался мне несколько... оловянным»<sup>22</sup>.

Самое яркое отражение того, какое место занимал журнал в культурном пространстве России начала 1910-х годов, присутствует,

очевидно, в беллетризованных мемуарах Владимира Милашевского – живописца, акварелиста, графика, книжного иллюстратора, одного из организаторов в 1927 году и впоследствии – активного участника группы художников «13». Он так вспоминает свою встречу с «Аполлоном»: «Начало августа 1910 года. <...> Станция Ртишево, где мне нужно часов пять дожидаться поезда на Харьков. Я хожу взад и вперед по платформе, изнемогая от скуки. Газетный киоск в проходе к залу первого класса. – Среди газет и журналов – белая обложка ‘Аполлона’ с силуэтом стреляющего бога. – Покупаю его. – Я видел и раньше этот журнал, но рассматривал его мельком. Теперь он – моя собственность! Я владею им безраздельно! Это восьмой номер за май-июнь 1910 года». И далее мемуарист описывает свое чтение журнала за обедом в привокзальном буфете: «Я жадно выхватывал отдельные строки, фразы из середины статей. <...> – Накидываясь на него, всматриваясь в воспроизведения, конечно, хватал куски из разных мест. Как интересно! Все интересно! Скульптура меня всегда не очень трогала, я смотрел на нее как посторонний. Но гравюры Валлогона меня взволновали. <...> – Иллюстрации Кустодиева к ‘Аггею Коровину’ заворожили меня, я влюбился в них, мне даже понравились ноги в виде сосисок там, где герой рассказа А. Толстого сидит в кресле. Окно, деревья – божественны! А какая ядовитая томительность в рисунках Петербурга. Машенька, Львиный мостик! <...> – Я два раза подряд прочел стихотворение Иннокентия Анненского и запомнил навсегда: ‘Желтый пар Петербургской зимы, / Желтый снег, облипающий плиты...’ <...> – ‘Заветы символизма’ Вячеслава Иванова я читал, как будто ел пирог с деревянными опилками или пробирался сквозь заросли боярышника или терна. – Но зато какое захватывающее чтение – письмо из Парижа Якова Тугендхольда! Станция Ртишево исчезла, куда-то улетела, как улетают декорации в волшебном спектакле. – <...> Я вышел пройтись по платформе... Голова горела от образов, подаваемых едкими, сладкими словами, они рождали образы, эти слова какого-то неизвестного у нас в семье автора – Тугендхольда. Его слова жалили, как змеи, присасывались, как пиявки... Воздух платформы не освежал... Мне было только шестнадцать лет!»<sup>23</sup>.

В своих воспоминаниях мемуарист обращает внимание на один из главных «дифференциальных признаков» нового для него журнала – его исключительную тематическую полифоничность, несвойственную другим изданиям<sup>24</sup>. Одновременно с этим, разрозненные замечания Милашевского предоставляют возможность «реконструировать» роль и значение «Аполлона» в становлении его художественного мировоззрения, что, очевидно, допустимо проецировать на мно-



гих представителей культурной среды России того времени. Сам он так характеризовал данный факт: «Мои сознательные годы, годы полумальчика-полуоноши, совпали уже не с журналом ‘Мир искусства’. Шла другая эпоха. – Будучи реалистом пятого, шестого классов, я увидел журналы ‘Весы’, ‘Золотое руно’ и самые первые книжки ‘Аполлона’ с обложкой Добужинского и фронтисписом Бакста. – Именно эти белые обложки с рисунком стреляющего Аполлона я вижу перед собой, когда вспоминаю ломку своего художественного сознания». И далее, критически отзываясь о безуспешных попытках обучения живописи в Саратове, автор делает неожиданный вывод: «Мы не получили никаких навыков, никаких принципов; кроме того, стали ясно чувствовать, что мы интеллектуальнее, сложнее, чем наш довольно примитивный учитель. К тому же за восемь рублей мы могли купить восемь книжек ‘Аполлона’, а это куда полезнее, чем писать в темном углу череп»<sup>25</sup>. Нельзя не отметить тот факт, что едва ли не прямую параллель рассказу Милашевского об «эталонном» для приверженцев нового искусства характере «Аполлона» с точки зрения соотношения цены и публикуемых в нем материалов содержат воспоминания Георгия Иванова в связи с его авторским вознаграждением за поэтический дебют в откровенно маргинальном издании: «Гонорар был мне уплачен по пять копеек за строчку, всего рубль восемьдесят копеек. Прибавив три двадцать собственных, экономленных на пирожных и папиросах, я внес эти деньги в полугодовую подписку на ‘Аполлон’»<sup>26</sup>.

В таком контексте невозможно безоценочно воспринимать тот факт, что Маковский согласился на первую публикацию в своем журнале совершенно неизвестного автора, причем в данной ситуации следует учитывать и его возраст<sup>27</sup>. Сам главный редактор журнала позднее оставил об О.М. неформальные, лично окрашенные воспоминания, в которых летит отзываясь о нем с исключительной теплотой: «В течение восьми лет (вплоть до моего отъезда из Петербурга весной [19]17 года) я встречался с ним в редакции ‘Аполлона’. Неизменно своим восторженно-задыхающимся голосом читал он мне стихи. Я любил его слушать. Вообще любил его»<sup>28</sup>. О более чем доброжелательном отношении главного редактора столь авторитетного издания к автору косвенно свидетельствуют и факты последующего появления в журнале не только мандельштамовских стихотворений, но и его статей «О собеседнике» (1913. № 2), «Франсуа Виллон» (1913. № 4) и «Петр Чаадаев» (1915. № 6/7)<sup>29</sup>. Известный отказ от публикации в «Аполлоне» мандельштамовского варианта акмеистического «манifestа» – статьи «Утро акмеизма» – требует отдельного рассмотрения, поскольку, согласно содержащейся в мемуарах вдовы поэта

«официальной версии», противниками ее появления в печати были оба основателя нового течения<sup>30</sup>. В то же время, представляется допустимым видеть в происшедшем нежелание главного редактора «мультиплицировать» аналогичный текст Гумилева, – подобно тому, как Маковский пытался не допустить в печать «манифест» Городецкого<sup>31</sup>. Но при всех самых разнообразных внешних обстоятельствах представляется не вызывающим сомнений утверждение о том, что автор приведенного мемуарного свидетельства – один из самых ярких и деятельных представителей русской культуры 1910-х годов – сыграл в жизни О.М. не просто заметную, но, во многом, формообразующую роль; в еще большей степени данное обстоятельство касается созданного и руководимого им журнала<sup>32</sup>.

В первую очередь это относится к тем эстетическим принципам нового издания, которые были определены в редакционной заметке в первом номере журнала: «Пусть искусство соприкасается со всеми областями культурной сознательности, – от этого оно не менее дорого нам как область самостоятельная, как самоцельное достояние наше – источник и средоточие бесчисленных сияний жизни. – Давая выход всем новым росткам художественной мысли, ‘Аполлон’ хотел бы называть своим только строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство за пределами болезненного распада духа и лже-новаторства. – Отсюда и боевые задачи ‘Аполлона’: во имя будущего неизбежна борьба за культурное достояние»<sup>33</sup>. В первоначальной редакции вступления данный аспект будущей деятельности журнала был представлен в более развернутой и категоричной форме: «Основная цель ‘Аполлона’ – уяснить и развивать назревающие стремления русского общества к стройному, сознательному, ‘аполлоническому’ началу творчества. Оставаясь далеким от тенденции к ‘академизму’, к школьной косности в какой бы то ни было области художественных достижений, давая выходы всем новым росткам художественной мысли в самом широком значении слова, редакция ‘Аполлона’ хотела бы тем не менее называть своим только действительно жизнеспособное, только строгое и подлинное искание красоты, чуждое того бессильного брожения и распада, которые наблюдаются слишком часто в искусстве и литературе нашего времени. Лозунг журнала – ‘аполлонизм’, т. е. принцип культуры, унаследованной всем европейским человечеством и претворенной в идеях гуманизма. Отсюда и боевые задачи ‘Аполлона’: во имя будущего неизбежна борьба за культурное достояние»<sup>34</sup>. Традиционно считается, что данный текст был написан Маковским на основе предложенного Анненским проекта редакционной «декларации» и стал «выражением эстетических

установок Анненского в жестких стилистических рамках программного манифеста»<sup>35</sup>. Такая формулировка кажется слишком категоричной: вряд ли бы будущий главный редактор доверил стороннему автору, даже безоговорочному единомышленнику, изложить программу нового издания независимо, полностью от своего лица и без учета его личной точки зрения. Но насколько ни было бы значительно участие Анненского в реальности, данный факт, безусловно, не мог оставить равнодушными будущих поэтов-акмеистов при формировании их собственного образа «Аполлона».

Вместе с тем, близкие, если не сказать тождественные, взгляды на современное искусство в развернутой форме были изложены в вышедшем в том же 1909 году втором издании двухтомного сборника статей Маковского «Страницы художественной критики». Во вступительной заметке он, в частности, отмечал: «Загадочный процесс превращения жизни в красоту не знает различия между праведным и грешным. Всегда настает время, когда деяния славных перестают трогать нравственное чувство потомков. <...> Зато их изображения из бронзы и мрамора и им посвященные строфы поэтов нетленны вовеки. <...> Вы видите: храмы и кумиры бессмертнее богов. Олимпийцы умерли, <...> но их изваяниям все еще продолжают шептать молитвы. С каждым поколением почитателей красота их рождается вновь. <...> Красота религии переживает религию. Творческое слово несомненное Бога... <...> – Поистине долговечна только художественность бывшего когда-то жизнью. Долговечны только дела и произведения, воплотившие красоту веков»<sup>36</sup>. Лаконичная, но, по сути, исчерпывающая характеристика художественных взглядов Маковского, определяемых как панэстетические, принадлежит Александру Лаврову: «Отрицая традиции академизма и передвижничества, он приветствовал искания западноевропейских мастеров конца XIX в. и художников 'Мира искусства', способствовавших возрождению самоценного творчества, движимого собственно живописными (а не идейно-описательными) задачами. Вместе с тем Маковский отрицательно относился и к новейшим 'левым' тенденциям в искусстве – к авангардным течениям, в которых усматривал лишь 'эстетическое дикарство'»<sup>37</sup>. Формирующийся вокруг данной проблематики религиозный контекст не является просто сопроводительным, «иллюстративным» материалом, но носит глубоко личный характер, что, в частности, отражено в более позднем поэтическом творчестве самого Маковского. Одно из несомненных свидетельств этому – посвященный Вячеславу Иванову венок сонетов «Костел» (1922–1926), а точнее, финальные строки пятого стихотворения: «Как дивен лик престольного холста, / и прозорлив, и милостив бездонно, / как ласково-

божественны уста! / Люблю Тебя коленопреклоненно, / в Тебе одной люблю любовь, Мадонна, / и всё, чему название красота», – и первая строфа шестого: «И всё, чему название красота, / не отблеск ли отчизны неизвестной, / где музыкой и тишиной чудесной, / из края в край долина залита»<sup>38</sup>.

Не будет преувеличением сказать, что в художественном сознании автора понятие «красоты» (искусства) выступает как своеобразная индивидуальная мифологема, находящаяся в процессе постоянного диалога с «жизнью» (реальностью). С утверждения этого начинается второй том собрания статей Маковского, посвященный русской живописи: «Искусство и жизнь – как две линии, пересекающиеся в бесконечности. Они кажутся параллельными, но сходятся постепенно и где-то встречаются. Чтобы убедиться, надо заглянуть очень далеко назад. На отдалении тысячелетий линии почти совпадают: искусство становится жизнью былых эпох, и жизнь преобразуется в красоту. – Несомненно, что когда-нибудь и наше ‘новое’ искусство – всё творчески живое в нем – явится тоже слитым с жизнью, его создавшей»<sup>39</sup>. Необходимость особого отношения современников к «красоте» стала одной из главных идей и опубликованной в первом номере журнала статье-манифесте Александра Бенуа: «Мало говорить и думать прекрасное; надо еще выявлять красоту, надо постоянно рождать ее. И мало рождать ее в неодушевленных кристаллизованных образах; нужно, чтобы прекрасное двигалось и сплеталось со всей деятельностью человека. <...> Пора устремиться вон из душного ‘эстетства’, из специальных проблем. Но не в лес хочется бежать, не в дичь, не к сатирам, не к Марсию, а хочется красоту снова сделать живой и обшей, хочется жить в красоте, а не только поклоняться красивым и мертвым вещам»<sup>40</sup>. В известном смысле подобные взгляды, проецируемые на поэтическое творчество, были близки и Гумилеву, о котором Георгий Иванов писал вскоре после гибели старшего поэта («Летопись Дома литераторов». 1922. № 1): «Если мы проследим пройденный Гумилевым творческий путь, мы не найдем на всем его протяжении почти никаких отклонений от раз поставленной цели. Стремление к ней, сначала инстинктивное, с годами делается все более сознательным и волевым. Цель эта – поднять поэзию до уровня религиозного культа, вернуть ей, братающейся в наши дни с беллетристикой и маленьким фельетоном, ту силу, которою Орфей очаровывал даже зверей и камни. – В этом пафос поэзии Гумилева, в этом смысл ее для самого поэта. Читателю, ищущему в стихах только державинского сладкого лимонада или гражданской микстуры (а как близко к 100% число таких читателей, мы знаем), – эти замыслы казались только красивой позой. И какой бы литератур-

ный успех ни сопровождал Гумилева, в самом этом успехе таилась бы глубокая взаимная рознь – между поэтом, ставящим себе такие задачи, и его пестрой и случайной аудиторией. – Н. Гумилев сознавал это чрезвычайно остро, и вся его критическая, лекционная, студийная работа была целиком направлена на воспитание кадров читателей, способных воспринимать его»<sup>41</sup>.

Обе эти доминантные для художественного сознания Маковского и идеологии редактируемого им издания «мифологемы» – и «жизнь», и «красота» – были безусловно актуальны уже для самых ранних стихотворений О.М., где их смысловая корреляция совершенно отчетлива, как, например в написанном в 1909 году «Здесь отвратительные жабы...»: «Когда б не смерть, так никогда бы / Мне не узнать, что я живу. // Вам до меня какое дело, / Земная жизнь и красота?»; эта же семантическая модель присутствует в датируемом тем же годом стихотворении «Дыханье вещее в стихах моих...», содержащем образ «Тех раковин, в песке поющих, / Что круг очерченной им красоты / Не разомкнули для живущих»; чуть позже, в акмеистический период своего творчества, О.М. прямо определит творческую по своему происхождению категорию красоты как пятую стихию мироздания: «красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер простого столбара. // Нам четырех стихий приязненно господство, / Но создал пятую свободный человек» («Адмиралтейство», 1913)<sup>42</sup>. Несмотря на общепозитический и общекультурный характер подобной метафоричности, симптоматичной становится принадлежащая Маковскому общая оценка поэзии О.М. периода «Аполлона», отражающая специфику его творческой манеры, которая отмечалась большинством современников и которая характеризуется автором в терминологии его собственной историсофско-культурологической концепции: «Он стал 'аполлоновцем' в полной мере, художником чистейшей воды, без уклонов в сторону от эстетической созерцательности. Впоследствии, в годы революции, которую он пережил очень болезненно <...>, он стал другим, индиксаторно философствующим на социальные темы... Но сейчас я говорю о юном Мандельштаме, о годах 'Аполлона'. Тогда к поэзии сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преображением мира в красоту – и ничем больше. И добивался он этого преображения всеми силами души, с гениальным упорством – неделями, иногда месяцами выискивая нужное сочетание слов и буквенных звучаний»<sup>43</sup>. Нетрудно заметить, что в основе индивидуальной манеры О.М. (и, следовательно, его творческого мироощущения) автор видит столь близкую ему самому категорию красоты и стремление к ее художественному воплощению в реальности, в окружающей действительности, которая оказывается изоморфна поэтическому

творчеству. Возможно, именно поэтому так высока была еще прижизненная его оценка этой поэзии, известная по поздней мемуарной записи Ахматовой: «Маковский напечатал нас почти одновременно в 'Аполлоне'. Мне Маковский по этому поводу сказал: 'Он смелее вас'. И причем-то еще было слово 'дерзает'. Это было наше начало (1911 г.)»<sup>44</sup>.

Вероятные параллели взглядам Маковского и, значит, участникам редакции «Аполлона» на современное искусство обнаруживаются и в более поздний период творчества О.М., относящийся к началу 1920-х годов, когда после целого ряда объективных обстоятельств (в первую очередь – трагической гибели Гумилева) для его художественного сознания вновь стали актуальны категории акмеистической системы ценностей. Свое отражение данный факт наиболее полно обнаруживает, в частности, в изданной в 1922 году в форме монографии статье «О природе слова», наравне с другим текстом – «Слово и культура» (1921) – носящей откровенно программный, декларативный характер<sup>45</sup>. Непосредственно в связи с главными эстетическими установками акмеизма О.М. безоговорочно констатирует: «Городецким в свое время была сделана попытка привить акмеизму литературное мировоззрение, 'адамизм', род учения о новой земле и о новом Адаме. Попытка не удалась, акмеизм мировоззрением не занимался: он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идея, а главным образом вкус к целостному словесному представлению, образу в новом органическом понимании. Литературные школы живут не идеями, а вкусами: принести с собой целый ворох новых идей, но не принести новых вкусов – значит не сделать новой школы, а лишь основать полемику. Наоборот, можно создать школу одними только вкусами, без всяких идей. Не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма»<sup>46</sup>. И если у О.М. «вкус» в данном случае фигурирует как условие возникновения и существования нового литературного направления, то есть остается в границах поэтического, художественного пространства, то в написанном много ранее вступлении к первому номеру «Аполлона» Маковский, по сути, репрезентировал «хороший вкус» уже как культурологическую категорию и один из гарантов преобладания «искусства» над «жизнью». В последних строках редакционного «предисловия» в начинающейся биографии нового издания автор так определил его «боевые задачи»: «во имя будущего необходимо ограждать культурное наследие. Отсюда – непримиримая борьба с нечестностью во всех областях творчества, со всяким посяганием на хороший вкус, со всяким обманом, будь то выдуманное ощущение, фальшивый эффект, притязательная поза или иное злоупотребление личинами искусства»<sup>47</sup>.

При этом О.М., говоря о периоде главенства символизма в литературной жизни России и давая ему самую уничижительную характеристику, без явных конкретных причин в качестве едва ли не главного «дифференциального признака» этого явления упоминает журнал «Весы»: «Весьма замечательную в русской поэзии эпоху символистов группы ‘Весов’, развернувшуюся за два десятилетия в колоссальную, хотя на глиняных ногах, постройку, лучше всего определить как эпоху лжесимволизма». И там же издание символистов упоминается О.М. в более чем характерном «типологическом ряду» уже не просто как примета времени, а как самостоятельное звено историко-литературной эволюции: «Как удивительна судьба Анненского! Прикасясь к мировым богатствам, он сохранил для себя только жалкую горсточку, вернее – поднял горсточку праха и бросил ее обратно в пылающую сокровищницу Запада. Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики. Не было еще ‘Весов’. Молодой студент Вячеслав Иванович Иванов обучался у Моммзена и писал по-латыни монографию о римских налогах. И в это время директор царкосельской гимназии долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал»<sup>48</sup>. В свою очередь, в истории «Аполлона» остался более чем заметный эпизод, связанный с прекращением выпуска этого вестника русского символизма: «В декабре 1909 года вышел последний номер флагмана символизма, журнала ‘Весы’. Освободившуюся литературную трибуну спешили занять новые периодические издания <...>, <...> в Петербурге такой журнал уже появился: в конце октября 1909 года вышел первый номер ‘Аполлона’. – Стремясь подчеркнуть свою преемственность по отношению к авторитетному московскому журналу, редакция ‘Аполлона’ уже в начале 1910 года задумывает цикл посвященных ему статей. Н. Гумилев назначается на освещение поэзии в ‘Весех’, М. Кузмин должен был написать о прозе ‘Весов’, бар[он] Н. Врангель – о художественном отделе журнала. Г. Чулкову редакция поручила написать обзорную рецензию. – В седьмом (апрельском) номере 1910 года, однако, в свет вышла только статья Чулкова, за которой последовала отрицательная реакция со стороны бывших участников ‘Весов’, в частности – В. Брюсова»<sup>49</sup>. Именно этот текст – «рецензия», а по сути дела, самая уничижительная характеристика, данная Георгием Чулковым прекратившему свое существование изданию, стала источником откровенного литературного скандала, ассоциации с которым могли найти свое отражение в мандельштамовской статье. Позднее более чем живописную характеристику этого эпизода оставил в своих мемуарах Георгий Иванов

(1928): «Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу – ‘Весы’ закрылись. ‘Торжествующая реакция’ основала петербургский ‘Аполлон’, и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага ‘О Весах’»<sup>50</sup>.

Еще одной общей чертой для «культурологической» системы ценностей О.М. и его старшего современника являлось неприятие прагматического отношения к поэзии как к гражданской и – шире – социальной составляющей общественной жизни. В предисловии к первому тому своих искусствоведческих очерков Маковский констатировал как непреложный факт: «Русский писатель, русский поэт, живописец, как только он сознает себя стоящим выше уровня, роковым образом приходит к мысли, что художник должен быть учителем жизни, что служение красоте – недопустимая роскошь, если само оно не служит ‘высшей идее’. – Оттенки этой моральности, конечно, меняются с поколениями. Сущность ее остается тою же. Искусство – не цель, но только средство; красота – только оболочка, только форма иных откровений, говорящих о целях нравственного бытия. ‘Добрые дела долговечней самой сияющей красоты’. – В этом признании коренится и первородный грех нашей критики. От художника она требует идей, взглядов, моральных идеалов, истины и пользы – не искусства. <...> Я приветствую – среди современного, молодого поколения русских художников и критиков – всех борющихся с этим закоренелым недоразумением. <...> Красота самое долговечное из дел человеческих, добрых или злых безразлично»<sup>51</sup>. Это антитенденциозное направление проводилось и редакцией журнала в целом: «Внешний курс литературно-критического отдела ‘Аполлона’ направлялся общими установками модернистской эстетики: отрицание гражданственно-го и морализующего творчества как ‘утилитарного’, признание всевластия художника, антипозитивизм и антинатурализм. Критические мишени ‘Мира искусства’ и ‘Весов’ сохранялись. Творчество шестидесятников и писателей ‘Знания’, живопись передвижников и искания Художественного театра, ‘гибельное’ для искусства ‘направленство’ и ‘приземленный’ реализм осуждались на страницах ‘Аполлона’»<sup>52</sup>. Совершенно прямо об этой журнальной тенденции высказался Маковский, разясняя критику и читателям редакционную позицию: «Подлинный художник – не эстет <...>. Чтобы создать прекрасное, пусть самое далекое от жизни, художник должен принять всю жизнь, со всем богатством ее религиозных, моральных и даже гражданских волнений. <...> Если же, тем не менее, варварством кажется нам некрасовское ‘Поэтом можешь ты не быть’, то потому, что для нас ‘быть поэтом’ значит уже ‘быть гражданином’»<sup>53</sup>.

В несколько отличной терминологии о близком явлении О.М.



рассуждал в статье «О природе слова»: «Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до ‘гражданина’, но есть более высокое начало, чем ‘гражданин’, – понятие ‘мужа’. В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и ‘мужа’. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Всё стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире»<sup>54</sup>. Своеобразным прологом к этому утверждению стало определение ахматовской поэзии середины 1910-х годов, содержащееся в неопубликованной рецензии О.М. на выход «Альманаха Муз» (1916–1917(?)): «стихи альманаха мало характерны для ‘новой’ Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора. В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед жены»<sup>55</sup>. Судя по сдержанной, но явно «антисимволистской» тональности, проявившейся в характеристике творчества Вячеслава Иванова и Валерия Брюсова, в соединении с доброжелательными откликами об авторах «Аполлона» (Анна Ахматова, Михаил Кузмин), мандельштамовский текст, возможно, предназначался для литературного отдела этого журнала.

Другой важной особенностью художественной манеры О.М., названной Маковским в приведенном выше фрагменте, стала специфика отношения поэта к языковому материалу, заключавшаяся, по мнению мемуариста, в обусловленном объективными причинами известном мандельштамовском дистанцировании от него: «Писал немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно, только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать как-то по-новому. Объясняется это, вероятно, и тем отчасти, что он не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неутомимо вслушиваясь в него и загораюсь от таинственных побед над ним», – и чуть ранее: «Никогда не встречал я стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество, имело бы большее значение. Отсюда восторженная любовь Мандельштама к латыни и особенно к древнегреческому. Можно сказать, что античный мир он почувствовал до какого-то ясновидения через языковую стихию эллинства. Но и к России, к рус-

ской сути, к царской Москве и императорскому Петербургу, он прикоснулся тоже, возлюбив превыше всего – русскую речь, богатство ее словесных красот, полнозвучие ударных гласных, ритмическое дыхание строки»<sup>56</sup>.

Такая точка зрения представляется более чем преувеличенной: вряд ли подчеркнуто внимательное отношение О.М. на протяжении всей его жизни к «стихии русского языка» было мотивировано только стремлением освоения его как неродного; более актуальной для поэта представляется цель раскрыть тот едва ли не безграничный семантический, содержательный потенциал, который в языке присутствует. Собственно говоря, об этом пишет и сам мемуарист, удивительным образом повторяя тезис Юрия Тынянова о присутствующем в стихотворной строке «взаимозаражении слов значением»: «Вообще слова у Мандельштама часто не совпадают с прямым своим смыслом, а как бы ‘намагничены’ изнутри и втягивают в себя побочные представления»; в более развернутой форме это повторится при характеристике символистской поэтики: «Символизм – это, прежде всего, сжатость образного мышления, сжатость, доводимая иногда <...> до криптограммы. Несколькими словами, одним словом-метафорой выражается сложная ветвистая мысль или сложное ощущение и, чаще всего, такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или, – даже не теряя его, – как бы преобразуется от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям»<sup>57</sup>. Соответственно, по формулировке О.М., «критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные признаки сами условны, преходящи и производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое – от точки и до точки, ослепительно ясной в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, ‘константой’, остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка. – Когда латинская речь, распространившаяся по всем романским землям, зацвела новым цветом и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература – детская и убогая по сравнению с латинской, но уже романская. <...> Русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных примесей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний, но в одном он останется верен самому себе, пока и для нас не прозвучит наша кухонная латынь»<sup>58</sup>.

Говоря о близости целого ряда составляющих художественного

мировоззрения О.М. редакционной позиции «Аполлона», безусловно, нельзя не учитывать личного влияния, оказанного на него окружением того времени. Речь прежде всего должна идти о так называемой «молодой редакции 'Аполлона'» – неформальном объединении авторов и сотрудников нового издания, сформировавшемся с момента выхода в свет первого номера. В его состав входили «И. Ф. Анненский, С. А. Ауслендер, А. А. Ахматова, <...> кн. С. М. Волконский, М. А. Волошин, бар. Н. Н. Врангель, С. М. Городецкий, Н. С. Гумилев, И. фон Гюнтер, Е. А. Зноско-Боровский <...>, гр. В. А. Комаровский, М. А. Кузмин, М. Л. Лозинский»<sup>59</sup> и др. Еще более широкий круг имен, ни одно из которых нельзя назвать случайным, приводит в этой связи в своих мемуарах Юрий Анненков: «в очень быстрый срок все авангардное русское искусство тех лет объединилось вокруг 'Аполлона', ставшего подлинным центром русской художественной жизни, художественной мысли. В помещении редакции 'Аполлона', на Мойке, постоянно происходили встречи, собрания, споры, чтение стихов, беседы о новом театре, музыкальные вечера... Александр Бунуа, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Лев Бакст, Александр Блок, Михаил Кузмин, Алексей Толстой, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Федор Сологуб, Владимир Пяст, Сергей Городецкий, Мстислав Добужинский, Димитрий Стеллецкий, Иннокентий Анненский <...>, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Судейкин, Александр Головин, Всеволод Мейерхольд, Николай Евреинов, Федор Комиссаржевский, Сергей Волконский»<sup>60</sup>. Непосредственно о характере общения, присутствовавшего в редакционном окружении, один из активных участников этого объединения вспоминал позднее: «В первые месяцы мы каждый день собирались в редакции, где, конечно, было много болтовни. Но иногда это нужно: бывало, что в болтовне рождались большие мысли и в работу редакции вносились значительные вклады. <...> И мы в самом деле были коллективом. Мы часто действовали коллективно. Рукописи, в особенности стихи, зачастую читались коллективно и так же отклонялись. Критика тоже производилась коллективно»<sup>61</sup>. Разумеется, подобное общение не могло не оказать прямого и опосредованного воздействия на формирование художественных взглядов О.М., точно так же, как и образовавшиеся и активно действовавшие при «Аполлоне» «Общество ревнителей художественного слова», «Общество изучения современной поэзии», «Общество для всестороннего изучения риторики как искусства» и др., постоянно проходившие в помещении редакции небольшие выставки современных художников, концерты и т. п.<sup>62</sup>.

Как кажется, не могло не оказать на О.М. влияние – прямое или

опосредованное – и следование Маковским постоянному интересу к своему главному культурному приоритету – художественному искусству, что находило самые разнообразные формы отражения в тематической стратегии руководимого им издания. О такого рода специфической черте журнала Николай Оцуп в первой половине 1950-х годов вспоминал: «‘Аполлон’ пользовался хорошей репутацией, но мало-помалу ‘поиски красоты’ одержали верх, и за исключением статей Гумилева можно сказать, что журнал превратился в своего рода иллюстрированный каталог картин разных художников. Любители живописи найдут удовольствие в перелистывании этого журнала, изобилующего роскошными и тщательно сделанными репродукциями. Что же касается литературы, случайные сокровища теряются среди посредственных статей, повестей и стихов»<sup>63</sup>. Сам основатель «Аполлона» позднее определил его как журнал, «посвященный главным образом искусствам изобразительным и критике, – на второй год пришлось пожертвовать всей беллетристической прозой»<sup>64</sup>; собственно говоря, уже в подборке откликов столичной и провинциальной прессы на выход в свет первого номера нового издания присутствовали прямые обвинения и в его избыточной «литературоцентричности», и в недостатке таковой одновременно, – ср.: «Первый № ‘Аполлона’ не оправдал <...> самых скромных надежд. Ждали журнал живописи, скульптуры и архитектуры, а получили почти исключительно литературный журнал с явным стремлением к модернизму. Таких журналов и без ‘Аполлона’ достаточно», – и: «Слишком много теории, слишком мало литературы и, главное, подлинной поэзии. <...> Позой, старой позой и чем-то, действительно, ремесленным, сухим отмечен новый журнал»<sup>65</sup>.

Возвращаясь к эпизоду о якобы состоявшемся совместном с матерью «визитом» О.М. в редакцию «Аполлона», представляется допустимым высказать предположение о том, что «версия» Маковского имела вполне конкретный источник. Основой для столь популярной и откровенно вымышленной легенды, возможно, стало реальное событие, происшедшее 17 февраля 1907 года, – празднование дня рождения (30-летия) Изабеллы Венгеровой, на котором состоялось мандельштамовское знакомство с Максимилианом Волошиным<sup>66</sup>. Старший поэт позднее в дневниковой записи от 18 апреля 1932 года так вспоминал об этом факте: «Помню эту встречу – это было у сестры Зинаид[ы] Венгеровой – Изабеллы Афанасьевны (певицы). Там было нечто вроде именинного приема – торты, пироги, люди в жакетах и смокингах. Сопровождая свою мать – толстую немолодую еврейку, там был мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной

гимназии – вроде Поливановской – кажется, Тенишевской. Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. ‘Вот растет будущий Брюсов’, – формулировал я кому-то <...> свое впечатление. Он читал тогда свои стихи»<sup>67</sup>. Вполне вероятно, что рассказ об этом знакомстве, слышанный от одного или обоих его участников или от кого-то из свидетелей, и стал основой для появления «версии», изложенной в ориентированных на самую благожелательную интонацию воспоминаниях Маковского. Ввиду того, что Волошин, по его собственным свидетельствам, участвовал в организации «Аполлона» и самых первых шагах его редакции<sup>68</sup>, своими впечатлениями от знакомства с О.М. он вполне мог поделиться с главным редактором журнала уже в момент первого появления стихов начинающего поэта. Но вне зависимости от наличия или отсутствия «генетической связи» двух этих событий кажется трудновыполнимым логично объяснить мемуарное «новаторство» Маковского чем-то иным, кроме ошибки памяти.

О подобной «абerrации» должна идти речь и применительно к свидетельству Надежды Мандельштам: свое отрицательное отношение к абсолютному большинству известных ей версий мемуаров об О.М. она легко распространила и на воспоминания Иванова и Маковского: «Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский»; вместе с тем, в содержащуюся там же своеобразную типологию мемуарной недостоверности эти имена не включены: «Теперь, когда появился спрос, кроме зарубежного вранья появилось и свое отечественное. Надо различать брехню зловредную (разговоры ‘голубоглазого поэта’ у Всеволода Рождественского), наивно-глупую (Миндлин, Борисов), смешанную глупо-поганую (Николай Чуковский), лэфовскую (Шкловский), редакторскую (Харджиев <...>) и добродушную»<sup>69</sup>. Вряд ли только случайным совпадением можно объяснить тот факт, что принадлежащие вдове поэта уничижительные характеристики свидетельств обоих современников обнаруживают редкое для нее единодушие с ахматовскими записями лета 1965 года, относящимися к гипотетической работе над ее и, отчасти, Гумилева биографиями: «Кем нельзя пользоваться как источником (С. Маковский, Страховский, Г. Иванов, <...> Оцуп, Вс[еволод] Р[ождественский]) и все соученицы. <...> – Современное литературовед[ение] невозможно без критики источников. Пора научиться отличать маразматический (Мако) и злопахательский (Нев[едомская]) бред от добросовестной работы памяти. <...>. – Маковский, по-видимому, в старости жгуче завидовал Гумилеву. Этим объясняется его

возмутительное поведение»; то же самое, но в более корректной форме, она писала и в связи с мемуарами об О.М.: «Почему мемуаристы известного склада (Шацкий[-]Страховский, [Э.] Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен[едикт] Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют голову перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?»<sup>70</sup>. В подобном контексте вряд ли покажется совершенно неправдоподобным предположение о том, что именно принадлежащая Ахматовой оценка могла во многом стать формообразующим фактором для «антимемуарной» позиции ее младшей современницы.

Данное легко транспонируется и в более широкий план. Для человека, знающего о событиях и общей атмосфере литературной жизни России 1910-х годов фрагментарно и только с чужих слов, мемуары Иванова и Маковского могли обнаруживать вполне определенную «типологическую» близость, главным признаком которой становилась их историческая недостоверность. Однако таковая для этих авторов представляется принципиально противоположной: если старший мемуарист (пишущий на четверть века позже своего младшего современника) в целом придерживается самой общей характеристики изображаемого, часть из которого может быть совершенно не соответствующей действительности, то Иванов, напротив, практически всегда предельно точен в указании реальных событий, но при этом совершенно явно ориентирован на их исключительно живописное «оформление». В такой ситуации свидетельства Маковского, ориентированные не на описание конкретного событийного ряда, а на передачу собственных впечатлений от запомнившегося ему, с фактографической точки зрения оказываются более уязвимы, чем фиксация происходящего, принадлежащая Иванову. Но на вопрос об их достоверности, кажется, можно ответить, что это – не безответственные фантазии или сознательная корректировка вплоть до прямого искажения с целью повышения степени «художественности» текста и уровня его читабельности (что ярче всего воплотилось, пожалуй, в сочинениях Ирины Одоевцевой, Эмилия Миндлина и Владимира Милашевского) или в откровенно личных целях, направленных на столь частые у мемуаристов попытки создания собственного «историко-культурного» образа (Валентин Катаев, Всеволод Рождественский, Николай Чуковский и др.). Как представляется, в отличие от традиционных мемуаров Маковского, «Китайские тени» и «Петербургские зимы» были для Иванова собственно литературными произведениями с безусловной и ярко выраженной исторической и биографической

основой, что определяло и особенности содержательного строя текстов, и специфику их художественного выражения. Вслед за Марком Алдановым эту индивидуальность авторского повествования убедительно определили комментаторы ивановских «полубеллетристических фельетонов»: «Один из самых значительных прозаиков русского зарубежья Марк Алданов писал («Современные записки». 1928. Кн. 37), что ‘Петербургские зимы’ – ‘несомненно очень блестящий’ дебют поэта в прозе. Отводя упреки в неверном отражении петербургской жизни, он пояснял: ‘Это не беллетристика, это и не “очерки”’. Жанр книги трудный, и владеет им автор превосходно... Показывает он две эпохи. Люди бесятся с жиру – люди мрут с голоду. Время “Бродячей собаки” – время Смольного института. Удивительнее всего то, как обе эпохи <...> “перекликаются”...’ Романист Алданов понял, что ‘Петербургские зимы’ – не ‘документ’ и не бульварная ‘беллетристика’, а настоящая художественная проза»<sup>71</sup>. Симптоматичным представляется тот факт, что близким образом дважды о «Шуме времени» написал Дмитрий Святополк-Мирский: «Эти главы не автобиография, не мемуары, хотя они и отнесены к окружению автора. Скорее (если бы это так не пахло гимназией) их можно было бы назвать культурно-историческими картинками из эпохи разложения самодержавия» («Современные записки» (Париж). 1925. Т. 25. С. 542). Во втором отзыве («Благонамеренный» (Брюссель). 1926. № 1. С. 126) автор отмечал: «‘Шум времени’ – книга воспоминаний, но не личных, а ‘культурно-исторических’. Мандельштам действительно слышит ‘шум времени’ и чувствует и дает физиономию эпох»<sup>72</sup>.

Воспоминания Маковского в части, посвященной О.М., разумеется, содержат неточности, ошибки и легендарные, подчас совершенно фантастические «сведения». Впрочем, данные обстоятельства сопровождали «жизнеописание» поэта и на родине, особенно в первые послеоктябрьские годы и в середине 1930-х, являясь одновременно следствием и общей специфики общественной жизни страны, и недобросовестности пишущих, и исключительно «мифогенного» характера личности и биографии героя этих описаний. А для оторванных от реального круга событий, от непосредственного участия в культурной жизни в России рецензентов и мемуаристов Русского Зарубежья такие погрешности становились просто неизбежными. (Слухи и легенды о биографии и творчестве О.М., отраженные в эмигрантской печати, могли бы стать темой отдельного и весьма обстоятельного исследования.) И здесь, безусловно, необходимо различать отклонения от социально-исторической и литературной реальности, вызванные или ошибками памяти и недостоверными сведениями, как в случае с Сергеем Маковским, или спецификой

индивидуальной художественной манеры автора, как в ситуации с Георгием Ивановым. Но сказанное ни в коей мере не дискредитирует и не исключает их воспоминаний – написанных как в традиционной манере, так и в форме беллетризованных автобиографических «анекдотов», – из числа источников, содержащих достойные внимания материалы о самых разных аспектах биографии Осипа Мандельштама в дооктябрьский период. Во всяком случае, их достоверность, несомненно, намного превосходит чужой «алмазный венец» на черноморском побережье... да и «на берегах Невы» тоже.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Маковский С.* Осип Мандельштам // *Маковский С.* Портреты современников. – Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955. Сс. 377-379 (*Маковский С.* Портреты современников. – М.: XXI век – Согласие, 2000. Сс. 397-398; далее все цитаты в тексте даны по первому из изданий).
2. Как, например, в некоторых публикациях последних лет: *Лебедева Т. В.* Сергей Маковский: Страницы жизни. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2004. Сс. 148-150; *Фрейдин Ю. Л.* Еврейские праздники в стихах и прозе Осипа Мандельштама // Праздник – обряд – ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. Вып. 15. – М.: Сэфер; Институт славяноведения РАН, 2004. Сс. 286-287; *Лекманов О.* Осип Мандельштам: ворованный воздух. – М.: АСТ, 2015. С. 47 и др.
3. *Мандельштам Н.* Собрание сочинений: В 2 тт. / Сост. С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин, подгот. текста С. В. Василенко при участии П. М. Нерлера и Ю. Л. Фрейдина, комм. С. В. Василенко и П. М. Нерлера. – Екатеринбург: ГОНЗО, 2014. Т. 1: «Воспоминания» и другие произведения (1958–1967). Сс. 254-255. Т. 2: «Вторая книга» и другие произведения (1967–1979). Сс. 52-53.
4. *Мурина Е.* О том, что помню про Н. Я. Мандельштам // «Посмотрим, кого переупрямит...»: Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах. – М.: АСТ, 2015. С. 361. – То, как строился односторонний «диалог» спутницы жизни поэта с мемуаристами, наглядно демонстрируют ее пометы на полях первого посмертного издания О.М., касающиеся упоминаемых там источников биографических сведений о нем; см.: «Любил, но изредка чуть-чуть изменял»: Заметки Н. Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама / Подгот. текста и публ. Т. М. Левиной, примеч. Т. М. Левиной и А. Т. Никитаева // «Philologica». 1997. № 4. С. 188.
5. *Фрейдин Ю. Л.* Еврейские праздники в стихах и прозе Осипа Мандельштама. Сс. 286-287. – Представить, что существовали устные варианты этого мемуарного «свидетельства», которые стали известны О.М. после 1918 года – времени эмиграции Маковского из России, – кажется маловероятным.



ятым, но даже с хронологической точки зрения мандельштамовские воспоминания о матери никак не могли соотноситься с ними.

6. *Василенко С. В., Нерлер П. М.* Комментарии // *Мандельштам Н.* Указ. собрание сочинений: В 2 тт. Т. 1: «Воспоминания» и др. произведения (1958–1967). Сс. 538–539. – В этой связи необходимо отметить, что никаких прямых оснований для довольно распространенных утверждений об отрицательном отношении О.М. к «беллетристическим мемуарам» Георгия Иванова и их во многом откровенно фельетонной природе не существует. Более того, 3 февраля 1926 года поэт иронически писал в письме жене о посещении Ахматовой и упоминал об ивановских сочинениях хотя и в ироническом контексте, но вполне доброжелательно: «Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка: лежала она на диване веселая, но простуженная. Встретила меня ‘сплетнями’: 1) Г. Иванов пишет в парижских газетах ‘страшные пашквили’ про нее и про меня; во-2), ‘Шум времени’ – вызвал ‘бурю’ восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить» (*Мандельштам О.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 3: Проза. Письма / Сост., подгот. текста, комм. А. Г. Меца, подгот. текста и комм. К. М. Азадовского и др., комм. Л. М. Видгофа и др. – М.: Прогресс-Плеяда, 2011. С. 404). Любопытным представляется то обстоятельство, что источником негативной оценки «мемуаров» младшего современника О.М., более чем комплиментарных в своей основе, стала, очевидно, их ахматовская характеристика, о чем подробнее говорится в заключительной части данной публикации.

7. *Коростелев О. А.* Маковский С. К. // *Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта* (в печати).

8. *Мандельштам Е. Э.* Воспоминания / Публ. Е. П. Зенкевич // «Новый мир». 1995. № 10. С. 136.

9. *Мец А. Г. и др.* Комментарии // *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 3: Проза. Письма. – 2011. С. 741.

10. См.: *Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама* / Сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко и др. / 2-е изд., испр. и доп. – Toronto: Department of Slavic Languages and Literatures University of Toronto, 2016. – Наиболее откровенными и доказательными на сегодняшний день, очевидно, являются сомнения, высказанные Виктором Дранициным в подглавке «Осип Мандельштам и Сергей Маковский: к истории первой публикации поэта в ‘Аполлоне’» его исследования: «А я вверяюсь их заботе...»: Осип Мандельштам и его «литературные восприемники» на рубеже 1910-х гг. // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский альманах. Вып. 6 (в печати).

11. *Лекманов О.* Осип Мандельштам: ворованный воздух. С. 46.

12. *Мец А. Г.* Комментарий // *Мандельштам О.* Камень / Изд. подгот. Л. Я. Гинзбург, А. Г. Мец, С. В. Василенко, Ю. Л. Фрейдин. – Л.: Наука, 1990. С. 346; при этом время знакомства с Маковским отнесено к маю – июню 1909 года; см.: *Мец А. Г. и др.* Комментарии. Сс. 741–742.

13. Непосредственно с «Аполлоном» связана еще одна не кажущаяся убедительной именно в своей мотивационной основе датировка – время написания стихотворения О.М. «Природа – тот же Рим и отразилась в нем...» (1914), – которое комментатором определяется следующим образом: «Беловой автограф на бланке журнала ‘Аполлон’, вместе со стихотворением ‘Пусть имена цветущих городов...» (в виде цикла), с визой редактора: ‘Аполлон № 9. Набор – корпус. С. Маковский’. Архив М. Л. Лозинского. По визе стихотворение с большой степенью вероятности можно датировать 1914 годом, поскольку в последующие годы ноябрьский выпуск входил лишь в сдвоенные номера журнала.» (*Мец А. Г.* Комментарий. С. 313). Сложно предположить, чтобы в подобной ситуации в повседневных условиях носитель русской разговорной речи использовал хронологические координаты, учитывающие оба месяца; следуя такому убеждению, еще труднее представить, как бы он должен был поступить, если бы речь шла, например, об издании, выходящем четыре раза в год. В относительно недавнем «академическом» собрании сочинений О.М. (*Мец А. Г.* Комментарий // *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 1: Стихотворения. – 2009. С. 543) подробное обоснование такой датировки предложено смотреть по изданию: *Мец А. Г.* Осип Мандельштам и его время: Анализ текста. – СПб., 2005. Сс. 179-186, – однако указанные страницы приходится на публикацию дневника знакомого поэта по Тенишевскому училищу Николая Яковлева, в котором о мандельштамовском стихотворении нет ни слова.
14. *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 3: Проза. Письма. – 2011. С. 363.
15. *Иванов Г.* Невский проспект // *Иванов Г. В.* Собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского, В. П. Крейда, комм. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. – М.: Согласие, 1993. Сс. 326-327.
16. *Гюнтер И. фон.* Под восточным ветром // Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Ред.-сост., комм. В. Крейд. – Париж; Нью-Йорк: Голубой всадник; Дюссельдорф: Третья волна, 1989. С. 133.
17. *Корецкая И. В.* «Аполлон» // *Корецкая И.* Над страницами русской поэзии и прозы начала века. – М.: Радикс, 1995. С. 350.
18. *Маковский С. К.* Николай Гумилев (1882–1921) // *Маковский С. К.* На Парнасе Серебряного века. – М.: Наш дом-L’Aged’Homme; Екатеринбург: У-Фактория. 2000. С. 209.
19. *Гинзбург Л.* «Камень» // *Мандельштам О.* Камень / Указ. издание. С. 261. Ср.: *Лекманов О. А.* Мандельштам и символизм // *Лекманов О. А.* Книга об акмеизме и другие работы. – Томск: Водолей, 2000. Сс. 578-580; *Лекманов О. А., Глухова Е. В.* Осип Мандельштам и Вячеслав Иванов // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. – СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского университета, 2006. Сс. 173-175; *Goldberg S.*

Mandelstam, Blok, and the boundaries of mythopoetic symbolism. – Columbus: The Ohio State University Press, 2013. Pp. 35-81 и др., – а также: *Калмыкова В. В.* Символизм // Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта (в печати).

20. *Терапиано Ю.* Осип Мандельштам // «Грани». 1961. № 50. С. 102.

21. *Гумилев Н. С.* Полное собрание сочинений: В 10 тт. Т. 7: Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии / Подгот. текстов и примеч. М. Баскера и др. – М.: Воскресенье, 2006. С. 164. – В ином, уже акмеистическом контексте журнал был упомянут Александром Дейчем в рецензии на второе издание этого сборника стихотворений О.М. («Журнал журналов»). 1916. № 13. С. 14): «Я никак не могу припомнить, принадлежал ли О. Мандельштам к славной плеяде поэтов-акмеистов (просто у меня нет под рукой ‘криминального’ номера ‘Аполлона’ с программными статьями maître’ов этой quasi-школы, С. Городецкого и Н. Гумилева), но, читая книгу стихов ‘Камень’, я почувствовал в поэзии г. Мандельштама что-то акмеистское» (цит. по: Рецензии на «Камень» // *Мандельштам О.* Камень / Указ издание. С. 226).

22. *Иванов Г.* Петербургские зимы // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. Сс. 88-89.

23. *Милашевский В.* Вчера, позавчера: Воспоминания художника. – Л.: Художник РСФСР, 1972. Сс. 39, 41-43. В мемуарах, писавшихся, очевидно, в конце 1960 – нач. 1970-х годов, совершенно точно указаны размещенные в названном выпуске «Аполлона» материалы и приведены цитаты из них, что, безусловно, дает основания быть уверенным в наличии у автора экземпляра этого номера в момент работы над воспоминаниями. Неясным остается, по какой причине в перечисленных публикациях не упоминается, например, «программная» статья Блока «О современном состоянии русского символизма» и другие тексты самой разной жанровой принадлежности, явно заслуживающие внимания. – Прочитированный фрагмент, как и все подглавки, открывающие воспоминания художника и посвященные детским и юношеским годам его жизни в Саратове и Харькове, отсутствует во втором издании, для которого автор «значительно расширил первоначальный текст, но в то же время решил изъять некоторые страницы из опубликованного варианта как носящие сугубо автобиографический характер и потому не вызывающие, по его мнению, всеобщего интереса» (От редакции // *Милашевский В.* Вчера, позавчера... Воспоминания художника / 2-е изд., испр. и доп. – М.: Книга, 1989. С. 398).

24. Данное обстоятельство отмечает и большинство современных исследователей; ср., например: «Даже только в многообразии своих интересов ‘Аполлон’ до сих пор не превзойден – он занимался в равной степени изящными искусствами и словесностью, и зрелищными искусствами: театром и даже кинематографом, и музыкой» (*Дмитриев П. В.* Литературно-художественный ежемесячник «Аполлон» как Новая Академия: Традиции и некоторые перспективы // Аполлоновский сборник. – СПб.: Реноме, 2015. С. 6).

25. *Милашевский В.* Вчера, позавчера: Воспоминания художника. Сс. 27, 39. Там же (С. 29) содержится еще одно свидетельство: «Добужинского я узнал позднее, когда в Харькове купил на станции железной дороги номер журнала ‘Аполлон’ и увидел черные рисунки к ‘Ночному принцу’», – но достоверность его вызывает сомнения. Речь идет о публикации в самом первом номере: *Ауслендер С.* Ночной Принц. Романтическая повесть // «Аполлон». 1909. № 1 [Отдел «Литературный альманах»]; именно к ней Добужинский выполнил фронтиспис и четыре иллюстрации (которые никак нельзя отнести к числу его лучших работ). В уже цитировавшемся фрагменте мемуаров (также о приобретении журнала, но на станции Ртищево) Милашевский относит свой отъезд в Харьков к августу 1910 года, а оставался он там, по крайней мере, до лета 1913; трудно представить, чтобы в это время первый номер «Аполлона» (датированный октябрём 1909 года) можно было приобрести где-то кроме букинистических магазинов и уж тем более – на железнодорожной станции. Вряд ли это было возможно и на упоминавшейся станции Ртищево, так что речь, видимо, должна идти об аберрации памяти мемуариста. – «Триада» периодических изданий, ориентированных на искусство русского и западноевропейского модернизма, которую называет мемуарист, для представителей культурной среды 1910-х годов была устойчивым сочетанием; Иоганнес фон Гюнтер с его взглядом «стороннего наблюдателя» позднее вспоминал: «К двум московским журналам – брюсовским ‘Весам’, дышавшим на ладан, и ‘Золотому руну’, которое с трудом держалось после того, как Рябушинский прекратил ему свою помощь, в Петербурге должен был присоединиться еще один, в котором уже работали все мои друзья <...>. Журнал назывался ‘Аполлон’, издавал его писатель, поэт и историк искусства Сергей Маковский» (*Гюнтер И. фон.* Под восточным ветром. С. 131).

26. *Иванов Г.* Невский проспект. С. 326.

27. Юрий Анненков так охарактеризовал «практическую» сторону интереса главного редактора «Аполлона» к современному искусству: «Наиболее характерной и ценной чертой Маковского-искусствоведа было постоянное стремление открывать молодые таланты и давать им возможность проявить себя. Альтруизм Маковского был нескрываем. И это касалось не только изобразительного искусства, но в равной мере и художественной литературы, в особенности – поэзии. <...> Поиски молодых, или – еще никому не известных талантов – продолжались у Маковского и в зарубежье, где, в течение многих лет, он руководил издательством ‘Рифма’» (*Анненков Ю.* Сергей Маковский // *Анненков Ю.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. В 2 тт. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1991. Сс. 230, 232). Характерно, что и далее мемуарист приводит не требующий комментариев уже не легендарный рассказ о том, как Маковским в «Аполлоне» впервые были опубликованы стихотворения Анны Ахматовой.

28. *Маковский С.* Осип Мандельштам. С. 387.

29. Необходимо отметить, что именно в связи с публикацией историко-литературной эссеистики О.М. позднее, в рецензии на «Шум времени», о читательской аудитории «Аполлона» совершенно неожиданно негативно отзовется Дмитрий Святополк-Мирский («Современные записки» (Париж). 1925. Кн. XXV. С. 542): «Статьи [Мандельштама] разбросаны по журналам, преимущественно эстетским, – читатели которых весьма мало интересовались и интересуются умом и историей. Читатели ‘Аполлона’ не могли оценить, даже если и прочли, статью Мандельштама о Чаадаеве, напечатанную еще в 1915 г. и уже дающую почти полную меру его культурно-исторической зоркости» (цит. по: *Ефимов М.* Об упадке и возрождении филологической критики и о кн. Д. П. Святополк-Мирском // *Аполлоновский сборник.* – СПб.: Реноме, 2015. С. 139).

30. См.: *Мандельштам Н.* Вторая книга. С. 63.

31. Как известно, прямое свидетельство об этом факте принадлежит Ахматовой: «я помню, как к нам в Царское Село очень поздно вечером без зова и предупреждения пришел С. М. Маковский <...> и умолял Колю согласиться, чтобы статья Городецкого не шла в ‘Аполлоне’ (т. н. манифест), потому что у него от этих двух статей такое впечатление, что входит человек (Гумилев), а за ним обезьяна (Городецкий), которая бессмысленно передразнивает жесты человека» (*Ахматова А.* Дополнения к [«Листкам из дневника»] // *Ахматова А.* Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы / Сост., подгот. текстов, примеч. Н. Крайневой. – М.: Русский путь, 2005. С. 125). Скептическое отношение современников к теоретическим штудиям старшего поэта совершенно откровенно выразил Георгий Иванов: «Ни стихов Городецкого, ни его статей никто, даже самый неопытный из нас, не принимал всерьез» (*Иванов Г.* Китайские тени // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. С. 224).

32. Тема эта до сих пор не стала предметом более чем актуального самостоятельного исследования; единственное исключение, очевидно, составляет статья Веры Калмыковой «Аполлон», подготовленная к печати в рамках работы над коллективным проектом «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта»; ср.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. I // «Toronto Slavic Quarterly». 2016. № 55. Сс. 41–43. В более широком контексте о месте и роли журнала в становлении и развитии акмеизма см.: *Корецкая И. В.* «Аполлон». Сс. 354–362; *Лекманов О.* «Аполлон» и акмеизм // «Вопросы литературы». 1997. Сент.-окт. [№ 5].

33. *Ред[акция].* Вступление // «Аполлон». 1909. № 1. С. 4 (пагинация внутри первого отдела; пунктуация исправлена).

34. ЦГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. № 347; цит. по: *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Предисловие к публ.: *Анненский И. Ф.* Письма к С. К. Маковскому / Публ. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. – Л.: Наука, 1978. С. 225. Нетрудно заметить, что выска-

занные автором положения включают журнал в широкую «аполлоническую» перспективу отечественной культурной традиции, формировавшуюся и развивавшуюся с начала XIX века: «выход в свет журнала не только с ‘аполлоновским’ названием, но и четко формулируемой ‘аполлоновской’ программой был своего рода вызовом как эстетике воинствующего антиаполлинизма, так и традиционной вялой, приевшейся этике ‘безблагодатного’ аполлинизма. Несомненно, журнал был новым словом в художественной сфере, и название ‘Аполлон’ не просто, без особой обязательности, отсылало к имени Аполлона, но оно не было этикеткой, присваиваемой конвенционально очередному изданию, а должно было пониматься как само имя бога, которое отныне становится знаменем нового художественного направления, новой программой» (*Топоров В. Н.* Из истории петербургского аполлинизма: его золотые годы и его крушение // *Топоров В. Н.* Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. – СПб.: Искусство, 2003. С. 150).

35. *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Предисловие к публ.: *Анненский И. Ф.* Письма к С. К. Маковскому. С. 225.

36. *Маковский С.* Вместо введения // *Маковский С.* Страницы художественной критики. Книга первая: Художественное творчество современного Запада / 2-е изд. – СПб.: Пантеон, 1909. Сс. 13-14.

37. *Лавров А. В.* Маковский С. К. // *Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 тт. Т. 2: 3 – О / Под ред. Н. Н. Скагова. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. С. 502, стб. 1.* Из более общих публикаций можно упомянуть: *Лебедева Т. В.* Сергей Маковский: Страницы жизни и творчества. Сс. 53-67; *Егорова. И. Н.* С. К. Маковский – искусствовед / Дисс. ... канд. искусствоведения. – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2006 [эл. изд.]. Сс. 78-91 и др.

38. *Маковский С.* Вечер: Вторая книга стихов. – Париж, Imprimerie de Navarre, 1941. Сс. 111-112. – Парадоксальным представляется тот факт, что поэтическое творчество столь яркой фигуры в культурном пространстве России 1910-х годов, а позже – в Русском Зарубежье, до сих пор не стало предметом самостоятельного исследования. Единственное, кажется, исключение составляет очерк Татьяны Лебедевой «Поэзия в жизни Сергея Маковского», вошедший в ее уже упоминавшуюся монографию: Сергей Маковский: Страницы жизни и творчества. Сс. 336-375; там же содержатся ссылки на неопубликованную статью Эммануила Райса «Поэзия С. Маковского» (РГАЛИ. Ф. 2512. Ед. хр. 699). При этом глубоко личное отношение Маковского к поэтическому самовыражению отмечали многие мемуаристы; см., например: «первенствующее место в его творчестве занимала всегда его собственная поэзия, к которой он относился с чрезвычайной строгостью» (*Анненков Ю.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Сс. 232-233). Яркое подтверждение сказанному оставила Вера Судейкина, вспоминая о посещении поэтом их

дома в Крыму летом 1918 года: «Маковский нам читает свое стихотворение о революции, написано оно с проникновенной простотой, читает он его медленно и тихим голосом, и звучит оно очень по-русски, по-православному. Когда он произносит заключительное слово ‘аминь’, не только у нас, но и у него самого слезы на глазах» (*Судейкина В. А.* Дневник: 1917–1919 (Петроград – Крым – Тифлис) / Подгот. текста и комм. И. А. Меньшовой. – М.: Русский путь; Книжница, 2006. С. 151).

39. *Маковский С.* Длинное введение: художники, выставки и публика // *Маковский С.* Страницы художественной критики. Книга вторая: Современные русские художники / 2-е изд. – СПб.: Пантеон, 1909. С. 7. – Любопытен тот факт, что второй том этого собрания статей был подарен автором Гумилеву «в первых числах января 1909 в Петербурге, на выставке ‘Салон’», о чем Маковский вспоминал так: «На вернисаже ‘Салона’ судьба свела меня <...> с <...> Николаем Степановичем Гумилевым. <...> – В следующую раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих ‘Страниц художественной критики’)» (*Маковский С.* Николай Гумилев (1882–1921). Сс. 207-208); некоторые замечания к теме «Гумилев и Маковский» содержатся в работе автора: Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. I. Сс. 30-40. Очевидно, вскоре Гумилев познакомился с О.М. (см.: Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 30; запись от 15.4.1909), хотя, согласно точке зрения Виктора Драницина, «знакомство это имело сугубо формальный характер и не привело в 1909 г. ни к человеческому, ни к творческому сближению двух поэтов» (*Драницин В.* Осип Мандельштам и Николай Гумилев: К истории первых лет знакомства (1908–1912) // Осип Мандельштам и XXI век: Материалы международного симпозиума. Москва, 1-3 ноября 2016 года. – М.: АРМПОЛИГРАФ, 2016. С. 199). – Вместе с тем, следует отметить, что данное издание статей Маковского, вызывавшее явное неприятие у большинства представителей старшего поколения, для более молодой части читательской аудитории России, безусловно, было важным звеном в становлении их художественного, «культуроцентрического» мировоззрения. Одним из примеров этого может служить фрагмент уже цитировавшихся воспоминаний Милашевского, относящийся ко времени его провинциальной юности: «Я читал ‘Страницы художественной критики’ Сергея Маковского. Мой отец иронизировал по поводу каждой страницы» (*Милашевский В.* Вчера, позавчера: Воспоминания художника. С. 30). Там же приводится данная отцом мемуариста оценка современных художников, которая представляет собой практически прямую полемику с «антисоциальными» взглядами на искусство Маковского: «Я вижу во всех этих Сомовых, Рерихах или в самовлюбленном болтуне Александре Бенуа глубочайшее равнодушие к судьбам русского народа. Разнеженный и жеманничающий декадент не пойдет в стан погибающих ‘за великое дело любви’!». «Программная» цитата из стихотворения Некрасова

«Рыцарь на час», ставшая в ту эпоху своеобразным афористическим *credo* вполне определенных социальных групп, опосредованным, предельно редуцированным образом вводит в данное смысловое пространство имя О.М. «Проводником» этого становится Александр Блок, который для образной характеристики «последователей» Гомера использовал ее в форме почти прямой цитаты в известной статье «Творчество Вячеслава Иванова»: «Гомера исследовали, ему подражали – напрасно. Что-то предвечернее было в чистых филологах, которых рок истории заставил забыть свое родовое имя – ‘*nomen gentile*’. В этом ‘стане погибающих за великое дело любви’ была предсмертная красота» (*Блок А. А.* Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Т. VII: Проза (1903–1907) / Подгот. текстов и комм. Е. А. Дьяковой, Д. М. Магомедовой, И. Е. Усок. – М.: Наука, 2003. Сс. 7-8). Статья, писавшаяся в апреле 1905 года, была напечатана в сдвоенном четвертом – пятом номере журнала «Вопросы жизни», а в январском выпуске журнала «Пробужденная мысль» 1907 года было опубликовано одно из первых известных стихотворений О.М. («Тянется лесом дороженька пыльная...»), которое «написано, по-видимому, под впечатлением от рассказов о расправе правительственных войск с восставшими крестьянами в Зегевольде (ныне Сигулда) в начале 1906 г.» (*Мец А. Г.* Комментарий. С. 330) и которое, по далеко не бесспорному мнению ряда интерпретаторов, содержит аналогичную аллюзию некрасовского текста: «Скоро столкнется с звериными силами / Дело великой любви!» (*Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 1: Стихотворения. – 2009. С. 254; там же (с. 669) см. комментарий составителя); более развернутое сопоставление предложено в публикации: *Фролов Д. В.* О ранних стихах Осипа Мандельштама. – М.: Языки славянских культур, 2009. Сс. 32-34. Ряд исследователей (см.: *Ронен О.* О «русском голосе» Осипа Мандельштама // *Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. – СПб.: Гиперион, 2002. С. 55; *Reynolds A. W. M.* «Кому не надоели любовь и кровь»: The Uses of Intertextuality in Mandelstam's «*Za gremuchuiu doblest' griadushchikh vekov*» // Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума. – Tenfly: Эрмитаж, 1994. Рр. 147-148 и др.) предлагает видеть повторение этой цитаты и в мандельштамовском «За гремящую доблесть грядущих веков...» (1931, 1935): «Уведи меня в ночь, где течет Енисей» (*Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем. Т. 1: Стихотворения. С. 157), – что, однако, также не представляется вполне убедительным. – Вряд ли случайно в данный контекст как констатация факта может быть включено заглавие воспоминаний Василия Немирович-Данченко о Гумилеве – «Рыцарь на час»; см.: *Немирович-Данченко В. И.* Рыцарь на час (Из воспоминаний о Гумилеве) // Николай Гумилев в воспоминаниях современников / Ред.-сост., комм. В. Крейд. – Париж; Нью-Йорк: Голубой всадник; Дюссельдорф: Третья волна, 1989.

40. *Бенуа А. Н.* В ожидании гимна Аполлону // «Аполлон». 1909. № 1. Сс. 9-10 [пагинация внутри первого отдела].



41. *Иванов Г.* О поэзии Н. Гумилева // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. Сс. 490–491.
42. *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 1: Стихотворения. – 2009. Сс. 265, 263, 66. – Любопытным представляется то обстоятельство, что красота в художественной модели мира поэта часто оказывается явно или имплицитно соотнесена с водным началом, с категорией воды.
43. *Маковский С.* Осип Мандельштам. С. 381.
44. *Ахматова А.* Дополнения к [«Листкам из дневника»]. С. 122. – От внимания биографов О.М., кажется, ускользнул случай более сдержанного восприятия его поэзии Маковским, который относится к лету 1918 года, когда в Крыму Вера Судейкина читала стихи из «семейного» альбома и, в частности, посвященное ей и Сергею Судейкину мандельштамовское «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (1917), незадолго до этого записанное автором: «Стихотворение Мандельштама, посвященное нам, не особенно нравится ему, оно очень умно, но сухо, и он рассказывает о Мандельштаме.» (*Судейкина В. А.* Дневник: 1917–1919 (Петроград – Крым – Тифлис). С. 151); ср.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. I. С. 79 (по неаккуратности автора в данной публикации приведенная характеристика «переадресована» Судейкину). – Более конкретен в деталях Георгий Адамович, описавший еще один случай скептического отношения Маковского к стихам О.М.: «Когда-то Осип Мандельштам принес в редакцию изящнейшего декадентского журнала стихотворение, начинавшееся так: – Я не читал рассказов Оссиана, / Не пробовал старинного вина. – Стихотворение было прекрасное. Но редактор недолюбливал Мандельштама и не дал ему ответа. Когда Мандельштам ушел, он снова перечитал стихотворение и брезгливо, сквозь монокль глядя на листок, повторял: – Не пробовал старинного вина!.. Не пони...маю, господа... не понимаю... чем же тут хвастать: не пробовал хорошего вина!» (*Сизиф [Адамович Г.В.]*. Отклики // «Звено». 1926. 24 дек.); цит. по: *Тименчик Р.* Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы [В 2 т.] / Изд. 2-е, испр. и расш. – М.: Мосты культуры; Гешарим, 2014. Т. 2. С. 579. Судить о степени достоверности этого рассказа сложно, но в «Аполлоне» мандельштамовское стихотворение «Я не слышал рассказов Оссиана...» (1914) опубликовано не было.
45. В этой связи упомянутым будет привести замечание Павла Дмитриева о неслучайной «программной» тональности многих публикаций в «Аполлоне», особенно на первом этапе его существования: «Стремление заявить свою позицию по ключевым вопросам искусства и художественной политики заставляет редакцию многократно декларировать на страницах журнала свою позицию. Необходимость в таком постоянном утверждении своего художественного идеала (представленного уже в самом названии журнала), способствовала тому, что многие статьи ежемесечника, даже посвященные какому-то конкретному художественному явлению, воспринимались как свое-

- го рода манифесты» (*Дмитриев П. В.* «Аполлон» (1909–1918): Материалы из редакционного портфеля. – СПб.: Балтийские сезоны, 2009. С. 5).
46. *Мандельштам О.* О природе слова // *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 2: Проза. – 2010. С. 79.
47. *Ред[акция].* Вступление. С. 4.
48. *Мандельштам О.* О природе слова. Сс. 77, 75.
49. *Чабан А.* Статья Г. Чулкова о журнале «Весь» в контексте литературной полемики «Аполлона» 1910 года // *Аполлоновский сборник.* – СПб.: Реноме, 2015. Сс. 11-12; там же размещена и републикация чулковского текста.
50. *Иванов Г.* Петербургские зимы // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений в 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. С. 77.
51. *Маковский С.* Вместо введения. Сс. 10-11. – Автор приводит в тексте выделенную им кавычками цитату из известной тургеневской речи, произнесенной 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым.
52. *Корецкая И.* «Аполлон». Сс. 344-345.
53. *Маковский С.* «Душа реакции» и «святое беспокойство» (ответ критику) // «Аполлон». 1913. № 6. С. 46.
54. *Мандельштам О.* О природе слова. С. 80. – Несколько отличающаяся редакция была представлена в более ранней публикации: *Мандельштам О.* О природе слова // *Мандельштам О.* Собрание сочинений: В 4 тт. Т. 1: Стихи и проза. 1906–1921 / Сост. П. Нерлер, А. Никитаев. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. С. 230.
55. *Мандельштам О.* О современной поэзии (К выходу «Альманаха Муз») // *Мандельштам О.* Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 2: Проза. – 2010. С. 44.
56. *Маковский С.* Осип Мандельштам. С. 381, 379. – Хорошо известен факт принадлежащего Льву Бруни – искушенному в поэзии и живописи современнику – несколько неожиданного сопоставления мандельштамовского стремления к художественной «латинизации» с абстракционистской тенденцией в работах Натана Альтмана (Натан Альтман // «Новый журнал для всех». 1915. № 4. С. 37): «Как в поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь <...> потому, что еврейская кровь требует такой чеканки, <...> такое же желание вылить свое живописное чувство в абстрактные, то есть органические формы есть и у Альтмана» (цит. по: Рецензии на «Камень». С. 353). Эта афористичная формулировка сразу вошла в активный инструментарий уже прижизненного «мандельштамоведения» и нашла свое широкое отражение в мемуарах, как, например, в очерке Георгия Иванова, где авторство образа «русской латыни» приписывается самому О.М.: «Его женственно-сложная природа, сотканная из слабости и почти болезненной неуверенности в себе, заставляла его сомневаться в каждой своей строке, в каждом слове. – ‘Можно это оставить? Можно так сказать? Правильно это или лучше выбросить?’ – и

уживалась с сознанием своего превосходства, избранности, заносчивой гордыней: <...> «Никакой ошибки здесь нет. Это просто русская латынь!» (Иванов Г. Осип Мандельштам // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. С. 617). Развернутый «художественный» вариант близкой ситуации принадлежит Ирине Одоевцевой: «Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи: ‘Сестры тяжесть и нежность’. В первом варианте вместо ‘Легче камень поднять, чем имя твое повторить’ было: ‘Чем вымолвить слово «любить»’. И Мандельштам уверял, что это очень хорошо как пример ‘русской латыни’, и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой: ‘Чем имя твое повторить’, придуманной Гумилевым» (Одоевцева И. На берегах Невы. – М.: Художественная литература, 1988. С. 144). До этого данная индивидуальная особенность лексико-семантического строя мандельштамовской поэзии отмечалась и литературными критиками, в частности Леонидом Гроссманом, в изложении доклада Виктора Жирмунского «Преодолевшие символизм» («Одесский листок». 1916. 20 нояб. № 317. С. 7): «Тяготение к латинской культуре характерно для Мандельштама. Он любит пышность и чопорность классических од, он меньше всего импрессионист» (Гроссман Л. Гиперборейцы // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 489). Вместе с тем, наличие такого «литературного факта» оспаривалось акмеистом-единомышленником Сергеем Городецким («Лукоморье». 1916. № 18. 30 апр.): «большая ошибка считать условный язык Мандельштама за какую-то ‘русскую латынь’, как выражаются почитатели его таланта. Наоборот, надо пожелать Мандельштаму дальнейших освобождений и побед, новых ‘камней’, а когда-нибудь и храма поэзии, сложенного личным трудом» (Городецкий С. Поэзия как искусство // Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 438). Свидетельство о мандельштамовском отношении к стихии древнегреческого языка, как известно, оставил в своих лаконичных, но ярких мемуарных заметках Константин Мочульский (О. Э. Мандельштам / Публ. и примеч. Р. Д. Тименчика // Мандельштам и античность. Сборник статей. – М.: Радикс, 1995), причем написаны они были, возможно, по инициативе Маковского: «Покойный К. Ю. Мочульский рассказал, по моей просьбе, читателям ‘Встречи’ <...> о том, как он давал когда-то Осипу Эмильевичу уроки древнегреческого» (Маковский С. Осип Мандельштам. С. 379). Мандельштамовское описание противостояния, противоборства в истории и культуре «латинского» (древнеримского) и «эллинистического» (древнегреческого) начал и его оценка в развернутой форме отражены уже в его раннем сочинении «Скрябин и христианство». – В таком контексте занятным представляется тот факт, что сам Маковский был уличен в «иноязычности» в заметке Городецкого «Литературная неделя. Стихи о войне (в ‘Аполлоне’)» («Речь». 1914. 3 нояб. № 297. С. 3): «Сергей

Маковский пишет на русском языке как на иностранном» (цит. по: Акмеизм в критике: 1913–1917 / Сост. О. А. Лекманов, А. А. Чабан. – СПб.: Издательство Тимофея Маркова, 2014. С. 395).

57. *Маковский С.* Осип Мандельштам. Сс. 382, 383.

58. *Мандельштам О.* О природе слова. Сс. 67–68. И там же автор конкретизирует: «Русский язык – язык эллинистический. По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и не надолго (*sic.* – *С.Ш.*) загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью».

59. *Шруба М.* «Аполлона» кружок (молодая редакция «Аполлона») // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов: Словарь. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. Сс. 22–23.

60. *Анненков Ю.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. С. 321–322. – В ряду перечисляемых имен особого внимания заслуживает последнее из них, – яркой и противоречивой личности Волконского и его месту в культуре первой четверти XX века в очерке о нем Маковский дал почти энциклопедическое определение: «художественный деятель, высоко одаренный писатель-мыслитель и характер исключительного нравственного достоинства. Он выразил лучшие традиции русской культуры, обязанной своим цветением в минувшем веке и в начале XX тому общественному классу в особенности, к которому Сергей Михайлович принадлежал. От предков он унаследовал и пламенное ‘чувство отечества’ и то русское европейство, что озаряет вершины нашей просвещенности со времен Петра» (*Маковский С. К.* Кн. Сергей Волконский (1860–1939) // *Маковский С. К.* На Парнасе Серебряного века. С. 265). Некоторые аспекты личных и художественных взаимоотношений О.М. и Волконского были рассмотрены автором в публикациях: Категория ритма в художественном мировоззрении Мандельштама // «Сохрани мою речь...» Вып. 5. Ч. 2. – М.: РГГУ, 2011. Сс. 302–306, 330–332; Мандельштам и кинематограф // «Toronto Slavic Quarterly». 2017. № 60. Сс. 32–22, – а также в заметке «Волконский С. М.» для издания «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта» (в печати). Исключительно актуальная оценка О.М. в сопоставлении с его более чем заметным в культурной среде 1910-х годов современником присутствует в письме Георгия Иванова Владимиру Маркову (11 июня 1957 года), содержащем характеристику «салона» Саломеи Андрониковой, где «царил <...> кн. Волконский <...> и на совершенно равной ноге с ним О. Мандельштам» (*Ivanov G., Odoevceva I.* Briefe an Vladimir Markov 1955–1958. – Köln; Weimar: Hrsg. H. Rothe, 1994. S. 70; цит. по: *Шруба М.* «Аполлона» кружок (молодая редакция «Аполлона») // *Шруба М.* Андрониковой салон // *Шруба М.* Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890–1917 годов. – С. 22); комментатор данного фраг-

мента предлагает видеть в упоминаемом лице князя П. П. Волконского, хотя, думается, речь все-таки идет о Сергее Волконском.

61. *Гюнтер И. фон*. Под восточным ветром. Сс. 132, 135.

62. Очевидно, именно обобщенный образ этих филологических собраний в ироническом контексте был представлен О.М. в «Египетской марке» при характеристике главного героя, в которой нетрудно проследить явные авторские коннотации: «Выведут тебя когда-нибудь, Парнок, – со страшным скандалом, позорно выведут – возьмут под руки и фьюить – из симфонического зала, из общества ревнителю и любителей последнего слова <...> – неизвестно откуда, – но выведут, ославят, осрамят...» (*Мандельштам О. Египетская марка // Мандельштам О. Указ. полное собрание сочинений и писем: В 3 тт. Т. 2: Проза. – 2010. С. 275; там же (с. 660) содержится не прибавляющий ничего к авторскому тексту комментарий*).

63. *Оцун Н.* Николай Гумилев: Жизнь и творчество / Пер. с франц. Л. Аллена при участии С. Носова. – СПб.: Logos, 1995. С. 58.

64. *Маковский С. К.* Николай Гумилев (1882–1921). С. 209.

65. Пчелы и осы «Аполлона». I. Наши критики в цитатах. II. Куда мы идем? // «Аполлон». 1909. № 3. Сс. 62–64.

66. См.: «Установлено В. Н. Дранициным путем сопоставления даты, записи дневника М. А. Кузмина за это число <...> и воспоминаний М. А. Волошина» (Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама. С. 25).

67. *Волошин М.* Воспоминания // *Волошин М.* Собрание сочинений. Т. 7. Кн. 2: Дневники 1891–1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания / Сост., подгот. текста, комм. В. П. Купченко и Р. П. Хрулевой при участии К. М. Азадовского, А. В. Лаврова, Р. Д. Тименчика. – М.: Эллис Лак, 2008. С. 422.

68. Утверждения об этом зафиксированы, например, в записанных 27 марта 1924 года Леонидом Гроссманом и Дмитрием Усовым волошинских воспоминаниях об Анненском; см.: *Волошин М.* Воспоминания. Сс. 447, 449.

69. *Мандельштам Н.* Вторая книга. Сс. 52–53, 64.

70. Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / Сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой. – М.; Torino: Giulio Einaudi editori, 1996. Сс. 727–728, 737; *Ахматова А.* Листки из дневника [О Мандельштаме] // *Ахматова А.* Победа над Судьбой. I: Автобиографическая и мемуарная проза. Бег времени. Поэмы / Сост., подгот. текстов, примеч. Н. Крайневой. – М.: Русский путь, 2005. С. 119. – К поздним непростым «взаимоотношениям» Ахматовой и Маковского см.: *Тименчик Р.* Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы. Т. I. Сс. 451–452; Т. II. Сс. 577–580 и др.

71. *Крейд В. П.* Комментарии // *Иванов Г. В.* Указ. собрание сочинений: В 3 тт. Т. 3: Мемуары. Литературная критика. С. 638.

72. Цит. по: *Нерлер П.* Con amore: Этюды о Мандельштаме. – М: Новое литературное обозрение. 2014. С 81.

Марк Уральский

## Троцкие о Горьком. Штрихи к литературному портрету

Литературный портрет – жанр, с 1920-х гг. получивший особое распространение в русской прозе Серебряного века<sup>1</sup>. Свою дань этому жанру отдали как писатели – Горький, Бунин, Осип Дымов, Корней Чуковский, Ходасевич... – так и публицисты, главным образом из числа тех, кто после революции осел на Западе. К их числу относятся и Лев Давидович и Илья Маркович<sup>2</sup> Троцкие – русские социалисты, стоявшие на крайних по отношению друг к другу полюсах российского политического мира: ультрарадикальном (большевизм, затем троцкизм) и либерально-демократическом.

Как публицист, Лев Троцкий создал целую галерею литературных портретов товарищей по борьбе: Ленина, Сталина, Луначарского, Красина и др.<sup>3</sup>, экспрессивных и, одновременно, лаконичных по форме. Кроме того, им опубликовано было немало ярких критических статей<sup>4</sup> о его современниках-литераторах: Льве Толстом, Глебе Успенском, Мережковском, Бальмонте, Леониде Андрееве и др. Как ни странно, среди них практически не встречается имя Горького – литератора, казалось бы, наиболее близкого ему по духу, партийному «товарищу» и соратнику по борьбе за «освобождение рабочего класса».

До Октябрьского переворота Лев Троцкий писал о Горьком два раза – в 1909 году. Статья «Кое-что о философии ‘сверхчеловека’», – несомненно, представляющая интерес для научного горьковедения, касается нищезанятия Горького. В ней Лев Троцкий доказывает, что в идейном плане между немецким философом и русским писателем-социалистом имеется немало общего: «В нашей литературе уже несколько раз сравнивали Горького с Ницше. Сразу может показаться странным такое сопоставление, что общего между певцом самых униженных и оскорбленных, последних из последних, – и апостолом ‘сверхчеловека’? Есть между ними, конечно, громадная разница, но сходства между ними гораздо больше, чем это может показаться с первого взгляда. Во-первых, герои Горького, по замыслу и, отчасти, по изображению их автора, вовсе не униженные и оскорбленные, не последние из последних, – они тоже своего рода ‘сверхчеловеки’. Многие из них – даже большинство – очутились в своем положении

вовсе не потому, что они пали побежденными в ожесточенной общественной борьбе, которая раз навсегда вышибла их из колеи, нет, они сами не могли примириться с узостью современной общественной организации, с ее правом, моралью и прочим и 'ушли' из общества. Во-вторых, эта группа 'живя вне общества, хотя и на его территории и на счет его, она ищет оправдания своему существованию в сознании своего превосходства над членами организованного общества. Оказывается, что рамки этого общества слишком узки для ее членов, одаренных от природы исключительными, чуть-чуть не 'сверхчеловеческими' особенностями. Тут мы имеем дело с таким же протестом против норм современного общества, какой выходил из-под пера Ницше. <...> Мимоходом заметим еще одну черту, общую названным писателям: это – уважение, которое оба они питают к 'сильным людям'. Горький прощает человеку всякий поступок отрицательного (даже для него, для Горького) характера, если он вызван рвущейся наружу силою. Он рисует эти поступки с такой любовью и так красиво, что даже читатель, стоящий на совершенно другой точке зрения, готов увлечься и залюбоваться 'силою'... Таков старик Гордеев и некоторые другие герои Горького».

Ницшеанство Горького Лев Троцкий отнюдь не осуждает, а по отношению к самому Ницше выказывает явное уважение. Более того, он особо отмечает, что из-за присущей высказываниям этого философа противоречивой амбивалентности, они, будучи «вырваны из контекста, могут послужить для иллюстрации какого угодно предвзятого положения, особенно при соответственном истолковании». Эти строки звучат как пророчество.

В декабре 1909 г. руководство российской социал-демократии было серьезно обеспокоено тем, что «газеты Франции («L'Éclair», «Le Radical»), Германии («Berliner Tageblatt») и России («Утро России», «Речь», «Русское слово», «Новое время») смакуют самую сенсационную новость: исключение Горького из с.-д. партии<sup>5</sup>. Практически одновременно Троцкий и Ленин выступили в печати с решительным опровержением этих слухов. Оба политика, в первую очередь, стремились разоблачить «цель сплетнической компании» буржуазных партий, которым, по их мнению, «хочется, чтобы Горький вышел из социал-демократической партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногласия внутри с.-д. партии и представить их в уродливом виде<sup>6</sup>. <...> Пользуясь случаем, либеральные журналисты всех оттенков пошлости выносят на свет божий глубокомысленнейшие суждения о несовместимости художественного творчества с партийной дисциплиной, об инквизиционной нетерпимости марксистов и о многом другом. <...> Пламенно сочувствуют Горькому, – а из

сочувствующих уст сочтется ядовитая слюна ненависти к партии пролетариата. Их ненависть – у них для нее достаточные причины: она – незаконная дочь их нечистой совести...»<sup>7</sup> При этом, если Ленин решительно брал своего друга Максима Горького под крыло, ручаясь за него перед партией, то его соратник пропагандировал образ Горького-революционера: «Революция не была для него историческим эпизодом, – мечом она пронзила его душу, ему уж не было возврата назад. После разгрома революции, в тот период, когда всякие приبلудные к нам поэты и поэтессы стадами возвращались на более сочные пастбища буржуазного литературного рынка, Горький остался с нами. Прекрасный талант свой он призвал на службу самому большому делу, которое существует на земле, и тем нерасторжимо связал свою личную судьбу с судьбою партии...»<sup>8</sup>

Ко времени написания этого панегирика Лев Троцкий и Горький были уже лично знакомы. Впервые они встретились весной 1907 г. на V Съезде РСДРП в Лондоне<sup>9</sup>. «Когда в феврале 1908 года Ленин, редактировавший в Париже газету 'Пролетарий', предложил Горькому вести в ней литературно-критический отдел, писатель, уклонившись, рекомендовал Ленину в качестве достойного пера Троцкого. (Ленин ответил, что сам думал об этом, но 'позер Троцкий' не согласился)»<sup>10</sup>. В последующие годы Троцкий «всячески пытался наладить добрые отношения с Горьким <...>, приблизить его к себе»,<sup>11</sup> а тот, в свою очередь, стремился использовать его литературный талант в своих целях. Однако особой симпатии друг к другу они, по всей видимости, не испытывали, особенно в годы революции. Горький открыто выступил против большевистского насилия над культурой, за что Л. Троцкий, считавший тогдашнюю ситуацию нормальной и закономерной, окрестил его «достолюбезным псаломщиком». В постоянной переписке они никогда не состояли, а все имеющиеся в научном обороте их письма друг к другу носят сугубо деловой характер. В сборнике литературно-критических статей «Литература и революция»<sup>12</sup>, где имя Горького упоминается весьма часто, Л. Троцкий не раз малопочтительно характеризует «друга Ленина», хотя и призывает молодых пролетарских писателей у него учиться<sup>13</sup>. Там же перепечатана его статья 1914 года «К. Чуковский», в которой он поет Горькому осанну: «<...> между индивидуализмом и коллективизмом Горького глубокая внутренняя связь, и Горький изменил бы себе, если б не совершил той эволюции, в какой верхогляды усматривают одни только формальные противоречия. Горький поднял знамя героического индивидуализма, когда совершался в стране процесс высвобождения личности из глубин каратаевщины, которая не в мужике только, но и в рабочем, и в интеллигенте сидела еще страшной косной силой.



Индивидуализм против 'святой' безличности, против традиций и унаследованных авторитетов был огромной прогрессивной силой, и Горький психологически не противопоставлял себя народу, эгоистически не отчуждал себя от него, – наоборот, в своем творчестве он давал лишь окрашенное романтизмом выражение пробудившейся в народных массах потребности личного самоутверждения. А по мере того как индивидуализм становился в известных общественных кругах не только противокарагаевским, но и вообще антисоциальным, себялюбиво-ограниченным, буржуазно-эгоистическим, Горький с ненавистью отвращался от него, – душою он оставался с той народной личностью, которая сбрасывала с себя старые духовные путы – для того, чтобы свободно и сознательно вводить себя в рамки нового коллективного творчества. Как ни резок был на вид у Горького перелом от босяцки-нищешанского индивидуализма к коллективизму, но психологическая основа тут одна. <...> Горький рисует страшную российскую всеуездную отсталость, залежи карагаевщины, социального варварства. Горький ищет – теми методами, какие имеются в распоряжении художника, – причин крушения великих ожиданий, в конечном торжестве которых он не сомневается нимало. Тут нет ни покаяния, ни отречения, а есть нравственное и художественное мужество, которое не прячет своей веры от испытаний, а идет им навстречу»<sup>14</sup>.

Лев Троцкий явно предпочитал за лучшее не касаться личности Максима Горького в своих публикациях. Лишь в некрологе, написанном 9 июля 1936 года – через три недели после смерти Горького, он дает нелицеприятную, разительно отличающуюся от дореволюционного дифирамба оценку усопшему писателю: «Незачем говорить, что покойного писателя изображают сейчас в Москве непреклонным революционером и твердокаменным большевиком. Все это бюрократические враки! К большевизму Горький близко подошел около 1905 года, вместе с целым слоем демократических попутчиков. Вместе с ними он отошел от большевиков, не теряя, однако, личных и дружественных связей с ними. Он вступил в партию, видимо, лишь в период советского Термидора. Его вражда к большевикам в период Октябрьской революции и гражданской войны, как и его сближение с термидорианской бюрократией слишком ясно показывают, что Горький никогда не был революционером. Но он был сателлитом революции, связанным с нею непреодолимым законом тяготения и всю свою жизнь вокруг нее вращавшимся. Как все сателлиты, он проходил разные 'фазы': солнце революции освещало иногда его лицо, иногда спину. Но во всех своих фазах Горький оставался верен себе, своей собственной, очень богатой, простой и вместе сложной натуре. Мы провожаем его без нот интимности и без преувеличенных похвал, но с

уважением и благодарностью: этот большой писатель и большой человек навсегда вошел в историю народа, прокладывающего новые исторические пути»<sup>15</sup>. Образ «буревестника революции» у Льва Троцкого вполне описывается фразой: «С нами, но не наш», которая, как известно, является характеристикой его собственной персоны, данной ему, по словам Горького, якобы Лениным, – см. второй вариант горьковского очерка «В. И. Ленин»<sup>16</sup>. Вполне возможно, что уязвленный Лев, жестко критиковавший первый вариант этого очерка<sup>17</sup>, в своем некрологе не удержался от сарказма и в аллюзивной форме перебрал камешек в огород покойника, демонстрировавшего, по его мнению, «непререкаемо ясный и убедительный пример огромного литературного таланта, которого не коснулось, однако, дуновение гениальности».

В истории русской публицистики существует интересный артефакт. Помимо Льва Давидовича Бронштейна, известного во всем мире как «Троцкий», имеется еще один носитель этой звучной фамилии, причем «настоящий», как, по рассказу свидетелей времени, подчеркивал он сам<sup>18</sup>. Речь идет о журналисте и общественном деятеле русской эмиграции первой волны Илье Марковиче Троцком. Он тоже входит в число многочисленных знакомых Горького, оставивших о нем свои воспоминания. Однако историки литературы, составители мемуарных сборников отечественной горьконианы<sup>19</sup>, все как один, игнорировали его многочисленные статьи.

Основной причиной подобного невнимания являлась ярко выраженная антибольшевистская позиция И. М. Троцкого и его многолетнее сотрудничество в газете «Новое русское слово», считавшейся рупором эмигрантского антисоветизма. Кроме того, Л. Д. и И. М. Троцких часто путают друг с другом, поскольку их биографические данные имеют много общего. Оба они были обрусевшими евреями, выходцами с восточной Украины, ровесниками, социал-демократами и публицистами, живо интересовавшимися современной литературой. С 1905 г. по 1917 г. Троцкие обретались в одних и тех же странах Западной Европы – в Австрии (Вена), Германии (Берлин) и Скандинавии (Копенгаген, Стокгольм).

Однако на этом совпадения заканчиваются. Во всем остальном эти исторические фигуры, говоря на марксистско-ленинском слогане, – непримиримые антагонисты. Лев Давидович – непримиримый борец с самодержавием, вождь Октября, всю свою жизнь раздувавший пламя мировой пролетарской революции. Илья Маркович, напротив, – убежденный демократ, всеми доступными ему средствами старавшийся революционное пламя загасить. Если Лев Давидович всегда позиционировал себя как *не еврей*, а космополит-интернационалист<sup>20</sup>, то Илья Маркович, напротив, был именно русский еврей, человек

двух культур, не религиозный, но остро ощущавший свою связь с еврейством и активно борющийся за выживание своего народа в годину тяжелейших испытаний, выпавших на его долю. В современной литературе можно найти большое число документальных портретов известных людей этого типа: П. А. Аксельрод, М. Г. Алданов, Г. Я. Аронсон, Л. М. Брамсон, А. А. Гольденвейзер, Г. А. Ландау, Я. Г. Фрумкин<sup>21</sup>, – с которыми И. М. Троцкий был знаком, сотрудничал, а то и дружил. Все эти достойные люди в глазах Л. Д. Троцкого являлись «буржуазными ревизионистами», которых большевики охотно бы повесили на фонарях<sup>22</sup>. Потому после Октябрьского переворота, который, к несчастью для России, сумели осуществить большевики под руководством его однофамильца, «энес»<sup>23</sup> Илья Маркович Троцкий, так же как и все вышеперечисленные лица, посчитал за лучшее остаться на Западе. По иронии судьбы, или, как считают марксисты-ленинисты, в силу исторически обусловленной закономерности, сюда же в 1929 г. был выслан изгнанный из рядов родной партии вождь Октября, объявленный вскоре в СССР злейшим врагом советского народа и всего прогрессивного человечества.

К числу вменяемых Льву Троцкому «преступлений» на московских процессах второй половины 1930-х гг. фигурировало обвинение в организации злодейского умерщвления «буревестника революции», «великого советского писателя», «основоположника новой советской литературы», «друга Ленина и Сталина» и прочая, прочая... Максима Горького: «[Троцкий] всегда злобно ненавидел Горького, как и Горький ненавидел обербандита международного шпионажа и предательства Троцкого,[и] сказал, что Горького надо устранить во что бы то ни стало»<sup>24</sup>. Это обвинение Лев Троцкий категорически отрицал, хотя был не прочь поддержать саму гипотезу отравления, недвусмысленно кивая при этом на Сталина<sup>25</sup>.

Илья Троцкий познакомился с Горьким осенью 1913 г. на Капри, когда, являясь берлинским корреспондентом газеты «Русское слово»<sup>26</sup>, приехал в гости к писателю вместе со своим патроном – издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным<sup>27</sup>. Андрей Седых<sup>28</sup> в статье-некрологе «Памяти И. М. Троцкого»<sup>29</sup> писал: «Когда И. Сытин приехал за границу, он предложил И. М. Троцкому сопровождать его. На страницах 'Нового русского слова' И.М. вспоминал, как Сытин повез его на Капри к Горькому»<sup>30</sup>. Однако первая статья И. М. Троцкого с сюжетом о поездке на Капри появилась еще до Второй мировой войны в газете «Сегодня»<sup>31</sup>, и была она посвящена памяти недавно ушедшего из жизни Ивана Дмитриевича Сытина<sup>32</sup>.

«Издательство (Товарищество И. Д. Сытина и К. – М.У.) вело переговоры с Максимом Горьким о приобретении издательского

права на его первые произведения, написанные в первые пятнадцать лет. Горький запросил 450 тысяч рублей. Правление издательства уполномочило И. Д. Сытина съездить к Горькому и лично с ним столкнуться. По дороге из Москвы в Берлин (Сытин – М.У.) взвесил все ‘за’ и ‘против’ и решил, что операция эта разорительна для издательства.

– Протелеграфируй, пожалуйста, Феде (Ф. И. Благову<sup>33</sup> – М.У.) и другим директорам, что не стоит ездить к Горькому. Все равно дела я с ним не сделаю.

Я, конечно, выполнил просьбу Ивана Дмитриевича. На следующий день получили ответные депеши из Москвы, что директора присоединяются к его мнению. И. Д. Сытин выслушал содержание депеш, встал, перекрестился на угол и начал говорить тихим таким шепотом:

– Поедем, стало быть, к Алексею Максимовичу. Хорошо сейчас на Капри...

– А что скажут в правлении?

– Неважно! Протелеграфируй, что едем. <...> Познакомишься с Горьким, посодействуешь мне в переговорах о цене и покатаешься по Италии. Только ты уж меня одного с Горьким не оставляй. Обернет вокруг пальца. Он – жох!..

Мы телеграфно оповестили Горького о дне приезда и получили приглашение быть его гостями. <...> От Берлина до Рима нас сопровождал известный фильмвый промышленник Ханжонков<sup>34</sup>. Всю дорогу Сытин плакался, что Горький его разорит и что мы едем заключать явно убыточную сделку. То же самое он говорил и покойному писателю Первухину<sup>35</sup>, корреспондировавшему из Рима в ‘Русское слово’. Полный профан в издательском деле, я в душе решил облегчить Ивану Дмитриевичу его миссию. <...>

На пристани на Капри нас встретил личный друг Горького бывший берлинский издатель И. П. Ладыжников<sup>36</sup>. Завидев еще издали Ладыжникова, И. Д. заметно всполошился и, обратившись ко мне, снова повторил просьбу – не оставлять его одного. Мы остановились в каком-то чудесном отеле, из окон которого открывался чарующий вид на Неаполитанский залив.

Покуда я приводил себя в порядок, Иван Дмитриевич и Ладыжников куда-то исчезли. Тщетно я их искал в гостинице, ресторане и парке отеля. <...> Загадка, впрочем, вскоре разъяснилась. <...> Для меня стало очевидным, что Сытин уже сидит у Горького и, вероятно, ведет переговоры о приобретении его произведений.

На веранде горьковской виллы я нашел большое общество. <...> Было шумно и весело, а прелестная итальянская осень и синие волны, шаловливо игравшие у близкого берега, располагали к интимности. Максим Горький находился, по-видимому, в отличном

настроении и очень ярко и образно рассказывал разные эпизоды из своей скитальческой <...> жизни. Завтрак сменился чаем, чай – обедом, и время пролетало незаметно. За ужином <...> завязался спор об индивидуализме в литературе. Один из тех специфически русских споров, когда все одновременно говорят, один старается перекричать другого, и никто никого не слушает.

И. Д. Сытин сидел все [это] время молча, с явным интересом прислушиваясь к спору и не проронив ни слова. <...> Начали прощаться. Мы с Иваном Дмитриевичем остались последними. И вдруг случилось нечто, что на всю жизнь запечатлелось в моей памяти.

И. Д. Сытин подходит к Горькому и, подавая ему на прощание руку, говорит:

– Итак, Алексей Максимович, по рукам. Как ты сказал, так и будет. Заплатим тебе 450 тысяч. Спасибо.

Горький смутился, а я стоял совершенно растерянный.

В отель мы возвращались молча. Я внутренне досадовал на старика. К чему вся эта комедия? Зачем он отравлял мне всю дорогу в Италию причитаниями о грозящем издательству разорением? К чему просил не оставлять его наедине с Горьким? И вообще, что это за дикий подход к делам?

Иван Дмитриевич, очевидно, понимал мое настроение и, обняв меня вокруг талии, тихо сказал:

– Чего ты, милый, сердисься? Ведь Горький – твой же брат-писатель. Что тебе – жалко сытинских капиталов, что ли? Эх, и наживем мы на этом деле. Имя-то какое! Горький!»

Сумма авторского гонорара, обещанная Сытиным Горькому, в буквальном смысле слова *умопомрачительная*<sup>37</sup>. С учетом огромных тиражей, которые имел Горький в России и за рубежом, гонораров за постановку пьес и т. п., можно с уверенностью утверждать, что «великий пролетарский писатель» был не только самым богатым литератором Российской империи, но и одним из самых богатых в мире!

В другой, уже послевоенной статье<sup>38</sup> И. М. Троцкий дополняет свои воспоминания сюжетом, в котором присутствовавший в дачной компании Горького Анатолий Луначарский поднял тему о присуждении Нобелевских премий по литературе. По его мнению, шведы до сих пор помнят о своем поражении в Полтавской битве, а шведские славы не могут простить Пушкину язвительных замечаний на эту тему в поэме «Полтава». Поэтому, мол-де, шведская Академия относится с неприязнью «к русской изящной литературе»: «Иван Дмитриевич, который недолюбливал Луначарского <...> внимательно его слушал. По-видимому, его заинтересовала тема о Нобелевской премии. <...> – Мне кажется, Анатолий Васильевич, что ваша теория в части, касаю-

щейся шведской Академии, несколько хромает. Это может засвидетельствовать [наш сотрудник], сидящий рядом со мной. Не дальше как в прошлом году он, по поручению 'Русского слова', объездил все три скандинавские страны, познакомился с тамошним литературным миром и вынес оттуда впечатления, диаметрально противоположные вашим. Он мог бы многое нам рассказать».

Далее И. М. Троицкий рассказывает, что, ни в коей мере не вступая в полемику «с таким диалектиком, как А. Луначарский», он, тем не менее позволил себе «внести поправки в его явно надуманную и упрощенную теорию». Журналист рассказал внимательно слушавшему его обществу, что ведущие шведские писатели с большим уважением относятся к русской литературе. Всемирно известный писатель Август Стриндберг, один из кумиров российской читающей публики Серебряного века, например, прямо заявил ему, что если бы не продолжающийся скандал между ним и шведской общественностью, он «не задумался бы выступить с предложением о присуждении Нобелевской премии Горькому». И только нежелание «обрекать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей», мол, заставляет его отказаться от этого намерения.

«Эффект стриндберговских слов вызвал никем не предугаданный отклик. Безмолствовал и Луначарский, ничем не проявляя желания высказаться. Только И. Д. Сытин с плутоватой улыбкой на лице глядел в сторону Луначарского, как бы желая сказать: 'Ну что – получил'. <...> Вернувшись в отель, мы еще долго делились впечатлениями о проведенном вечере. Здесь впервые И. П. Ладыжников, нарушив обет молчания, проиронизировал по адресу Сытина:

– Повезло вам, Иван Дмитриевич, с Горьким... Вовремя успели оформить контракт по передаче вашему издательству единичного права на печатание его произведений. Будь Алексей Максимович заранее осведомлен о своей популярности в Швеции <...>, он, вероятно, потребовал бы другие договорные условия. Горький – мужик умный, умеет отстаивать свои интересы.

Иван Дмитриевич как будто пропустил мимо ушей скрытый укол Ладыжникова. Однако, стоя у дверей своей комнаты перед отходом ко сну, успел мне шепнуть:

– Завидует, жадюга! Впрочем, Господь с ним! Контракт подписан и формально утвержден...

Воскрешая образ гениального русского самородка на фоне капризных дней и в горьковском окружении, мне хотелось бы только прибавить лишний штрих к многогранной и красочной 'сказке-жизни' Ивана Дмитриевича Сытина», – пишет в заключение своей статьи Илья Троицкий.

Максим Горький прожил на Капри в общей сложности 17 лет: с 1906 г. по 1913 г. и с 1921 г. по 1931 г., и эти периоды его жизни и деятельности, как полагают современные исследователи, представляют собой исторический и социокультурный феномен, в котором «оказался запечатлен образ эпохи в сложном переплетении ее духовных и общественных дерзаний»<sup>39</sup>. Как мыслитель и общественный деятель, Горький являлся горячим сторонником европеизации России, которую посредством «великих потрясений» он мечтал преобразовать из сонной, ленивой и пьяной в «царство Света и Добра».

Поэтому отношение к нему со стороны И. М. Троцкого, человека весьма умеренных взглядов, было всегда настороженным. Горький явно отталкивал его своим «красивым цинизмом»<sup>40</sup>. «Русскословец»-либерал И. Троцкий, также как и его современник М. Меншиков из консервативно-охранительского суворинского «Нового времени», чувствовал, что «‘безумство храбрых’ для г. Горького не красивая только фраза, а действительно убеждение...»<sup>41</sup>. Хотя в то же время вместе с многочисленными поклонниками Горького – одного из самых знаменитых европейских писателей начала XX в. – оба они явно ждали, что «...Он что-то должен сказать новое, большое...»<sup>42</sup>

Точка зрения Ильи Троцкого на «раннего» Горького ясно высказана им в театральной рецензии, написанной после дебюта писателя в качестве драматурга на берлинской театральной сцене:

«Театральный сезон Берлина открылся драмой Горького ‘Последние’, поставленной дирекцией Макса Рейнхарда<sup>43</sup> в известной ‘Kammerspiele’<sup>44</sup>.

Премьера у Рейнхарда – такое же событие для берлинцев, как для москвичей новая постановка в Художественном театре. Не берусь сказать, что, собственно, влекло фешенебельное берлинское общество в театр – сама ли пьеса, или простое любопытство увидеть ‘живого’ знаменитого писателя. Может быть, и то, и другое. Впрочем, каковы бы ни были побудительные причины переполнения театра, публика горько разочаровалась: Горький, несмотря на присутствие в Берлине, благоразумно не показывался в театре, а пьеса <...> драматическое произведение, где почти отсутствует драматическое творчество и где в одну кучу свалены политический сыск, революция, полиция и слабые намеки на высшую правду.<...> в ней все слишком отвлеченно, схематично и слишком мало напоминает реальную жизнь. Из каждого диалога, из каждой реплики проглядывает плохо спрятанная указка социал-демократа-‘отзовиста’<sup>45</sup>. <...> Почему публика, да еще немецкая, должна верить автору, заявляющему, что все русские полицейские – непременно негодяи, а революционеры – идеалисты и апостолы высшей справедливости? А в ‘Последних’ – пьесе, символизирующей обреченное

на смерть современное буржуазное общество, – именно заявляется это, притом почти без всякой аргументации»<sup>46</sup>.

Журналист выражает сожаление по поводу выбора Рейнхардом, которого он комплиментарно аттестует как «берлинский Станиславский», именно этой пьесы Горького. Затем идет краткое изложение сюжетных коллизий в пьесе, которая, хотя И. Троицкий утверждает, что о сюжете «Последних» «в свое время достаточно говорила русская критика», была мало известна русской публике. В конце своей рецензии И. Троицкий утверждает, что берлинская публика ни тематики пьесы не поняла, ни саму постановку не приняла. Более того, у него сложилось впечатление, что «исполнители дружно проваливали пьесу, абсолютно не понимая ролей. Грим, костюмы и инсценировка оставляли желать многого. Со стороны могло показаться, будто дирекция умышленно готовила провал. – Такого умышленного неуважения к произведению Горького, конечно, нельзя ожидать от Рейнхарда. <...> Но такт и художественное чутье должны были ему подсказать, что нельзя слабое драматическое произведение отдавать дилетантам на окончательный провал».

Хотя подробное освещение темы «Горький-драматург» выходит за рамки данной статьи, представляется интересным отметить, что «Последние» популярностью в России ни до революции, ни в советское время не пользовались. Интерес к этой пьесе возник лишь в конце 1990-х гг., когда ее стали ставить ведущие российские театры. Революционный пафос пьесы при этом уже не воспринимается как нечто достойное внимания, привлекала именно «бытовуха», где жизнь предстает «огромным бесформенным чудовищем, которое вечно требует жертв ему, жертв людьми». Вот, для сравнения, характеристика пьесы из рецензии на ее постановку во МХАТе современного критика: «‘Последние’ – пьеса мрачная, написанная с зоркой ненавистью. Ее можно было бы назвать безжалостной – если бы не страх смерти, рвущийся наружу и требующий сострадания. Половина персонажей – законченные негодяи, вторая половина – несчастные, немощные, искалеченные люди. Сказать, о чем пьеса, можно в двух словах: об отравлении подлостью. О том, как в доме сгущаются ложь и злоба; жизнь становится непереносимой: нужно остервениться, сломаться, спиться, а честнее всего – умереть. О том, как душевная нечистота утверждается в правах и отменяет будущее. В финале ‘Последних’ мать на коленях просит у пятерых детей прощения за то, что их родила: трое ее не прощают, двое – просто не понимают, что это она так раскривлялась. <...> Назвать ‘Последних’ спектаклем-предостережением было бы наивно, счесть диагнозом – страшно. Останемся со сказанным: даже если сделать ничего нельзя, можно не усугублять



боль. Это хороший совет, не позволяющий впасть в отчаяние и губить душу»<sup>47</sup>.

По-видимому, и немецкая театральная критика в 1910 г., увидев в новой пьесе Горького нечто большее, чем политический памфлет или «пошлейшую карикатуру» на русскую жизнь, отнеслась, по словам И. Троцкого, к постановке «благоклоннее, нежели можно было ожидать». С некоторым удивлением отмечая этот факт, он от ее лица высказывает свое тогдашнее отношение к Горькому: «Горький – великий художник, поэт природы и певец прекрасной жизни, но очень слабый драматург и плохой знаток сцены». Последнее утверждение в свете современного «горьковедения»<sup>48</sup> является типичным отражением бытовавшего в литературно-театральной критике начала XX в. представления, что «в своих драматических опытах ‘Максим Горький является всем чем угодно – проповедником, мыслителем, – только не художником’. <...> Концепция несценичности горьковских пьес получает в этот период широкое распространение. Подпись под одной из карикатур того же времени (Горький изображен на ней глубоко задумавшимся) гласила: ‘Горький размышляет после написания “Мещан” – драматург он теперь или не драматург?’ Не один критик начала века отказывался рассматривать новое произведение Горького ‘с точки зрения его литературно-художественных достоинств’, а ‘только как иллюстрацию к жизни’. <...> Горького называли ‘наименее искусным из драматургов’ и в зарубежной печати, чьи дайджесты публиковали российские газеты и журналы. О [пьесе] ‘На дне’ писали, например, следующее. ‘Нет более плохой драмы, более невозможного литературного произведения!’ (*Der Tag*). ‘В общепринятом смысле эти сцены <...> нельзя назвать драматическим произведением’ (*Magdeburg Zeit*). ‘Горький не драматург...’ (*Berl. Neueste Nachrichten*). ‘С точки зрения искусства и эстетики это произведение стоило бы отодвинуть на задний план’ (*Germania*). ‘Максим Горький <...> доказал самым неоспоримым образом, как мало значит техника в искусстве’ (*Der Tag*)»<sup>49</sup>.

Естественно, эти высказывания не могли не сыграть своей роли в формировании восприятия Ильей Троцким-рецензентом драматургии Горького. Кроме того, по своим литературным вкусам Троцкий был сугубый «реалист» и к литературным новациям своего времени интереса не высказывал. Для него прошло незамеченным отождествление театральных опытов Горького с «жанровой разновидностью ‘философской драмы’», в которой он добивался синтеза «реалистической», «этико-психологической» и «символистской» линий художественного воплощения. Мировидение Горького базируется на извечных, онтологических составляющих человеческого бытия. Он «изображает в действительности не только социальную среду. Будь

то мещане, босяки, 'дачники', интеллигенты, чудаки или просто 'последние', каждый раз все вместе они – прообраз всего мира, символ человечества. – Конфликт же между ними вырастает из разности отношения к одинаково враждебному, равнодушному к ним миру – хаосу. Кто-то видит в этом мироздании норму, кто-то пытается бунтовать, но потом смиряется, третьи идут до конца. В этой общности рвутся все связи – семейные, общественные, родовые, цеховые, государственные и т. д. <...>В изображаемой общности каждый вдруг становится другому чужаком. Выломившиеся у Горького – все. Ситуация распада, ощущения человеком своей ненужности, одиночества и враждебности мира по отношению к людям формируют трагический фон горьковских пьес. <...> Горьковская драма – это еще и интеллектуальная драма. Она представляет собой движение идей, не доказательство идеи, но осмысление поставленной»<sup>50</sup>.

Такого рода новаторский подход к драматургии, как и все неоднозначно явленное, воспринимался современниками с большим трудом, вызывая жаркие споры и язвительные замечания.

Однако западными писателями-модернистами, обладавшими острым чутьем на художественные новации, например Августом Стриндбергом, драматургия Горького ценилась не менее высоко, чем его проза. Об этом свидетельствует, в частности, и сам И. Троцкий, который в 1923 г., вспоминая о своей встрече со Стриндбергом, состоявшейся в 1911 г., поет от его лица дифирамбы Горькому и как прозаику, и как драматургу:

«Я люблю Горького. Слышал, будто в России начинают охладевать к творчеству Горького. Напрасно! У него есть бессмертные вещи. 'Мальва', 'Челкаш', 'На дне' переживут нас. Горькому давно пора получить Нобелевскую премию»<sup>51</sup>.

В более поздней статье Троцкого о Стриндберге<sup>52</sup> к вышеприведенным высказываниям великого шведского писателя добавляется фраза с политическим подтекстом, демонстрирующая, что настороженное отношение автора к социальному пафосу Горького было вполне оправданным: «Герои Горького не надуманы. Они угроза обществу и когда-нибудь его одолеют». Ко всему этому можно добавить, что чуткие современники находили стриндберговские ноты во многих произведениях раннего Горького, на что он сетовал в своем письме А. П. Чехову (май 1899 г., Н.-Новгород) касательно пьесы Стриндберга «Фрёкен Жоли»: «Удивляюсь Вам! Что общего нашли Вы у меня со Стриндбергом?.. Это большой человек, сердце у него смелое, голова ясная, он не прячет своей ненависти, не скрывает любви. И ско-там наших дней от него, я думаю, ночей не спится. Большой души человек. Что общего у меня с ним может быть? Не унижая себя гово-

рю, а говорю с болью в сердце, ибо разве не хочется мне быть самим собой и не иметь в душе заслонок, не пускающих на волю смелых дум моих? Ницше где-то сказал: 'Все писатели всегда лакеи какой-нибудь морали'. Стриндберг – не лакей. Я – лакей и служу у барыни, которой не верю, не уважаю ее. Да и знаю ли я ее? Пожалуй – нет. Видите, какое дело-то. Очень тяжело и грустно мне, Антон Павлович»<sup>53</sup>. После возвращения Горького в Советскую Россию (1929 г.) Илья Троцкий однозначно дистанцировался от него, ибо писатель «стал самым представительным выразителем коммунизма в его глубинно-психологическом смысле <...>, воспел большевистский террор, НКВД и ГУЛаг как культурные явления <...>. Публицистика Горького 30-х годов – кошмарное чтение, ее боятся переиздавать <...>; переиздать сейчас горьковские статьи того времени – все равно что вывесить на Красной площади портреты Ягоды, Ежова и Бериин»<sup>54</sup>.

Тем не менее И. Троцкий никогда не демонизировал личность Максима Горького. Дальше отдельных саркастических выпадов в адрес «великого пролетарского писателя», чей ангажированный «наступающим классом» талант противопоставлялся им в статьях общечеловеческому литературному гению Ивана Бунина, и иронических замечаний, касающихся поддержки, оказываемой Горькому со стороны Кремля, он, как правило, не заходил. Даже в середине 1930-х гг. Илья Троцкий все еще видел в Горьком – близком друге Ленина и Сталина – «признанного писателя», ведшего «открытую публичную жизнь». Более того, в воспоминаниях, опубликованных на закате жизни, он, простив, видимо, Горькому политические грехи, пишет о нем с умильной теплотой и даже слащавостью: «Атмосфера предельной непринужденности, широкого хлебосольства и простоты, царившая в окружении Горького, располагала к общению и близости. Не замечалось и тени 'олимпийства' или превосходства в обращении писателя с простыми смертными. Уже один его мягкий и густой басок звучал столь приветливо и обнадеживающе, что словно ключом открывал чужие сердца»<sup>55</sup>.

Немаловажную роль в неизменном наличии у И. М. Троцкого некоей «положительной составляющей» по отношению к личности Горького, без сомнения, играет факт юдофильства писателя, который в советском горьковедении предпочитали не акцентировать, а современные «русские патриоты» трактуют как «двойное предательство»<sup>56</sup>. Первая публикация Горького о евреях в России появилась в 1896 г. в газете «Одесские новости», последняя – статья «Об антисемитах» – в газете «Правда» 24 июня 1931 года. В 1900 г. под редакцией Горького вышел сборник «Погром». В нем резко осуждался воинствующий антисемитизм и подчеркивалось, что погромы позорят русский народ. В сборнике вместе с Горьким приняли участие и другие известные рус-

ские писатели и ученые, в том числе один из наставников Ильи Троцкого на литературном поприще, ныне незаслуженно забытый С. И. Гусев-Оренбургский<sup>57</sup>. Все они, к слову сказать, объявлены были их оппонентами «скрытыми евреями и врагами русского народа»<sup>58</sup>.

В 1919 г. вышла в свет книга «М. Горький о евреях»<sup>59</sup>. В ней от имени русского писателя звучат юдофильские высказывания, по своей страстной пафосности не имеющие аналогов в отечественной публицистике. И. М. Троцкий, будущий автор статьи «Еврейские погромы на Украине и в Белоруссии. 1918–1920 гг.»<sup>60</sup>, не мог, естественно, не знать об активных, звучавших на всю Россию антипогромных компаниях протеста, инициированных Горьким. Тем не менее однозначно большевистская ангажированность Горького, лишенная даже элементов критики все более и более ужесточавшегося сталинского режима, делала его фигуру в глазах русских демократов до крайности антипатичной. В период борьбы за «русского Нобеля», которую, собственно, начал Илья Маркович своими статьями<sup>61</sup>, он высказал в печати общее мнение русской эмиграции и шведского литературного истеблишмента по отношению к Горькому: «Пресмыкательство Горького перед большевиками оттолкнуло от него не только друзей, но и поклонников его таланта<sup>62</sup>. <...> там, где социальный заказ доминирует над общечеловеческими идеалами и идеализмом, не может быть речи о выполнении воли основоположителя фонда. Позиция Горького исключила его из списка кандидатов на премию»<sup>63</sup>.

Илья Троцкий, имевший старые связи в интеллектуальных кругах шведской столицы и активно лоббировавший в кулуарах Нобелевского комитета кандидатуру Бунина<sup>64</sup>, не без сарказма писал о «поражении Москвы», приложившей в 1933 г. немало усилий, в том числе и на высшем дипломатическом уровне, чтобы Нобелевскую премию по литературе получил Горький<sup>65</sup>.

Смягчив со временем, но тем не менее не изменив до конца жизни свою неприязнь к Горькому-большевику, Илья Троцкий не мог, конечно, не чувствовать всю глубину духовной трагедии писателя, у которого, по выражению востроглазого Корнея Чуковского, было «две души»<sup>66</sup>. Добавляя свои «штрихи» к обобщенному литературному портрету Максима Горького: «Собеседник он был непревзойденный, и слушать его можно было без усталости. Люди, события, вещи словно оживали под его красочным словом, овеванным внутренней взволнованностью. Он не рассказывал о пережитом и виденном, а показывал их... – Поражали глаза Горького, расширявшиеся и вспыхивающие, будто автомобильные фары. Мастер рассказа он был исключительный»<sup>67</sup>, – И. М. Троцкий в воспоминаниях конца 1960-х гг. также приводит ряд любопытных подробностей из области межлич-

ностных отношений знаковых фигур российского литературного мира. Например, рассказывая о днях, проведенных у Горького на Капри, он пишет, что застал однажды И. Д. Сытина «...за письменным столом отельной комнаты с пером в руке.

– Вдохновение снизошло, – шутиливо заметил он, показывая рукой на лежащую перед ним записную книжку. – Записываю сказанное Горьким о Толстом. И почему Лев Николаевич все о бабах с ним говорил – никак не пойму! Не похоже на него. В моем архиве имеется и другая запись о Толстом – разговор с Алексеем Максимовичем после его посещения Ясной Поляны. Он тогда восхищался величием и гениальностью Толстого, но тут же заметил, что жить с ним в одном доме, не говоря уже об общей комнате, никак не мог бы. Это как бы жить в пустыне, где все выжжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью. <...> Мне, говоря по совести, кажется, что Горький имеет какой-то зуб против Толстого.

– Не проще ли было бы, Иван Дмитриевич, спросить Горького, чем теряться в догадках?

– Не в моих это правилах. Предпочитаю доходить до сути собственным умом. Неоднократно предлагал Алексею Максимовичу ближе познакомиться с издательством ‘Посредник’, обогащающим книжный рынок всем лучшим, что есть в нашей литературе. Там бы он узрел неискаженный лик Толстого, олицетворяющий душу издательства. В. Г. Чертков – работник беспримечный, шагу не сделает без совета или указания Льва Николаевича. Воображаю, как вскипел бы Чертков, рискуя кто-либо в его присутствии сравнить Толстого с ‘догорающим солнцем и угрожающей темной ночью’!?»<sup>68</sup>

В другом месте Илья Троицкий вспоминает, как, рассказав Горькому, что Стриндберг считает его достойным Нобелевской премии по литературе, он услышал вместе с пафосными горьковскими рассуждениями о значении для него, а следовательно, и всей русской литературы, такого рода награды, так же язвительные замечания в адрес его ближайшего друга и соратника по литературной борьбе:

«– Сознаюсь, что не слышал мнения Стриндберга о моем творчестве... Не скрою и того, что охотно принял бы лавры лауреата. Быть носителем Нобелевской премии – честь большая не только для ее избранника, но и для народа, который он представляет. Это – в общем. В частности, лично я благодарен судьбе за вспыхнувший конфликт между Стриндбергом и Гедином<sup>69</sup>, предотвративший выдвижение моей кандидатуры в лауреаты... Будь я, Горький, обличен премией Нобеля, факт этот, может, стоил бы жизни одному из ныне здравствующих русских писателей, чье имя я не вправе назвать. Он не скрывает жажды мировой славы, искренне убежденный, что с его уходом из жизни в миро-

вой литературе останутся считанные имена, и в том числе Шекспира и его.

В кого Горький метнул острую стрелу осуждения, русская общественность узнала лишь в первые годы советского лихолетья. Это был Леонид Андреев, скончавшийся в эмиграции в 1919 году, в прошлом интимный друг Горького»<sup>70</sup>.

Записанные И. Троцким слова Горького о Леониде Андрееве можно добавить к числу тех «около ста пятидесяти» его высказываний, что собраны в книге изданных и неопубликованных писем Горького 1898–1935 гг.<sup>71</sup> Что касается их выражено «подковырочной» тональности, то даже в литературном портрете «Леонид Андреев» (1919 г.), который горьковеды оценивают как «яркое произведение зрелых лет творческой деятельности Горького, <...> одна из самых высоких вершин русского мемуарного искусства»<sup>72</sup>, читатель под аккомпанемент комплиментов и признания: мой «единственный друг в среде литераторов», узнает про покойника, что он де был человек малосведущий – «запас его знаний был странно беден»<sup>73</sup>, сильно пьющий и «...в нем жило нечто неискоренимо детское, – например, ребячливо наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге».

Постоянное стремление Горького как бы между прочим, но обязательно пнуть брата-писателя из своего окружения, отмечено многими свидетелями времени. Например, о Сергее Ивановиче Гусеве-Оренбургском, долгие годы работавшем с ним бок о бок<sup>74</sup>, реально его последователем и во многом учеником, он в предреволюционные годы отзывался очень почтительно: «Это глубокое существо. Как некий омут»<sup>75</sup>. Через двадцать лет он, нечтоже сумняшися, обзывает ничем его не обидевшего писателя «хитрым попом»<sup>76</sup>. Что ж, «Горький – личность безмерная, неохватная»<sup>77</sup>, поэтому-то в своих статьях-воспоминаниях Илья Троцкий избегает давать ему характеристику *ad hominem*. Однако, скорее всего, он вполне разделял мнение своего знакомого, парижского эмигранта Владислава Ходасевича, который писал:

«Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых, по примитивности своего мышления, он никогда не умел отличить от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, [Горький] некогда усвоил себе свой собственный 'идеальный', отчасти подлинный, отчасти воображаемый, образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он ее создал своим воображением, – мысль о возможной утрате этого образа, о 'порче биографии', была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он, в конце концов, продался, – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохра-

нить главную иллюзию своей жизни. <...> Сознал ли он весь трагизм этого – не решаюсь сказать. Вероятно – и да, и нет, и вероятно – поскольку сознал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые, в конце концов, его погубили»<sup>78</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Касьянова Дина*. Литературные портреты писателей Серебряного века // RELGA, №14 [44] 25.07.2000. URL: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1511&level1=main&level2=articles>
2. Троцкий И. М. (1879, Ромны – 1969, Нью-Йорк). О нем см.: *Уральский М.* «Неизвестный»: Илья Троцкий, Бунин и эмиграция первой волны. Москва – Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2017.
3. *Троцкий Лев*. Портреты революционеров / Редактор-составитель Ю. Г. Фельштинский. Пред. и прим. М. Куна. – М.: Московский рабочий, 1999.
4. *Троцкий Л.* Сочинения. Проблемы культуры. Культура старого мира. Том XX. – М.–Л.: Госиздат, 1926: URL: <http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl449.htm>
5. *Ленин В.* Басня буржуазной печати об исключении Горького // Пролетарии, № 50, дек. 1909 г. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotm037.htm>
6. Ibid.
7. *Троцкий Л.* М. Горький и социал-демократия // Правда, № 8, 21 (8) декабря 1909 г. URL: <http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotm037.htm>
8. Ibid.
9. «Инициатором знакомства был Горький, как-то в коридоре остановивший Троцкого словами: ‘Я – ваш почитатель’. Горький имел в виду памфлеты, написанные Троцким в петербургских тюрьмах. Троцкий ответил, что также является почитателем писателя. Вместе с Горьким и Андреевой он вновь осматривал достопримечательности Лондона, где был второй раз». – См.: *Чернявский Г.* Лев Троцкий. – М.: Молодая гвардия, 2010: <http://www.litmir.me/br/?b=158989&p=32>
10. *Фрезинский Б.* Троцкий: контуры судьбы. Попытка переосмысления судьбы опального врага Сталина: <http://gefter.ru/archive/14264>
11. *Фельштинский Юрий, Чернявский Георгий.* Лев Троцкий. Книга первая. Революционер. 1879–1917. – М.: Центрополиграф, 2012: URL: <http://www.litmir.me/br/?b=158532&p=65>
12. *Троцкий Л.* Литература и революция. – М.: Издательство «Красная новь», Главполитпросвет, 1923. URL: <http://www.rulit.me/books/literatura-i-revolyciya-pechataetsya-po-izd-1923-g-read-227725-1.html>
13. Эти высказывания приведены в кн.: *Спиридонова Л. А.* Настоящий Горький: мифы и реальность. – М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 104.
14. *Троцкий Л.* Литература и революция: <http://www.rulit.me/books/literatura-i-revolyciya-pechataetsya-po-izd-1923-g-read-227725-74.html>

15. *Троцкий Л.* Максим Горький. В кн.: Портреты революционеров. Сс. 74-75.
16. Первые отдельные издания очерка Горького увидели свет в 1924 г. под разными названиями: *Максим Горький. Ленин (Личные воспоминания) // М. и М. Горький. Владимир Ленин // Л.* В этом же году очерк был переведен на иностранные языки и напечатан в Англии, Франции, США и Германии. Полностью первая редакция появилась под заглавием «В. И. Ленин» в книге: *М. Горький. Воспоминания. Рассказы. Заметки // Берлин: Kniga, 1927*, а также в 19-м томе Собрания сочинений Горького, вышедшем в том же издательстве. Без изменения первая редакция была перепечатана в 20-м томе Собрания сочинений Максима Горького, вышедшем в это же время в России в Государственном издательстве (ГИЗ). В 1930 г., в связи с подготовкой нового Собрания сочинений Горького, к нему обратился с письмом заведующий ГИЗ А. Б. Халатов: «Вашей статьей о Ленине мы очень дорожим. Но мы просим Вас ее пересмотреть и проредактировать, учтя наши замечания. Вы знаете, как осторожно мы относимся к каждому слову о Ленине, и Вы не осудите нас за то, что мы вынуждены обратиться к Вам с этой настоятельной просьбой». Горький откликнулся на эту просьбу и приступил к работе над второй редакцией очерка, в которой учел как замечания критиков, так и пожелания «сверху». В новой редакции очерк под названием «В. И. Ленин» вышел отдельной книгой в московском Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ) в 1931 г. В нем-то и появился якобы ленинский отзыв о Льве Троцком, к тому времени находившимся в изгнании: «А все-таки не наш! С нами, а – не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассалья...»
17. *Троцкий Л.* Верное и фальшивое о Ленине: Мысли по поводу горьковской характеристики // Газета «Правда», 7 октября 1924 г.
18. Имеется в виду американский художник русского происхождения Сергей Львович Голлербах (род. в 1923 г.), слышавший выступление И. М. Троцкого на встрече нью-йоркской редакции журнала «Социалистический вестник» с читателями в начале 1960-х гг.
19. См., например: М. Горький в воспоминаниях современников: В двух томах / Под ред. В.Э. Вацура, Н. К. Гея, С. А. Макашина. – М.: Худ. лит., 1981; Максим Горький: pro et contra: Личность и творчество М. Горького в оценке русских мыслителей и исследователей, 1890–1910 гг. : Антология / Ред. Д. К. Бурлак. Сост. Ю. В. Зобнин. – СПб.: РХГИ, 1997; Максим Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 72. – М.: Наука, 1966.
20. По известной легенде, когда знаменитый московский раввин Яков Мазе (1859–1924) выступал перед наркомом Л. Д. Троцким просителем «за евреев», тот заявил ему: «Я – не еврей, а интернационалист». На что Мазе, якобы, ответил ему: «Революцию делают Троцкие, а расплачиваются за нее Бронштейны».
21. См., например: *Солженицын А. И.* Двести лет вместе (1795–1995). В 2-х частях / Ред. Н. Солженицына. – М.: Русский путь, 2001; *Будницкий О. В., Полян А. Л.* Русско-еврейский Берлин (1920–1941). – М.: НЛО, 2013.



22. Так, например, в статье «Встречи с Радеком (Из воспоминаний журналиста)» («Сегодня», № 28, 28.01.1937. С. 2) Илья Троцкий цитирует высказывание этого знаменитого большевика, соратника и друга Льва Троцкого: «Впрочем, не одних только Романовых коснется меч революции. Придя к власти, мы найдем фонари, на которых повесим и Милокова, и Гучкова».
23. «Энесы» (народные социалисты) – члены Народно-социалистической (трудовой) партии, образовавшейся в 1906 г. путем выделения из правого крыла партии эсеров и занявшей в политическом спектре российского общества промежуточное положение между эсерами и кадетами. Имея в своих рядах видных представителей российской интеллектуальной элиты, эта партия, несмотря на свою малочисленность, в 1906–1907, 1917–1918 гг. представляла собой серьезную политическую силу. В конце 1917 г. энесы самым решительным образом выступили против большевистского Октябрьского переворота.
24. *Вышинский А.* Судебные речи. – М.: Книга по требованию, 2013. С. 548.
25. *Троцкий Л.* Максим Горький. В кн.: Портреты революционеров. Сс. 74–75. См. также: *Баранов В.* Вокруг смерти Горького. Документы // «Новый Журнал», № 232, 2003. URL:<http://magazines.russ.ru/nj/2003/2321/baram.html>
26. «Русское слово» – популярная многотиражная ежедневная газета либерально-демократического направления, издававшаяся в Москве «Товариществом печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина» с 1897 г. И. М. Троцкий в качестве иностранного корреспондента проработал в этой газете 12 лет, вплоть до 1918 г., когда она была закрыта большевиками.
27. Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), предприниматель, книгоиздатель, просветитель, владелец газеты «Русское слово», журнала «Нива» и др. печатных изданий. В 1906 г. он лично пригласил начинающего карьеру журналиста И. М. Троцкого работать в его газете и впоследствии проявлял по отношению к нему неизменную благожелательность. Со своей стороны, И. М. Троцкий в своих воспоминаниях отзывался о Сытине с большой теплотой и уважением.
28. Седых Андрей (наст. Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1994), русский литератор, деятель эмиграции, журналист, критик, один из признанных летописцев истории русского рассеяния, личный секретарь Ивана Бунина, главный редактор газеты «Новое русское слово» в 1973–1989 гг. В эмиграции с 1919 г., жил в Берлине, Париже, Ницце и Нью-Йорке (с 1942 г.).
29. *Седых А.* Памяти И. М. Троцкого // «Новое русское слово», № 20423 от 07.02.1969. Сс.1, 3,4.
30. *Троцкий И.* Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний) // «Новое русское слово», 07.01.1967. С. 5; Каприйские досуги (Из личных воспоминаний) // «Новое русское слово», 22.01.1966. С. 2 и 7 и 11.12.1966. Сс. 3, 4. В гостях у М. Горького (Из личных воспоминаний) // «Новое русское слово», № 19626, 03.12.1966. Сс. 3,4.
31. *Троцкий И.* Гениальный самородок. Памяти И. Д. Сытина // «Сегодня», 07.12.1934. С. 2.

32. Поскольку статьи Ильи Троицкого в «Новом русском слове» не оцифрованы, а полные комплекты газеты хранятся на микрофишах только в Библиотеке Конгресса (Вашингтон) и Центральной Нью-йоркской библиотеке, цитаты из них приводятся в расширенном формате.
33. Благов Федор Иванович (1866–1934), врач-ординатор, журналист, многолетний редактор газеты «Русское слово». Был гласным Московской городской думы. В 1919 г. эмигрировал в Румынию, в 1922 г. уехал в Чехословакию, затем – во Францию.
34. Ханжонков Александр Алексеевич (1877–1945), российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров русского советского кинематографа.
35. *Гардзонио Стефано*. Михаил Первухин – летописец русской революции и итальянского фашизма. Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация // Тарту: Tartu likooli Kirjastus, 1997. Сс. 48-53.
36. Ладыжников Иван Павлович (1874–1945), издатель, участник революционного движения конца 1890-х – нач. 1900-х гг. В 1905 г. по поручению ЦК РСДРП и при содействии М. Горького организовал в Берлине «Издательство И. П. Ладыжникова», которое выпускало марксистскую литературу, сочинения Горького и писателей группы «Знание». В 1914 г. вернулся в Россию, работал с Горьким в издательстве «Парус» и журнале «Летопись». После революции занимался в СССР книгоиздательским делом, в 1937–1943 гг. – научный консультант архива М. Горького.
37. Все основные европейские валюты, кроме фунта стерлингов (1£ = 9,46 руб.) были почти в 2,5 раза слабее рубля, см., например: [http://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/History/Stat/16.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Stat/16.php)
38. *Троцкий И.* Каприйские досуги (Из личных воспоминаний).
39. *Ариас М.* Одиссея Максима Горького на «острове сирен»: «русский Капри» как социокультурная проблема // Toronto Slavic Quarterly (TSQ), №17. URL: <http://www.utoronto.ca/tsq/17/arias17.shtml>
40. «Красивый цинизм» – название статьи известного консервативного публициста и литературного критика Михаила Меньшикова, посвященной творчеству Максима Горького (газета «Новое время», № 76, 1900 г.)
41. *Ариас М.* Одиссея Максима Горького на «острове сирен».
42. Ibid.
43. Рейнхардт (Reinhardt – наст. Максимилиан Гольдман) Макс (1873–1943), знаменитый австрийский режиссер, актер и театральный деятель, реформатор европейского театра. В 1937 г. эмигрировал в США.
44. «Kammerspiele» – Берлинский камерный театр.
45. М. Горький закончил работу над пьесой, получившей в окончательной редакции название «Последние», весной 1908 г. В «Сборнике товарищества ‘Знание’» пьеса появилась с цензурными изъятиями. Было изъято следующее место: «К представлению в России на сцене пьеса была запрещена Главным

управлением по делам печати». В Архиве А. М. Горького хранится цензурский экземпляр с резолюцией: «К представлению признано неудобным. СПб. 10 июня 1908 г.»

46. *Троцкий Илья*. «Последние» (от нашего берлинского корреспондента) // «Русское слово», № 199, 29.08.1910. Сс. 5-6.

47. *Соколянский А.* «Последние»: очень своевременная пьеса: URL: <http://mxat.ru/authors/directors/shapiro/4943>

48. Максим Горький: pro et contra: Личность и творчество М. Горького в оценке русских мыслителей и исследователей, 1890–1910 гг.; *Басинский П.* Горький. Страсти по Максиму (Документальный роман о Горьком; Максим Горький. Жизнь и биография. – СПб.: ВИТА НОВА, 2008.; *Спиридонова Л. А.* М. Горький: Диалог с историей. – М.: Наука, 1994; Настоящий Горький: мифы и реальность. – М.: ИМЛИ РАН, 2013.

49. *Николаева Людмила*. Ранняя драматургия М. Горького в историко-функциональном изучении: проблема интерпретации жанра пьес «Мещане», «На дне», «Дачники». URL: <http://www.no2000.narod.ru/content.html>

50. Ibid.

51. *Троцкий И.* Август Стриндберг (Скандинавские воспоминания) // «Дни», № 232, 1923. С. 9.

52. *Троцкий И.* Встреча со Стриндбергом // «Сегодня», № 179, 1929. С. 3.

53. М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи, высказывания // М.: ГИХЛ, 1951. URL: [http://az.lib.ru/g/gorxkij\\_m/text\\_0610.shtml](http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0610.shtml)

54. *Парамонов Б.* Пантеон: демократия как религиозная проблема. В кн.: Конец стиля // М.: АГРАФ / Алетейя, 1997. Сс. 186-187.

55. *Троцкий И.* Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний).

56. *Столешников А. П.* Максим Горький – Иегуда Хламида. URL: <http://zarubezhom.com/gorky.htm>. См. также комментарий на эту тему Евгения Добренко в его рецензии «Горький и другие» на вышеуказанную книгу Павла Басинского «Горький»: НЛЮ, № 80, 2006. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/80/do30.html>

57. Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867–1963), русский писатель. В 1893 г. стал сельским священником; в 1898 г. сложил с себя сан и полностью посвятил себя литературной работе. Большое влияние на него оказали знакомство с М. Горьким и участие в сборниках «Знание», где были опубликованы лучшие его произведения. В 1921 г. писатель эмигрировал в Харбин, а в 1923 г. переселился в США. Подавал прошение о возвращении на родину, но ответа от советского правительства не получил. Жил и умер в Нью-Йорке.

58. *Тельман И.* Горький боролся с антисемитизмом: URL: <http://www.jewish.ru/history/press/2009/08/news994276864.php>; *Шумский Арон, Левин, Перец.* Еврейская тема в творчестве Горького // «Лехаим», № 10 (90), 1999.

59. М. Горький о евреях // Петроград: Издание Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов, 1919.

60. Книга о русском еврействе (1917–1967). Под ред. Я. Г. Фрумкина, Г. Я. Аронсона и А. А. Гольденвейзера // Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1968. Сс. 56-69.
61. *Троцкий И.* Оскорбленная литература (По поводу Нобелевской премии) // «Сегодня», № 319, 17. 11.1929. С. 3; Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию (Письмо из Стокгольма) // «Сегодня», № 360, 30.12. 1930.
62. *Уральский М.* Память сердца: буниниана Ильи Троцкого // «Вопросы литературы», № 6, 2014. Сс. 345-377.
63. *Троцкий И.* Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию (Письмо из Стокгольма).
64. *Уральский М.* Память сердца: буниниана Ильи Троцкого.
65. Всего, начиная с 1918 года, Горький был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. URL: [http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show\\_people.php?id=3557](http://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=3557). См. также: *Марченко Т. В.* Русские писатели и Нобелевская премия (1901–1955). Köln; München: Bohlau Verlag, 2007. Сс. 196-251.
66. *Чуковский К. И.* Две души М. Горького // М.: Русский путь, 2010.
67. *Троцкий И.* В гостях у М. Горького (Из личных воспоминаний).
68. *Троцкий И.* Бесконечные русские споры (Из личных воспоминаний).
69. В ходе яростной публичной полемики Стриндберга со Свенном Гедином, любимцем и гордостью шведов, общественное мнение было на стороне последнего, и как личность Стриндберг в начале 1910-х гг. считался в Швеции персоной нон грата. Кроме того, Гедин входил в состав членов Нобелевского комитета, поэтому номинирование Стриндбергом кандидатуры Горького подверглось бы, как полагал шведский писатель «уничтожающей критике влиятельных поклонников Свена Гедина. К чему же обречать Горького на роль жертвы наших внутренних распрей» – см. *Ibid.*
70. *Троцкий И.* Каприйские досуги (Из личных воспоминаний).
71. Максим Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. «Литературное наследство». Т. 72.
72. *Ibid.* С. 8.
73. В отличие от самоучки Горького, Леонид Николаевич Андреев (1871–1919) учился в орловской классической гимназии (1882–1891), на юридическом факультете Петербургского, а затем Московского университетов. В 1897 г. он успешно сдал выпускные экзамены, что открыло ему дорогу в адвокатуру, которой он занимался вплоть до 1902 г.
74. С. И. Гусев-Оренбургский посвятил Горькому повесть «Страна отцов» (1904 г.), снискавшую в свое время большой читательский успех.
75. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. «Литературное наследство». Т. 95 // М.: Наука, 1988. С. 958.
76. Электронная библиотека. Сергей Иванович Гусев-Оренбургский. URL: [http://www.imwerden.info/belousenko/wr\\_Gusev.htm](http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Gusev.htm)
77. *Басинский П.* Горький. С. 440.
78. *Ходасевич В. Ф.* Горький. В кн.: «Некрополь». – М.: Вагриус, 2006. С. 400.

## «Переводчики не стреляют»

*Интервью Т. Гордиенко с Вольфгангом Казаком. 1994 год*

О немецком слависте Вольфганге Казаке, о его деятельности: переводческой, исследовательской, организаторской, – написано немало работ, в которых отмечается вклад в развитие славистики в послевоенной Германии. Личность, судьба и деяния этого человека по-прежнему вызывают интерес. Наша встреча с ним состоялась в 1994 году в старинном русском городе Самаре, где 29-30 июня проходила международная научная конференция «Литература ‘третьей волны’ русской эмиграции»\*.

Я была на конференции как журналист, работала для радио, взяла интервью и у В. Казака. Своевременное оно напечатано не было. В репортажи вошли только фрагменты. Предваряя публикацию полного текста интервью кратким экскурсом в биографию слависта.

Вольфганг Казак родился 20 января 1927 г. в Потсдаме в семье писателя Германа Казака. Его приобщение к чтению, к книге началось с ранних лет. Возможно, со временем он и пошел бы по пути отца, став немецким писателем или поэтом (стихи он начал писать рано), но судьба распорядилась иначе. Он был представителем поколения, которое вступало в жизнь в самом конце Второй мировой войны. За несколько дней до ее окончания прямо из гимназии его, выросшего в антифашистской семье, призвали в армию, зачислили в санитарный отряд, но почти сразу он получил ранение и попал в плен. Военнопленного направили в Поволжье, в советский город Куйбышев – так с 1935 года назывался старинный русский город Самара. И здесь, казалось бы, в самое неподходящее для учебы время, начал изучать русский язык. Он считал, что именно это помогло ему выжить.

Первые уроки, естественно, получал, не сидя за школьной партой, а непосредственно в общении с людьми, стремясь понять их и помочь им понять себя. Ситуация не особенно располагала к учебе, «было очень холодно и голодно. Пленные мерзли, как мухи. Стал загибаться и Вольфганг. И спас его – офицер сталинского МВД. Стал прикармливать из своего пайка. ‘Потом пристроил он меня в теплое место, на кухню. Почему? Я был мальчишка, он меня пожалел’, – просто объяснял Вольфганг\*\*». Жалели и простые русские бабушки, которые отдавали пленным часть своего скудного пайка. При этом вокруг звучала чужая речь, красотой которой военнопленный был

пленен; он был рад, что остался жив, ему легко давался русский язык, и уже тогда, в плену, люди охотно прибегали к его услугам переводчика.

Возвратившись на родину в ноябре 1946 года, он не потерял интереса к языку и стал его совершенствовать, и посвятил свою жизнь культурам двух стран. Поступил в Гейдельбергский университет, а после окончания в течение четырех лет изучал славистику в Геттингенском университете, где получил степень доктора. Хорошее знание русского языка позволили ему в 1956 получить работу переводчика в посольстве ФРГ в СССР. За четыре года, проведенные там, серьезно улучшил свои знания.

Несколько лет в Германии Казак занимался вопросами обмена между СССР и ФРГ, это была работа чиновника, которая, однако, расширила круг его общения с русскими и немцами, занимающимися славистикой, и приблизила к научной работе. Профессор Казак постоянно читал, русская литература особенно увлекла его. Некоторые произведения русской классики он начал издавать в своем переводе на немецкий язык, писал небольшие аннотации к издаваемым книгам. С 1969 года, когда он возглавил кафедру славянской филологии и стал директором Института славистики Кёльнского университета, его возможности заниматься русской литературой расширились. Здесь под его руководством работали единомышленники, занимавшиеся славистикой, здесь он мог полностью сосредоточиться на изучении истории русской литературы. Итогом этой многолетней деятельности стал серьезный труд В. Казака. «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года», который вышел в 1976 году по-немецки, был переведен на многие языки (на русский – в 1988 году) и стал настольной книгой не только для специалистов, но и для широкого круга читателей. Обновленное и дополненное издание энциклопедии вышло по-немецки (1992) и по-русски под названием «Лексикон русской литературы XX века» (1996). В предисловии к русскому изданию автор писал: «...Я решил включить в Лексикон не только признанных тогда в Советском Союзе писателей, но и эмигрантов, а также авторов, живущих на родине, но лишенных в ту пору возможности печататься... Таким образом, Лексикон, впервые изданный по-немецки в 1976 году, стал первым научным трудом, который... подтверждает единство русской литературы XX века, расколотой в то время официальным советским литературоведением на советскую и несветскую (чтобы не сказать антисветскую)».

В формате Лексикона автор представил историю русской литературы после 1917 года. В словаре помещено 855 статей, 747 из них – это биографические статьи о писателях – представителях русской литера-

туры XX века. Словарные статьи построены традиционно: творческая биография писателя, основные произведения и список публикаций о нем. Составитель считал необходимым включить 108 понятийных и теоретических статей, в которых речь идет о литературных журналах и газетах, а также о литературных объединениях, существовавших тогда в СССР, например, статьи «Союз писателей», «Съезды писателей», «Литературные премии», «Литературный фонд», «Литературные журналы» и другие.

По сравнению с существующими в то время аналогичными словарями, изданными в Советском Союзе, книга Казака была значительно полнее. В поле зрения исследователя и переводчика попадали произведения писателей известных: Вениамина Каверина, Михаила Булгакова. Николая Эрдмана, Виктора Розова, Александра Солженицына – и менее известных или непечатаемых в СССР. Он видел свою задачу в том, чтобы зафиксировать всех, заявивших о себе как о писателях – талантливых и тех, кто был просто близок к власти, или считался политически неблагонадежным; разрешенных цензурой или запрещенных в Советском Союзе, а также – эмигрантов, запрещенных в СССР. Ему важно было как можно полнее представить всю русскую литературу этого периода.

В своих стремлениях «объять необъятное» он был неутомим. Он настойчиво рассматривал творчество каждого писателя, независимо от политических взглядов и отношений с властью. Его труды сыграли большую роль в информировании зарубежных читателей о русской литературе и о ее творцах, расширили представление о творчестве многих писателей XX века для читателей, живущих в Советском Союзе. Профессор Казак со свойственным ему педантизмом не шел ни на какие компромиссы и рассматривал русскую литературу как единую, без деления на русскую советскую и русскую зарубежную. В памятной статье о нем проф. Лев Лосев отметил, что, «глубоко презирая тоталитарный советский строй и его идеологию, Казак тем не менее понимал сложную диалогическую природу литературного процесса, в котором свободное слово Солженицына откликается на несвободное слово Шолохова или Константина Симонова, в котором сатира Шварца пародирует воспевание тирана и тирании в сочинениях Алексея Толстого или какого-нибудь ничтожного Петра Павленко»\*\*\*.

Ниже приведено интервью с В. Казаком из моего архива. При подготовке его к печати в тексте сделаны небольшие поправки стилистического характера, но в основном особенности русской речи немецкого слависта сохранены.

---

\*Конференция была организована Самарским государственным университетом и

Самарским педагогическим институтом (ныне университет) при поддержке городской администрации. Самарская конференция, посвященная литературе третьей волны эмиграции как части единой русской литературы, вызвала большой интерес, ее материалы были опубликованы в специальном сборнике «Литература 'третьей волны' русской эмиграции» (Сборник научных трудов // Издательство «Самарский университет», 1997). Профессор В. П. Скобелев писал в предисловии «О единстве русской литературы XX века»: «Конференция вызвала значительный интерес читающей публики. Этому в немалой степени способствовало активное участие в ее работе В. Аксенова, В. Войновича, Евг. Попова, а также Б. Сарнова, известного критика и литературоведа». Отмечено было и участие Вольфганга Казака. Исследователи из Москвы, Томска, Перми, Ельца, Воронежа, Калуги и других городов России, а также из Белграда (Корнелия Ичин), представили в своих докладах материалы о творчестве А. И. Солженицына, В. Н. Войновича, И. А. Бродского, Саши Соколова, В. П. Аксенова, А. Синявского (Абрам Терц), Н. Коржавина, С. Довлатова, Дм. Савицкого, Л. Копелева, В. Максимова; кроме персональных, были доклады обобщающего характера, в сборнике они представлены в разделе «Культура, идеология, поэтика». Обстановка во время конференции сложилась дружеская, в свободное время в кулуарах продолжались дебаты и доверительные беседы, из которых мы узнали, что В. П. Аксенов, живший тогда в США, принял приглашение не только как писатель, но и как университетский профессор; это был не первый его приезд в Самару, он бывал здесь на джазовых фестивалях. У В. Н. Войновича с этим городом были связаны особые воспоминания: во время войны он находился здесь в эвакуации. Для В. Казака Самара тоже связана с войной: он пролежал здесь больше года как военнопленный.

\*\* Лев Лосев. Памяти Вольфганга Казака (20 января 1927 – 10 января 2003) // «Встречи» (альманах-ежегодник). Филадельфия, 2003. Выпуск 27. С. 27.

\*\*\* Ibid.

*Т. В. Гордиенко*

\* \* \*

**Т. Гордиенко:** *Профессор Казак, вы сказали, что в Куйбышеве бывали во время войны. Расскажите об этом времени.*

**В. Казак:** Мальчиком, я бы сказал, восемнадцати-девятнадцати лет я был в России неоднократно на грани смерти, и в это время самые существенные вопросы нашей жизни – подчинение судьбе или тому подобное, играли такую роль, как позже очень редко в жизни. И все те, которые в России или в другом месте пережили смерть, смертельную опасность – войну афганскую, они знают, о чем я говорю. Странно то, что сегодня вы в такой ситуации, в этом хаосе в России ближе к настоящим вопросам жизни, чем мы в нашем более-менее богатом и сытом Западе. Один из профессоров, который недавно находился в Кельне, сказал: «Сейчас у нас в Москве пик духа». И я повторю: это было у нас в сорок шестом – сорок восьмом годах, когда жизнь была хуже всего, но как раз люди в это время были на подъеме



(наверху) и поняли суть жизни. Вот та основа, которая была заложена здесь, дала мне больше свободы: я должен был выучить русский язык до конца. Я конкретно затем и остался в живых, что начал учиться русскому языку. И это определило жизнь, потом экзамен зрелости в 1946 году, включая предмет «русский язык». Сначала мы боялись в это время войны между СССР и Америкой. Значит, чтобы ни в коем случае не стрелять (я и в той войне не стрелял), поскольку был секретарем и хотел стать переводчиком. А переводчики не стреляют.

*Т. Г.: Вы не хотели войн, не хотели больше стрелять, но все-таки плен в России не самое лучшее место для выбора русского языка как профессии. В России, например, после войны немецкий язык не был популярен, было не очень много желающих его учить. Почему вы, находясь в плену, выбрали русский язык и сделали его своей профессией? Как вы к этому пришли?*

**В. К.:** Сдал экзамен на переводчика: университет, славистика, докторская тема о Гоголе («Техника изображения человека у Николая Васильевича Гоголя»). Потом было немножко трудноватое время, а в 1955 году я был уже одним из переводчиков Аденуэра и попал как первый переводчик в наше посольство в СССР. В Москву. Все это только на основании именно этой глубокой привязанности к русскому языку, к русским как людям. То, что я не забуду, – это тех, которые рядом со мной умирали, или тех, которые ко мне подошли, прощаясь, поскольку я был тоже умирающим. И помощь русских нам, военнопленным. Какая-то баба принесла воды, а солдат кричал ей: «Уйди!», – но она продолжала спокойно, подошла опять с другой стороны, и этот солдат медленно подошел, снова закричал – и всё: он как бы выполнил норму, а мы получили воду. Это человеческая сторона. И почти все «русские» военнопленные совершенно не со злобой вспоминают жизнь в плену. Конечно, обокрали нас, – вы же понимаете, ребенок дома голоден, и те люди, в руках которых было наше питание, ну разве не потащат что-то домой? Это вообще нормально. Ничего неэтичного в этом не было в отношении нас, немцев-военнопленных.

Другой такой случай был, когда мне там лук передала какая-то русская через забор. Вот именно это я не забуду, я – мальчик, потом студент, – именно все это определило мою жизнь. К тому же, еще моя русская учительница [эмигрантка] первой волны. Фамилия ее Жуковская. Небезызвестная фамилия. Руфина Николаевна Жуковская не получила вестей от своего сына, который был в Сталинграде, и всю свою боль, свою скорбь она в форме любви передала мне. Я каждую неделю один-два раза брал у нее частные уроки. Все это, конечно, без надежды, что из этого будет какой-то толк. Какие у нас были отношения, какая у вас была страна в пятидесятом-пятьдесят первом

году, какая у вас была политика... А потом – посольство, четыре года, пока я не убедился, что работать в МИДе вообще положительно невозможно из-за того, что вы всегда в зависимости от какого-то начальства, и даже самое высокое начальство – в зависимости от своей партии. И я покинул МИД.

*Т. Г.: Что вы делали после?*

**В. К.:** Обмен учеными, студентами между нашими странами – опять возможность служить контакту между нашими странами, направлять сюда прежде всего учиться. Возьмем два примера. Один – это сегодняшний директор зоопарка в Аугсбурге, доктор Горгаз. (Фамилия, возможно, расшифрована неточно. – *Т. Г.*) Мы должны были проверить знания русского языка, начальные, чтобы его отправить, а у него начального [уровня] почти не было. Но я сам себе сказал: зачем всех этих, как меня славистов, – в Россию? Это нам в будущем не обязательно, но один зоолог – это нужно. И уговорил приемную комиссию направить зоолога, директора. Сегодня это центр всех русских директоров и нерусских, из республик, директоров зоопарков в Европе. Он общежитие на чердаке устроил, чтобы возможность была всех этих гостей принимать. Это один из редких случаев в нашей жизни, когда человек живет своей благодарностью. Другой случай – это профессор Ренате... (Фамилию не удалось разобрать. – *Т. Г.*) Сейчас у нее в Гамбурге кафедра археологии. Эта девушка вообще так плохо знала русский язык. У меня не было свободных мест по обмену; кроме того, вообще нельзя было ее отправить. А мне дали деньги направить в исключительных случаях людей по Интуристу, профессоров знаменитых, выражаясь по-русски, – академиков. А я взял и отправил эту девушку, студентку, которая была заинтересована тоже всей душой в русской – украинской в данный момент – археологии. Она оставалась здесь шесть [недель]. Через какой-то год-полтора я включил ее в обмен по ли министерства высшего и среднего специального образования, то ли Академии наук, неважно, но это был регулярный обмен. Благодаря ей раскопки на Украине были проведены по западным нормам, а не по принятым здесь нормам. Здесь хотели оставить все, как есть, подправить кое-что и сохранить в такой форме, и не собирать то, что там было вокруг. Так мне, по крайней мере, передали... Все это, конечно, важно, потому что она получила представление, как настоящая жизнь происходит и только таким образом получилась дружба с русскими коллегами. Сегодня она первый человек в этом отношении на Западе, блестящий контакт со своими русскими коллегами. Вот это наивысшие примеры – кроме одного или двух математиков, они тоже стали профессорами. Последний, кого я предложил отправить по обмену, когда у меня уже была кафедра или я ждал кафедру... Это

был вам, может быть, не известный славист из Кёльна – Вольфганг Казак...

Министерство высшего образования получило заявление: *прошу принять Казака, подпись – Казак*. Я взял себе только один год, чтобы написать докторскую. Сегодня я понимаю, что других это немножко удивило, что человек на такое способен, ну, когда у меня сейчас 575 публикаций, вы можете представить, что я могу довольно сконцентрировано работать.

**Т. Г.:** *Профессор Казак, вы в итоге, как и хотели, стали переводчиком, заметим, довольно успешным. Что вам понравилось в русской литературе больше всего?*

**В. К.:** Перевел примерно пятьдесят книг русской литературы на немецкий. Мимоходом упоминаю, что у меня была секретарша – и все эти романы я диктовал. Сегодня все переводы пишу в компьютере, легче можно поправлять. А тогда все романы диктовал – и Тендрякова «Расплата», или Нагибина «Встань и иди», или Гоголя «Мертвые души». Все просто диктовал, как сейчас на вашу машину (Магнитофон. – Т. Г.). Так что это одна часть, потом, может быть, тоже связано с этим служением русской литературе или взаимопониманию через литературу между нашими странами, которому я посвятил свою жизнь. Это то, что я более пятнадцати лет исследовал при помощи сотрудников института, – переводы русской литературы XX века, которые публиковались в Западной Германии, Швейцарии и Австрии. Все, полный список. И о каждой книге написал рецензию от пяти до десяти строк.

Для меня самый важный перевод – это, конечно, Саша Соколов, «Школа для дураков», он соединяет мои два брака. Мы решили это (Второй брак. – Т. Г.) еще с первой моей женой, это уже было в последний год ее жизни. Я ей дал дома умереть, похоронил и через год у меня была моя сегодняшняя жена, которая на двадцать семь лет моложе и по-русски гораздо лучше говорит. Студентка моя. Это наилучшая моя была студентка. Вы знаете, мы с ней связаны смертью. Это та немка, которая ко мне подошла и сказала: «У вас опыт с умирающими. Моему другу определили сегодня, что ему жить две недели. Ему связали руки и ноги в больнице, поскольку боялись, что он может стать агрессивным. Что мне делать?» И я сказал: «Пойти ночью, забрать его». И она сама уговорила медсестру и получила его из больницы. Тот человек жил прекрасно двенадцать дней, а на тринадцатый день умер. Она присутствовала при этом. А до этого они договорились, какие псалмы читать во время перехода в другой мир. Вот вам смерть настоящая. Прекрасно. Желаю всем так умереть: вы внутренне готовы к смерти, с вами близкий вам человек, у вас полная

убежденность, что жизнь ваша продолжается после смерти, – что же вы еще хотите? Только жить? Нет, лучше не может быть. Это я упомянул только из-за того, чтобы вам было ясно, что это довольно прочная основа. И после этого я сказал: «Уважаемая госпожа, я выполнил свою норму, я вам дал ценный совет, теперь продолжается моя жизнь и ваша жизнь...

*(После короткой паузы Вольфганг продолжил свой рассказ)*

Она оказалась идеальной редакторшей, минимум двести примеров она исправила на наилучший немецкий язык.

Студентам ничего не читаю. В Народном университете читаю лекции о русской литературе до 1937 года.

**Т. Г.:** *Благодарю вас, что вы согласились на эту беседу.*

*1994 г., июнь. Самара*

# БИБЛИОГРАФИЯ

БЛОК МАРИНЫ ГАРБЕР:

*Михаил Шишкин. Пальто с хлястиком: Короткая проза, эссе. – М.: АСТ, редакция Елены Шубиной, 2017. – 318 с., илл.*

В эссе «Пальто с хлястиком», открывающем книгу короткой прозы Михаила Шишкина, говорится о трудном опыте проговаривания правды в мире лжи, о раздвоении законов этого мира – на писанные и неписанные, об амбивалентности – как обмана, так и истины, о чувстве внутреннего рубежа, прочерчиваемого каждым в одиночку, согласно индивидуальному пониманию того, где пролегает невидимая граница между дихотомиями и в каком месте ее дозволено преступить: «Всегда, в любое время, в любой стране есть прожиточный минимум подлости». В эссеистике Шишкина совмещено, казалось бы, несовместимое, с одной стороны – идея о слиянии противоположностей, с другой – тяга к разрыву между всем тем, что так «естественно» совпало исторически (к размежеванию родины и политического режима, например). Все творчество писателя соткано из скрещенных противоречий, посему выводы в его эссе нередко парадоксальны, даже ошеломляющи: страх – это «живительная прививка», наивность – сила и залог продолжения жизни, а смерть есть благо и отпущение. Шишкин ставит знак равенства между свободой и тюрьмой, заключенным и охранником, демократией и самоконтролем, дисциплиной и добровольным ущемлением собственной свободы, писательством и юродством, сумасшествием и счастьем... Или же более конкретный, горький пример: «плохой» учитель – это тот, кто культивирует в ученике чувство собственного достоинства, иными словами, чувство, в повседневной реальности оказывающееся «лишним» и «вредным», а не проверенные несколькими поколениями навыки приспособления. Якобы «спасительное» искусство выживания постигается через уроки смирения, насильственного умерщвления и многократного умирания – сначала языка, посредством постижения азов «мертвой речи», потом (или одновременно, ведь язык есть жизнь?) – говорящего на нем. Согласно Шишкину, язык тоталитарного сознания – это сплошные «не»: непонимание, нелюбовь, неуважение... Тотальные отталкивания. Язык в таком обществе – главное оружие духовного убийства, разобщения и подавления. Но иногда случается непредвиденное – зло не исчезает, нет, однако антагонизм его составных неутомимо идет на спад, и движком такой перемены для определенной прослойки оказывается литература: «Пушкин на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране»; «Писал о старухах, вываливающихся из окна, а получилось о конце света и единственной возможности спасения: полюбить, покаяться»... Возможно, «застойное» поколение тоже выросло из гоголевской шинели, но выжило оно благодаря незначительной детали покроя – хлястику на спинке пальто, на

удивление крепкому и способному удержать вес ребенка, грозящего провалиться в щель между вагоном и платформой.

Шишкин всегда тяготел к идее взаимодействия всего и вся; например, предположительно далеких друг от друга спорта и политики – не случайно, гол Хендерсона становится для автора условной точкой отсчета до момента краха советского строя (чем не пример эффекта бабочки?). Можно утвердить, что на идее взаимосвязи построена вся проза Шишкина, его лодка движется к безымянному берегу, но смысл ее движения – собрать и сохранить; словами автора: «Роман, написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в русской литературе, в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, начитанного – к маминому лифчику, набитому порошком, который она надевала после того, как ей отрезали грудь. От старославянских центонов – к ее тихой смерти, которую она ждала, чтобы отпустили боли». Фотоальбомы, составленные матерью писателя незадолго до смерти и впоследствии сгоревшие при пожаре, эта попытка упорядочивания и фиксации прошлого, эти изображения, сопровождаемые именами, топонимами и датами, а также связанные с ними «истории на полях» предстают метафорой писательского искусства – одной из нескольких, предлагаемых нам автором в новой книге. Письмо есть воскрешение, возвращение «уничтоженной жизни», ведь «язык – единственное средство воскрешения». Воскресают советские военнопленные в эссе «Родина ждет вас!», воскресают погребенные в одной из многочисленных братских могил чеченцы, поименно перечисленные в «Венерином волосе»... И уже не столь важно, что семейные фотоальбомы позже уничтожаются огнем, важно, что они были, что оберегающий жест был сделан и запечатлен в слове. В эссе «Человек как объяснение света в любви» и писатель, и, в определенном смысле, Бог (ибо «автор для героев – Бог») явлены в образе фотографа или оператора, работающего в режиме замедленной съемки. Искусство же представляется здесь групповым портретом, карточкой «на память о бессмертии». Собственно, групповым портретом предстает и иллюстративный вкладыш в «Пальто с хлястиком», напоминающий фотоальбом, под обложкой которого соседствуют лица родных писателя и его разнокалиберных персонажей: родители, революционерка Лидия Кочеткова, швейцарский прозаик Роберт Вальзер, Владимир Высоцкий в роли Гамлета... Посредством собирания и соединения, латания «дыр в швейцарском пейзаже», образовались островки русской суши в чужом море, как отмечает автор русского путеводителя по Швейцарии: «в этой моей стране поселились между строк и мои умершие родители» – среди художников и путешественников, студентов и революционеров, писателей и композиторов, царей и ученых... Сродным групповым снимком, не окаменевшим, не статичным, а живым и подвижным, предстает вся книга эссе и рассказов.

«Чтобы сказать что-то новое, нужно чувствовать в себе века традиции. Если где-то на электростанции нажать на кнопку, то в окнах городов замигает свет. Так в литературе, если написать слово, оно отзовется во всех уже существующих книгах, независимо от того, прочитал ты их или нет», – творчество, по Шишкину, это борьба со смертью и ее двойником, забвением. Посему писатель у Шишкина – провожатый и лодочник, Вергилий и Харон в одном лице, – ведущий то в кромешность ада, то из нее, через гулкий и тусклый зал ожидания не обязательно к свету, но, в каком-то смысле, к тверди, более или менее устойчивой почве, пусть и не осиянной немеркнущим светом, но той, «где каждого из нас любят и ждут». Эта зыбкая земля, конечно же, в конце концов тоже распадется, и этот свет рассеется без остатка, но только с исчезновением последних двух – ведущего и ведомого (писателя и читателя), сохраняющего и сохраняемых (Ноя и его «пассажиров»), создающего и сотворенного (Бога и Адама): «Все кончилось, но самое важное осталось: еще жив читающий эти буквы. И значит, ничего кончиться не может».

Для Шишкина важна идея непрерывности бытия, одновременности времен и, следовательно, жизни человека, синхронно протекающей во всех эпохах. В поэзии такое хромотопное стягивание до точки, до тонко обрисованного и, по сути, крохотного временно-пространственного клочка не ново, в прозе же подобное временное сужение и совпадение случается реже (в этой связи вспоминается космокомический рассказ Итало Кальвино «Всё в одной точке»). Проза Шишкина отмечена особой разновидностью «хронопатии» (термин М. Эпштейна), причем у него такая трактовка времени представляется не патологической, а напротив, убедительной и естественной. Взаимосвязь между людьми и эпохами обозначает временную континуальность, непрерывность жизни. Этот узловый шишкинский мотив озвучен в эссе «Пальто с хлястиком», в котором автор говорит об осознании того, что «я никогда не рождался, а был всегда», что «не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь»; приведенные слова созвучны строкам из письма героя «Письмовника»: «Это мой забинтованный палец, теперь, наверно, шрам останется навсегда, а рифма к нему – тот же мой палец, но еще до моего рождения и когда меня уже не будет, что, наверно, одно и то же»... Предметы, характеры, человеческие отношения кочуют из реальной жизни в литературную, и последняя оказывается более надежным и долговечным прибежищем, средой относительной вечности. Так, например, некогда взаправду потерянная в лагере военной подготовки пилотка «обнаруживается», цела-целехонька, на голове героя «Письмовника». Аналогично, мысль о том, что «ничего не надо выдумывать», прозвучавшая в двух эссе, «Пальто с хлястиком» и «Жлякса Набокова», представляется почти дословным эхом одной из идей романа «Венерин волос». «Это своего рода жилы, которые не дают миру рассыпаться», – говорит о связующих нитях герой «Урока каллиграфии», переключаясь с написанным позже «Письмовником»: «Все на свете

зарифмовано со всем на свете. Эти рифмы связывают мир, сбивают его, как гвозди, загнанные по шляпки, чтобы он не рассыпался». Круговорот образов, коловращение предметов из одного текста в другой или из жизни в текст, автоцитаты, вариации сказанного в другом тексте – все это меты уникально-го, но не обособленного, спаянного с жизнью мира шишкинской прозы.

Каждое произведение Шишкина – это и текст о литературе, о едином тексте. В то же время, о так называемой столбовой дороге он пишет, находясь в некотором отдалении от нее, то есть на обочине, «со стороны» (это заковы-ченное сочетание и его вариации предстают одними из ключевых во многих его эссе). Мысль о вслушивании в родной язык «со стороны», безусловно, не нова (вспомним хотя бы слова С. Маковского о Мандельштаме, о его «любо-вании [языком] немного со стороны»), но если раньше такое вслушивание чаще всего рассматривалось как почти случайный, вынужденный и побоч-ный продукт, то у Шишкина оно озвучено с принципиально иной позиции: отрыв от родного языка, добровольная отстраненность от него трактуются писателем как причина и цель творческой эмиграции, ее миссия. Таким обра-зом, эмиграция представляется благом, потеря – приобретением, воистину *добровольным* изгнанием. Иными словами, то, что обычно казалось трагедией, у Шишкина оборачивается спасительной необходимостью: из оскверненного, умерщвляемого языка – к животворящей паузе («Как пауза – часть музыки, так молчание – часть текста»), к самочинному обречению на тишину, из которой, как из морской пены, в свое время должен родиться твой собственный, ничем не замутненный язык. Язык как инструмент создания своей «коллекции слов». Отсюда – неожиданный вывод о том, что «...изящная словесность – лишь одно из проявлений косноязычия». Эмиграция, внутрен-няя ли, внешняя, по Шишкину, – не смена места жительства, а произвольный отрыв от знакомого, свободное погружение в *чужое*, освобождение или даже рывок – из общей интонационной топи. Эмиграция становится тем обстоя-тельством, которое необходимо для выполнения важного для творческой личности условия – одиночества: «Россия со всем своим скарбом пересели-лась в шрифт. Язык, как некогда квартиры, уплотнили для новых жильцов»; «Переезд – это возможность окружающего мира нагнать тебя уже другого, изменившегося» (эссе «Спасенный язык»).

В эссе «Лодка, нацарапанная на стене» автор поясняет, что главным персонажем романа «Взятие Измаила» является стиль, немногим выше предлагая следующую формулу: стиль – это «время слов, помноженное на пространство слов». Говоря о пространстве, отметим, что Шишкин предла-гает свою версию ландшафтно-лингвистического релятивизма: страна про-живания предстает у него театральными декорациями, определяющими контекст произносимого на их фоне: «Границы, расстояния, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосоче-тания на Малой Дмитровке не пропускается сюда таможенной. Лишенные там



самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство, из средства становятся субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверное, в театре смысл любой сказанной фразы изменится, если поменять декорации». Примечательно, что именно среди швейцарских Альп возникает образ Святого Епифания с отрезанным, но заново прижившимся – своим же, данным при рождении – языком, а также связанная с этим образом мысль о *вертикальности* речи, о ее направленности не к современникам, не по горизонтали, а вверх, к невидимому, но всеслышающему адресату. Подобное вертикальное устремление, в противовес традиционному горизонтальному, некогда отмечал Бродский у Цветаевой: именно на таких перпендикулярах построены ее лучшие поэмы – «Поэма горы» и «Поэма конца». В эпоху «пост» (структурализма и модерна) разрыв между говорящими, и раньше присутствовавший, как закономерное следствие Вавилона, разверзся и расширился до бездны (вспомним Ролана Барта, исследовавшего «властолюбивую» природу языка, превосходство языка масс над языком индивида, проблему отсутствия общего языка и, как следствие, невозможность взаимопонимания). Шишкин концентрируется на непонимании, возникающем между носителями одного языка, утверждая, что на расстоянии отчетливость обретает не только слово, его смысл и звучание, но и осознание того, что родной язык расщеплен на множество разных и малосвязанных «диалектов». Так, родина рифмуется с Вавилоном: «И говоря по-русски, невозможно понять друг друга. Юровский зачитывает в подвале приговор, а доктор Боткин не понимает. Или, к примеру, Пастернак и Хрущев. Или тот, кто вышел с плакатом против войны, и народ. А в набитом автобусе? А на опостылевшем супружеском ложе?» (эссе «Спасенный язык»).

«Со стороны» – так видит писатель мир и себя в нем: «Ему кажется, что он приглядывается в объектив, а это мир разглядывает через линзу его самого. И фотография будет не о мире, а о нем. Фотограф всегда фотографирует себя. И здесь не поможет никакая ретушь, никакой фотошоп. Мы видим в конечном счете больше того, что видит в окуляр нажимающий на кнопку». Сюжетные ходы способствуют удерживанию читательского внимания, выписанные герои и образы – читательской душевной вовлеченности, сопредельной с чувством узнавания и сопереживания: «Не было бы деталей с печеной рыбой, которую он ел, проголодавшись после смерти на кресте, и вложенным в рану пальцем, мир не стал бы христианским»... Но этих трех китов – узнавания, сопереживания и любопытства – недостаточно для того, чтобы словесный мир устоял; своей прочностью он обязан личности писателя, человека и ремесленника, творца и труженика, родителя, радеющего над своим детищем. Герои Шишкина – галерея зеркал, иногда нарочито кривых, иногда тщательно протертых, иногда мутных, – в которых среди прочих лиц во множестве вариаций отражается один и тот же образ – образ писателя, соз-

давшего своих персонажей: «Первое произведение писателя – он сам. Так от глыбы мрамора нужно отсечь все лишнее, чтобы появился мальчик, вынимающий занозу. Мальчик всегда уже в этой глыбе был».

В книге «Пальто с хлястиком» – несколько персонажей, главных и второстепенных, центральным и связующим среди них представляется Роберт Вальзер. Ощущение значимости образа швейцарского прозаика возникает не только интуитивно, оно также подтверждено композицией книги: согласно объему и безотносительно очередности текстов, именно эссе «Вальзер и Томцак» размещено «по центру», оно – и сердце книги, средоточие гравитации, и, в некотором смысле, критическая точка, тот узелок, после которого дальнейший «сюжет», если этот термин применим к эссеистике, тянется, словно нить из клубка. Нужно заметить, что Шишкин мало похож на Вальзера, но автору близок дух отшельничества, важен вальзерово-цветаевский отказ в качестве ответа «на твой безумный мир». Правда, у Вальзера отказ был полным и бесповоротным, у Цветаевой частичным (хотя, по-видимому, исключительно в силу обстоятельств), но при этом не в меньшей степени добровольным, у Шишкина же – относительным и периодическим (вспомним некогда описанный автором период уединения, понадобившийся для написания «Записок Ларионова»), и тоже добровольным. Второе важное совпадение между двумя прозаиками состоит в том, что у Шишкина, как и у Вальзера, «акт писания, само творчество» становятся узловыми темами произведений.

Пожалуй, на фигуре Вальзера следует несколько задержать внимание. Вальзер – главная рифма в этой книге: он то и дело возникает, благодаря или прямым упоминаниям, как в эссе «Пальто с хлястиком» и «Лодка, нацарапанная на стене», или косвенным, метафорическим, – в образе ищущего любви мальчика, имитирующего собственную смерть в «Уроке каллиграфии», или в молодом Шишкине, еще ничего не написавшем писателе, в эссе «Гул затих». Да и судебный писарь из «Урока каллиграфии», уходящий от ужасов реальности в искусство чистописания, – это ведь тоже отчасти Вальзер, обучавшийся каллиграфии и по долгу службы некогда переписывавший однообразные банковские бумаги: письмо как уравнивание ужаса красотой, гармонизация мира, хотя бы на поверхности, внешне... Портрет Вальзера написан доброжелательной и чуткой кистью, он точен и детален и в то же время неоднозначен, отдельные его черты хочется если не оспорить, то рассмотреть под иным углом. К примеру, утверждение Шишкина о независимости Вальзера как от собеседника, так и от читателя, не совсем увязывается с многолетними, настойчивыми и, к сожалению, зачастую тщетными попытками писателя опубликовать написанное, даже в периоды относительной финансовой стабильности, обеспеченной неожиданно полученным наследством. Вальзер, безусловно, не подыгрывал читателю, вообще был бескомпромиссен, но своего читателя все-таки искал с неза-

урядным упорством, потому и держался за переписку с молодой читательницей, безвестной немецкой девушкой. Он хотел признания, но не фиктивного, не за пользующуюся спросом «своевременную» подделку, а честного, равноценного его текстам. Искал он и собеседника, отсюда – его сквозная «тоска по ребенку», тоска не по сыну и преемнику, а по *собеседнику на равных*. Вальзер у Шишкина по-детски мироцентричен, детским кажется и его абсолютное неумение скрывать чувства, ему присущи и максимализм, и бескомпромиссность, и упрямое «наперекор», ведь именно ребенок способен убеждать из дому во время родительской ссоры – не прямой участник, но, тем не менее, лицо задействованное, непосредственно зависящее от последствий домашней перебранки. Отсюда, из детской неприспособленности, – скупой вальзеровский быт (стол, стул, ветхое тряпье, отсутствие даже книг; здесь снова вспоминается Цветаева, ставившая мусорную корзину посреди комнаты, даже не задумываясь о том, чтобы задвинуть ее в какой-нибудь угол), роль шута и бродяги, образ неприкаянного, но при этом малоподвижного, невыездного человека – не потому, что писатель был привязан к конкретному дому или стране, а потому, что он сам был страной, всем земным шаром. Это «творящее мир я» самодостаточно, в нем слышны отголоски и тючевского «всё во мне, и я во всем», и хлебниковского: «Я, носящий весь земной шар / На мизинце правой руки» (Хлебникова, с его «игрой в аду», с бытовой неприспособленностью и неопрятностью, неспособностью ходить на службу, с его, по словам Брюсова, «мальчишескими выходками», – вот кого напоминает Вальзер кисти Шишкина!). Но примечательнее всего, пожалуй, отмеченное автором, по-детски отчаянное желание любви – такого, каков ты есть: «Вальзер всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него не было. Один из его первых рассказов о том, как мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был счастлив, оттого что он жив, что он просто есть на этой земле» (этот пронзительный образ подложного утопленника «выныривает» и в «Уроке каллиграфии»).

Преувеличение, почти абсурдная гипербололизация любого пустяка – тоже типично детские черты. Закономерно, Вальзеру земля видится ближе, предметы больше и объемнее, каждая мелочь – значительнее. Природа у него противопоставлена рациональному миру людей, его законам. В лесу или в поле не нужно ни расшаркиваться, ни платить по векселям, там нет обязательств, есть лишь удивительное право бытия – по-детски необремененного, свободного. Ощущение счастья возникает не только в силу слияния с природой, как отмечает Шишкин, но и благодаря захватывающей писателя-путника полноте присутствия в моменте, благодаря чувству одержимости существованием, обостренному, оглушительному ощущению бытия – всем естеством. В том-то и дело, что все эти случайные, блуждающие точки однажды совпадут, все, рассеянные по улице одного города или по разным

городам планеты, не суть важно, в какой-то момент стянута в общий световой пучок, и условные, абстрактные, да и попросту нереальные взгляды и рукопожатия обретут возможность одновременного существования – в едином объединяющем их тексте. Текст обладает соединительной функцией – быта и творчества, писателя, его героев и читателей, всего полярного и равноудаленного. Иллюзорности и, главное, временности реальной жизни противопоставлена прочность словесного мира. Фиксирование деталей придает сказанному достоверности: «достойности верь». Мы верим мелочам больше, чем фактам и цифрам, как бы парадоксально это ни звучало, верим незначительным деталям, вроде вальзеровских собак у обочины или лоскута неба между древесными кронами. Неслучайно Вальзер условно противопоставлен великану Томцеку, для которого писание – не более чем праздное занятие. И если говорить о книге эссе в целом, то чудаковатый отшельник противоположен и Лидии Кочетковой с ее единомышленниками, как противопоставлены люди относительной пассивности перед жизнью людям активного действия, как ничтожные безделушки противопоставлены грандиозным идеям, ибо «величественные идеи почему-то всегда оборачиваются кровью и насилием».

Обобщенный герой Шишкина не дихотомичен, а многогранен, понятен и неразрешим одновременно. Его душевное устройство представляется своеобразным вариантом «магического кристалла», который, поверти его в руках, заиграет гранями, а читателю останется лишь недоумевать, откуда все это в одном человеке, каким удивительным образом сочетается? Все совмещено и освещено посредством стиля, ведь, как некогда метко заметил Жорж-Луи де Бюффон, «стиль – это человек». Без этого «клея», этой сцепляющей грунтовки, невозможна развязка внутреннего разлада, неосуществимо разрешение изнурительной войны с самим собой, с одним из тех противоборствующих «я», которые составляют личность. Так, благодаря стилю, выработанному судебным писарем в «Уроке каллиграфии», разговорное «невтерпеж» обращается в пятитактовую музыкальную миниатюру: самое обычное слово то занимается огнем, то взлетает к потолку, то на мгновение застывает в точке контрапункта между «казарменным» и «куртуазным», то свободно парит, то затягивается в петлю, охватывающую целый мир. Кажется, будто музыка протеста и красота искусства противостоят уродству жизни, при этом фиксируя именно уродство, фиксируя скрупулезно, побуквенно, до запятых и пауз. Однако и это оказывается лишь частичной правдой, одной из правд. Уверенность в опрометчивом выводе улетучивается к концу «Урока каллиграфии»: никакой справедливости, никакого баланса, не говоря уже о хэппи-энде, не будет, а будет чередование и совмещение добра и зла, красоты и уродства – и ни одна из составляющих не одержит верха. Это – воистину набоковское «жонглирование» читательскими чувствами, виртуозная, сшибающая с ног игра, ничего до конца не проясняющая – кроме утверждения о

ненужности любых пояснений. Рассказ «Урок каллиграфии» жанрово отличается от эссе, посему в нем нет ни точных формулировок, ни дидактичных посылок. И хоть последнее слово в рассказе – «точка», его концовка довольно условна: рассказ-рондо, рассказ-круг, где все, уместенное между первым словосочетанием («заглавная буква») и замыкающим словом («точка») в силу «и духа, и ритма, и напора, и образа» – становится подтверждением главной идеи, заявленной в первом же абзаце: о «надежде и бессмыслице сущего», о жизни, о множестве жизней, о людях, воскрешенных и сохраненных безудержным и чутким «движением пера к точке». Эта точка, поставленная в конце повествования, снова мелькнет в одном из замыкающих книгу эссе «Гул затих» – своеобразным победным знаком: «...победить – это поставить точку в конце текста».

Никто из персонажей Шишкина небезгрешен, и каждый вызывает чувство сопереживания. Обобщенный шишкинский герой определенно «оформлен», он наделен индивидуальными чертами, своим характером, но при этом слегка размыт – столько в нем намешано и совмещено. Само его появление, само существование в мире, равно как и многие его поступки, случайны, ибо зачастую продиктованы средой, обстоятельствами, силой внешнего, довлеющего над внутренним. Этот герой и есть заветная клякса Набокова, к которой писатель однажды прикоснулся, отыскав ее в ящике письменного стола 64-го номера в гостинице Le Montreux Palace. Собственно, это пятно неровной формы с размытыми краями и унаследовал автор от великого волшебника, игрока и обманщика, заставлявшего читателя то и дело сомневаться в слишком очевидных посылах. Шишкин также перенял набоковскую склонность к игре с читателем в прятки, которая отчетливо проявилась в «Уроке каллиграфии», основной посыл которого по мере чтения то ускользает, то снова становится явным. Поначалу кажется, будто «Урок» – об искусстве письма, потом – о любви, позже – о непреодолимой стене непонимания между говорящими, еще дальше – о смысле бытия; пока к концу не осознаешь, что все догадки отчасти и верны, и ложны: рассказ – об искусстве письма, совмещающем все остальное, включая как судьбоносные события, так и «ненужные» безделушки.

Риску высказать мысль, несколько неожиданную для давнего почитателя Михаила Шишкина. В обобщенном романном пространстве писателя обозначены не столь идеи, сколь их поступательное и неожиданное развитие: например, от метафоры «смерть как зло» во «Взятии Измаила» к метафоре «смерть как благо» в «Письмовнике». Посему шишкинские романы предстают несколько лиричнее его эссе, словно дыхание в них глубже, а поступь, не опирающаяся на документалистику, как на крепкую трость, тверже (что отчасти происходит в эссе «Вильгельм Телль», «Кампанила Святого Марка» и «Родина ждет вас!»). При всей своей многоплановости, обусловленной жанром, при характерном для автора обыкновении недоговаривать, а временами

и при определенной амбивалентности, романы Шишкина говорят о нашем мире несколько больше, чем его же изящнейшие эссе, в которых ощутимее и здравая четкость формулировок, и выразительность идей, и, главное, досказанность центральных и, несомненно, волнительных идей. Если в романе «Венерин волос» читатель должен сам уловить узловые метафоры и – за неимением готовых «формул» – вынужден самостоятельно извлекать стержневые идеи произведения, то в своих эссе Шишкин проговаривает их вслух, в лоб, с цитатной афористичностью: «...роман – это возможность найти дорожку к той самой первой любви. Автор для героев – Бог».

И все-таки чудо происходит – когда книга эссе дочитана. Написанные и опубликованные в разное время эссе и рассказы, собранные под одной обложкой, резонируют между собой, поскольку общность полиграфического пространства подталкивает к обнаружению связей между отдельными текстами. К концу книга предстает единым, сплошным, цельным произведением, и нити, плотно сшивающие отдельные его части, заметны невооруженным глазом. Шишкинское «сшивающее» перо движется неровно, порой зигзагообразно, то вверх, то вниз, но чаще всего – описывая круг. Автор и не пытается спрятать швы, перетянуть узелки с лицевой стороны на изнаночную, скрыть стежки под подкладкой «пальто с хлястиком», ибо текст – это то место, где параллельные линии пересекаются. Пишущий, словами автора книги «Пальто с хлястиком», – «связка между двумя мирами». «Перо – только регистратор, что безошибочно запечатлевает на бумаге все мечты и страхи, добродетели и пороки, толкающие вас под руку при каждом нажиме. Все происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера. Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк», – произносит главный и далеко не однозначный герой «Урока каллиграфии». Назначение искусства, согласно писателю, – соединять людей посредством отражения «опыта любви и утрат», поэтому «боль, радость, страх, любовь, одним словом, ощущение жизни» предстают важнейшими составными парадоксального, противоречивого и неожиданного мира шишкинской прозы.

Урок, преподанный нам Михаилом Шишкиным, – столь же о науке письма, сколь о науке бытия, науке горя и счастья, приходящих, кажется, ниоткуда и проявляющихся в важном и пустяковом, эпохальном и частном, подчас хорошо скрытом, но искусно извлеченном на свет. Смысл бытия, по Шишкину, – в рыжеволосой женщине, моющейся в бане, или в проплывающих одна за другой баржах, с которых доносятся крики и смех, в «как хорошо!», выдохнутом приехавшим на побывку сыном, в оберегающем жесте, поправляющем шахматные фигуры, то и дело съезжающие с доски, разложенной в купе летящего поезда, в необходимости «похоронить» не умиравшую жену, в подглядывании в зимнее окно за чужой семейной сказкой, как позже выяснится, фиктивной и наносной, в воспитании и потере

сына, и, наконец, в методичном, ежедневном, дотошном переписывании страшной действительности начисто... Смысл – в тихом проговаривании своей жизни – на языке, который, несмотря на общность словаря и грамматических правил, останется никем до конца не понятым.

*Григорий Стариковский. Автономный источник. – N.Y.: Ailuros Publishing, 2017. – 77 с.*

Органичность мира, создаваемого на страницах этой книги, – первое, что замечаешь, следуя за поэтом. Узловая метафора в «Автономном источнике» Григория Стариковского – дерево, живое и умирающее, разрастающееся и роняющее листву, звучное и онемевшее, одушевленное; его тело – сродни человеческому: стучащая ветка – сердце, певчая ветка – горло. Это не только универсальное дерево жизни, но и дерево старения, болезни и смерти, как в стихотворениях «цвет зелени, застывшей взгляд...» и «красная, юркая птичка...». Разное, потому что настоящее. Не в меньшей степени подлинно его окружение: во всем уловимо позвякивание и дребезжание, дробь и хруст, дряг и щелкотня, щелчки и выплески – общая звуковая отрывистость и визуальные промельки. Пунктирно древесное зрение, дыхание, речь. Так дерево растет и дышит – «струясь, задыхаьем сквозь соты»; так вслушивается – в «сбивчивый шепот», в птичье «бубенцовое наречие»; так всматривается «обветренным зрением» – в «оперенья высвет» или «высверк капли, скользкой за каплей», сквозь «зазоры тесноты», сквозь «воздуха скупой фрагмент, / пробелы между листьями»; так просит – «только серого воздуха – / ощупывать форму, длить молчание». Лишь невнимательному может показаться, что дерево растет неупорядоченно и хаотично, что рост – не более чем импульс, жажда жизни любой. Между тем, в каждом ответвлении и сплетении, в каждой ветке и в растущем на ней листе – выверенный порядок, четкий узор, повторяющийся всякий раз чуть по-новому, то в миниатюре, то в полный рост. Медленно, чутко и глубоко созерцающий способен заметить тонкий природный расчет, гармонию и баланс в дикорастущем, свободно парящем, вольно поощем дереве, если чем и стесненным, чему и подчиненным, то, в первую очередь, внутренним законам органики. Они же – законы бытия.

Из качества органичности проистекает ощущение принадлежности всем эпохам, от античной до современной, всем культурам – древнегреческой, русской, американской, европейской (в скобках и, возможно, излишне, уточню, что Стариковский – переводчик и эссеист крупного калибра). И в каждой «среде» поэт оказывается своим среди своих. Своим – насколько вообще возможна «свойскость» любого уникального голоса. И секрет здесь не столь в искусстве перевоплощения, сколь в естественности последнего, сопредельной подспудному осознанию того, что любая эпоха есть *opera aperta*, по Умберто Эко, подвижный жизненный текст, а любая культура – живой организм. О такой связи эпох и культур писал Михаил Айзенберг в эссе

«Вне образа и подобия»: «...культура — это не вчерашняя норма, требующая перевода в сегодняшние обстоятельства, а план существования, фундаментально общий для всех времен, но совершенно иной в каждом времени». Так прошлое оказывается насущным, «вода сочится пленная из камня», а Золотой или Серебряный век, вопреки известному утверждению Михаила Бахтина, избавляются от окаменелости и законченности, той окончательности, которая неизбежно сопряжена с отжившим и мертвым, в сущности бесполезным. «И это уже не школярское усвоение, а какой-то следующий этап: системный поиск, имеющий целью инновационные ходы», — приходит к выводу Айзенберг. Так и «школяр», точнее, толмач, о котором чуть ниже пойдет речь, оборачивается у Стариковского открывателем, землепроходцем, зодчим, возводящим свой дом, свой сад — свой мир, выражаясь по-цветаевски, «семиверстный сад для одного»:

выдерживать, дырявой леечкой звеня,  
дистанцию между бабочками двумя.

между стволами с их сердцевиной злой,  
между одной и другой такой же слепой горой.

нарабатывать это сладкое ничего,  
труд побеждает всё, только-то и всего.

Осмелюсь утвердить, что взгляд истинного, внимательного и осторожного новатора всегда разнонаправлен — в прошлое и будущее из соединительной точки в настоящем. Настоящее, и в смысле времени, и в качественном смысле подлинности, — всегда палимпсест. Парадокс, но собственно настоящее в этих стихах порой кажется самым «чужим» временем. Поэт видится добровольно изъятым из «жилого» настоящего с его «воночим шелестом полиэтилена», из окружающей «пластмассовой жизни», о которой некогда пел «Сплин», вытолкнутым в себя, в цветаевское «единоличье чувств». Настоящее — нечто вроде силков, пытающихся словить поэта, остановить, запечатлеть, привязать, оцифровать, наконец. Настоящее в шумной дубраве времен предстает декоративным бонсаем, карликовым, ухоженным, подручным, подчиненным современнику. Оно означено «подстриженными мертвыми газонами» с их «мнимой живучестью». На ветках этого искусственного бонсая не прижиться ни одной птице, поскольку такие ветки пригодны лишь для сокращенных и уменьшительных, мотыльков-однодневок. Раздвижение привычных границ настоящего — интуитивная, нигде не оговоренная миссия поэта. Шаг назад, в прошлое, совпадает у него с двумя шагами вперед, в будущее, вопреки впечатлению, будто говорящий находится в одной точке, из которой он почти бездвижно созерцает округу:



а душа, она горит в окне,  
будто чистый почерк в глубине  
времени, сияющего мне.

Мнимое «топтанье на месте» оборачивается движением (сначала сугубо внутренним, но к концу текста внешнее нередко догоняет внутреннее), мнимая инертность – вектором выверенного и целенаправленного действия, монологизм – многозвучием, монотонность – разноголосицей. Всё это – «волшебные изнанки» настоящего, то есть того, что мы зачастую ошибочно принимаем за очевидное и, следовательно, бесспорное и однозначное.

казалось бы, ты с темнотой  
соединился горькой схожестью,  
но в воздух выгляни густой,  
там льется зелень принадлежности.

как длинный перечень родства,  
полопавшихся почек зарево,  
и восхищеньем вещества –  
в жизнь обрываемое дерево.

Это дерево растет внутри. «Стихотворение как некое орудие, инструмент, с помощью которого добывается знание, не могущее быть обретенным иным путем (там, где логика и философия бессильны). Оно запускается в небеса или куда угодно: под кору дерева, под кожу и, повинувшись уже не воле своего создателя, а собственной внутренней логике и музыке, приотливно впиваясь в предмет изучения, добывает образ». Если в этих словах поэта Елены Шварц заменить «инструмент» и «орудие» на «дерево», точнее, уравнять их (дерево как орудие природы, жизнестроительный инструмент), то мы получим весьма точное определение того типа поэзии, о котором идет речь: растущее внутри (предмета, человека, дерева же) дерево-разведчик, дерево-хранитель, «как длинный перечень родства, / полопавшихся почек зарево», дерево-добытчик, «добывающее» смысл по вертикали, корнями вниз и кроной вверх, и есть поэзия:

...как будто здесь не навсегда  
тугое слово в глотку загнано,  
и в скобки взятая звезда  
равна себе, упавшей замертво.

Это то стремление к чуду, которое сторонится сенсационности и провокационности, любого внезапного ошарашивания, нередко граничащего с

шарлатанством. Перевоплощение – без бутафории, без передеваний, без спецэффектов, без всякой театральности, а смена декораций, то есть ландшафта, здесь равна действию, столь же значимому, сколь значимы действия условного героя:

...когда видишь в окне, там сосна или нет, не она,  
а другое стоит многорукое что-то в огне  
слепоты совершенной, когда обрывается мысль,  
нарастает другая во весь человеческий рост,  
помогая прозреть, будто кинули белую кость,  
и она превращается вдруг в виноградную кость...

Перевоплощение – эволюционное, трудоемкое, требующее временных и духовных затрат, но при этом естественное, еле заметное, замедленное, как выпрастывание бабочки, «желтое таянье снега», сгущение сумерек или лопание почек на поздневесенней ветке. Посему разговор о спасительной красоте в этих стихах будет равнозначен разговору о расцветке крыльев, скажем, пестрокрыльницы или «парусника Улисса», этой якобы эстетической прихоти, на самом деле являющейся одним из важнейших условий выживания. Так эстетика неотъемлема от природы, а тихое волшебство неотделимо от повседневности.

В «Автономный источник» вошли как силлабо-тонические стихотворения, так и верлибры, почти каждый из которых означает собой поступательное преодоление – одновременно языка поэзии и языка эссеистики (например, в стихотворениях «когда они прилетают...» или «вокруг»). Некий срединный путь, кропотливо осваиваемый и обживаемый земельный клочок где-то в приграничной зоне «между». Существует анонимное определение любопытной особенности русского верлибра, выражающейся в том, что за хорошим верлибром должно угадываться силлабо-тоническое стихотворение. Читатель должен чувствовать органику его свободолобивой природы и отмечать логику постройки, в противном случае – последняя рухнет. Верлибры Стариковского выстаивают, не пошатнувшись. Подобно тому, как талантливый абстракционист сначала осваивает академический рисунок, поэт демонстрирует и доказывает свою жанровую и интонационную вариативность, от замедленного проговаривания до скороговорки, до сугубо фонетической напевности, вроде «талагта-талагта-талагта» из «Песенки». Такую полистиличность и полиритмичность можно условно означить термином эпохи Возрождения: виртуальность.

Отсюда – не связанное с геополитикой чувство свободы. Говорящий в этих стихотворениях, вернее, зачастую проговаривающий про себя, был бы свободен и взаперти, – не сказать, что счастлив, но свободен: «он дышит сослепа в себя»; «я – это то, что случилось в мире». Так свободен толмач, в

тишине и отстраненности создающий свой надежный тыл: письменный стол, лампа и книги – снаружи, обособленная вселенная – внутри:

свет включенный, лампа шею гнет,  
есть еще оранжевый мой плед,  
мой верблюжий, рвущийся оплот.

табуретка, тихий стол на дне  
комнаты, и карта на стене,  
расстоянье, данное извне.

Словами Цветаевой: «Уединение: в груди / Ищи и находи свободу». И это немало. Внешняя свобода, как однажды заметил Михаил Гаспаров, это ошейник, на котором выведено твое собственное имя. Если стихи – есть попытка миропознания и одновременно попытка жизнестроения, то Стариковскому даются обе: он строит такой мир, в котором внутреннее совпадает с внешним. Точнее, внешнее у него нередко подано в сослагательном, поэт создает мир, каким тот должен быть в его представлении: «подснежия, которому не сбыться». Его мир в потенциале проступает вопреки тому, что видит вокруг себя лирический зодчий, например, в стихотворениях «5 июля» или «Сабвей». Вопрос о реальности создаваемого им мира – из праздных: он уже существует, хоть в глазах обывателя его нет и никогда не будет. И лишь позволив себе следовать за говорящим (вспомним голос Орфея в цветаевском преломлении: «Эвридика бы по нему как по канату вышла»), позволив себе подчиниться и быть подобранным этим языковым течением, мы, возможно, увидим скрытый мир, станем его частью, а он – частью нас.

В сборниках, предшествующих настоящему, уже было очевидно авторское стремление к эклектичности; позволю себе самоцитату из отзыва на книгу «Левиты и певцы»: «Природа, история и культура для ньюйоркца Григория Стариковского – одно целое, а человек и есть человечество, темнота у него не противопоставлена свету, холод – теплу, а смерть – жизни. Холод – и есть тепло, то есть его особое состояние, его ‘почти’ отсутствие, точнее говоря, предельная степень градации, постепенного снижения: горячо – тепло – холодно... Поэт посильно сторонится противопоставлений, антагонизма в любом проявлении, потому внутренний процесс в данном случае характеризуется не борьбой, а духовным стоицизмом, кропотливой лепкой самого себя, без чего невозможно совершенствование и недостижимо совершенство». Вот что пишет поэт об эклектичности в новой книге:

я забыл, как зовется такое сближение свойств  
непохожих явлений, такое смешение средств,  
чтоб увидеть в себе, как случайное и несвое,  
любование белою мглой и вживанье в нее.

Поэт не рвет с традицией (прошу прощения за неизбежный штамп): рвать, сбрасывать, отказывать в праве на существование, отрицать естественный порядок вещей или переиначивать законы природы (тоже своего рода штампы) – не из запаса «действий» поэта, рука которого «не ищет действий / ненужных, в сущности, / и бесполезных». Он не разделяет искусство на классическое и авангардное, поскольку его поэзия совмещает все полюса, тщательно и без видимых наружных швов. Как и в предшествующих книгах Стариковского, в «Автономном источнике» талантливо проявляется авторская способность не только подчинять и захватывать, но и самому подчиняться чужому слову. В книге мелькают прямые или косвенные переклички с ближними и дальними, возникающие иногда по принципу отталкивания, но чаще все-таки сближения. Катулл, Архилох, Державин, Мандельштам, Окуджава, Гандлевский – вот неполный список собеседников поэта.

«Автономный источник» у Стариковского связан не только с идеей автаркии, но и с мыслью о самодостаточности, о самоличном «генерировании» тепла и света, живой воды:

с тем, что родилось из воздуха,  
предстояла ставка очная,  
там, где выплакана досуха  
между льдом и льдом проточная.

оживала ветка певчая,  
сердце, сжатое свечением;  
здравствуй, слово неслучайное,  
с возвращеньем, с возвращением.

Экологи в своих наблюдениях отмечают принцип автономной конденсации влаги, при котором вследствие охлаждения листа растений активно и самопроизвольно скапливают на своей поверхности живительную влагу, росу, от наличия и количества которой зависит состояние как самого растения, так и почвы, из которой оно произрастает. Иногда, а точнее, при перемене природных условий, вызванных, к примеру, пересадкой, такой механизм выходит за рамки обычного экологического фактора, становясь фактором выживания, то есть эволюционным. Конечно, логично за такую перемену условий принять эмиграцию, и во множестве случаев такой ход был бы вполне оправдан. Однако в случае Григория Стариковского это было бы невольным упрощением, в некотором роде подгоном обстоятельств под сами собой напрашивающиеся выводы. Дерзну предположить, что дерево этой поэтики выстояло бы и без отрыва от родной почвы. И никуда не уезжая, поэт посылно сторонился бы скученности, примыкания к кому бы то ни было, всего

стесняющего и сковывающего. И в Москве, и в Подмосковье он написал бы такие стихотворения, как «место жительства – шаткость...» или «в городе живут едоки газетной трухи...», акцентируя собственное сознательное отстранение от засиженных «общих мест»:

от подрядчиков совести и слюны,  
от слоистой, похрустывающей фольги  
статеек и транспарантов их  
надо спастись, спастись.

Сам по себе, сам за себя – исключительно такими элементарными параметрами независимости определяется ответственность поэта за произносимое им. Внешние обстоятельства меняются с порывами ветра, со сменой сезона, и в современном мире – зачастую кардинально. В конкретном же случае главное – автономность источника, его посильная независимость, в первую очередь от того, куда дует ветер.

*Глеб Шульпяков. Саметь: Книга стихотворений и поэм. – М.: Время, 2017. – 72 с.*

Аннотация к «Самети» Глеба Шульпякова предлагает объяснение необычному слову, давшему название и всей книге, и одной из ее поэм. Саметь – не только топоним, обозначающий село под Костромой, где некогда служил священником прадед поэта, но и в определенном смысле звук указующий, поскольку данное слово «созвучно ‘памяти’ и одновременно указывает на корень ‘сам’»: поэзия как самостояние перед лицом времени». Добавим, что, сместив ударение, «саметь» можно прочесть как глагол несовершенного вида, означающий процесс становления в смысле той индивидуальной свободы, которая, как известно, обычно сопряжена с одиночеством. Герой книги Шульпякова одновременно вклинен и вычленен из окружающей среды. Внутренняя целостность обозначает его центром тяжести представляющего перед читателем мира, а глубинная связь с прошлым не позволяет лишиться корней. Можно сказать, что «саметь», помимо прочего, – это характеристика действия, то есть процесса сугубо личного характера – самостоятельного и автономного запоминания, формирования памяти. «Саметь» значит *самобытствовать*, жить истово и суверенно. Не случайно прорастающее из того же корня старославянское «самость» в словаре Даля ассоциируется с «личностью» и «подлинностью» одновременно.

К поэмам «Саметь» и «Китай» автор подводит читателя медленно, вклинивая между ними разделы с короткими поэтическими текстами. При чтении подряд его восьмистишия слагаются в единый новый текст. Первый раздел книги («Стихи на машинке») представляет экспозицию для неспешного и долгого разговора. Он выполняет функцию, схожую с той, которую

выполнял пролог в древнегреческой трагедии. Это не распевка и не проба голоса, а продуманное нарраторское вступление, задающее ход дальнейшему повествованию и, будучи рассчитанным на сведущего читателя, ничего не проясняющее напрямую. Человек у Шульпякова вообще, будь то так называемый лирический герой или читатель, – единица слышащая, видящая и мыслящая, посему его поэзию логично отнести к лирико-философской, в которой особо ощутимо единство мысли и духа.

Открывающее книгу стихотворение позже найдет своего «зеркального двойника» в букинистической лавке из поэмы, но важно и то, что мысль о связующей роли слова озвучена уже в первых строчках:

и кто остался, кто сгорел,  
куда сбежал эней –  
у нас свидетель есть, гомер –  
свидетелю видней

Поэт-свидетель, блуждающий рапсод, сказитель и шиватель. Этот образ важен не только в силу самоочевидного значения, но и в контексте разделов книги. «Стихи на машинке» и «Новый мир», как бы «прореживают» поэмы. Эти стихи будто бы написаны во время неспешной ходьбы, целью которой, возможно, и было – запечатлеть увиденное в пределах недолгого и хорошо изученного маршрута; они написаны путником, чей «крест одиноких прогулок» воистину легок. Доски в воде, сапоги, полные дождевой воды, лужи – образы из повторяющихся, двоящихся, зеркальных. Перед нами нарочито укрупненный, приближенный, словно под увеличительным стеклом, и тут же намеренно сниженный, убавленный в размере и световой интенсивности мир – с его уменьшительными «снежком» и «птичкой», с мандельштамовским «дымком» и «холодком», с незлобивой карикатурностью детского рисунка, с его нежностью и бережностью, без сантиментов. Разумно размещенные звезды – это тоже «детское» и потому – точное видение. Искусная, едва намеченная материализация эфемерного, метаморфоза слов – в «снопы» и «коржи», тяга к несказанному, вслушивание и всматривание – без настороженности и напряжения, поскольку ландшафт вокруг – родной и знакомый. Факел, маячок, огонек, фонарики, костерок, звезда на елке, горящее дерево – по этим повторяющимся, настойчивым и неослепляющим источникам света, иногда порождающего тьму, узнаваем Шульпяков из предшествующих книг. В каждом штрихе уловим ритм ходьбы, энергия короткой прогулки в известных пределах, где на пути почти не встречаются современники, но возникают живые тени предшественников.

Если «саметь» прочитывать как глагол, то можно утвердить, что мы имеем дело не только с номинальным образом, не только со словообразом или словом-вещью, словом-изображением, но и с примером конструктивно-

го словообразования, по типу тех, которыми в свое время увлекались Белый и Вяч. Иванов, Бурлюк и Маяковский, Хлебников и Каменский. Однако в данном случае речь не исключительно о лексической инновационности, то есть не совсем о том, чем занимались символисты и футуристы, с которыми Шульпякова, пожалуй, сближает видение поэзии в единстве с миром (точнее, поэзии как всесвязующей субстанции). Если поэзия символистов довела к музыкальному началу, то у Шульпякова все-таки к смысловому: доминанта его поэзии – не так называемая «напевность» (по Брюсову), а философское зерно. Тем и удивительней звучащая к концу шульпяковских текстов музыка – не преодолевающая, не заглушающая смысловой зачин, а равноценная ему. Музыка в конце поэмы «Саметь» – не побочный продукт, а неожиданное следствие поэтической речи, которая начиналась с визуального образа:

Я помню эту карточку с тех пор,  
как помню сам себя.  
Она стояла в комнате у мамы.  
Вот прадед, отец Сергей:  
ряса в горчичной сыпи –  
сельский священник.  
Вполоборота матушка  
(на плече ладонь лодочкой).  
Он смотрит прямо, она –  
чуть в сторону.  
Строгие, сухие лица.  
И темная портьера за спиной.

Образ героя-нарратора в поэме «Саметь» на мгновение сливается с образом запечатленного на фотографии предка, и раз уж внешнее сходство очевидно, то естественно сделать следующий шаг, а именно – представить себя в других исторических обстоятельствах:

...Как затемно встали;  
переправу и как тряслись на подводе;  
жирных грачей на пашне  
и фотографа, который  
всё отводил взгляд, –  
я мог это представить.  
Но в тюремном подвале?  
Или на допросе –  
человека с моим лицом?  
Священника?  
Нет, нет и нет.

И это из самого трудного – представить себя «там» честно и безжалостно, без сантиментов и ложного геройства. Фотография из фамильного архива – не фиксация прошлого и не мнимое его оживление, а собственно – вариация времени, зеркальное наложение эпох, синхронизация прошлого с настоящим. Подобное слияние явного (очевидного) и домысленного (но возможного) суть субъективная картина мира, написанная в таком авторском преломлении, которое в большей мере полагается на правильную постановку вопросов, чем на категоричность «правильных» ответов (эта черта присутствовала и в книге Шульпякова «Письма Якубу»). Поэт далек как от благостности выводов, так и от излишнего нагнетания эмоций. Номинация «странных» имен и топонимов – тоже не от желания зафиксировать, а от тихой отрады проговаривания: Южа, Шуя, Плес, Кинешма и, конечно, Саметь, в которой еле уловимым отзвуком угадываются и память, и темень, и светотень. Произнести, назвать – населенный пункт или имя человека – это попытка не столько воскрешения, сколько продолжения жизни в звуке. Если определять какие-либо цели словесного искусства, то одна из них и состоит в этом стремлении – продлить. Поэма «Саметь» многопланова, эпизоды, описанные в ней, происходят в разное время и все-таки одновременно. Здесь наличествуют, грубо обобщая, три необходимых настоящему стихотворению тематических составных – рождение, важное жизненное событие и смерть; эти узловые «моменты» тоже разделены на временные отрезки лишь условно и то и дело пересекаются, переключаются, взаимоотражаются.

Примечательно, что центральными концептуальными метафорами поэмы являются «жизнь как плавание» и «смерть как плавание». Мотив плавания отчасти сформулирован посредством уравнения «гроб-лодка», несколько раз «всплывающего» во время сцены похорон (вот они, доски, постукивавшие в начале книги!): «...и лодка всплывает в часовню»; «И лодку выносят на берег»; «...и волны земли захлестывают лодку. Она тонет»... Метафора смерти-плавания медленно подводит к метафоре кораблекрушения, причем такой переход передан как пространственно, почти графически (лодка плывет – близкие несут гроб, опускается в воду – в яму, затоплена волнами – засыпана землей), так и лексически: ощущение потопа, погружения на дно, непоправимой трагедии передано через слова живых, не обязательно равнодушных к усопшему, но произносящих слова неизбежно общие и посему обезличенные, какими зачастую оборачиваются обывательские реплики по ходу процессии или во время поминального застолья. Интонационная вариативность «Самети» (шепотки и речевые штампы, песнопение и тосты, искренние реплики вперемежку с дежурными фразами) сообщает поэме удивительное качество динамичности. Одно лично пережитое слово, услышанное в разноголосом речевом потоке, обычно сопровождающем любые панихиды, – и неожиданно возникает картинка-перевертыш («...и лодка плывет под землей, над водой»). А за ней – спасительный эпизод из детства:



– ...тогда мой отец посадил меня на плечи. Видишь?  
 А что «видишь»? Только серые волны. Но потом,  
 точно – размером с перечную горошину и  
 перекатывается на волнах. Голова. Исчезла, потом  
 снова. И всё ближе, ближе.

Голова мнимого утопленника, вынырнувшего из морской пучины, становится метафорой никем, кажется, не обещанного, но подспудно ожидаемого во тьме возвращения. Это и есть главный мотив «Самети» – мотив континуальности жизни:

Когда уходит старый, а другой  
 еще невидим за речной дугой –  
 там, на отмели, где вечная Саметь  
 летит вниз крестами,  
 мой вечно молодой дядька  
 скрипит мокрой галькой,  
 а над темной водой  
 разговаривает с грачами  
 прадед-священник.  
 Еще одно усилие, и я  
 услышу, что он говорит.

Из подворотен музыка летит.

Саметь, следовательно, – еще и *самость* искреннего голоса в общей многоголосице. Достаточно одной-двух нефальшивых нот, чтобы мир попал в единственно верный такт, совпав с внутренним миром героя. Поэт – шиватель, слово – проводник, – как и было сказано в начале книги. Поэма заканчивается сценой в букинистической лавке, где прошлое и настоящее становятся практически неразъемными. Зимние сумерки, желтый снег, узкая лестница и притолока, плешивый букинист, «сиротский запах книг», «хруст» прочитанной в юности, не названной напрямую, но угадываемой по цитате книги («По направлению к Свану») – все эти, казалось бы, малозначительные и, безусловно, не судьбоносные детали – из самых живительных. В этой точке «повествования» происходит еще одно важное слияние: герой идентифицирует себя прошлого с книгой, пусть уже прочитанной, но ожившей в силу памяти о том, каким он был, когда читал ее. Как здесь не вспомнить мандельштамовское утверждение о том, что биография человека состоит из всего некогда прочитанного им. «Саметь» – не столько о возвращении в прошлое, сколько о слиянии настоящего с прошлым. О сужении времени до короткого, гибкого, подвижного и своим же движением озвученного отрезка.

В третьей части, названной «Новый мир» (ибо любая новая реалья нуждается в своей реальности), снова возникает взгляд сверху и – через отражение в тех же лужах – снизу вверх. Повторяются в разных вариациях моменты непрерывного взглядывания, обоюдного всматривания героя и прототипа, образа и прообраза. Шульпякова интересует соединение двух-трех образов в одном. Многомерность человека, предмета, явления. Однако тяга к столкновению перерастает у поэта в стремление к сращиванию и сопряжению. Так, например, «кусок шагреневого кожи» из стихотворения «Считалка» предстает как настоящим крупяном, так и томиком Мандельштама, «в лесном переплете шагренево», или же книжкой Бальзака, к слову, тоже озаглавленной мерцающим двойным смыслом сочетанием, ведь «шагреневова кожа» – «кожа печали», уменьшающаяся вследствие исполнения очередного желания. Если рассматривать описанные в «Считалке» действия («карабкался вверх и на дно отпускался») как не поочередные, а одновременные, то снова возникает ощущение намеренного перевертыша. Поэт-пешеход (ибо параметры его прогулок оговорены) чаще, чем в небо, смотрит под ноги, поскольку земля есть небо тех, кто, хоть и невидимы, живы – нами и нашей памятью. Приращением одного действия к другому – неба к земле, потомка к прадеду, тени и духа к телу, формы к содержанию, зрительного к слуховому, прошлого к настоящему и обратно – этим, по большому счету, и занят поэт:

романы кропать и крутить огурцы  
у времени года паршивой овцы –  
закатывать прошлое в банки  
его небылицы и байки –  
прославить крапиву и куст бузины  
затем, что встают из такой глубины,  
где нет ни жида, ни мордвина –  
но пух и помет голубиный.

Важный для Шульпякова принцип совмещения сохранен и на композиционном уровне книги: восьмистишия прорежены поэмами, прерывистое дыхание – долгим, рифмованные тексты – свободным стихом, жесткие формы – условными. Разделы «рифмуются» друг с другом, отсылая один к другому (из «Нового мира» к «Стихам на машинке»), например:

как облако над лесом, кучево  
слепившее себя – как эти строки,  
из этого, по сути, ничего,  
которое ни в ум не взять, ни в руки –  
постой, не уходи, за мной должок,  
набитый с твоего оригинала,

храни меня, печатный мой божок –  
два отступа, четыре интервала.

Поэзию Шульпякова можно назвать поэзией множества отражений, вплоть до тиражирования одного образа – например, Натальи Николаевны (Гончаровой?) из одноименного стихотворения, несуществующей и вездесущей. Отсюда же – образы призраков в метро, иначе говоря, ныне живущих из стихотворения «живут среди нас...», как бы показывающих нам будущее в настоящем.

Идея синхронизации образа с прообразом, прошлого с настоящим и будущим – одна из узловых в поэме «Китай», замыкающей книгу. У любого произведения, человека, явления существует прообраз, следовательно, человек (и цивилизация в целом, и эпохи, и архитектура, и искусство) есть повтор, «копия копии» того, кто умер или еще не родился. Не случайно герой поэмы ищет и «заимствует» руки, глаза, мысли, принадлежащие *другому*... В этой связи вспоминается полушутливая фраза, некогда оброненная Бродским: «Если бы я мог выбрать для себя физиономию, то выбрал бы лицо либо Одена, либо Беккета. Но скорее Одена». Возможно, будет уместным привести здесь и слова самого Одена о человеке, преследуемом прошлым: «Человек – творящее историю существо, которое не может ни повторить свое прошлое, ни избавиться от него». Примерно то же говорит герой «Китая» к концу поэмы о метафорической героине Гудалак (искаженное по-китайски английское *good luck*, Фортуна в современном антураже): «Мне все больше казалось, что и она, и ее друзья переместились сюда из другой жизни и теперь тоскуют по прошлому, которого почти не помнят. Каждый из них нашел свое место в жизни, а кое-кто был по-настоящему счастлив, но чувство потери не покидало зрителя; все были отмечены его печатью».

«Китай» – тоже своего рода «перевертыш» («Мои ноги в облаках...»), поскольку то, что должно быть реальностью, оказывается нереальным, и наоборот: когда вода не льется из крана, руки под невидимой струей тоже ненастоящие; при этом в «искусственный рай» можно дозвониться по вполне реальному номеру. Один мир «Китая» (земной) осколочен и раздроблен. Все внутри этого мира разъято – города, реки, цвета, мужчины, женщины и боги, которым они молятся. Другой мир (небесный), напротив – целостен и неделим. Зеркальность у Шульпякова – особого свойства, поскольку речь у него не о «дословном» отражении («метод *сянь та*», буквальное копирование формы, приводящее к «омертвлению» содержания) – речь о художественном оживлении изображения («метод *линъ*»), о перевоплощении, переходе образа в *другое*, порой противоположное и даже антагонистичное, но онтологически все-таки уравновешенное. В качестве примера приведу «зеркальные» двустрочия, в которых каждое звено предложенных дихотомий представляется отображением и отторжением одновременно:

Она ненавидит:  
стены, у которых есть уши  
уши, у которых есть стены  
рыбу, у которой нет моря  
море, у которого нет рыбы  
жизнь ради продолжения рода  
род ради продолжения жизни  
язык как оружие слабых  
оружие как язык сильных  
ненависть, которая не проходит  
и любовь, которая остается.

В определенном смысле «Китай» – поэма о конфликте между методом *лин* (искусством) и методом *сянь та* (ремеслом); художник, следующий второму – скрупулезно копирует форму, сохраняет абрис, но теряет в музыке, которая и представляется смыслом всего сущего. Музыка – как бессловесная память, как «любовь, которая остается», – мелодия нелепой флейты, услышав которую, враг то ли в недоумении, то ли в ожидании подвоха неожиданно отступает от ворот осажденного города. В «Самети» эта музыка отчетливо слышна. Она сложна, подлинна и узнаваема.

*Александр Кабанов. На языке врага. Стихи о войне и мире. – Харьков: Фолио, 2017. – 282 с.*

Редко разговор о книге поэзии начинается с вопроса: «о чем она?» «На языке врага» киевлянина Александра Кабанова – из ряда таких исключений. Чтобы узнать, о чем эта книга, достаточно посмотреть на заднюю обложку, где размещено стихотворение, написанное в несвойственной Кабанову манере. Сразу заметим, что нехарактерная для автора прямолинейность этого поэтического текста несколько сближает его с публицистическим, а речь в нем ведется не от лица лирического героя: здесь говорит русский поэт, гражданин Украины, частное лицо Александр Кабанов, причем «поэт», «лирический герой» и «частное лицо» практически уравниваются. Заканчивается стихотворение такой «гибридной» строкой: «мой украинский русский родной язык». И это не перечень взаимодополняющих определений: первый эпитет в крепкой и неразъемной цепочке определяет второй, второй – определяет третий. «На языке врага» – книга о языке и о живущих в *межязычье*, пресловутой «серой зоне», полосе вынужденного отчуждения, иногда исподволь, а иногда открыто навязываемого. Неслучайно первое стихотворение книги замыкается украинским эквивалентом русского «услышал»: «Нет, это – нас Луганск услышал, / нет, это – нас Донецк почув». В книге несколько намеренных лингвистических вкраплений: мрія, мова, вітер, шмаття, зрада, перемога... «На языке врага» – не попытка самооправдания или самозащиты,

и, вопреки аннотации, она – не о поиске виновных (признаем, что вынесенное в аннотацию слово «люди» слишком обобщено для наведения резкости и «выведения на чистую воду» – действия, в корне чуждого поэту). Перед читателем – книга защиты обвиняемого языка («мой немой и не твой, и ничей», «собачий язык», «чернокожий русский язык»), а ее автор – этого языка хранитель, «украинского русского родного языка» поэта. Поэт – защитник языка, понимающий, что для того, чтобы спасти правую руку, глупо и бессмысленно рубить левую, что культура – это живое и очеловеченное, в трагические времена, словами Цветаевой, «не более чем животное, кем-то раненое в живот»:

Если Гоголю бошку отсечь,  
ибо левая бошка в декрете, –  
потечет малоросская речь  
болоньезом к любому спагетти.

Двухголовый украинский русский писатель Гоголь, разумеется, здесь неслучаен, он тоже по-своему «в подкову согнут, растянут в жгут». Тема раздвоенности («и теперь – разорванный я живу») – одна из давних и стержневых у Кабанова. Цитируемое ниже стихотворение «Мосты», самое раннее из включенных в новую книгу, сегодня не менее насыщено, чем в 1990-м году его написания:

Лишенный глухоты и слепоты,  
Я шепотом выращивал мосты –  
меж двух отчизн, которым я не нужен.  
Поэзия – ордынский мой ярлык,  
мой колокол, мой вырванный язык;  
на чьей земле я буду обнаружен?

Мотив вины – один из константных в поэзии Кабанова, его жесткие и честные сентенции незабываемы: «Поэзия должна быть виноватой», «Мы свободны во всем, потому что во всем виноваты», «Но если б мы понять могли, накрытые одной жаровней: на свете нет меня виновней, на свете нет меня виновней, меня расплавили, сожгли, исчислили на килотонны», «Я начинался с музыкой вровень / и счастлив был, а значит, был виновен / в подсчетах бытия...» Потому и автопортрет его беспощаден: «чудище с рогами – это я». Поэзия – «врачевание духа», по Баратынскому, два в одном – вина и, в христианском смысле, епитимья. В период «войны миров, языков, идей», в период почти повсеместной героизации жестокости и массового цинизма, когда чаще побеждает наибольшее из зол, когда естественная любовь к ближнему, чувство сопереживания дальнему или хотя бы тихий, но решительный

отказ от пляски на чьих бы то ни было костях, трактуется как проявление слабости, в лучшем случае, и двуличия – в худшем, ибо «то, что раньше болело у всех, – превратилось в сплошную щекотку», – поэт проводит над нашими головами на вид безопасный, высоковольтный «сиреневый провод» поэзии, транслирующий слова о «банальных» вещах – «о любви и мире, всеобщей любви и мире», почти повсеместно выставленных на порицание и посмешище:

Подраненное яблоко-ранет.  
Кто возразит, что счастья в мире нет  
и остановит женщину на склоне?  
Хотел бы написать: на склоне лет,  
но это – холм, но это – снег и свет,  
и это Бог ворочается в лоне.

Поэт говорит о необходимости спрашивать прежде всего с себя – всегда, при любых обстоятельствах начинать с себя, с осознания личной вины и ответственности. Говорит о «внутренней» вине, лежащей на живущих внутри страны, будь то Россия или Украина, точно знающих, *как* следует любить родину, и готовых предоставить любому инакомыслящему строгие формулы любви и присяги:

Собирай, лови, извлекай, руби  
и мечи на стол для народа,  
но вначале – родину полюби  
от катода и до анода,

чистый спирт, впадающий в колбасу, –  
как придумано все толково:  
между прошлым и будущим – новый «Су»  
и последний фильм Михалкова.

Человек изнашивается внутри,  
под общественной под нагрузкой,  
если надо тебе умереть – умри,  
смерть была от рожденья – русской...

Чувство вины у поэта тождественно чувству ответственности, оно не умаляет веры в собственный дар, позволяющей дарить – с плеча, как это делал Маяковский («Все, что я сделал, все это ваше – рифмы, темы, дикция, бас»): «все, что когда-то напишете вы – / было придумано мной» и «все, что когда-то полюбится вам – / я навсегда разлюбил». И если разговор о вине начинать с себя, то в первую очередь необходимо заменить обвинительное

«ты» на покаянное «я», а обезличенное «они» на личное местоимение «мы». В стихах Кабанова все мы, «почтенные работники тыла», бойцы «диванной сотни», узнаваемы:

Это – пост в фейсбуке, а это блокпост – на востоке,  
наши потери: пять забаненных, шесть «двухсотых»,  
ранены все: укропы, ватники, меркель, строки,  
бог заминирован где-то на дальних высотах.

.....  
Да пребудут благословенны: ее маечка от лакосты,  
скоростной вай-фай, ваши лайки и перепосты,  
ведь герои не умирают, не умирают герои,  
это – первый блокпост у стен осажденной Трои.

Кабанов берет от игры неожиданные повороты, его тропы непредсказуемы и разносоставны, он усваивает атмосферу фарса и карнавала, перенимает «легкий», якобы, лад, но за его «игровой» песней не следует смеха, и даже ироничная улыбка, если и появляется, то тут же слетает с губ. Кабановская ирония сравнима с искусным приемом осветителя сцены, благодаря которому фальшь и вульгарность, абсурд и жестокость становятся отчетливой и очевидной. И такой переход от игры к драме почти неуловим, потому что естественен для поэта, он не вклинен в условную развязку текста, а предстает основополагающим принципом текстового движения и развития. Из драмы поэт черпает достоверность, напряжение и ощущение беды, но отношение к смерти, настоящей и бесповоротной, лишено у него слезного надлома. Его страшные маски правдоподобны и узнаваемы, его персонажи разнокалиберны – есть среди них и высокопоставленные, и никем не замечаемые рядовые граждане, – но как много, оказывается, между ними общего! Почти каждый оказывается живым экспонатом современной поэтической кунсткамеры:

Как прекрасны они: инженеры, айтишники, домохозяйки,  
ветераны АТО, секретарши и прочие зайки,  
лишь один среди них – подлец, хирург-костоправ,  
он сидит в слезах, на траве, у самой взлетной лужайки,  
бормоча: «Сексом смерть поправ, сексом смерть поправ...»

Даже «литературное хулиганство» Кабанова (говорящие имена, смыслоносущие каламбуры, объемность описываемого и его закономерный вынос за пределы привычной и удобной системы координат и т. д.), его немислимая мальчишеская дерзость, иногда некоторыми, весьма немногими, воспринимаемая как игра, – все приравнено к священнодействию. При этом «боже-

ственное» – лишь одна из составных этой поэзии: поэт подчиняется наитию и, одновременно, подчиняет его себе, он ведом речью до определенного предела, после которого – речь ведома им. И звук, и мысль в этих стихотворениях подчинены определенной цели, не обязательно четко сформулированной вслух, но подспудно осознанной.

Алогичные и при этом точные формулы Кабанова выведены как из онтологических, так и из фонетических столкновений. После тире (знака равенства) в его афористичных оксюморонах обычно следует оборотная сторона, изнанка слова или вещи, сопровождаемая интонационным намеком на то, что она же – лицевая. Так, согласно Кабанову: страх – форма добра, ужас – символ любви, любовь – кроличья нора, предательство – спасение преданного, «пеньё + терновник = терпенье», «любовь – совокупность нолей, / и в твоём животе единица», «сердце – ядерный чемоданчик», «человек – это храм на костях», «тишина – варенье из лягушек», «смерть – сочетание кровушки и сальца», «душа – серебро из украденных ложек и вилок», «память – твоя могила», «любовь – это зрада и перемога», «счастье – зло», «поэзия – предательство рассудка, одним – жена, всем прочим – проститутка» и, наконец, «поэт – сплошное ухо тишины / с разбитой перепонкой барабанной»... Этот искаженный (читай: абсолютный) слух, эта мнимая увечность, на самом деле – благо, поскольку позволяет слышать неразличимое другими, извлекать звук и смысл из пустоты и тишины: «Оттого и смотрящий в себя – от рождения слеп, / по наитию – глух...» Парадоксально, но «разбитая барабанная перепонка» нивелирует звук, а сумерки овеществляют визуальный образ, делая его зримее и рельефней: «это низменный смысл – на запах и слух – прирастал / или образный строй на глазах увеличивался?» Кабанов – поэт «ностальгии зрения и слуха», ностальгии, обостряющей все органы восприятия. Именно ностальгия слуха провоцирует напряженное усилие – расслышать свою «азнобу», свою «треску», «монголью нежность в русском языке» или «в отпетой тишине – обрубок разговора»; ностальгия зрения позволяет «забыть язык и выучить шиповник», «выбить из трухи – и флейты цвет, и вязкий звук ткемали», рассмотреть «подвал, впадающий в чердак» или «пустоту в бесконечном ассортименте»; а ностальгия речи – договорить: «вот вам пару образов, пару сравнений, парус метафор», «война – война», «сбегают крысли – мысли с корабля», «женщина, женчужина, жемчу...», «мужики в сапогах из сафьяна»... Кабанову всегда было свойственно такое, аки мичуринское, скрещивание разнородного, но движок его стремления, в отличие от целей биолога-селекционера, – не попытка усовершенствования чего-либо, а собственно проговаривание еще несказанного и доселе казавшегося невыразимым. Так возникают спаянные образы: жар-кошка, «жидо-эльфы», «колорадо-иудеи» или же цепочка «террористы»–«патриоты»–«пепел и тлен» и другие. Составные двусторчатых «гибридов» Кабанова не отражаются друг в друге – одна часть словообраза, словно рассекая другую и переживая волшебную



метаморфозу, проходит зеркальную поверхность насквозь и выходит совсем иной, неожиданной, до сих пор не озвученной, но настолько точной, будто существовавшей всегда. Эта птица перелетает не *через* реку, а *сквозь* нее. Примерно то же происходит в стихотворениях Кабанова с лексикой: поэт, владеющий как литературным языком, так и жаргоном и соцсетевым сленгом, не осваивает языковой материал – он создает его. Всё – и ритм, и рифма – работает на поэта, подчинено внутренней задаче стихотворения, и если нужно, автор обрезает «все ‘й’ у своих многоточий», или вытягивает слово на прокрустовом ложе строки: «женщиныны», «симпатичнее»... Визуальные метафоры действия, вроде «облепиховых рук» или «давничи винограда», – тоже из исключительно кабановских черт. Жар в его стихотворениях чередуется с холодом, мерцающее лезвие – с горячей степью, взлет – с падением, свет – с тьмой, смерть – с жизнью, воскрешение – с небытием: «вспомнилась библия – тот боевик в стихах, / где безымянный автор убил героя / и воскресил, а затем – обнулил мечты...» Читать эти стихи – все равно, что играть в игру «холодно – горячо», без промежуточных состояний, в пределах одной строфы, а иногда и строки или словосочетания, ныряя из проруби в полымя, из огня – в ледяную воду. Вся жизнь поэта – сплошное чередование: хоронить-писать-хоронить; вся поэзия – чередование полюсов, земного и божественного: «Русский бог – как русская поэзия: / вот он есть, а вот и нет его».

Кабанов, автор десяти сборников, не пишет книг, он их собирает. «На языке врага» – книга избранного за годы, а не написанного за условный отчетный период, поскольку его поэзия – цельный и неделимый, мощный и суверенный поток. Из нового сборника почти невозможно выбрать программные тексты, поскольку почти все – обязательные: все отвечают на главный вопрос «зачем?» И здесь хочется оспорить высказанное в одном из недавних интервью признание автора, будто в настоящей книге меньше «фирменной» иронии и меньше лирики. Скорее так: в некоторых новых текстах озвучена новая для Кабанова интонация, но по своей поэтической сути поэт остается эпическим лириком. Война, безусловно, обостряет ощущение катастрофичности бытия, однако трагическое восприятие действительности всегда было свойственно поэту. Тонально и технически разнообразный Кабанов, в общем-то, мало меняется в субжанровом смысле. Безусловно, в его поэзии варьируются оттенки, темпо, действующие и бездействующие лица, но стержень остается прежним: эпос и лирика, игра наизуот, драма без сентиментализма, любовь с привкусом иронии, ирония с привкусом любви. Кабановская лирика – сочетание высокого и заземленного, всамделишного и маскарадного, точнее, сочетание на грани магии – волшебного перехода, когда собственно игровое оказывается серьезным, будничное возвышенным, и наоборот. Например, в стихотворении «За то, что снег предпочитает быть...» романтично поданные свечи неожиданно «вылизывают посольский зад», «шанхайский пуховик» зимы вызывает недоуменное «како-

го хрена», а малина к чаю оказывается ворованной. Этот текст – своего рода голограмма известного пастернаковского «Зимнего дня», не случайно имя классика появляется здесь в разноударных вариациях: чуть повернешь картинку – и откроется другая, скрытая сторона вещей, не менее правдивая и живая. И так – почти в каждом стихотворении. Поэт напевает на лирический, иногда легко запоминающийся, почти песенный мотив, оглушительные вещи, намеренно усиленные односложными рефренами, как, например, в стихотворениях «Письмо в бутылке», «Как женщина – пуста библиотека...», «Если бы я любил свое тело...», «Если б было у меня много денег...», «Мумия винограда – это изюм, изюм...» и других текстах. Чем ближе к концу книги – тем лиричнее стихотворения, среди которых – такие проверенные временем, как «Когда поэты верили стихам...», «Напой мне родина дамасскими губами...», «Мы все одни и нам еще не скоро...» и другие. Стихи, хоть зачастую и говорят об определенном периоде, не пишутся для настоящего времени. Лирика по сути своей не насущна в рациональном смысле, ибо далека от прагматизма, спасительных рецептов, политического анализа, – проще говоря, от всего того, что можно, усвоив, применить на практике, а применив, изменить ситуацию, жизнь, мироустройство, поскольку поэзия предлагает нам «не истину, / а всего лишь правду, на миг». Поэзия – «одна нелепица», «предательство рассудка», бессмысленнейшее из искусств, вряд ли способна изменить и исцелить человечество. Ее воздействие – сродни иглоукаливанию – точно и моментарно, ибо обращена она к отдельно взятому индивиду в момент одиночества. Воистину, «всевышний курс у неразменных фраз».

Я начинался с музыкаю вровень  
и счастлив был, а значит, был виновен  
в просчетах бытия,  
что вместо счастья, из всего улова,  
досталось вам обветренное слово,  
а счастлив только я.

Как будто соль сквозь дырочку в пакете,  
я просыпаюсь третий век подряд,  
меня выводят на прогулку дети,  
коленки их горят.

И если счастье – зло, и виновато  
во всех грехах, в священной, бл\*дь, войне:  
любое наказание и расплата  
лишь за добро – вдвойне.

Зачем же эта музыка в придачу  
бессмысленно высвечивает тьму?  
О чем она? И почему я плачу?  
Я знаю почему.

*Марина Гарбер*

*Аполлоновский сборник / Под ред. П. В. Дмитриева. – СПб.: Реноме, 2015. – 166 с., илл.*

Сборник открывает статья Павла Дмитриева «Литературно-художественный ежемесячник ‘Аполлон’ как Новая Академия: Традиции и некоторые перспективы», представляющая собой переработанный вариант вступительного слова на первых «Аполлоновских чтениях», состоявшихся 9 ноября 2014 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. В ней содержится развернутая мотивация проведения таких чтений и, следовательно, выхода в свет подобного рода изданий: «Для исследователя, занимающегося историей и эстетикой ‘Аполлона’, очевидно, что этот литературно-художественный ежемесячник (как он сам себя называл), с одной стороны – выдающийся ‘художественный проект’ <...> Причем, и это очень важно, ‘Аполлон’ в значительной степени осуществленный ‘проект’, с другой стороны – он уже принципиально неповторим, поскольку искусствоведение с той поры расслоилось настолько, что давно уже не умещается в одном сборнике <...>, а распределяется под обложками специализированных искусствоведческих изданий по отраслям и видам» (С. 5). По мнению автора, появление и существование такого печатного органа, как «Аполлон», было вызвано тем, что «в нем воплотилась давняя мечта деятелей искусства и науки к некоторому объединению, желание точности в терминологии, попытка выработки непротиворечивых определений (во всяком случае, было сделано усилие к этому), и второе – сами установочки учредителей, да и авторов журнала, были таковы, что не позволяли ему стать чем-то рутинным» (С. 6).

Эти эстетические принципы были традиционно определены в редакционной заметке в первом номере журнала: «...только строгое искание красоты, только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство за пределами болезненного распада духа и лже-новаторства»<sup>1</sup>. Можно с уверенностью утверждать, что за расхожим понятием «искания красоты» стояли более глубокие представления, по сути, культурологического характера, осложненные социальной и экзистенциальной проблематикой. Согласно одной из точек зрения, данный текст был написан Сергеем Маковским на основе проекта редакционной «декларации», предложенного Иннокентием Анненским, и стал «выражением эстетических установок

Анненского в жестких стилистических рамках программного манифеста»<sup>2</sup>. Вместе с тем, Маковский сам прекрасно ощущал то влияние, которое оказывала на современное искусство его социальная ангажированность; именно преобладанию этого начала в художественном творчестве он противился и как критик, и как редактор единственного по-настоящему «культуртрегерского» журнала в дореволюционной России: «В этом признании коренится и первородный грех нашей критики. От художника она требует идей, взглядов, моральных идеалов, истины и пользы – не искусства»<sup>3</sup>. Вероятно, именно подобную тенденцию подразумевает Павел Дмитриев, когда отмечает социокультурные принципы «Аполлона», его мировоззренческие отличия от предыдущей традиции, среди которых «главное можно обозначить как ‘преодоление тенденции’ преодоление классово-идеологической, групповой узости, попытку широкого взгляда изнутри общей культурной традиции <...> и поиски своего места в ней, места в мировой культуре, <...> не теряя своеобразия своего национального лица» (С. 6)<sup>4</sup>.

Вторая статья Павла Дмитриева – «Литературно-художественный ежемесячник ‘Аполлон’ (1909–1918) как русский национальный проект. Заметки к теме» – основана на том факте, что «для ‘Аполлона’ в какой-то момент его истории стали особенно важны именно художественные общенациональные русские ценности, когда стал ощущаться сильный крен (по выбору тем и авторов для обзоров) в сторону утверждения именно ‘русского национального’ в искусстве, поиску ‘русского пути’ (традиционному для России и в другое время, но здесь отлившегося в свои, ‘аполлоновские’ формы)» (Сс. 111-112)<sup>5</sup>.

В качестве возможной мотивации такого рода начинания автор называет несколько факторов, прежде всего – Первую мировую войну, вызвавшую тектонический тематический сдвиг в русской литературной (и шире – всейгуманитарной) традиции<sup>6</sup>. Детально восстановив присутствие «военной топики» на страницах журнала, он приходит к выводу о том, что «военные стихи – не индикатор поисков ‘национальной художественной идеи’», – и отмечает тот факт, что «в статьях своих критиков ‘Аполлон’ как будто не решается отвергнуть искусство, напротив, пытается осмыслить, каким образом искусство может существовать в данных условиях, всячески подчеркивает, что в сопряженности с жизнью (или именно благодаря изменившимся столь кардинально условиям жизни) должны формироваться какие-то новые формы национального искусства» (С. 115).

В качестве другого гипотетического импульса для определенной трансформации художественных ориентиров журнала автор называет происходящее в первой половине 1910-х годов в научной, культурной и общественной среде России формирование активного интереса к национальной иконописной традиции: «Можно предположить, что обращение к ‘русской теме’ возникло под влиянием Выставки древнерусского искусства, открытой

в феврале 1913 года в Москве в дни празднования 300-летия Императорского Дома Романовых. Это событие (открытие выставки), действительно, имело колоссальное значение для всей русской культуры в целом и для 'Аполлона' в частности» (Сс. 115-116)<sup>7</sup>. Вместе с тем, в числе первых из таких начинаний следует назвать проходившую в Петербурге в декабре 1911 – январе 1912 гг. выставку, приуроченную к Всероссийскому съезду художников<sup>8</sup>. Общественный и научный резонанс от нее оказался не столь явным, поскольку через год состоялась выставка в Москве, но кажется вполне вероятным, что некоторые члены редколлегии и авторы «Аполлона» были среди посетителей выставки.

Задаваясь вопросом: «Какие еще могут быть приметы обращения 'Аполлона' <...> к истокам русской культуры либо нахождению какого-либо маркера своей 'аполлоновской' особенности?» – Павел Дмитриев предлагает следующий ответ на него: «Одна из таких примет, как кажется, введение и использование новой орфографии» (С. 120), – после чего рассматривает главные составляющие этой ситуации и делает вывод о том, что, «несмотря на всю важность для редакции 'Аполлона' особого правописания, оно могло стать лишь одной из составляющих в построении общей эстетической платформы 'Аполлона'. Итак, не 1914 год, не война, не 'иконная выставка' 1913 года и даже не новая орфография, но другие, внутренние причины, способствовали формированию 'национальной идеи' 'Аполлона'» (С. 123). Здесь, правда, необходимо отметить, что автор не дает развернутого аргументированного объяснения того, почему отвергаются им самим же предложенные варианты возможных мотиваций обращения редакции к «русской» тематике.

Если говорить об отказе в качестве одной из них от темы Мировой войны, то необходимо учитывать падение патриотических настроений после первых неудач российской армии и явно затянувшегося хода военных действий, что не могло не повлиять на восприятие соответствующей «художественной продукции». Как подтверждение того, что «логичным и последовательным выглядит уход 'Аполлона' от чисто военной темы» (С. 114), автор рассматриваемой статьи приводит фрагмент опубликованного весной 1915 года обзора «провоенной», народно-националистически ориентированной поэзии, где Георгий Иванов констатировал: «Стремление печатать только 'военные' стихи и никаких больше – наконец благоразумно оставлено нашими журналами. Это новшество прежде всего благотворно отразилось на качестве именно военной поэзии. Прекратившийся усиленный спрос на 'боевую' макулатуру естественно сократил ее производство, и печать серьезного отношения к темам военной поэзии и разработке их лежит на большинстве произведений, появившихся за последние два-три месяца. – Молодчество дурного тона, изложение политических программ в плохо срифмованных строфах, изображение 'немецких зверств' – стали достоянием уличных листов»<sup>9</sup>. В свою очередь, и формирующийся интерес к древнерусской

живописи, и внимание к факту появления новых орфографических норм носили узкий, можно сказать специальный, характер и вряд ли могли заинтересовать всю читательскую аудиторию «Аполлона».

Для поиска иных причин актуализации национальной идеи Павел Дмитриев обращается к более ранним периодам в истории журнала и приходит к следующему заключению: «Не будет преувеличением сказать, что практически в каждом номере журнала и до 1913 года <...> содержится хотя бы по одной большой работе, посвященной русскому художнику, а затем количество их либо увеличивается, либо качественно меняется, когда всё бóльшая часть подобных статей представляют собой своего рода микромонографии <...>. В дополнение отметим, что после первого года издания (а таким следует считать весь год, начиная с открытия в октябре 1909-го и до самого конца 1910-го (12 выпусков)) ‘Аполлон’ начинает издавать отдельное приложение ‘Русскую художественную летопись’ – панораму художественной жизни России» (С. 124). И далее автор замечает: «Главными же ‘национальными’ материалами явились в ‘Аполлоне’ <...> монографические статьи о русских художниках в основном разделе» (С. 125), – и делает вывод, который звучит вполне закономерно: «В поисках национальной самоидентификации ‘Аполлон’ занял позицию, важнейшую для развития искусства и художественной мысли в XX веке – поиск национального через глубокое освоение мировой культуры и интеграция в нее на правах самобытного художественного элемента. В этом заключается и принципиальная открытость эстетики ‘Аполлона’, дающая возможность эстетической системе меняться и, вбирая в себя современный художественный процесс во всей его полноте, способствовать тем самым ее дальнейшему развитию» (С. 132).

Материал Александры Чабан «Статья Г. Чулкова о журнале ‘Весы’ в контексте литературной полемики ‘Аполлона’ 1910 года» состоит из двух взаимосвязанных частей: републикации статьи Георгия Чулкова ‘Весы’, вышедшей в апрельском номере «Аполлона» в 1910 году, и реконструкции полемического (а точнее сказать – конфликтного) фона, окружавшего ее. Появление подобного рода обобщающей рецензии, выносящей «окончательные оценки», было вызвано прекращением деятельности «Весов», литературной средой и читательской аудиторией 1900-х годов воспринимавшихся как главный проводник идеологии русского символизма во всех ее составляющих. И именно со стороны главных участников этого течения и авторов отошедшего в историю издания публикация вызвала острое неприятие, поводом к которому стала ее откровенно критическая, подчас уничижительная направленность: «официально-почтительный тон Чулкова нередко сменялся на саркастический, критик упрекал журнал в высокомерии, однообразности и самоповторении, и более того: в заключительных абзацах статьи Чулков обвинил Брюсова в том, что тот бросил журнал на произвол судьбы еще в 1906 году, после чего в ‘Весках’ воцарились хаос и истерика» (С. 12)<sup>10</sup>. Вместе

с тем, критик констатировал изначальную бесперспективность, художественную несостоятельность этого начинания в целом: «Я затрудняюсь говорить о программе ‘Весов’ и об идеях руководителя журнала. По-видимому, когда журнал начинался, основатели его сами еще окончательно не решили, куда они пойдут и что будут проповедовать. <...> В программной статье ‘Ключи тайн’ нельзя было найти ничего существенно нового» (Сс. 26-27)<sup>11</sup>.

Главный же упрек, который Чулков не формулирует прямо, но который наверняка был легко понятен современникам, это то, что журнал, фактически, во всех отношениях стал полностью ориентирован на одного человека – Валерия Брюсова: «В течение двух-трех лет каждая книжка ‘Весов’ была как бы новым портретом одного и того же лица. Вот новое освещение, вот новый поворот лица. Но все это – одна и та же физиономия нашего старого знакомого, этого московского денди, которого мы так хорошо знаем. Мы привыкли к его прическе, к его несколько натянутой позе; мы привыкли к его парадоксальной речи, которую провинциалы до сих пор слушают разиня рот; мы привыкли к его парнасской декламации и к его гримасе мэтра. <...> – Журнал и человек сливаются для меня в один образ. Это – русский стихотворец конца XIX века» (С. 27). Разумеется, нетрудно предсказать, насколько негативно была воспринята подобного рода характеристика «Весов» Брюсовым, уже привыкшем к известному «чинопочитанию» со стороны и многих коллег по цеху стихотворцев, и литературных критиков<sup>12</sup>. Реакцию «поэта-мага» и самые деятельные усилия, предпринятые Маковским для того, чтобы конфликтная ситуация была ликвидирована, Александра Чабан описывает далее, отмечая: «Когда инцидент с Чулковым и Брюсовым был исчерпан, Маковский стал вести более осмотрительную политику и старался лишний раз не провоцировать Брюсова», – более того, брюсовская статья «О ‘речи рабской’ в защиту поэзии», «официально обозначившая раскол в символистской среде, выходит именно на страницах ‘Аполлона’» (С. 22), – причем в том же самом номере, где содержатся «почтительные» отзывы о журнале, написанные Николаем Гумилевым и Михаилом Кузминым (1910. № 9). Вывод, к которому приходит автор, представляется вполне справедливым: «Эпизод со статьей Чулкова, получивший значительный резонанс, оказался таким большей частью волей обстоятельств. В любой другой период показавшаяся бы просто неприятностью, заметка обозначила практически переломный момент в истории соотношения символизма и постсимволизма. Меняющееся поведение участников конфликта при этом чрезвычайно показательно. Авторитетный Брюсов, чувствуя ослабление старой школы, смягчается и идет навстречу ‘Аполлону’, еще совсем юный, но иногда дерзкий журнал, начиная с оправданий, заканчивает мягким, но принципиальным отказом изменить свою позицию. На этом примере наглядно видно, как ‘Аполлон’ становится центральным журналом литературной общественности 1910-х годов и как символизм сменяется новой культурной эпохой» (С. 24).

Остальные две публикации, составившие сборник, тематически так же связаны с историей журнала, но прямого отношения к ней не имеют. В материале Алексея Бурлешина «Сатиры с Аполлоном. Сатирические отклики в массовых изданиях на первые номера журналов 'Весы' и 'Аполлон'» речь идет о реакции периодической печати на самые известные и яркие издания русского модернизма 1900-х годов; при этом главный акцент делается на том факте, что для научной, а тем более для читательской, аудитории «неизвестными остаются и сатирические отклики на появление первых номеров журналов 'Весы' и 'Аполлон'» (С. 39). Соответственно, «вступительную статью» к следующим за ней републикациям автор начинает с типологической характеристики: «Все сатирические тексты можно разделить на две неравные группы: пародии и тексты, в которых в сатирическом контексте упоминаются поэты и прозаики Серебряного века, их тексты, их герои, их книги, наконец, обстоятельства их жизни. Внутри каждой группы существует деление на поэзию, прозу, театр. <...> Помещенные в одной публикации, пародии создают впечатление своей массовости, но это впечатление обманчиво. Основной массив сатирических текстов составляют тексты с упоминанием в сатирическом контексте литератора, его героев и пр.» (Сс. 36-38). Как следствие, тщательно реконструированная и детально проанализированная публикатором реакция ряда ведущих изданий России воссоздает самые живые и занимательные эпизоды литературной жизни 1900-х годов; кроме того, статья сопровождается приложениями, суммирующими иронические и пародийные отклики на журнальные опыты символистов и на факт появления «главного героя» рецензируемого сборника статей<sup>13</sup>.

В завершающей рецензируемое издание статье Михаила Ефимова «Об упадке и возрождении филологической критики и о кн. Д. П. Святополк-Мирском» речь идет об одной из самых ярких фигур среди литературных критиков эмиграции первой волны, близкого знакомого Николая Гумилева, Василия Комаровского, других писателей, поэтов и авторов «Аполлона» князе Дмитрие Святополк-Мирском, которого исключительно чуткий и тонкий в своих оценках и характеристиках Константин Мочульский охарактеризовал так: «судья строгий, но праведный. Иногда его приговоры могут быть смягчены, но обжаловать их нельзя».

То, что «Аполлоновский сборник» является более чем заметным событием в многолетнем, но не слишком активном процессе изучения одного из самых значительных периодических изданий своего времени, очевидно. При всей своей тематической полифоничности материалы, собранные в этой книге, будут интересны исследователям самых разных направлений современной филологической и искусствоведческой науки. Единственным, пожалуй, уязвимым местом (но никак не слабой стороной) рецензируемого издания можно назвать то, что публикации, образующие его (за исключением статей Павла Дмитриева), касаются частных и «прикладных» аспектов



существования журнала. Магистральные направления движения «Аполлона» в культурном пространстве России 1900–1910-х годов, которое сопровождалось активным влиянием на его важнейшие составляющие, по сути, осталось без внимания. Но упрекнуть в этом составителя нельзя, – насколько можно судить, монографических исследований обобщающего характера о самом журнале, связанной с ним проблематикой и кругом авторов, принимавших активное участие в его работе, на сегодняшний день просто не существует, журнал так и не стал предметом заслуженного разностороннего рассмотрения специалистами по истории культуры начала XX века<sup>14</sup>. Остается надеяться (и для этого есть все основания), что выход в свет «Аполлоновского сборника» кардинально изменит эту ситуацию, безусловно несправедливую по отношению к одному из самых ярких явлений в истории российской художественной периодики.

---

1. Ред[акция]. Вступление // «Аполлон». 1909. № 1. С. 4 [пагинация внутри первого отдела; пунктуация исправлена]. См. подробнее в моей статье в этом номере НЖ, с. 273.

2. *Лавров А. В., Тименчик Р. Д.* Предисловие к публ.: *Анненский И. Ф.* Письма к С. К. Маковскому / Публ. А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. – Л.: Наука, 1978. С. 225. – Ср. высказанное автором вводной статьи рецензируемого издания ранее замечание о неслучайном характере «декларативной» тональности многих публикаций в журнале: «Стремление заявить свою позицию по ключевым вопросам искусства и художественной политики заставляет редакцию многократно декларировать на страницах журнала свою позицию. Необходимость в таком постоянном утверждении своего художественного идеала (представленного уже в самом названии журнала), способствовала тому, что многие статьи ежемесячника, даже посвященные какому-то конкретному художественному явлению, воспринимались как своего рода манифесты» (*Дмитриев П. В.* «Аполлон» (1909–1918): Материалы из редакционного портфеля. – СПб.: Балтийские сезоны, 2009. С. 5). При этом уже самим названием, глубокую смысловую и «функциональную» мотивацию которого подчеркивала и редакция, и авторы, журнал встраивался в широкую и исключительно содержательную перспективу, формировавшуюся и развивающуюся в отечественной культурной традиции с начала XIX века; см.: *Топоров В. Н.* Из истории петербургского аполлинизма: его золотые годы и его крушение // Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. – СПб.: Искусство-СПб., 2003.

3. *Маковский С.* Вместо введения // *Маковский С.* Страницы художественной критики. Кн. первая: Художественное творчество современного Запада / 2-е изд. – СПб.: Пантеон, 1909. Сс. 9–11. – Самая общая характеристика этого издания искусствоведческих работ присутствует в монографии: *Лебедева Т. В.* Сергей Маковский: Страницы жизни и творчества. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 2004. Сс. 53–67. См. также мою статью, этот номер НЖ, с. 279.

4. Близкая характеристика принадлежит Александру Лаврову: «Ставший одним из

наиболее известных и авторитетных печатных органов 'нового' искусства, журнал строил свою деятельность под знаком эстетического идеала 'аполлонизма' – символа самоценного, свободного и 'стройного' творчества, развивающего живые и плодотворные художественные традиции и решающего сугубо художественные задачи, в соответствии со строгими требованиями вкуса и 'меры'» (*Лавров А. В. Маковский С. К. // Русская литература XX века: Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: В 3 т. / Под общ. ред. Н. Н. Скагова. Т. 2: З – О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. С. 502, стб. 1-2).*

5. Попытка общей характеристики этого процесса и того культурно-исторического фона, на котором он происходил, содержится в: *Лебедева Т. В. Сергей Маковский: Страницы жизни и творчества. Сс. 153-164. Согласно точке зрения другого исследователя (также представляющейся слишком обобщенной и еще менее бесспорной), среди главных мировоззренческих ценностей редакции изначально присутствовала «мечта о всенародном искусстве 'большого стиля', опирающемся на общенациональную традицию. Поиск путей ко всезначному, коллективному, народному <...> явился откликом на новое историческое время с его усиливающейся ролью масс» (*Корецкая И. В. «Аполлон» // Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. – М.: Радикс, 1995. С. 331).* Вместе с тем, автор рецензируемой статьи ранее обращался к рассмотрению и «зеркального отражения» затронутой им темы; см.: *Дмитриев П. Журнал «Аполлон» (1909–1918) как европейский проект: к постановке проблемы // Европа в России: Сборник статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.**

6. Небольшой фрагмент об отражении в журнале событий, связанных с началом войны, присутствует в исследовании: *Корецкая И. В. «Аполлон».* Сс. 363-365. – Тема эта, ранее лишь эпизодически привлекавшая внимание исследователей, для наук гуманитарного направления становилась все более актуальной по мере приближения столетней годовщины начала второй, очевидно, после наполеоновских войн, общеевропейской катастрофы. Предметами отдельного рассмотрения становились реакция на нее представителей философского сообщества, ее отражение в периодических изданиях и, конечно же, в литературе – как в «народной книжности», так и в творчестве писателей-современников самых разных направлений. Материалы на эту тему теперь собраны, систематизированы и детально хронологизированы на сайте «Первая мировая война и русская литература: Политика и поэтика: историко-культурный контекст» (Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН) в разделе «Летопись»; непосредственно к сказанному см. подразделы «1914 год» (<http://ruslitwwi.ru/1914/07/>) и «Персоналии» (<http://ruslitwwi.ru/people/>).

7. Об этом же, основываясь на детальной «реконструкции» самого широкого исторического контекста, говорит и автор едва ли не первого глубокого исследования рецепции древнерусской живописи культурной средой 1910-х годов: «Трудно сказать, было ли хоть одно художественное событие в истории России нового времени, реакция на которое в критике была бы столь единодушно восторженной» (*Шевеленко И. «Открытие» древнерусской иконописи в эстетической рефлексии 1910-х годов // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia: «Век нынешний и век минувший»: культурная реф-*

лекция прошедшей эпохи: В 2 ч. Ч. 2. – Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. С. 260). – Представление о характере и масштабах выставки дает посвященный ей каталог: Выставка древнерусского искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование чествования 300-летия царствования Дома Романовых. [Каталог]. – М.: Тип. П. П. Рябушинского, 1913 (139 с., 56 илл. на отд. л.). Автором вступительной статьи стал хранитель художественного отдела Румянцевского музея Павел Муратов, составителями отдела иконописи – владелец едва ли не лучшей коллекции икон в стране (и, фактически, один из главных инициаторов и подвижников ассимиляции древнерусской живописи культурной традицией начала XX века) Степан Рябушинский и известный реставратор Александр Тюлин (в 1918 году он будет работать над восстановлением «Троицы» Андрея Рублева). В первом разделе каталога были представлены 147 икон XIV–XVII веков из частных и общественных собраний.

8. См.: *Георгиевский В. Т.* Обзор выставки древнерусской иконописи и художественной старины // Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде, декабрь 1911 – январь 1912. Т. 3. Пг., 1915; см. там же: Каталог выставки древнерусской иконописи и художественной старины (Сс. 169-174, табл. I-L, LXXI-LXXV). Издание было добросовестно отрецензировано в «Аполлоне» Всеволодом Дмитриевым: *Вс. Дм.* Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 – январь 1912 // «Аполлон». 1916. № 1. Сс. 54-58 [отдел «Художественная летопись»].

9. *Иванов Г.* Военные стихи // «Аполлон». 1915. № 4/5. С. 82 [пагинация внутри первого отдела]. Но при этом и сам автор ранее отдал должное упоминаемой им патриотической тематике; см. об этом, напр.: *Тарасова И. А.* Поэзия фронтовая и поэзия тыловая: Н. Гумилев и Г. Иванов // «Известия Саратовского университета. Новая серия: Филология. Журналистика». 2015. Т. 15. Вып. 1. – Не останавливаясь на данном факте подробно, необходимо все-таки отметить, что отношение к войне у многих литераторов было неоднозначным, находило различные формы выражения и с течением времени претерпевало более чем заметные изменения. Вместе с тем, данное обстоятельство нельзя абсолютизировать: так, например, в вышедшем в 1917 году в Петрограде вторым изданием шестнадцатистраничного сборнике «Военные стихи современных русских поэтов», в частности, содержалось и стихотворение Маковского «Болгарам («Болгары! Кровь зовет к ответу...»); см.: *Богомолов Н. А.* Материалы к библиографии русских литературно-художественных альманахов и сборников: 1900–1937. – М.: Латерна-Вита, 1994. С. 43.

10. Самую яркую характеристику этой публикации оставил, очевидно, в своих мемуарах Георгий Иванов (1928): «Лубочный, но пышный расцвет Москвы времен символизма пришел к концу – ‘Весы’ закрылись. ‘Торжествующая реакция’ основала петербургский ‘Аполлон’, и Георгий Чулков протанцевал в нем каннибальский танец над трупом врага ‘О Весах’» (*Иванов Г.* Петербургские зимы // *Иванов Г. В.* Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Мемуары. Литературная критика / Сост., подгот. текста Е. В. Витковского, В. П. Крейда, комм. В. П. Крейда, Г. И. Мосешвили. – М.: Согласие, 1993. С. 77).

11. О роли и месте Брюсова в истории журнала, как и о самом издании, см. и на сегодня остающуюся, очевидно, наиболее глубокой публикацию: *Азадовский К. М.,*

Максимов Д. Е. Брюсов и «Весь» (К истории издания) // Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. – М.: Наука, 1976.

12. При этом нельзя исключать тот факт, что полемическая агрессивность Брюсова могла быть вызвана не только и не столько стремлением к охране и защите символистских ценностей, сколько появлением у него после закрытия «Весов» новых «корпоративных интересов», связанных с участием в других периодических изданиях. Так, 29 августа 1910 года он писал Гумилеву: «...с этой осени (как Вы, может быть, уже знаете) я буду 'принимать ближайшее участие' (официальный термин) в редактировании 'Русской мысли'. Кроме того, мне же приходится взять на себя <...> и редактирование 'Северных цветов' (Переписка [Брюсова] с Гумилевым (1906–1920). / Вст. ст. и комм. Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова, публ. Р. Л. Щербакова // Литературное наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. – М.: Наука, 1994. С. 499).

13. Среди публикуемых отзывов любопытным представляется написанное в пародийном ключе стихотворение «С мухой» из «Книги извращений» Андрея Зеленого (Виктора Буренина): «Летом я влюбился в муху. / Стал я равен с ней по духу, / Сладострастен так же стал», – с которым своим «сюжетным строем» не может не ассоциироваться известное сочинение Николая Олейникова: «Я муху безумно любил! / Давно это было, друзья, / Когда еще молод я был, / Когда еще молод был я» (1934), – хотя в данном случае, вероятно, речь должна идти всего лишь о «типологической» близости.

14. В качестве одной из самых актуальных на сегодня тем, так и не получивших детального научного освещения, кажется оправданным назвать реконструкцию степени «участия» «Аполлона» в формировании, становлении и развитии акмеизма. Исключением в этой связи можно считать уже упоминавшееся выше исследование: *Корецкая И. В.* «Аполлон». С. 350 сл. (однако далеко не все содержащиеся там утверждения и выводы представляются бесспорными), – а также «пионерскую» публикацию: *Олег Лекманов.* «Аполлон» и акмеизм // «Вопросы литературы». 1997. Сент.-окт. [№ 5]; ср.: *Шиндин С.* Книга в биографии и художественном мировоззрении Мандельштама. 1 // «Toronto Slavic Quarterly». 2016. № 55. Сс. 30–43; здесь же необходимо учитывать публикацию Виктора Драницина: «А я вверяюсь их заботе...»: Осип Мандельштам и его «литературные воспитанники» на рубеже 1910-х гг. // «Сохрани мою речь...»: Мандельштамовский альманах. Вып. 6 (в печати).

*Сергей Шиндин*

*Ермичев А. А. Философская и общественная мысль в журналах русского зарубежья (сороковые-шестидесятые годы XX века): Библиографический указатель. – СПб.: Изд. РХГА, 2016. – 320 с. – 300 экз.*

Эта книга – по-настоящему пионерский труд. Ее автором-составителем является известный исследователь Русского Зарубежья доктор философских наук Александр Александрович Ермичев. Традиционная область его профессиональных интересов – философия русской эмиграции. Новый капитальный труд профессора Русской христианской гуманитарной академии посвящен росписи содержания журналов послевоенной эмиграции XX века.

Предшественником данного указателя было библиографическое пособие «Философское содержание журналов Русского Зарубежья (1918–1939 гг.)» (СПб.: Изд-во РХГА, 2012. – 352 с.).

Стереотипно под философией русской эмиграции обычно понимают наследие мыслителей двадцатых-тридцатых годов довоенного периода. У неискушенного читателя порой складывается впечатление, что все русские философы умерли в Зарубежье в течение 1939–1940 гг. Даже при самом поверхностном обращении к теме открывается абсолютно не оспариваемая истина – русское философское Зарубежье не только не исчезло, но продолжало развиваться. С другой стороны, современные гуманитарии, не специализирующиеся на эмигрантоведении, лучше знают периодику «первой волны», а не послевоенную.

До выхода указателя А. А. Ермичева были известны библиографические пособия Л. А. Фостер «Библиография русской зарубежной литературы, 1918–1968»<sup>1</sup> и «Русская эмиграция: журналы и сборники на русском языке, 1920–1980»<sup>2</sup> под редакцией Т. Л. Гладковой и Т. А. Осоргиной. Существуют и росписи конкретных послевоенных журналов, представленные «Новым Журналом» и «Записками Русской Академической группы в США».

К заслуге автора-составителя сразу надо отнести, что он не остановился на узкоотраслевых философских журналах, а выбрал статьи по «любимудрию» в основных самых известных периодических изданиях Русского Зарубежья. Новый же труд стал возможен в России благодаря рассекретиванию спецхранов и, с другой стороны, многолетним щедрым дарам зарубежных соотечественников. Все это позволило библиотекам России создать уникальные собрания книг и журналов именно послевоенной эмиграции.

В новой работе А. А. Ермичева взяты для росписи пять общественно-политических, два литературно-общественных, по четыре литературных и научных периодических изданий Русского Зарубежья. Философия понимается в традициях русской мысли очень широко, с упором на литературные и общественные вопросы. В первом разделе «Общественно-политических изданий» представлены статьи из таких журналов, как «За Свободу», «Российский демократ», «Воля», «Наши дни», «Вольная мысль». Второй раздел – «Литературно-общественные издания» – познакомит читателя с известными журналами послевоенного Русского Зарубежья: «Грани» и «Возрождение». Третьим разделом идет роспись содержания литературных изданий: «Новый Журнал», «Литературный современник», «Опыт», «Мосты» (почему второй и третий разделы были разведены не очень понятно; в принципе, в них представлены журналы одного формата). Четвертый раздел – «Научные издания» – посвящен «Новым вехам», «Вестнику Института по изучению истории и культуры в СССР» и «Мысли». Трудно сказать, что можно было бы добавить в этот блистательный ряд, разве что в первую часть – «Социалистический вестник», а в третью – альманах «Воздушные пути».

Самый большой раздел заслуженно занимает роспись статей «Нового Журнала» (страницы 141-217). Более тысячи названий доказывают высочайший уровень философской и общественно-политической мысли, представленной на страницах самого известного русского зарубежного издания!

А какие имена в указателе! Действительно – цвет русской философии: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. И. Бунаков-Фондаминский, В. В. Вейдле, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зеньковский, И. А. Ильин, А. В. Карташев, Н. О. Лосский, Ф. А. Степун, П. Б. Струве, Г. П. Федотов, С. Л. Франк и многие другие. Отметим и других деятелей культуры, науки и литературы (в алфавитном порядке): Г. Адамович, Н. В. Валентинов, Г. Н. Гинс, Р. Б. Гуль, Ю. П. Иваск, М. М. Карпович, П. А. Сорокин, Г. П. Струве, Н. С. Тимашев, Н. И. Ульянов, А. Шмеман и др. К некоторым библиографическим описаниям даны справочные аннотации, которые набраны курсивом.

Книга «Философская и общественная мысль в журналах русского зарубежья» снабжена предметным и именовым указателями, что усиливает ее информационную значимость. Автор-составитель выделил в отдельный ряд персоналии, упоминаемые в заглавиях статей. Совершенно правильно сделаны отсылки во вспомогательных указателях к номерам библиографических записей, а не к страницам, как стало модно делать сегодня.

В то же время есть в этой работе и недостатки. Хочется поспорить с профессором А. А. Ермичевым в его определении и оценке второй эмиграции: «В рядах второй волны оказались люди либо по трусости или низменности изменившие присяге и Советской Родине, либо оказались убежденные коллаборанты – антисоветчики и антикоммунисты, полагавшие, что они подняли оружие не против Родины, а против коммунизма, либо, наконец, просто обыватели, заброшенные за границу ураганами войны» (С. 6). Такое отношение к второй эмиграции, как и искусственное смешение совершенно разных потоков второй волны эмиграции, становится, к сожалению, в сегодняшней России столь частым, столь и поверхностным. Поэтому рецензент, как узкий специалист именно по этой «волне», позволит себе представить свою точку зрения.

К второй волне эмиграции обычно относят людей, покинувших родину в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся после 1945 г., – около 400000-450000 человек. Традиционно к этому потоку причисляют следующие категории эмигрантов: «остарбайтеры» – лица, насильственно угнанные с оккупированных территорий нацистами для работы в сельском хозяйстве и промышленности III Рейха; военнопленные; «власовцы» и «добровольцы» («хи-ви»); лица, сотрудничавшие с немецкими оккупационными властями (этот ряд весьма широк – от полицаяв-карателей до учителей начальных школ и уборщиц). Представителей же первой волны русской эмиграции, влившихся в общий поток беженцев, надо относить к дипийцам. В советской юридической практике того времени все эти категории вольных и невольных эмигрантов одинаково считались «пособниками врага» и

«изменниками Родины», с неизбежным наказанием в виде ареста и пребыванием в лагерях в случае их возвращения на родину. На основании статьи 193 п.22 УК РСФСР 1922 г. и Приказу Ставки Верховного Главнокомандующего от 16 авг. 1941 г. № 270, плен равнялся измене родине, командиры и политработники, сдавшиеся в плен, подлежат расстрелу на месте, а их родственники – аресту и ссылке на 5 лет.

Да, среди представителей второй волны не было таких известных имен, как в первой эмиграции. Никто из них не получил Нобелевской премии, не изобрел вертолета и не стал королем Андорры. Только философ С. А. Аскольдов и писатель, литературовед Р. В. Иванов-Разумник были видными представителями Серебряного века, впрочем, оба умерли сразу после окончания войны. Остальные стали известны именно как представители общего потока второй эмиграции. Среди них можно выделить имена поэтов Д. Кленовского (Д. И. Крачковского), И. Елагина (И. В. Матвеева), Р. Березова (Р. М. Акульшина), О. Анстей (О. Н. Штейнберг), В. А. Синкевич; прозаиков Б. Н. Ширяева, Б. А. Филлипова (Филистинского), Л. Д. Ржевского (Суражевского), С. С. Максимова (Пашина или Пасхина), Б. П. Башилова (Юркевича); литературоведов и критиков Л. А. Фостер (урожденную Колесникову), В. Д. Самарина (Соколова), В. К. Завалишина, Г. Андреева (Г. А. Хомякова), М. М. Корякова; художников С. Л. Голлербаха, С. Р. Бонгарта, В. М. Шаталова, историков А. Г. Авторханова, Н. Н. Рутыча (Рутченко), И. А. Курганова (Кошкина), Н.И. Ульянова; общественных деятелей Е. Р. Романова (Островского), Н.А.Троицкого (Б. А. Яковлева), А. Н. Артемова (Зайцева); священников прот. Д. Константинова, С. Ляшевского и многих других.

Среди имен представителей второй волны наибольший интерес представляют младшие современники Серебряного века. Именно их творчество вызывает в современной России пристальное внимание, и этих эмигрантов первая волна считала за «своих», а не за «продукт социалистического эксперимента». Поэтому рецензент не может согласиться с утверждением А.А. Ермичева о бедности философской и общественной мысли второй волны (с. 7), и содержание рецензируемого указателя – лучшее опровержение этого тезиса. Творчество только одного историка – Н. И. Ульянова – вполне может сравниться с наследием самых блистательных мыслителей Русского Зарубежья.

Недоумение вызывает и тот факт, что в перечень статей на философские и общественные темы попали не только литературно-критические публикации, но и даже произведения художественной литературы. Так, у Н. И. Ульянова перечисляются главы (не все!) исторического романа «Атосса (Поход Дария в Скифию)» в журнале «Возрождение». По непонятному принципу были отобраны и рецензии на художественную литературу. Оказался пропущен юбилейный выпуск альманаха «Мосты», приуроченный к пятидесятилетнему юбилею революции.

На субъективный взгляд рецензента усилил бы эту книгу указатель персоналий с краткими биографическими данными. Эти сведения можно было бы дать в основном тексте, рядом с фамилией автора. Тем более непонятно, почему А. А. Ермичев приводит в некоторых случаях после псевдонимов настоящие имена и фамилии авторов, а в каких-то – нет; почему он объединяет статьи, рецензии и эссе, подписанные разными именами, псевдонимами и криптонимами... В результате В. Булатов, Ю. Граденин, В. Тучкин – становятся не псевдонимами лидера эсеров В. М. Чернова, а разными людьми. Р. Н. Редлих воспринимается как псевдоним Воробьева, а не наоборот, что есть на самом деле. Криптоним «У. Н.» в журнале «Воля» не принадлежит Н. И. Ульянову, а псевдоним Н. Бурназельский (от пригорода Касабланки в Марокко), напротив, использовался Ульяновым (в «Новом Журнале» за 1954 г., № 36). Таких примеров найти можно много, но остановимся на самом курьезном. В именном указателе псевдоним историка Н. И. Ульянова «Н. Шварц-Омонский» (от названия завода в Касабланке) слился с фамилией меньшевика С. М. Шварц-Моносозона – и получилось: «Шварц-Дмонский С. М.» (с. 302).

Вместе с тем, все вышеизложенные замечания не влияют на оценку высокого значения этого новаторского библиографического указателя.

- 
1. Л. А. Фостер. Библиография русской зарубежной литературы, 1918–1968. – Boston: G.K. Hall & C., 1970. – Т.1: А–К. – 681 с.; Т.2: Л–Я. – 681 с.– 1374 с.
  2. Русская эмиграция: журналы и сборники на русском языке, 1920–1980. – Paris: Int. d'Etudes Slaves, 1988. – 661 с.

*П. Н. Базанов*

*Евгений Брейдо. Эмигрант. – М.: Время, 2017. – 224 с.*

В сборник американского русскоязычного прозаика Евгения Брейдо «Эмигрант» входят роман и три рассказа. Поскольку на тему иммиграции написано за последние века полтора в русской литературе немало, то мне прежде всего был интересен не столько сюжет романа, не только ответ на вопрос «что в нем?», а как он написан. Критерий, безусловно, не новый, но поскольку автор понимает эмиграцию широко – во времени, в пространстве, в культуре, исторически и лингвистически, то стиль и манера письма, сам по себе прозаический язык приобретает здесь равное, формообразующее значение наряду с фабулами и сюжетным развитием.

В середине января 2017 года я слушал в авторском исполнении отрывки из романа «Эмигрант». Поскольку я прочел роман до этого, то был обрадован и удивлен, как легко он воспринимается на слух. Дело в том, что сюжет с двумя параллельными линиями и темой крушения империй, эмигрантские коллизии и исторические пейзажи в романе держатся на словесной ткани, узор которой не балует излишествами, а само письмо – суховато, с ограничением по части применения тропов, которые периодически заменяются явны-



ми и скрытыми поэтическими цитатами, реминисценциями и множеством интертекстов. «Вечер тянулся невыносимо за полночь. Приходили друзья и какие-то малознакомые люди, бодро говорили, скрывая растерянность. Бесконечно прощались. Куда он уезжает, зачем, стало в конце концов непонятно и ему самому – как можно терять все привычное, любимое и уезжать в никуда. Чемодан стоял посреди комнаты открытым укором – все оставалось, как было, кроме него. Он потихоньку подкладывал туда книг – будто фараону в загробную жизнь...»

Так по-бытовому начинается роман. И как летопись, стилистически точно и строго, он и будет продвигаться к эпилогу. В этой скупости авторской речи, интонационной выстроенности, лаконичности описаний, словно в математически выверенных предложениях есть что-то от аскетичной прозы Варлама Шаламова. Понятно, темы разные (хотя лагерь – своего рода эмиграция из худших, и при всей громадной разности, есть между ними немало сходства и пересечений). Понятно, ситуативно вещи не сравнимые, но средства языка выбраны с поразившей меня схожестью. Кто-то из слушателей отметил, что «Эмигрант» напоминает ему «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы. Это при том, что повествование Окуджавы развивается в жанре исторического травелога, со скрупулезными подробностями, в коротких, по большей части, предложениях, и в строго романтическом стиле русской прозы первой половины XIX века, то есть Золотого века русской словесности, а «Эмигрант» принадлежит совсем другому времени.

Кстати, один из эпиграфов к «Путешествию»: «Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет», вполне подходит и к сдержанному в эмоциях «Эмигранту». Я сначала удивился сравнению с романом Окуджавы, но еще больше был удивлен, когда возникла, после получасового слушания романа Брейдо, собственная ассоциация с языком Шаламова. Но это именно тот язык, которому веришь сразу и до последнего слова. Тем более верят те, кто иммиграцию уже прошел. Непонятное окружение, от которого неизвестно чего ждешь; чувство незащищенности и потери ориентиров; странная речь вокруг (фея в лагере, иностранный – на чужбине), незнакомые люди, непредсказуемая, пугающая топография... Если это описывать метафорически или эзоповым языком – получится притча, басня, сказ в духе Войновича; если начать играть с языком, интерпретировать новые, иные структуры, потусторонние для «чужого» и «немного» (короче, «немца» среди чужих) – ассоциативно возникнут Набоков, Саша Соколов и Пелевин.

Один из путей – довериться собственной речи и писать не по-русски, а *по-своему*. Звучит странно, но, согласитесь, не существует русского языка вообще. Я не только о диалектах и наречиях. Есть русский язык города и деревни, московский и питерский, российский литературный и брайтонский, ИТР и заводских рабочих, старшего и младшего поколений, все те же ломоносовские «штили», в конце концов. При этом язык отточенно индивидуален,

поскольку каждый конкретный носитель – по-разному образован, воспитан, начитан, изнурен терминами и обременен хобби. Поэтому национальный язык – понятие абстрактное, и остается все тот же, заданный Романом Якобсоном, «... основной вопрос поэтики: ‘Благодаря чему речевое сообщение становится произведением искусства?’» («Лингвистика и поэтика»).

Все носители говорят, казалось бы, на одном языке, но одно высказывание является общим местом, а другое – принадлежит изящной словесности. В чем дело? Один из ответов – в индивидуальности, естественности высказывания и умении эту индивидуальность, не ослабевая, держать в строго определенных стилевых границах. А точнее, в прямоте, в совпадении индивидуального авторского языка и выбранного автором стиля изложения. В случае с «Эмигрантом», равно как и в случаях с прозой Шаламова, Лимонова, Довлатова, у читателя возникает ощущение безыскусности, самородности, той самой «эстетической правдивости», в которой взгляд прям и прошибает насквозь, в отличие от фасеточного зрения Гоголя, как считал Набоков. И это заставляет слушателя не отвлекаться в момент авторского чтения, а читателя – переворачивать страницу за страницей.

В сборнике исторические рассказы, или, скорее, притчи, соединены, местами кажется – сцеплены – множеством лицевых и изнаночных швов с содержанием романа. Автор такой же эмигрант, как и его герой, так что пишет не понаслышке. И сразу предупреждает, что «Эмигрант» – не роман в духе симпатичных иммигрантских баек Сергея Довлатова, Владимира Лобаса или Дины Рубиной: «Осведомленный читатель... может воскликнуть: ‘А где же настоящие эмигрантские типажи? Где тетя Моня с Брайтон-Бич с ее прославленным “наслайте мне этот писочек колбасы” и бандюган Левочка оттуда же? Почему нет в тексте этого средиземноморского колорита и брайтонского диалекта выходцев из Одессы и Бердичева? Или автор не знает, как говорят и выглядят настоящие эмигранты?’ Знает, знает, дорогой читатель, но, увы, это не моя эмиграция, и пусть ее описывает кто-нибудь еще, благо, умельцев, кажется, довольно...»

Главный герой, молодой ученый Андрей Бранадский покидает зимнюю Москву, оставив в ней Аню, любимую и желанную. Основной посыл к эмиграции – ему тошно в постсоветской России и хочется, наконец, увидеть мир. Они мечтают об этом вместе, но начинается эмигрантская драма с того, что ему приходится уезжать одному. В далекий Бостон, столицу штата Массачусетс. Они уверены, что соединятся в ближайшее время: сначала он звонит ей ежедневно, иногда они по несколько раз в день обмениваются письмами по электронной почте (в начале 1990-х это не самый расхожий вариант переписки, если не сказать редкий, но автору видней). А затем они стали реже созваниваться и, в результате, прекратили эпистолярный диалог. Через несколько лет они встретятся в Москве, но все будет не то, не так, да и они, уже другие, перестанут понимать друг друга.

Детализация иммигрантского ландшафта происходит на фоне другой сюжетной линии – о еврейском мальчике из местечка, который после Уманской резни в июне 1788 года чудом спасся, попал в Польшу, затем перебрался во Францию и стал одним из наполеоновских генералов. Он прошел с императором четыре кампании, войну 1812-го года, стал свидетелем пожара Москвы и падения Наполеона, после чего перебрался в Новый Свет, купил поместье в Луизиане и тихо завершил свои дни, осмысливая бурный уходящий век.

Мальчика звали Йозеф. Во Франции он сократил длинную польскую фамилию Дзятковский до двусложной Жагто и прославил свое имя в походах и сражениях, дослужившись до дивизионного генерала и став графом Империи. Жагто, как выясняется по ходу действия, был предком Андрея, и это отчасти становится пружиной не слишком сложной романной интриги.

«Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии», – пишет Герман Гессе в «Степном волке». Наполеоновские кровавые войны и психологическая война с самим собой в условиях иммиграции; безжалостная по отношению к человеку эпоха конца XVIII – начала XIX веков и безучастная к нему в конце XX – начале XXI столетий; герой и разные его отражения, ипостаси, версии, как в зеркалах. Похоже, История понадобилась автору также как зеркало, и в романе появилась вторая линия, историческая, со множеством экзотических параллелей и совпадений. Здесь уже не всегда поймешь, кто главный герой, а кто его прототип, реализующийся в образе двойника.

Герой и разные его отображения – тоже в зеркалах, но последние – не выдумка автора, а заданное сюжетом двоемирие. Два мира – современный и исторический, потомок и предок в том самом, из романтизма, Двоемирии, которое было основано на идее распада мира на реальный и трансцендентный, где идеал и действительность не совпадали, а причиной этого несовпадения стали глобальные социально-политические сдвиги в историческом процессе, начатые Великой французской революцией. Гибель Российской империи, которая продолжается в настоящем, влетенная в быт иммигранта в Америке, и короткий век либеральной империи Наполеона – все это слилось в нерасторжимое целое и стало романом.

«Эмигрант» полон поэтических интертекстов – скрытые и явные цитаты из Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Окуджавы составляют самую ткань, фактуру письма. Фрагменты разговоров – о диссидентстве, смысле жизни, исторических параллелях и прочем, характерные для иммигрантской среды, – совершенно аутентичны. Интересна аккуратно встроенная в ткань повествования явно авторская точка зрения о роли технологий в развитии современной цивилизации. И здесь пришедшая из Фукидида знаменитая история о том, как древнегреческий круглый щит с двумя рукоятями – изобретение приблизительно конца VIII века до н. э. – создал греческую демо-

кратию, естественно соединяется с рассуждением героев (Андрея и его alter ego Джен) о том, почему государства, жившие морской торговлей, никогда не были жесткими автократиями, и каков вклад радиоприемников и магнитофонов в гибель советской империи (само собой, благодаря зарубежным, официально запрещенным «радиоголосам» и подпольно распространяемым аудио-записям).

Важен возникший в финальной части образ Петра Старшинова – прототипом его послужил рано умерший великий лингвист Сергей Старостин, автор знаменитого проекта «Вавилонская башня языков». Здесь речь о языке человечества, языке Адама и Евы, и словах, которые Старостину удалось реконструировать: «женщина» – «жена» и английское «queen», «имя» – английское «name» и латинское «nomen». Логичная в структуре «Эмигранта» линия Старостина-Старшинова – ключевая еще и потому, что эта синтетическая, объединяющая мечта о всеединстве – желанная и всегда недостижимая. Как приближение к единому в себе и к Богу как своему зеркальному отражению. Иными словами, иммигрантская тема разработана в романе на самых разных уровнях, включая и семиотический.

Несколько слов на совсем отвлеченную тему. По этому поводу, уверен, не возник бы вопрос у российских читателя и критика, но мне, живущему скоро уже тридцать лет в иммиграции, интересно узнать, почему роман назван «Эмигрант»? Эмигрант и иммигрант – слова с противоположными значениями, с разными векторами. Это как один мир, который качнулся вправо, и другой – качнувшийся влево. Герой, как и автор романа, эмигрирует из России, появляется иммигрантом на Западе, обживаете там и – ему повезло – живет второй, иммигрантской, жизнью. Но роман назван «Эмигрант». Почему? Может быть, дело в том, что эмиграция – это в первую очередь путь к изменению себя, к своему Другому, включая и психоаналитическое определение Жака Лакана о Другом как источнике и результате одновременно процессов вытеснения и сопротивления. Поменяв окружающую среду, эмигрант приобретает массу значимых в новых условиях свойств, мимикрирует, теряя какой-то набор прежних своих знаковых качеств: «... никто их не уничтожил, / но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, / еще одна жизнь. И я эту долю прожил». И остается, при этом, Эмигрантом – во всегда и везде противоречивом земном мире, в не своей стране.

Хотя роман занимает большую часть книги, необходимо сказать несколько слов и о рассказах. Два из них – как бы двойчатки (и в том самом, мандельштамовском, представлении о циклизме) о петровском времени. Правда, с возвращением в современность в рассказе «Профессор N» и – об эпизоде из «Ста дней» Наполеона с вложенным в сюжет экскурсом в эпоху Ричарда Львиное Сердце. Вообще, вневременная историческая игра, переходы из одной эпохи в другую могут стать визитной карточкой автора, хотя и не единственной.

Образ Петра существенно различается в рассказах «Город» и «Профессор N». В первом рассказе он вполне хрестоматичен; неожиданно только подведение итогов знаменитого царствования: «Петр помялся, не решаясь, поспел носом, но спросил неожиданно о другом: ‘Скажи, что главное останется от меня, сумею я что-нибудь сделать такое, что сохранится навечно?’ – ‘Пожалуй,’ – ответил голос после некоторого раздумья. – ‘Что это? Победы мои над шведами, армия, флот, сама держава Российская?’ – Голос ответил едва слышно, исчезая в предутренней дымке: ‘Город’.»

Во втором – это жестокий властитель, правда, обладающий магнетической силой, что никак для властимущих не исключение: «Однажды он увидел стального цвета море холодным ноябрьским вечером, равнодушную рябь болтающихся туда-сюда волн и огромного человека с хищными кошачьими усами на надменном лице и свирепым пронзительным взглядом, от которого некуда было деться. Человек, одетый в зеленый преображенский кафтан с красными об-шлагами, стоял по пояс в грязной промерзлой воде и командовал спасением моряков с бота, севшего на мель в Лахте».

В рассказе «Долг» читателю предлагается самому сделать вывод, какое понимание долга ему ближе: офицера, погибающего в сражении на службе императору, хотя он мог бы и уклониться от этой службы без ущерба для чести, или средневекового рыцаря, спасающего любимого короля и не готового служить тирану.

Как я уже писал выше, рассказы в этой книге как бы продолжают роман и образуют с ним единый контекст. Искренний и доверительный по отношению к читателю, которому остается только во все это вникнуть, все пережить и прожить вместе с автором, «эмигрировав» в эту новую, неожиданную для восприятия прозу. Непростая (и всегда желанная) читательская судьба в формате одного, отдельно взятого романа, но уже в начале «Эмигранта» становится понятно, что никто легких путей читателю и не обещает.

*Геннадий Кацов*

*Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина: 1914–1920. – М.: Книжница: «Русский путь», 2016. – 480 с.*

Эту книгу, наверное, можно было предварить словами: «Взвихренная Русь». Совсем, как у Алексея Ремизова. Или вспомнить название другого произведения: «Россия, кровью умытая». Потому что в дневниках Иосифа Ильина, написанных очень четко и ярко, развернуто огромное полотно русской трагедии времен революции и Гражданской войны.

Литературным талантом семья Ильиных обделена не была. Достаточно вспомнить Наталью Иосифовну Ильину, блистательного прозаика, автора едких фельетонов, которые так любил Александр Твардовский. Ее воспоминания «Дороги и судьбы», где она рассказывала о юности в Харбине, о дружбе с Александром Вертинским и Корнеем Чуковским, были настольной кни-

гой для многих думающих людей в СССР. Пером Наталья Ильина владела блистательно. Вот какой портрет отца она оставила, вспоминая харбинские годы: «Невоздержан был этот человек, только что вырвавшийся из братоубийственной войны, невоздержан в страстях своих! Первые годы харбинской жизни он еще не снимал полувоенной формы – защитного цвета гимнастерки с глухим воротом, подпоясанной ремнем... Маньчжурскими зимами, малоснежными, с ледяными ветрами, ходил с непокрытой головой (темные волосы бобриком, позже – косой пробор), чем обращал на себя всеобщее внимание. Был он строен. Спортивен, молодежав, шутник, остряк, душа застолий».

Но Иосиф Сергеевич Ильин, царский офицер, кавалер орденов «Анны» 4-й степени «За храбрость» и «Станислава» с мечами и бантом, и сам так же хорошо умел изложить свои мысли на бумаге. Чему свидетелями и стали мы, читая его дневники. Текст подготовила внучка Ильина, неутомимая подвижница русской культуры в Париже Вероника Жобер.

Диву даешься, как эти дневники вообще сохранились! Иосиф Сергеевич прожил долгую жизнь, уцелел во всех испытаниях, которые судьба определила его поколению. Он умер в Швейцарии в 1981 году. Позади остались благословенные годы детства в Симбирске и в Михайловском артиллерийском училище. Затем были Первая мировая, ранения, революция, скитания по всей России, армия Колчака, Харбин. Он мог погибнуть десятки раз, когда в вагоны входили озверевшие солдаты и матросы, убивая всех, кто хоть чем-то напоминал «белую кость»; когда крестьяне врывались в имения и живо сжигали их хозяев; когда сжималось кольцо вокруг Колчака и сам Ильин чудом сумел перебраться в Китай.

Свои дневники Ильин передал еще до начала Второй мировой войны в Русский заграничный архив в Праге, где уже тогда начали собираться материалы эмиграции. После 1945 г. архив был перевезен в СССР и ныне хранится в Государственном архиве Российской Федерации на Пироговке. Именно там их нашла Жобер.

Я бы, как это ни показалось странным, сравнил «Дневники» Ильина с «Доктором Живаго». Та же мощная панорама вздыбленной страны, начиная с картин Первой мировой и заканчивая маньчжурскими степями, которые Ильин видел в последний раз в 1920 году. «Что делается в поездах, нельзя себе вообразить. Все набито битком солдатами, все куда-то едут, едут во всех классах. В купе по десяти-пятнадцати человек. Обшивка почти везде ободрана, ручки отвинчены, Лампочки разбиты, места берут с бою. Все захаркано, заплевано, в семечках. Никакого расписания, по существу, нет, и поезда идут как попало.» «В расстегнутом кителе, видимо волнуясь, ходил по кабинету генерал Деникин. Когда я поровнялся с письменным столом... я ему отрапортовал, кто я и откуда. Генерал Деникин грустно, но твердо сказал: ‘Теперь я ничего не могу сделать... вам же советую скорее отсюда уходить, так как нас с минуты на минуту могут арестовать’.»

Ильин проехал через всю Россию, и каждый день делал записи о том, что видел. Заканчиваются же эти потрясающие дневники картиной Перовского завода на границе с Маньчжурией: «Смотрели церковь, построенную руками декабристов, иконы, написанные ими самими, потом дом, где они жили и их могилы. Тут прошла вся их жизнь. Вот люди, которые наивно революцией думали принести пользу и спасение России. Спасение от чего? – спрашивается. Вот если бы могли они встать из гроба и поглядеть на дело рук своих, на всходы, которые дали зерна, ими брошенные...»

\* \* \*

*Н. В. Чарыков. Беглый взгляд на высокую политику. – М.: ВИКМО – «Русский путь», 2016.*

«Оглядываясь на свою семидесятипятилетнюю жизнь, я понимаю, что началась она в сумраке крепостничества, а к завершению близится в сумраке большевизма. Кроме того, могу заметить, что два эти социальных и политических зла, будучи совершенно противоположными друг другу, в России оказались органично связанными как причина и следствие.» Уже по одной этой цитате видно, что ее автор вовсе не принадлежал к плеяде ретивых крепостников или реакционеров. Действительно, блестящий дипломат, одно время исполнявший обязанности министра иностранных дел, Николай Валерьевич Чарыков всегда был убежденным либералом. В старом, подлинном значении этого слова.

Он скончался в 1930 г. в Константинополе, на берегу Босфора, в эмиграции. Там, где долгие годы служил послом России в Турции. А до этого была Сербия, где ему пришлось пережить кровавый государственный переворот, участие добровольцем и тяжелое ранение в войне за освобождение Болгарии, посольство в Нидерландах. Он вошел в историю как дипломат, всегда имевший собственные взгляды на внешнюю политику. Особенно это проявилось во время так называемого Боснийского кризиса 1908 года, когда Чарыков организовал сверхсекретную встречу своего начальника, министра иностранных дел России Александра Извольского, с его австро-венгерским коллегой Эренталем. Целью было добиться свободного прохода российских кораблей через Босфор и Дарданеллы в обмен на ряд уступок. Вся эта волюница закончилась почетной ссылкой в Сенат.

А еще в его жизни была Средняя Азия – Николай Валерьевич был политическим агентом в Бухаре и отвечал за строительство Закаспийской железной дороге. Среди восточных нравов он сумел сохранить хорошее отношение населения к русским и добился серьезных успехов.

Обо всем этом он часто вспоминал в своих очерках, которые уже в изгнании писал, в основном, для английских газет. Они же и составили книгу, которая вышла на английском в 1931 г. Сегодня усилиями московских издательств мемуары дипломата увидели свет на русском.

Чарыков пишет о балканских узлах внешней политики, вновь и вновь возвращается к вопросу о проливах, тщательно, подробно всматривается в свое детство в имении в Самарской губернии. Очень подробно анализирует процесс отмены крепостного права, видя в нем причины дальнейшей трагедии страны. Вспоминает Ватикан, где служил министром-резидентом России при Папском дворе. Отдельное место занимает в его воспоминаниях Турция и попытки организовать визит Николая II в Константинополь. «Я убежден, что такой визит в Константинополь не только бы заложил прочный фундамент для преобладания влияния Антанты в Константинополе, но даже помешал бы вступлению Турции на стороне Германии в Великую войну», – пишет дипломат.

К книге приложено несколько очерков – ярких портретов последнего русского императора и министра иностранных дел Сазонова. «Мой доклад касался текущих политических дел и продолжался обычно около часа. Я сразу ощутил, как приятно и легко работать с Его величеством. Его память была изумительна. Он в деталях помнил все дипломатические известия, телеграммы и депеши, которые посылались ему ежедневно из Министерства иностранных дел, а также распоряжения, которые он отдал в ответ на них. Он был в равной степени хорошо знаком с историей и с текущим состоянием каждого из вопросов, представленных на его рассмотрение», – вспоминал дипломат.

Книга Н. В. Чарыкова – прекрасный подарок для всех, кому интересна история России и ее внешней политики.

\* \* \*

*Ежегодник Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. 2016. – М.: «Русский путь», 2016. – 872 с.*

В этом поразительном человеке прежде всего удивляла легкость. И самоирония. Для тех, кто знал его только по книгам и мощной просветительской деятельности, он, наверное, казался исполином, изрекающим истины. Директор легендарного издательства YMCA-PRESS, опубликовавший сотни книг, в том числе и открывший для миллионов читателей «Собачье сердце» и «Архипелаг ГУЛаг», неутомимый борец против притеснений Православной церкви в СССР, автор ряда трудов по истории русской культуры, Никита Алексеевич Струве в жизни меньше всего походил на титана или вождя.

Конечно, вряд ли кто мог представить в советские годы, что этот человек, даже во Франции с риском для себя выпустивший главную книгу Солженицына, станет лауреатом Государственной премии, что память о нем воплотится в сверкающий комплекс на Таганской площади – Дом Русского Зарубежья. Потому что именно Никита Алексеевич, наряду с Александром Исаевичем и Натальей Дмитриевной Солженицыными, был одним из соучредителей этого, на сегодняшний день лидирующего центра по изучению наследия русского изгнания.



Все началось в 1990-е, когда в стенах Государственной библиотеки иностранной литературы каким-то чудом, еще во времена угасавшей советской власти, открылась выставка знаменитого парижского издательства Струве – YMCA-PRESS. Не верящие своим глазам москвичи могли снять с полок и полистать книги Набокова, Бердяева, о. Сергия Булгакова, о. Александра Меня – то есть издания, за которые не так давно можно было получить реальный срок. Именно после этого, почувствовав огромный интерес российского общества к истории и наследию эмиграции, Никита Алексеевич и Виктор Москвин, тогда еще заместитель директора «Иностранки», а вскоре и Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна, включились в работу по созданию большого научно-просветительного центра, целиком посвященного изучению культуры Зарубежной России.

Сегодня в Доме хранится более полумиллиона реликвий культуры и истории, в основном подаренные русскими эмигрантами и их потомками (сам Никита Алексеевич передал ряд уникальных архивов), созданы читальные и экспозиционные залы, каждый день проходят конференции, выставки, семинары. Идет большая издательская работа. В числе прочих выпускаются большие тома «Ежегодника Дома Русского Зарубежья».

Итак, 872 страницы, с иллюстрациями. Почти все материалы либо впервые публикуются, либо представляют собой статьи, посвященные малоизученным темам, естественно, связанным с этой бездонной планетой «Россия вне России». История эмиграции во Франции и в Чехословакии, в США и Польше, Италии и Великобритании. Письма, архивные документы, отражающие неизвестные стороны триумфа и трагедии российского изгнания.

«Ежегодник-2016», естественно, не мог не начаться с материалов, посвященных памяти Никиты Струве. Открывает том статья директора Дома Виктора Москвина о Струве, о незабываемых встречах во время первой выставки в «Иностранке», о поездках по России и дарах региональных. Известный славист Жорж Нива делится впечатлениями об удивительном доме Никиты Алексеевича в Вильбон-Сюр-Ивет, где, казалось, все было буквально пропитано Россией и ее культурой.

Один из самых запоминающихся материалов «Ежегодника» – работа Татьяны Марченко «Как проваливаются гении», составленная на основе материалов Нобелевского комитета в Стокгольме. Более десяти лет приезжая в Швецию и работая в небольшом читальном зале, исследовательница выяснила, что великая премия связана не только с хрестоматийными для России именами Ивана Бунина, Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Александра Солженицына и Иосифа Бродского. Марченко погружает нас в атмосферу яростной борьбы за обладание желанной наградой, анализирует безжалостные отзывы рецензентов, хоронивших подступы писателей к заветной мечте. Так, к примеру, вместе с Шолоховым на премию номинировались Анна Ахматова и Константин Паустовский. В 1923 г. Ромен Роллан выдвинул

Константина Бальмонта, а в 1942 и 1948 гг. шведский философ и психолог Альф Нюман предлагал кандидатуру Николая Бердяева. Но великого русско-го экзистенциалиста не поняли рецензенты, а отзыв о Бальмонте главного эксперта по литературе копенгагенского профессора Антона Карлгрена был полон самых уничижительных эпитетов.

Номинантами в свое время были и замечательный исторический романист Марк Алданов, и певец старой Москвы Борис Зайцев. Конечно, баталии развернулись вокруг имени Владимира Набокова. В свое время его на Нобелевскую выдвигал А. Солженицын. Рецензенты стояли насмерть, не допуская автора «Лолиты», «порнографа», к желанной вершине. Хотя были и другие мнения. «И вот как раз потому, что он не является членом какой-либо группы, школы или национальной традиции, мне кажется, это исполненное, гонимое воображение, этот фантастический дар стилиста заслуживает высочайшей из литературных наград». – Однако мнение выдающегося шекспироведа профессора Роберта Адамса не произвело на Комитет впечатления.

Еще одним претендентом был великий филолог, лингвист Роман Якобсон. В «Ежегоднике» представлена статья Марины Сорокиной, отражающая деятельность ученого еще до эмиграции, в Москве, когда он работал в Наркомпросе, а также служил консультантом Народного комиссариата иностранных дел. Приводится текст его интереснейшей разработки «К вопросу о национальном самоопределении», не потерявшей своего значения и сегодня.

Символом русской литературы в изгнании был Нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин. В этом выпуске «Ежегодника» ему не уделено столько внимания, как в предыдущих, но несколько публикаций с его именем все-таки связаны. В томе представлены письма П. Н. Милюкова Ив. Бунину по вопросам публикации рассказов и участия в торжествах 1937 года, посвященных столетию гибели Пушкина. Была у Милюкова и особая страсть: он собирал и наклеивал в альбом вырезки из русской прессы, где хоть как-то упоминался Бунин. Список текстов из мильюковского альбома представляет на страницах «Ежегодника» Антон Бакунцев.

Имя Леонида Зурова, много лет жившего в семье Буниных, сегодня хорошо известно. Меньше знают, что Леонид Федорович был историк, археолог, человек, влюбленный в древнерусскую архитектуру. Александр Любомудров публикует необычайно интересную переписку Зурова с великим археографом, создателем Древлехранилища рукописей в Пушкинском Доме Владимира Ивановича Малышева. На дворе были пятидесятые годы, уже можно было переписываться из СССР с «миром капитала». Зуров с увлечением слал Малышеву из Парижа в Ленинград свои заметки и рисунки, которые он делал, посещая Псковский край еще в 1935 г., когда эта земля еще входила в состав буржуазной Эстонии.

Целый ряд материалов «Ежегодника» отдан русскому присутствию в

Италии. Об этом – в очерке Михаила Таллалая о вилле князя Горчакова в Сор-ренто и в воспоминаниях Константина Кетова «Между двух деспотий. От царизма до большевизма». Автор, эсер, бежавший в Италию, бывший представителем Санкт-Петербургского телеграфного агентства в Риме, описывает недоумение и непонимание сложившейся ситуации русским дипломатическим корпусом в 1917 году. Особый интерес историков культуры наверняка вызовут мемуары врача Ольги Ресневич-Сеньорелли о встречах с Дягилевым, Павлом Муратовым, Вячеславом Ивановым. В орбиту ее знакомств входили также деятели советского искусства, к примеру, Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Незабываемую картину охваченной смутой России дают воспоминания известного эсера, литературного критика Марка Слонима. Они впервые увидели свет в Италии в 1920 году. Яркие зарисовки эмигрантской жизни в Европе рисует в своей автобиографической повести Георгий Шилтян. Весь «итальянский» раздел подготовлен Марией Васильевой и Даниелой Рицци.

В книге представлены также и документальные источники, отражающие положение русской эмиграции в Польше. Речь прежде всего идет о статьях, посвященных пребыванию в стране ближайшего друга Мережковского и Зинаиды Гиппиус, эстета и неутомимого публициста Дмитрия Философова. Его пребывание на польской земле растянулось на двадцать лет. Другим героем польской части «Ежегодника» стал славист, философ, литературовед Дмитрий Чижевский. Через Польшу он бежал от большевиков на Запад. Чижевский неоднократно публиковал труды, посвященные великому сыну польской земли Адаму Мицкевичу.

Мимо внимания читателей никак не должна пройти публикация писем Марии Евгеньевны Ямпольской своему сыну, одному из главных героев русского сообщества в США Михаилу Михайловичу Карповичу. Как известно, после войны он долгие годы возглавлял «Новый Журнал». Историк, интеллектуал, профессор Гарвардского университета Михаил Михайлович до 1937 года получал из Советского Союза письма матери. Сегодня эти письма – незаменимое свидетельство о жизни интеллигенции в сталинской стране, о людях, сохранявших достоинство в самых страшных испытаниях.

Можно долго перечислять материалы «Ежегодника», но сделать это, даже кратко, трудно в короткой рецензии. Здесь и послания Софьи Прегель журналисту и издателю Геннадию Хомякову (предисловие и комментарий Павла Трибунского и Владимира Хазана), и подготовленный под руководством Марины Сорокиной биографический словарь «Русская эмиграция в Чехословакии», и письма одного из самых значительных богословов XX века протоиерея Георгия Флоровского, и многое, многое другое.

*Виктор Леонидов*

*Вячеслав Войлоков. Русская осень. Роман. – Лос-Анджелес. 2017. – 354 с.*

Автор романа, он же и автор художественно исполненной обложки, Вячеслав Войлоков родился в Москве в 1960 г., окончил Московский институт связи, работал инженером-программистом и в 1994 г. уехал с женой и детьми в Лос-Анджелес на работу. В США в 2011 выпустил свой первый детективный роман «Стечение обстоятельств». Торговля наркотиками и оружием, личные амбиции героев и политические интриги – все, как полагается в подобного рода произведениях.

Другое дело – «Русская осень», роман о трагических событиях в России 1914–20-х гг. Здесь нет главного героя, а все персонажи – более или менее исторические личности, – к тому же, мне хорошо знакомые, с некоторыми из них я встречался в течение долгой своей жизни. Автор не пишет историю, но, как мне кажется, очень хорошо передает обстановку того времени. Я не буду оценивать художественные достоинства этой весьма увлекательной книги; мне, как исследователю того периода времени, представляется важным выделить и прокомментировать иную сторону романа – его историческую достоверность.

Роман посвящается «русским мальчишкам и девчонкам всех возрастов, отдавшим свои жизни в борьбе с коммунизмом», и начинается отрывком из песни Вертинского «То, что я должен сказать»:

И никто не додумался просто стать на колени  
И сказать этим мальчишкам, что в бездарной стране  
Даже светлые подвиги – это только ступени  
В бесконечные пропасти к недоступной весне.

Роман начинается с главы «Революции Великой войны». Великой войной современники называли Первую мировую войну, что сегодня практически забыто. Начинается повествование с описания обстановки заключения Франко-русского союза в 1892 году и убийства 15 (28) июня 1914 г. в Сараеве наследника Франца-Фердинанда и его жены. «Правящие круги Венгрии немедленно обвинили Сербию в организации этого преступления и, несмотря на то, что в течении месяца следствие не нашло никаких доказательств связи официального Белграда с заговорщиками, несмотря на то, что убийство эрцгерцога Фердинанда, славянофила, женатого на чешской графине, настолько же отвечало венгерским интересам, насколько и сербским, поскольку устраняло нежелательного для Венгрии наследника престола, 10 (23) июля Австрия предъявила Сербии ультиматум с заведомо невыполнимыми требованиями.» Все это так – только надо отметить, что хотя Австрия имела свой парламент, а Венгрия – свой, ультиматум Сербии предъявила не Австрия, а Австро-Венгрия. Мелочь, но не совсем. Преступную халатность в

отношении охраны эрцгерцога и его супруги проявили не венгры, а австрийцы, ибо Босния и Герцеговина входили в состав Австрии, более того – как ни странно, следствия в этом отношении не велось. Было ли это убийство в интересах Сербии – вопрос непростой. Думаю, что в 1914 г. сербское правительство не одобряло поступок Принципа, и лишь потом, после победы над Австро-Венгрией, сделало из него героя и мученика.

Автор также дает исключительно правильную картину франко-русско-польских отношений периода Гражданской войны в России, вкладывая в уста героев романа – генерала Шербачёва, представителя Белой армии в союзном командовании, и французского маршала Фоша – оценку тех событий. «У наших политиков, – говорит маршал, – нет другого выхода, как поддерживать Врангеля. Они ни в коем случае не допустят разгрома Польши, поскольку это было бы концом Версальского мира. Пока большевики угрожают полякам, ваш Врангель держит в руках все карты.» Известно, действительно, что в 1919 году «Пилсудский заключил с большевиками перемирие и дал им возможность снять части с польского фронта и направить их против Добровольческой армии, идущей на Москву. Сделал он это вопреки и здравому смыслу, и военной логике – Деникин не воевал с Польшей и не собирался; – и все только потому, что белую Россию первый маршал Польши боялся и ненавидел больше красной».

Автор совершенно прав, утверждая, что генерал Врангель «хорошо помнил, как перед его отъездом из Константинополя в Крым де Робек передал ему ультиматум английского правительства с требованием прекратить вооруженную борьбу против большевиков». Верховный Главнокомандующий барон Петр Николаевич Врангель был потрясен коварством союзников, ставящим неприемлемые условия и фактически отказывающим в помощи в самый тяжелый для армии момент. Все так и было, и все это надо нам помнить.

*Ростислав Полчанинов*

## ОБ АВТОРАХ

БАЗАНОВ Петр Николаевич (1969) – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Историк, специалист по истории русской зарубежной печати, истории второй волны эмиграции, деятельности русских политических организаций в Зарубежье. Автор более 200 научных работ о русской эмиграции, в том числе монографий: «Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.)», «Братство Русской Правды – самая загадочная организация русского Зарубежья», «Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке (1917–1939 гг.)», соавтор учебных пособий: «Издательское и библиографическое дело Русского Зарубежья», «Книга Русского Зарубежья» и др.

БРЕЙДО Евгений – филолог, программист, прозаик. В прошлом – научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН и преподаватель МГУ; диссертация по теории стиха. В США занимается вычислительной лингвистикой и автоматическим анализом текста. Проза и эссеистика печатались в журналах «Дружба народов», «Литература», «7 искусств», «Слово / Word» и др. Живет в Нью-Йорке.

ВЕЙЦМАН Александр (1979, Москва). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Окончил Гарвардский и Йельский университеты. Автор публикаций в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра» и др. Автор книги стихотворений «Лето, взятое в скобки». Член редколлегии журнала «Интерпоэзия». Член редколлегии журнала «Стороны света». Директор литературного конкурса «Компас». Живет в Нью-Йорке.

ВИРОЗУБ Михаил (1962, Москва). Окончил Московский электротехнический институт связи (1984). Работал инженером, разнорабочим, переводчиком и преподавателем, с 1997 года руководит школой иностранных языков «Vita nova – МГУ». Печатает с 1989 стихи, статьи, эссе, переводы в периодических изданиях и сборниках; в частности, публиковался в журнале «Ной», газете «Ex libris», в сборниках «Лири семи городов», «Век перевода». Член СП Москвы по секции публицистики.

ГАРБЕР Марина. Поэт, эссеист. Родилась в Киеве. Эмигрировала в США в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор четырех книг стихотворений

(последняя – «Каждый в своем раю», М., 2015). Поэзия, проза, переводы и критические очерки публиковались в журналах «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литература», «Нева», «Новый Журнал», «Плавучий мост», «Слово/Word», «Стороны света», и др. Живет в Лас-Вегасе, штат Невада.

ГОРДИЕНКО Тамара (1939, Украина). Окончила факультет журналистики МГУ, канд. филологических наук, доцент. Работает в Университете туризма и сервиса (РГУТиС). Публикуется в российских и зарубежных изданиях. Автор более двухсот работ по истории литературы XX века (творчество писателей и поэтов русской эмиграции), по журналистике, методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Член Союза журналистов Москвы, Ассоциации «Бунинское наследие». Живет в Москве.

ГРИЦМАН Андрей (Москва). С 1981 г. в США, работает врачом. В 1998 г. закончил литературный факультет Университета Вермонта. Публикуется в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Новая Юность», «Сибирские огни» (Россия), «Встречи» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стетоскоп» (Париж), «Крещатик» (Германия) и др.; на сайте Вавилон. Автор книг стихов «Ничейная земля», «Двойник», «Пересадка», «In Transit» (англ., рум.), «Остров в лесах», «Голоса ветра» (2009), «Pisces», «Long Fall» (англ.) и др. Ведущий международного клуба поэзии в Нью-Йорке и редактор журнала INTERPOEZIA.

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич, (1976 г., Беларусь). Окончил в 1998 г. Гомельский ГУ по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью.

ЗЛОТНИКОВА Ольга (1987, Минск). Училась в Белорусском ГУ культуры и искусств. Публикации в изданиях: «Literatura», «Новая реальность», «На середине мира», «Белый ворон», «Вестник РХД», «Этажи», «Неман», «Кольцо А», на литературном портале Textura.by и др. Автор книги стихотворений «Паства» (2016), вошедшей в длинный список «Русской премии» за 2016 год. Живет в Минске.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. Окончил Нико-

лаевский кораблестроительный институт. С 1989 года живет в США. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». Был главным редактором ж. «Метро», гл. редактором и ведущим авторской телепрограммы на русско-американском телевидении RTN/WMNВ (2000–2003). С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com. Автор книг «Игры мимики и жеста», «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом», «25 лет с правом переписки», «Три ‘Ц’ и Верлибрий» и др.

ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (1959, Москва). Литературный критик, исследователь истории Русского Зарубежья. Окончил Историко-архивный институт, кандидат исторических наук. Автор-составитель нескольких книг поэтов Русского Зарубежья и многочисленных статей по проблемам наследия русской эмиграции. С 1989 г. по приглашению академика Д. С. Лихачева работал в Фонде Культуры; один из организаторов Архива-библиотеки Российского ФК. Автор известных песен, посвященных русской эмиграции.

МОРГУЛИС Михаил Зиновьевич (1942, Киев). Писатель, евангелический миссионер. Окончил Ленинградский институт водного транспорта (1970) и школу журналистики Киевского университета.(1973). В 1977 г. эмигрировал в США. Окончил Норвичский университет. В 1981–1987 гг. издавал журнал «Литературный курьер»; один из основателей и главный редактор «Slavic Gospel Press» (ныне изд-во «Христианский Мост»). Автор 8 книг. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (2012). Основатель религиозных организаций Christian Bridges International и Spiritual Diplomacy Foundation.

ОЛЕНИНА Екатерина (Баку). Окончила МГУ, романо-германская филология. Защитила диссертацию на кафедре зарубежной литературы: «Религиозно-философский дискурс в интеллектуальной поэзии XX века. Элиот – Бродский». Окончила докторантуру Йельского университета. Живет в США.

ПОЛЧАНИНОВ Ростислав Владимирович (1919, Новочеркасск). Журналист, историк, общественный деятель. С 1921 жил в Югославии, с 1942 – в Германии, с 1951 – в США. Автор книг «По русским улицам Парижа», «Заметки коллекционера», «О Югославии и русских в Югославии».

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Екатерина (Санкт-Петербург). Поэт, переводчик, эссеист, журналист. Окончила филологический факультет Санкт-



Петербургского ГУ. Публиковалась в журналах «Новый берег», «Гвидеон», «Аврора» и др.; в поэтических сборниках. Лауреат 1-го международного конкурса «О мире по-русски». Стихи переводились на итальянский язык. (Антология «Tutta la pienezza nel mio petto. Poesia giovane a SanPietroburgo», 2015)

РУБИНС Мария (1967, Ленинград). Окончила ЛГУ, University of Georgia, Charles University (Prague); кандидат наук (Brown University). Профессор University College London; автор книг и статей о литературе Русского Зарубежья, русском и европейском модернизме, франко-русских литературных связях и культуре русского Израиля. Автор книги *Crossroad of Arts, Crossroad of Cultures* (2000, 2003), «Русский Монпарнас: Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма» (в печати); редактор-составитель *Dictionary of Literary Biography*. Печаталась в *Comparative Literature / Slavic East European Journal*, «НЛЮ» и др.

СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна (Киев). Поэт, литературный критик, эссеист. На Западе с 1942 г. Сб. стихов: «Огни», «Наступление дня», «Цветенье трав», «Здесь я живу», «Избранное», «Триада» (И. Михалевич-Каплан, В. Синкевич, Н. Файнберг), «Поэтессы Русского Зарубежья» (О. Анстей, Л. Алексеева, В. Синкевич), «На этой красивой и страшной земле», «При свете лампы»; сборники эссеистики: «...с благодарностию: были», «Мои встречи: русская литература Америки».

СТАРИКОВСКИЙ Григорий Геннадиевич (1971, Москва). Поэт, переводчик, педагог. Стихи печатались в журналах «Дружба народов», «Волга» «Новая Юность», «Новый Журнал», «Интерпоэзия» и др. Переводил оды Пиндара («Пифийские оды», 2009) любовные элегии Проперция («Третья книга элегий», 2011) «Буколики» Вергилия (2013), сатиры Авла Персия (2013), «Одиссею», песни 9-12 (2015), а также стихи Патрика Каванаха, Луиса Макниса, Луи Арагона, Дерека Уолкотта, Шеймуса Хини и др. Автор поэтических сборников «Элеутерия», «На углу», «Левиты и певцы», «Автономный источник» (2017). Живет в Нью-Йорке.

ТКАЧЕНКО-ГАСТЕВ Алексей. Переводчик, поэт, редактор интернет-альманаха современной поэзии «Красный Серафим». Переводчик стихов Пьера Паоло Пазолини, современной англоязычной поэзии и прозы. Публикации стихов в поэтических альманахах и журналах «Побережье» (Филадельфия), «Интерпоэзия», «Новый Журнал»

(Нью-Йорк), «Дети Ра» и «Футурум АРТ» (Москва), др. Автор сб. стихов «Рисунки на полях памяти» (Москва). Живет в Москве.

УРАЛЬСКИЙ Марк (1948, Новокузнецк). Окончил МИТХТ. Был близок к литературно-художественному андеграунду, о котором написал книги «Камни из глубины вод», «Немухинские монологи: портрет художника в интерьере андеграунда», «Избранные, но незванные: Историография независимого художественного движения», «Небесный залог. Портрет художника в стиле коллажа». В 1980-х гг. участник литературно-художественной группы «Мансарда», московского Клуба поэтов. Под псевдонимом «Николай Марин» выпустил сборники стихотворений «Янус», «Антология русского верлибра». С 1992 г. живет в Германии. С 1999 г. публикуется в «NOVUM-Verlag» (Австрия), «Крещатик» (Германия) и др.

ШЕРОН Жорж (1952, Лос-Анджелес). Доктор филологических наук. Печатался в журналах «Новое литературное обозрение», «Звезда», альманахах «Минувшее», «Диаспора». Автор более сотни публикаций. Первая публикация в «Новом Журнале» появилась в 1988 году.

ШИНДИН Сергей (1963, Саратов). Литературовед. В 1986 году окончил Саратовский университет. С 1988 года – публикации в России и за рубежом. Принимал участие в нескольких исследовательских проектах сектора структурной типологии Института славяноведения и балканистики РАН. Докторская диссертация о творчестве О. Мандельштама (Амстердамский университет, 1999). Член редколлегии академического проекта «Мандельштамовская энциклопедия: Компендиум знаний о жизни и творчестве поэта» и Совета Мандельштамовского общества.

От редакции: По вине редакции НЖ в № 287, июнь, 2017, была допущена ошибка в имени прозаика Игоря Гельбаха, повесть «Прошлое». Редакция журнала приносит свои извинения автору.

**The New Review / Novyi Zhurnal** is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

*General Sponsor* of The New Review, Inc.: Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

*Benefactors:* The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine; Mr. S. Hollerbach;

*Sponsors:* Russian Nobility Association in America, Inc.; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin;

*Fellows:* The Orthodox Hospitaller Knights, Countess Tatiana Bobrinskoy; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;

*Friends:* Mr. & Mrs. R. Colacicchi; Mr. & Mrs. V. Galitzine; Ms. Molchadskaya; Mr. A. Moussaian; Mrs. L. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff, Mrs. M. Sechkarev, Mrs. V. Sinkevich.

It requires the support of loyal friends for year 2017:

Patron –	\$ 5,000 and up
Benefactor –	\$ 2,000 and up
Sponsor –	\$ 1,000 and up
Fellow –	\$ 500 and up
Friend –	\$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

**THE NEW REVIEW**  
**611 Broadway, suite 902**  
**New York, NY 10012**

**НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**

**Москва, Россия: Николай Сарафанников** – тел.: 7-495-304-4879

**Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах** – тел.: 7-812-579-7581

**Монреаль, Канада: Генрих Иоффе** – тел.: 514-279-1045

**Париж, Франция: Виталий Амурский** – e-mail: [vitaly.amoursky@gmail.com](mailto:vitaly.amoursky@gmail.com)

**Израиль: Альберт Фейгельсон** – e-mail: [nikalbert@gmail.com](mailto:nikalbert@gmail.com)

**«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:**

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнездииковский пер., д.12/27,

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

на сайте журнала: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (кнопка: Подписка), через **PayPal**

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (кнопка: Подписка)

---

# Новый Журнал THE NEW REVIEW

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2017

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций  
в США – \$ 145.00, за границу – \$ 190.00  
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):  
в США – \$ 76.00, за границу – \$ 110.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:  
в США – \$ 5.00, за границу – \$ 25.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год  
(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 315.00  
за границу – \$ 360.00  
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте  
[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review  
611 Broadway, # 902, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com)  
[www.newreviewworld.com](http://www.newreviewworld.com)  
[newreview@msn.com](mailto:newreview@msn.com)  
[newreviewworld@gmail.com](mailto:newreviewworld@gmail.com)

---